ISSN 0130-6545

7.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МОМО КАПОР • *Книга жалоб*

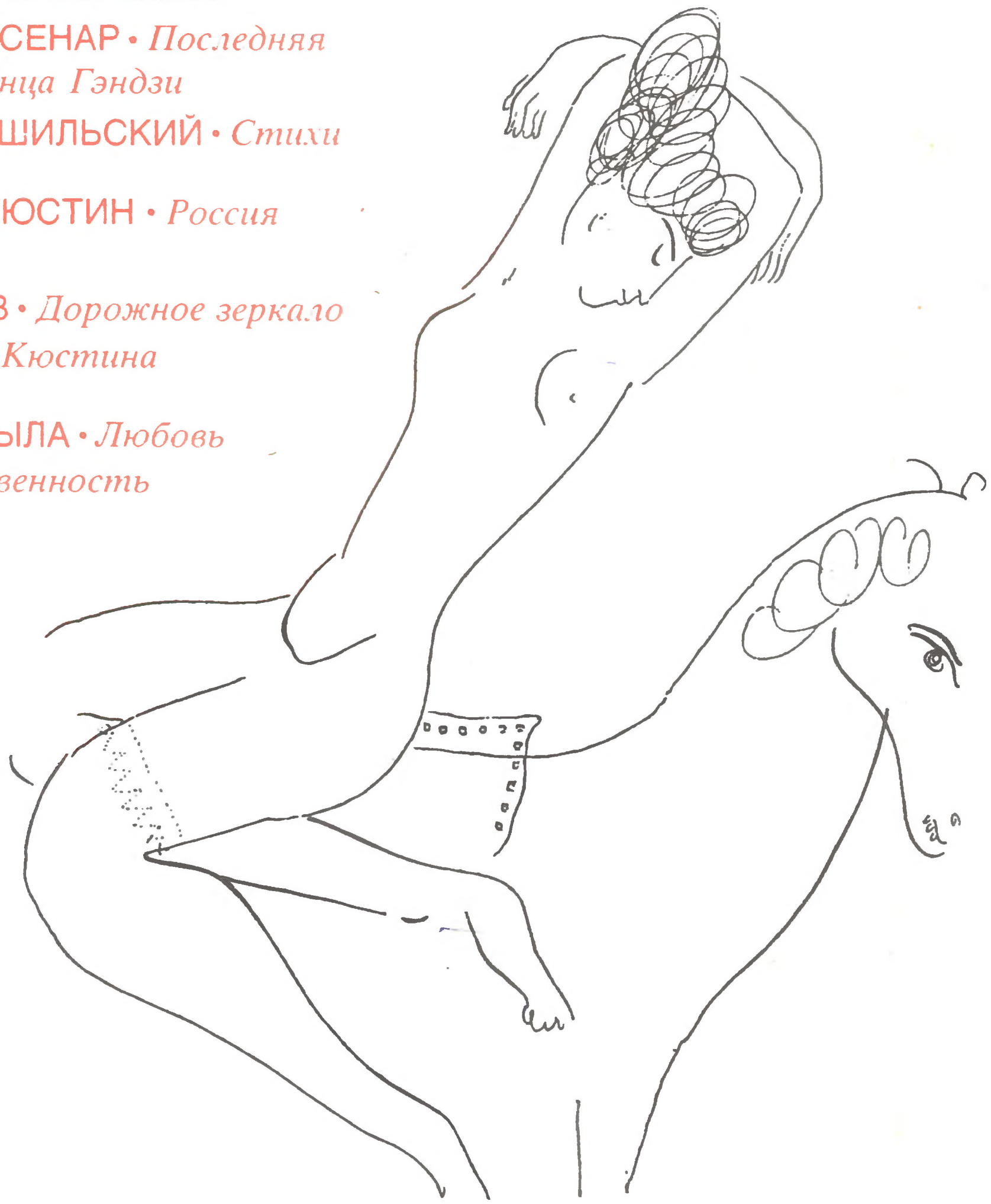
МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР • *Последняя любовь принца Гэндзи*

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ • *Стихи*

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН • *Россия в 1839 году*

ИГОРЬ ДЕДКОВ • *Дорожное зеркало маркиза де Кюстина*

КАРОЛЬ ВОЙТЫЛА • *Любовь и ответственность*



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
В. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала
«Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

7 ИЮЛЬ 1991

СОДЕРЖАНИЕ

МОМО КАПОР — Книга жалоб *(Роман. Перевод с сербскохорватского и вступление И. Юферева)* 5

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР — Последняя любовь принца Гэндзи *(Новелла. Перевод с французского В. Румянцевой)* 95

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ — Стихи *(Перевод с польского Владимира Соколова, Марианны Роговской и Бориса Раевского. Вступление Геннадия Айги)* 101

Э. Л. ДОКТОРОУ — Билли Батгейт *(Роман. Окончание. Перевод с английского Ю. Здоровова)* 115

Документальная проза и публицистика

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН — Россия в 1839 году *(Фрагмент книги. Перевод с французского С. Зенкина)* 205

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Дорожное зеркало маркиза де Кюстина 220

Вера и мораль

КАРОЛЬ ВОЙТЫЛА — Любовь и ответственность *(Фрагменты книги. Перевод с польского В. Бурякова. Предисловие Н. Трауберг)* 228

Новые книги, новые имена

Евгений Маевский — Другая участь *(Мысли о русской диаспоре)*. В. Лакшин — Постскриптум редактора. Л. Аннинский — Где взять силы на безумие? 237

Два мнения

Н. Мавлевич — Жан Руо — лауреат Гонкуровской премии 1990 года. Алексей Зверев — Новый яркий талант. 244

Интервью

Морис Фридберг: «Мы изучали русский язык как древнегреческий» *(Интервью подготовила В. Жукова)* 246

Курьер «ИЛ» 249

Публикации 1992 г. 255

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1991

На обложке:
рисунок **Марка Шагала.**

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.05.91. Подписано в печать 19.07.91. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 27,58.

Тираж 140 600 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1905.

Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 67

МОМО КАПОР

Книга жалоб

РОМАН

Перевод с сербскохорватского И. ЮФЕРЕВА

От переводчика

...Август 1989-го. Летнее кафе перед гостиницей «Москва» в Белграде. Напротив меня за столиком — Момо Капор. Он слушает меня скептически:

— «Книга жалоб» в Советском Союзе? Нет, не думаю... Если что и напечатают, то с неизбежным комментарием типа: «Вот ведь неплохой писатель, но нам чуждый...»

— Сейчас многое меняется.

— Да-да, я слышал, но все равно сомнительно.

До недавнего времени действительно казалось, что произведениям Момо Капора не суждено появиться в нашей стране Причина классическая: Капор имеет обыкновение говорить (и писать) именно то, что думает, да к тому же у него очень острый язык, а советскому читателю острое, как известно, считалось противопоказанным. Впрочем, и в самой Югославии имя Капора довольно долго было не в чести у официальной критики, которая без долгих раздумий отнесла его сочинения в разряд забавного чтива. Однако каждая новая книга «этого зубоскала Капора» (за десять лет он выпустил шесть сборников рассказов и пять романов) сразу же становилась бестселлером, и теперь один из самых авторитетных югославских критиков Игорь Мандич называет его прозу «уникальным феноменом», «явлением» и т. д., Момо Капора переводят в Англии, Германии, Швеции, Польше, Болгарии, Чехословакии.

И если уж мы знакомимся с его творчеством с таким опозданием, то начинать надо именно с «Книги жалоб»! Почему? Во-первых, потому, что это одна из последних книг Капора. Во-вторых, потому, что в ней он весь: язвительный и лиричный, насмешливый и ранимый; тут все его главные темы: личность и система, Восток — Запад, любовь — нелюбовь. Наконец, в-третьих, потому, что многое в этой книге очень нам близко, узнаваемо, до боли знакомо и по недавнему нашему прошлому, и по дню сегодняшнему. Нам понятны проблемы и беды главного героя — Педжи Лукача, вольнодумца, книготорговца по призванию! Он создает в Белграде из книжного магазина своеобразный интеллектуальный клуб и навлекает на себя гнев властей предержащих.

В этом номере «Иностранная литература» публикует первую часть романа Момо Капора.

КНИГА ЖАЛОБ
COMPLAINT BOOK
BESCHWERDEBUCH
LIBRO DEI RECLAMI
REGISTRE DES RECLAMATIONS

«В эту книгу Вы можете записать все Ваши жалобы и предложения. Дирекция».

Часть первая
ЗАВАРУХА

1

Эх, жизнь!

Я, Педжа Лукач (44 г.), несбывшаяся надежда сербской литературы со всем своим никому не нужным, приобретенным между делом образованием, встаю, улыбаюсь и вежливо отвечаю случайно забредшей ко мне домохозяйке с двумя тяжеленными корзинами в руках: «Нет, к сожалению, целлофана у нас нет». Ей банки нечем завязывать. Предложить ей что-нибудь другое? Есть хорошо сохранившаяся трилогия Генри Миллера. Или, может, «Проблемы мира и социализма в свете марксистской мысли»? Год назад присудили премию, теперь — на распродаже... (Интересно, почему у книг подобного рода такие длинные названия?) Женщина с корзинами стоит в снопе света из полуоткрытой двери олицетворением многострадальной мученицы, ее бы следовало отлить в бронзе, как памятник вечной домохозяйке. Впрочем, к чему это глупое высокомерие? К чему сарказм? «Нет, что вы, целлофан не кончился, у нас его не бывает! Это книжный магазин, букинистический, вас не туда послали. Загляните на Теразие [1]...»

Снова устраиваюсь в кресле, отгороженном кассой, чтобы насладиться минутами безмятежного, ничем не нарушаемого покоя в ожидании кофе, который мне на маленьком подносе носит через дорогу хромой служитель из местного комитета самоуправления «Октябрь». Еще слишком рано для покупателей и ленивых интеллектуалов, заглядывающих около полудня, после того, как продерут глаза и совершат моцион, преисполненные сознания своей значимости. Книги аккуратно разложены, пепельницы вымыты, лавка проветрена... Лавка! Я люблю называть свой магазинчик «лавкой». Да и что он еще как не лавка? Есть в этом слове что-то солидное, по-ремесленному основательное. Лавка! На Здоровьичко заходит в лавку и еще с порога возглашает:

— На здоровьичко!

В этих двух словах заключен весь неистребимый оптимизм На Здоровьичко, до войны торговавшего коврами и неспособного даже теперь, несмотря на свои восемьдесят лет, сидеть без дела.

— Ну что, как поживаем?

— Потихоньку...

— Ну и на здоровьичко!

На Здоровьичко приносит с собой затхлый запах общественных помещений, где под слоем пыли гниют покоробившиеся шахматные доски, провонявший плесенью «красный уголок» походит на заброшенный алтарь (тут стоит выцветшее переходящее знамя, обшитое золотыми нитками, в окружении трех кубков, Бог знает, когда и где завоеванных); стены украшают рекомендации населению на случай атомного нападения и описания сигналов тревоги. Ветераны из комитета презирают На Здоровьичко, но терпят, потому что все должны ему за кофе. Презирают потому, что На Здоровьичко не сражался в последнюю войну на их стороне. Вернее сказать, он не сражался ни на чьей стороне. Держал свою сторону. Занимался помаленьку контрабандой, только чтобы выжить. По этой причине остальные считают его классовым врагом и хвастаются своими военными подвигами, в то время как он грустно сидит в углу, возле печки, на

---

[1] Улица в Белграде. *(Здесь и далее прим. перев.)*

которой вечно кипит вода в кастрюле, и помаргивает своими лисьими глазками, в которых читается бесконечное терпение. Ветераны уверены, что он подпольный миллионер, так как варит кофе для сотрудников всех учреждений и магазинов в округе. Они частенько гадают о размерах его несметного богатства. Где он только его прячет? И что думает делать с такими деньгами? Одни говорят, что у него свой отель в Истре, другие утверждают, что он всю жизнь экономит, намереваясь построить церковь где-то в восточной Сербии. Когда он возвращается с пустыми чашками, спорщики умолкают.

Крепкий старикашка! Создал себе маленький мирок посреди вражеского лагеря (один против системы) и как-то умудряется существовать при помощи одной-единственной видавшей виды кастрюли, трех джезв и десятка чашек с отбитыми ручками, ничегошеньки не понимая в борьбе идеологий, из-за которой постоянно страдает. Когда у местного комитета нетерпимость возобладает над меркантильным интересом, ему откажут в приюте; тогда он молча перенесет свое жалкое кофейное хозяйство в какое-нибудь другое подобное же место и станет по-прежнему варить кофе, скромно зарабатывая на жизнь, продолжая, всегда в одиночку, свою тихую борьбу с историческими обстоятельствами. На Здоровьичко! Этими словами он как заклинанием отгоняет напасти, подбадривает себя и других, просит свою злосчастную судьбу еще немного потерпеть, не сдаваться, не отдавать его на милость старости и накопившейся усталости. На здоровьичко! Лучший черный кофе во всем городе, тайна приготовления которого состоит в том, что он варит его в немытой посудине с приставшим к стенкам сахаром, бормоча над вскипающей пеной все то же магическое заклинание: «На здоровьичко!»

Итак, все готово для нового, еще не растраченного дня, конец которого (мне это хорошо известно) застанет меня помятым, выжатым, как лимон, в отвратительном настроении, пропитанным никотином, возможно, пьяным или того хуже — похмельным. Мне все чаще случается напиваться в течение дня по нескольку раз, и после каждой такой микропьянки, когда удается протрезветь, я пребываю как бы в скрипучем лифте, застрявшем между этажами оптимизма и депрессии, накатывающих волнами, мучимый совестью, с непреходящим ощущением вины, и все это на ногах, в беспрестанном движении, всегда вежливый и любезный, как будто ничего особенного со мной не происходит. Все больше пьянея, я останавливаюсь у самой кромки, на грани полного бесчувствия, почти подсознательно пользуюсь своим богатым опытом, приобретенным в кафанах; искусство, которым я давно овладел, заключается в своевременном чередовании напитков, а точнее — в том, чтобы, основательно нагрузившись белым вином (которое я чаще всего пью), хлопнуть чего-нибудь покрепче, а потом отлакировать пивом, которое обволакивает и навевает благостный полусон. Я дремлю в глубоком кресле, откинув голову на спинку. Прислушиваюсь к позвякиванию кассы. Это то ощущение покоя и безопасности, которое может дать только полное и окончательное поражение. Меня переполняет сладкая жалость к самому себе, когда я в полусне уже в который раз прокручиваю обрывки киноленты, где меня, главного героя и бесспорного фаворита, обгоняет и побеждает участвующая в массовом забеге безликая толпа, которую я годами оставлял далеко позади. Многие из нее когда-то были счастливы сидеть со мной за одним столом. Сегодня они меня обычно не узнают или же тонко подчеркивают свое превосходство преуспевающих людей. Каждый разбил свой маленький, аккуратный, серенький, уворованный литературный садик. Получают премии, доходные должности и почетные звания как нечто само собой разумеющееся. Но лишь один я знаю, с чего они начинали и какую цену должны были заплатить, чтобы обойти меня и стать тем, кем стали. Меня им не обмануть. Худо-бедно, я все же лучший книготорговец в городе! И несмотря ни на что, все еще таскаюсь по улицам, как ходячая народная библиотека (от Гомера до англосаксонской, уже не совсем новой «новой» волны, докатившейся с естественным опозданием и до наших варварских, причудливых берегов), живое книгохранилище, которое лучше всего было бы распотрошить или распродать! О чем это я? Уж не начинается ли у меня жизненный кризис, в который, говорят, впадают как раз после сорока?

2

Кто сегодня помнит Педжу Лукача тех давних дней, когда его еще не поглотила балканская полутьма книжного магазина «Балканы» на улице Королевы Анны? В минуты безысходной тоски, когда, накачавшись алкоголем, переполняемый чувством вины, я забываю, кем был и кем мог бы стать, я достаю с пыльного шкафа картонную коробку из-под ботинок, в которой храню ком-

плект «Дела»[1] (1958, 1959 и 1960 годы). Тут мои ранние эссе о живописи — бренные останки бесплодной души, доказательства бесполезности утонченного вкуса... Здесь же толстая папка с вырезками, фотографиями и заметками, последняя неудачная попытка сохранить хоть немного самоуважения и убедить самого себя, что не просто прозябаю обыкновенным книготорговцем, а работаю над чем-то серьезным, с дальним прицелом. Какой самообман! Кого я хочу обхитрить? Годами собираю материалы, расспрашиваю оставшихся в живых свидетелей, на которых мне случается натолкнуться, листаю книги и монографии, делаю записи на пачках сигарет и спичечных коробках... Все это якобы нужно мне для объемистого исследования об Эрихе Шломовиче, таинственном коллекционере и его загадочном собрании французской живописи. Сколько раз мне ночью (за стаканом белого вина, разумеется) казалось, будто я на пороге чего-то большого и значительного, что наконец оправдает мою бессмысленную, полную ошибок жизнь; я уже составлял в уме подробнейший план всей книги, видел даже репродукции в ней, шрифт, сноски, ширину полей — все! — на радостях напивался и предавался грезам вплоть до утра, неизменно лишавшего меня иллюзий и отрезвлявшего холодной логикой. Тогда я с отвращением отталкивал досье Шломовича, казавшееся мне теперь беспорядочным набором газетных вырезок, имен, мест и дат. Знаю наверняка: никогда мне не удастся собрать их в единое целое и расположить в какой-то логической последовательности. Все же эта папка — воплощение моих болезненных амбиций — служит мне своего рода оправданием для бесконечных мечтаний, оправданием того, что я все чего-то жду, что никак не соберусь закончить наконец свою работу (ведь мне еще не все известно о Шломовиче, хотя я уже знаю больше других!), она служит мне извинением того, что я все больше пью, и одновременно возвышает в глазах тех, кто прослышал, будто я занят каким-то исключительно трудным и сложным исследованием. Правда, я несколько раз пытался бросить пить (одному Богу известно, какая это для меня жертва!), чтобы начать наконец писать, но стоило сесть за машинку, как у меня сразу опускались руки от осознания масштаба стоящей предо мной задачи. И вино вновь принимало меня в свои цепкие объятия! Дело, видимо, в том, что, обладая вкусом и образованием, я при этом начисто лишен способности что-либо написать! Следовало развивать эту способность параллельно и гармонично, чего я в свое время не сделал. Ну да ладно! В конце концов я прочитал по крайней мере сотню романов о тех, кто пишет книги, и ни одного о тех, кто их продает!

Я там, где я есть. Временами, открывая глаза, чтобы на часок-другой сбежать из своего фильма, я погружаюсь в созерцание картины за окном с ее постоянно меняющимися сюжетами. Стекла магазина чуть затемненные, и все, проходящие мимо, не в силах побороть искушение полюбоваться собой; разглядывают свое лицо и одежду, поправляют непослушный локон или узел галстука, самовлюбленно созерцают свое отражение, оценивающе прищуриваются; женщины проводят кончиком языка по губам, отрабатывают какой-то новый обольстительный бросаемый искоса взгляд, не зная, что я за ними наблюдаю. Сколько неуверенности в себе вперемешку с тщеславием! Ну-ка, как я выгляжу? Разве я не привлекательна? Когда я так смотрю на них, скрытый блеском витрины, остающийся невидимым до тех пор, пока они не подходят к витрине вплотную, весь мир за стеклом кажется мне огромным дурацким аквариумом, где диковинные человекоподобные рыбы суетятся, охотятся, гоняются друг за другом, пожирают друг друга, размножаются... С другой стороны, я для них, наверное, являю собой нечто вроде бледной книжной медузы, дремлющей в море печатной продукции. Мне, однако, приятнее чувствовать себя снаружи аквариума, чем внутри.

На Здоровьичко приходит забрать пустые чашки.

— Как поживаем? — спрашивает.

— Ужасно! — отвечаю.

— На здоровьичко! На здоровьичко! — говорит он и, прихрамывая, идет к себе через улицу.

3

Я — сова. Ночь — мое время. Мне нужно сделать над собой огромное усилие, чтобы вступить в новый день. Порой утро вызывает во мне такое отвращение, что я, кажется, готов выблевать все внутренности в унитаз. Кое-кто утверждает, будто это от выпитого накануне и от чрезмерной дозы никоти-

---

[1] Ежемесячный литературно-художественный журнал.

на, но я-то знаю, от чего — от утра! Чтобы окончательно проснуться, мне необходимы две-три чашки черного кофе. Несколько сигарет. Рюмка чего-нибудь крепкого: водки или ракии. Тогда я кое-как дополза́ю до умывальника и заставляю себя побриться. Господи, неужели это мое лицо? Оно бы должно было быть костистым, с натянутой кожей на выступающих скулах, но вино сделало его дряблым. Чищу зубы, изо всех сил сдерживая новый приступ тошноты. Зубы? В ужасающем состоянии! Протезист мне уже ни к чему, тут может помочь один Господь Бог. Кошмар! Умывание: сколько бы я ни мылся, тело непрестанно покрывается холодным липким потом и дрожит мелкой дрожью, вызываемой угрызениями совести, тяжелым похмельем, чувством вины и боязнью конца... Мне бы сейчас побегать по какому-нибудь парку или по набережной вдоль реки, поделать приседания, чтобы освободиться от токсинов, разогнать кровь в жилах, почувствовать себя сильным и бодрым... Я спросил как-то одного доктора, автора книги «Бег трусцой», что здоровее: бегать или трахаться? «Любовь для организма гораздо полезнее! — ответил он невозмутимо.— У вас тогда работают все мышцы, укрепляются нервы, улучшается кровообращение...— Так почему же тогда люди не трахаются вместо того, чтобы бегать, высунув язык? — А потому,— ответил он спокойно,— что любовь организовать несравненно труднее, чем бег. Для бега ведь не нужно ничего, кроме хороших кроссовок. А для любви нужны, как минимум, двое!» Однако вчера не было никакого траханья. Один раздрызг. Да, раздрызг! Это самое точное слово. Чистя на кухне свои старые черные мокасины, пытаюсь смонтировать в голове обрывочные кадры вчерашних событий. Что сказал я, что говорили они? Я стараюсь уловить в этой куче перепутанной кинопленки хоть какую-нибудь логическую последовательность. Зачем я вообще туда ходил? Ну-ка, ну-ка? Лег я в три ночи, а встал в семь с таким ощущением, что опять молол нечто непотребное. Небось наговорил кому-нибудь гадостей? Или разнюнился? Был любезнее, чем нужно? Может быть, изливал душу кому-нибудь незнакомому, кто потом использует это против меня же? Жаловался, что меня бросила Лена? Напускал на себя важность? Демонстрировал свою образованность? Навязывался кому-то, сносившему это с вежливым терпением? Что-то обещал? Объяснялся в любви? Дал повод для насмешек? Кто знает, что там еще было? Нет, нет, мне действительно нельзя никуда выходить по вечерам! Лучше всего сидеть у себя на кухне. Если уж мне так необходимо пить, буду пить за своим столом. Я люблю эту ночную картину: клеенка в красную и белую клетку, сигареты, спички, пепельница, газета, стакан вина. Ночь. Сижу. Смотрю в стол. Существую. Молчу... Вот так бы мне и стареть себе, не совершая нелепых ошибок. Но какой-то бес меня все время толкает принимать даже самые сумасбродные приглашения, общаться с людьми, и вот после двух-трех бокалов меня на какое-то время охватывает блаженная радость от сознания своей принадлежности к великому человеческому братству; естественно, сразу же подставляюсь, чего делать никак нельзя, и вообще тормоза у меня отказывают, все вдруг становится возможным, все ко мне благожелательны и все меня обожают, вот и эта прекрасная незнакомка слушает меня с восхищением, и я смело трогаю под столом ее круглое колено... Меня уже просто несет, хоть я и знаю, что потом наступит раскаяние. Вот о чем я думаю, пока чищу старые мокасины.

Чистка ботинок для меня такой же ритуал, как для монахов утренняя молитва. (И они, и я при этом стоим на коленях.) Обнаруживаю на мокасинах две капли воска. Стало быть, там вчера горели свечи! Усердно втираю черный крем в потрескавшуюся благородную кожу, а затем мягкими щетками навожу глянец. Потом, когда любой дилетант решил бы, что больше уже ничего сделать нельзя, я надеваю мокасины и с помощью бархотки медового цвета добиваюсь последнего, немыслимого блеска, какого редко достигают даже профессиональные чистильщики. Эта утренняя чистка ботинок для меня нечто гораздо большее, чем простой уход за обувью. Это внесение определенного порядка в хаос, в котором я живу, расстановка раскиданных вещей по своим местам. Только после этого я могу сказать: «Пусть будет день! Я готов».

4

Утром внезапно подула первая осенняя кошава [1].

Я вижу, как по ту сторону витрины движутся фигуры прохожих; наклоняясь вперед, они борются с ветром, который бьет их прямо в солнечное сплетение, достигая тридцати метров в секунду. Город подрагивает под уда-

[1] Очень сильный северо-восточный ветер с низовьев Дуная.

рами этого восточного завоевателя, налетающего с Украины, с берегов Черного моря, с Нижне-Дунайской низменности и Южных Карпат, сметая все на своем пути, подобно полчищам невидимых всадников, отмахивающих в дикой скачке по сотне километров в час теми же самыми дорогами ветров, по которым наши предки устремлялись на Балканы со своей далекой прародины. В кошаве есть что-то сумасшедшее: просвистев с ревом и воем сквозь город, как сквозь дырявый зуб, она вдруг замирает в оазисе тишины и рычит, словно бешеная собака, прежде чем снова накинуться на жертву. Но этот город, возведенный на скалах при слиянии двух рек,— крепкий орешек, его еще никому не удавалось покорить навсегда: волны завоевателей лишь катились сквозь него, точь-в-точь как кошава, не позволяющая нам застояться, расслабиться и облениться,— она нам проветривает мозги, испытывает на прочность, рвет паучьи сети, грозящие опутать все, разгоняет тучи смога, подметает площади своей огромной воздушной метлой, чтобы потом, когда всласть набесится и накуражится, в тишине, наступающей после буйной оргии, принести благодатный, всепрощающий дождь, проливающийся слезами облегчения.

Не прост Белград, ой, не прост! Ему пальца в рот не клади. Он умеет так измочалить свирепого налетчика, что держись! Вот кошава разлетится, самодовольно поигрывая мускулами, наскочит на него, а он ее хладнокровно отбросит совсем в другую сторону, куда она никогда и не дула; закрутит вокруг себя, протянет под мостами, перекинет на другую сторону Дуная, где она сталкивается лбом сама с собой, подобно тому, как толпа дезертиров, унося ноги с поля боя, налетает на собственные тылы; или даст ей забраться поглубже и начинает кружить ее по переулкам возле пристани, да так, что и сама кошава теряется, обескураженно останавливается, едва переводя дух, не соображая, где она и что с ней, заползает сконфуженно в какую-нибудь подворотню или проходной двор, где скулит и воет, пока роза ветров не выволочит ее за ухо и не заставит снова нападать. Тут она может даже одержать и победу, однако того поражения никогда не забывает и опять и опять набрасывается с удвоенной яростью, мстя за то, что осрамилась.

И у каждого из нас, живущих здесь (да и где нам еще жить?), кошава, кажется, сидит внутри. Нет-нет да и подует, и понесет нас куда-то, куда мы и не думали никогда попасть. «Как ветром *сдуло*.— говорят в народе,— уехал, даже не простившись». Скольких из нас разметала она по свету, но вот что интересно: мало кто уехал жить туда, где она берет свое начало, все укатывали в прямо противоположном направлении и, очутившись там, куда долетало уже лишь легкое дуновение, вдруг останавливались и диву давались: «Как это меня занесло в эту страну, в этот город, откуда у меня эта семья, эта одежда, как я попал сюда?»

Возможно, именно из-за кошавы, живущей во мне, я все еще питаю какую-то безумную, ничем не подкрепленную надежду, что еще выкарабкаюсь; наверное, это она не позволяет мне, подняв лапки, признать поражение и преисполниться жалости к самому себе — стоит мне махнуть на все рукой, как кошава вихрем подхватывает меня, вытаскивает на свет божий из темной норы, в которую я забился, бросает под самые облака, разлетающиеся перед ней во все стороны рваными кухонными тряпками. Как бы то ни было, но я, несмотря на свои годы (простите, Педжа, а сколько вам лет? — Все мои!), питаю какую-то сумасшедшую, идиотскую надежду, что у меня вырастут новые зубы, что уже поредевшие, тронутые сединой волосы станут гуще, что похудею и стану стройным, что на меня наконец обратят внимание и вознаградят за все муки, выпавшие мне на долю, что однажды кто-то мягко положит руку мне на плечо и скажет: «Ну ладно, хватит, давай я все устрою...» Кто? Некто несуществующий, бестелесный, живущий лишь в моем воображении, не имеющий лица. Какой-нибудь ангел-хранитель, добрая фея, Мэри Поппинс, откуда мне знать кто? Что бы он мог сделать для меня? Может, заставил бы сменить работу, город, страну, привычки; оплатил бы долги и неоплаченные счета, хоть как-то упорядочил мою жизнь, научил, как вести себя с людьми, подарил успокоение, избавил от постоянного чувства вины... Так я и живу безумной, пустой надеждой, что вот уже на будущей неделе все образуется, что вся моя прежняя жизнь была лишь своего рода подготовкой, чем-то вроде стилистических упражнений и послужит мне пропуском в годы настоящей жизни. Время от времени я вдруг прихожу в чувство и вспоминаю о своих «за сорок». Чего, какого черта я вообще еще могу ждать? Большая часть жизни уже прошла! Остается, стало быть, одна труха, никчемное растительное существование, начинаются болезни, старение... Но, может быть, это и есть то долгожданное счастье: освободиться от тщеславия, амбиций, секса, политики, довольство-

ваться малым, малюсеньким, быть счастливым оттого, что живешь, что сидишь на какой-то залитой солнцем лавочке, где тебе не дует, или что тебя ждет овощной суп, воскресная газета, одна из трех разрешенных сигарет в день, или оттого, что вдруг перестало что-то болеть, что, наконец, удалось облегчиться или выспаться без дурных снов? Откуда во мне эта надежда? Я никого не расспрашивал о ее загадочном происхождении, потому что не смог бы вразумительно объяснить, о чем речь, да и человека, с которым бы я был достаточно близок, чтобы вот так исповедоваться, нет. К тому же я свою надежду храню втайне, как особую привилегию, как нечто, выделяющее меня из серой массы,— тайную отметину; я и сам не смею чересчур к ней приближаться, чтобы разгадать, расшифровать, разложить на составляющие, так как боюсь, что тогда она навсегда исчезнет, оставит меня одного на всем свете.

5

Как я живу?

Живу, окруженный книгами, как сторож кладбищенского колумбария, где захоранивают урны; стоит мне протянуть руку, и я коснусь праха чьего-то чужого опыта: книжный магазин — огромная исповедальня, наполненная какофонией смерти, мертвый хор, что вопиет и взывает в пустыне времени, причитает и скулит, хихикает, брюзжит, шепчет, кричит и стонет, умоляет выслушать его ради избавления от вечных мук... Dixi, et anima mea salvavi! [1]

Однако, чтобы спасти свою душу, недостаточно просто выговориться. Нужно, чтобы тебя кто-то выслушал. А я уже больше не в силах слушать! И самому мне некому рассказать о хаосе, творящемся в моей душе, что, вероятно, уместнее в художественной литературе, чем в обыденных разговорах, где упаси Боже переступить вежливо обозначенные границы приличия. И вот мы говорим о погоде, говорим о Паскале, говорим о табаке, часами беседуем о винах, говорим о деньгах, о женщинах, о том, как добиться успеха в жизни, рассуждаем о политике, о притворстве и трусости, говорим о литературных критиках, о несправедливости, о чьей-то новой пластинке, о каторге, об эрогенных зонах, разговариваем о похмелье, о вчерашней тусовке, о неверности, о городах, в которых не бывали, о благополучных людях, которых встретили, о бедности говорим, болтаем о нищете и о легких заработках, о болезнях и старении, о хороших и дурных годах, говорим, говорим, говорим, говорим, говорим, говорим, внимательно следя за тем, чтобы случайно не проговориться кому-нибудь о своем маленьком, тайном аде, терпеливо поджидающем нас за дверью магазина, у кафаны, в гардеробе среди сданных на хранение зонтов, на пороге комнаты, где мы занимались любовью с какой-то молодой дамой, она была столь добра, что предоставила нам на пару часов маленькое свое тело (в которое мы спрятались от непогоды), наш маленький портативный ад ждет нас у банка, где мы сняли со счета деньги, в прихожей нашей собственной квартиры, при выходе из кинотеатра, под часами на площади, в приемной у врача, на лестничной клетке (забыл ключ от квартиры), в кровати под одеялом, так что мы боимся ложиться с ним и пытаемся оттянуть эту неизбежную встречу, пытаемся напоить его, чтобы свалился под стол, но его на мякине не проведешь, хитер, и вино его не берет — спокойно дожидается, когда мы протрезвеем и окажемся-таки с ним лицом к лицу, если у него вообще есть лицо. Все же книги меня кое-чему научили! Я прибегаю к приему старого Сенеки: стараюсь, чтобы у меня каждый день представлял собой цельную, законченную жизнь, чтобы в каждый отдельный момент не было никаких счетов с миром; я пытаюсь отказаться от своей безумной надежды, что все образуется, и от будущего (чтобы быть свободным от страха смерти и неизвестности, но при этом не впасть в отчаяние); проще говоря, стараюсь жить сегодняшним днем, готовый в любой момент (да вот хоть сейчас!) со спокойной душой все оставить... «Жизнь, она ведь как представление в театре: не важно, сколь долго длится, важно, хороша ли! Безразлично, когда перестанешь жить. Поставь точку где угодно, пусть только конец будет достойным...»

«Гай Цезарь, когда однажды переходил через Латинскую дорогу и кто-то из взятых под стражу, с бородой, отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: «А разве сейчас ты живешь?»

Я заметил, что есть книги, которые читают в постели перед сном или сидя в удобном кресле в сумерках, но есть и такие, которые следует читать при дневном свете за письменным столом с превеликим вниманием. Таковы «Письма к Луцилию» Сенеки, которые я послал Лене. Я упаковал еще «Падение»

---

[1] Я сказал и тем облегчил свою душу *(лат.)*.

Камю и «Великого Гэтсби» Фицджеральда, адресовав посылку Лениной матери, потому что не знаю нового адреса Лены. Зачем я продолжаю посылать ей книги, хотя мы уже давно расстались? Нет ли тут бесплодной попытки несостоявшегося Пигмалиона вернуть свою утраченную любовь с помощью хорошо подобранных книг? Когда я несу посылку на почту, то сам себе кажусь потерпевшим кораблекрушение, который бросает в волны запечатанную бутылку со своим отчаянным посланием (подчеркнутые места в книгах)...

Знаю наверняка: подтверждения, что она их получила, не будет и на этот раз.

6

— Садись, Педжа, садись...— говорит главный редактор «Балкан».

Я сажусь.

— А магазин? — спрашиваю.

— Ничего! Обойдутся и без тебя.

— Ну, как ты? — спрашивает секретарь.— Как дела?

— Помаленьку...

— Выпьешь чего-нибудь?

— Я не пью.

— Да ну? Это с каких же пор?

— Со вчерашнего дня.

— А кофе?

— Я уже пил.

Главный редактор смотрит на часы:

— Надо подождать товарища Елизавету.

— А где она? — спрашивает секретарь.

— На заседании.

Товарищ Елизавета, директор «Балкан», принадлежит к тому типу людей, которые, когда о них ни спроси, всегда на заседании.

Главный редактор извлекает из ящика стола слоеный пирог и начинает жевать.

В тишине хорошо слышно, как перемалывают пищу его крепкие челюсти. Секретарь отгадывает кроссворд.

— Кровосмешение по-латыни? Первая буква «и»? — спрашивает он.

— Инцест! — отвечаю.— Инцест — забава для всей семьи!

Звонит телефон.

— Знаю, знаю...— говорит главный редактор с набитым ртом.— Я получил рукопись. Нет. Еще не успел. Месяца через два. Я в запарке. А план на следующий год все равно уже составлен. Сожалею. Не за что!

Вздыхает и снова принимается за свой пирог:

— Кто только теперь не пишет!

Трубка замаслилась. Снова звонок.

— На заседании! — говорит секретарь.— Вот-вот должна быть...

— Сумасшедший дом! — Главный редактор вытирает пальцы о бумагу, в которую был завернут пирог.— Позавтракать спокойно не дадут...

— Датский философ, предшественник экзистенциализма?

— Киркегор.

— Черт! Не подходит.

— Попробуй тогда: Кьеркегор.

— Подходит!

Входит уполномоченный по гражданской обороне и кладет секретарю на стол бумаги.

— Что это?

— Решение о строительстве атомного убежища.

— Во дела! — говорит секретарь.— Это еще откуда?

— С последнего заседания.

Секретарь подписывает. Уполномоченный уходит.

— Видал?

— Если бы нас это спасло! — говорит главный редактор.

— Знаешь, что надо делать в случае ядерного нападения? — спросил я секретаря.

— Что? — Он не подозревает подвоха.

— Закрой уши руками, просунь голову между ног, поцелуй себя в задницу и скажи: «Прощай!»

— Ух, чтоб тебя... Безвластие?

— Анархия.

— Годится.

Никто больше не заходил. Никто не звонил. Погрузившись в полудремоту, они ждали.

Я сидел и смотрел в стену, повторяя про себя, как заведенный, спасительную фразу, которая должна войти мне в плоть и кровь: «Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Ты должен быть добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе...»

7

Когда от меня ушла Лена, я был в отчаянии.

Сначала я решил покончить с собой. Но тут встал вопрос как? Все способы или мне казались слишком мучительными, или чересчур отдавали патетикой. У меня даже была мысль отправиться куда-нибудь на войну, записаться добровольцем и бессмысленно погибнуть за чью-то чужую идею, да только какая армия приняла бы в свои ряды книготорговца средних лет, выкуривающего больше трех пачек сигарет в день? К тому же я не был уверен, что помню, как стрелять из винтовки: столько воды утекло с тех пор, как я служил в армии! Я регулярно смотрел по телевизору репортажи о войнах в Африке и Азии, бывших как раз в разгаре, и завидовал трупам, сожженным в пустыне. Но ведь те солдаты, в рубашках с засученными рукавами, вечно жующие резинку, были почти что дети! Что бы я, старый специалист по страданию, делал среди них? Да меня бы завернули уже на границе или арестовали как шпиона. Так из моего намерения геройски погибнуть на поле брани ничего не вышло. Я предался отчаянию и стал совершенствоваться в нем, как в олимпийской дисциплине. Признаюсь, я даже немного смаковал эту тихую, непроходящую болезнь, с последовательным коварством разъедавшую меня изнутри. В то время я много пил и смотрел на мир сквозь винные пары. Однако надо было чем-то заняться. Вне зависимости от душевного состояния ее хозяина, под дверью моей холостяцкой квартиры, которая, с тех пор как от меня ушла Лена, стала походить на берлогу степного волка г. Г. Гессе, регулярно оказывались счета за квартиру, за телефон, электричество, воду, вынос мусора... Воротнички рубашек потерлись, свитер на локтях стал просвечивать, только ботинки еще сверкали, отражая своей блестящей кожей мою измученную душу. Ледяное чрево холодильника звенело пустотой. За неуплату по счетам у меня отключили телефон, последняя связь с внешним миром была прервана. Я стал распродавать книги и картины, которые собирал годами. Я потерял всякий интерес к ним, как и вообще к любому виду собственности. Сперва я продал весьма редкую теперь «Историю Югославии» Владимира Чоровича, чувствуя себя при этом так, будто продаю свою страну и свой род, затем за полцены, вынужденный безденежьем, продал и «Югославский национальный характер»» Дворниковича (куда страна, туда пусть отправляется и характер ее граждан!). Какое-то время я жил на деньги, вырученные за рукописный Коран в кожаном переплете с медными украшениями, и Библию, напечатанную в восемнадцатом веке в Вене; затем я загнал «Политические записки» Слободана Йовановича, «Ереси» Драганича, «Магнум кримен» Виктора Новака и «Православную Далмацию», изданную в 1905 году епископом Милашем. Один рукописный псалтырь из монастыря Крупа я превратил в кровь Иисусову, которую выпил без просфоры, причастившись таким образом для новых грехов; увы, пришлось распрощаться и со своей небольшой, но хорошо подобранной коллекцией картин и гравюр! У меня защемило сердце, когда я выставил на продажу две гравюры на меди в стиле барокко Христофора Жефаровича (святой Стефан Стилянович и святой Климент Охридский 1753 года). Среди белградских антикваров и библиофилов разнесся слух, недалекий, впрочем, от истины, что я сошел с ума, и они подобно стае стервятников набросились на остатки моей коллекции, так что вскоре я остался и без гравюр Захария Орфелина и Томаса Месмера, пяти оригинальных оттисков первого сербского литографа Анастаса Йовановича, а также без своего любимого альбома гравюр с видами Белграда восемнадцатого века. На что-то нужно было пить! Скрепя сердце расстался я с картинами и рисунками представителей группы Медиала. Преодолевая угрызения совести, продал и последнюю ценную вещь, которую имел и любил больше остальных,— маленькую картину, выполненную маслом на дереве, моего покойного друга Леонида Шейка! Был бы жив Леонид, надеюсь, он бы меня простил, ведь и сам частенько сидел без гроша в кармане.

Когда я распродал все, пришло наконец время протрезветь. Как-то похмельным утром, обведя взглядом стены, где когда-то гордо располагалась

одна из лучших в Белграде коллекций картин и откуда теперь на меня с укоризной смотрели пустые темные квадраты, я окончательно решил устроиться на работу.

Я выбрал самый захудалый из всех белградских книжных магазинов (что было довольно трудно, потому что они один другого хуже) и, признаюсь, не без удовольствия встретил ошеломленный взгляд начальника торгового отдела «Балкан», не верившего своим ушам, что я, Педжа Лукач, некоронованный король белградских библиофилов, хочу поступить на работу в это Богом забытое место, куда годами не ступала нога покупателя и где уже давно не появлялось ни одной интересной книги. Дирекция как раз серьезно подумывала о том, как бы превратить свой единственный книжный магазин в предприятие общественного питания, чтобы избавиться от груза вечных убытков. Мое предложение было принято скептически. Я согласился на минимальную зарплату, которая будет увеличиваться только в том случае, если каким-нибудь чудом дело пойдет.

И вот я вступил под своды глубокой, полутемной пещеры, заваленной связками скучнейших книг и журналов многолетней давности. В пыльной витрине за мутными, немытыми стеклами гнили юбилейные издания. Они были буквально усыпаны дохлыми мухами и двухсантиметровым слоем пыли, а их выцветшие на солнце обложки печально ветшали под надписью: «СКИДКА НА НАШИ ИЗДАНИЯ 30%! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ!» Был ноябрь. Лица трудящихся, которых я застал в магазине, были столь же печальны, как и его витрина; подобно тому, как супруги в долгом и нудном браке с течением времени становятся похожими друг на друга, так и они стали походить на место, прозябание в котором составляло их печальный удел. Один из них, какой-то лысый холерик, был переведен сюда в наказание из бухгалтерии, где что-то там напортачил. Уже в первую неделю после моего прихода он до срока ушел на пенсию по инвалидности, плюнув на прощание в витрину. Его помощница, отечная беременная молодая женщина, убивала время вязанием чепчиков и штанишек для будущего ребенка. Вскоре ушла и она в отпуск по беременности, и больше я ее уже не видел. Так я остался совсем один в этой темнице для книг, из которой намеревался сделать лучший книжный магазин в Югославии!

Для чего? Или, может, лучше спросить: для кого? Наверное, в то время я и сам это не вполне сознавал, но начал строить что-то вроде замка из книг — фантастический дворец, похожий на тот, который возвел Гэтсби, чтобы однажды ночью заманить в него свою прекрасную, потерянную, любопытную Дэзи. Я хотел создать нечто подобное, создать при помощи книг, музыки и своей души место, куда валом повалят все, кто чего-нибудь стоит в Белграде, все красивые женщины, все интересные и умные мужчины; и принялся за дело с фанатизмом отчаяния, словно на карту была поставлена моя жизнь. Впрочем, так оно и было.

8

Как рождается книжный магазин?

Сначала необходимо вымыть стекла витрины, смыть засохшую пыль и трупы насекомых, истлевшие рекламные наклейки, следы весенних и осенних дождей, отпечатки пальцев, обрывки прошлогодних объявлений, плакатов и извещений о смерти, пленку равнодушия... Но это не все! Их следует мыть ежедневно, пока не соблаговолят вновь засверкать прежним блеском, уверившись, наконец, что попали в хорошие руки.

Если стены посерели и потрескались, их следует обклеить афишами художественных выставок и кинофильмов (сорванных ночью с афишных тумб), так получается нечто похожее на пеструю внутренность волшебного ящика фокусника. И еще: на свете существует множество картин, жаждущих попасть на свою стену, и множество стен, ждущих свою картину. Надо обходить мастерские художников и убеждать хозяев, что созданные ими полотна мертвы, пока их не оплодотворит взгляд зрителя. При этом следует отбирать картины, сюжеты которых достаточно неопределенны, чтобы выглядеть современно, и вместе с тем достаточно понятны, чтобы не ставить зрителя в тупик.

Я внимательно просмотрел оказавшиеся в магазине книги и убедился, что в основном это барахло. Более или менее стоящие расставил по полкам, а остальные стал обменивать у другого издателя на чуть более приличные, чтобы и их потом обменять на лучшее, что можно найти на книжном рынке. Я решил ориентироваться на так называемую полудиссидентскую литературу, на

те книги, что вызывали или вызывают больше всего споров и дискуссий. Затем обошел частных издателей, чудаков, безумцев, изобретателей вечного двигателя и тех отвергнутых энтузиастов, чьи книги никто не хотел ни печатать, ни продавать, и они решились сами на этот рискованный шаг, поставив на карту все, что имели. И любители легкого и быстрого заработка, и снедаемые неутолимой жаждой славы — все они издавали книги, которые не взялся бы выпускать ни один серьезный издатель. Это трактаты о снах и их толковании, о предсказании будущего, о игре в тарокко, брошюры о дзэн-буддизме и медитации, о гипнозе; книги неудачников — какая ирония! — о том, как преуспеть в жизни, и учебники несостоявшихся писателей о том, как стать литератором; альбомы с позами во время любовных игр, книги об икебане, бридже, биоритмах, астрологии и хиромантии, словари тайного языка растений и животных, сборники поэзии хайку, исследования о движении хиппи, о йоге и разных диетах, пособия для начинающих фокусников, автобиографии и дневники, сборники афоризмов и системы чисел, обеспечивающие верный выигрыш в лотерее... Авторы были просто счастливы, что кто-то интересуется их презираемыми сочинениями. Когда все распродам, я рассчитаюсь с ними по совести. На складе «Балкан», куда годами никто не спускался, я обнаружил старые издания русских послереволюционных писателей, снова входящих в моду; тут были собраны все: Пильняк, Олеша, Мандельштам, Замятин, Блок, Грин (из коробки с его книгами бросились врассыпную крысы), затем книги многих забытых писателей и философов, послевоенные журналы, теоретические труды Сталина, учебники товарищей Тимофеева и Жданова, столетние календари и сонники, а под всем этим гипсовые бюсты Горького, Бетховена, Вука Караджича и почему-то Евклида — головы с отбитыми носами и усами, с мудрым взглядом пустых глаз. Я перетряхнул все белградские книжные развалы, раскопал довоенные издания «Космоса», разрозненные серии «Кадок» и «Голубая птица»; нет, это не были какие-то особо ценные библиофильские издания, лишь старые, дешевые, милые сердцу книги, которыми мы все когда-то зачитывались и которые потом забыли,— встреча с ними была своего рода возвращением в детство, отрочество, юность...

Мне наконец удалось убедить дирекцию «Балкан» взять на работу внештатно через студбюро по трудоустройству двух молодых людей. Не мог же я целыми днями сидеть в магазине! Я выбрал их сам. Они стояли перед Студенческим центром и продавали цветные плакаты. Чубчик, бородатый парень, стройный, как тростинка, и Вёсна, его почти бестелесная подруга, привнесли в «Балканы» что-то от богемного шарма лондонских книжных магазинов. Он носил в левом ухе серьгу, а она ходила босой. Ее ступни безупречной формы были узки и изящны, ногти покрашены зеленым лаком. Они перетащили на улицу Королевы Анны свои плакаты с фотографиями рок-музыкантов, наклейки с вызывающими, провокационными надписями, значки-бляхи и кучу дурацких комиксов.

БОГ — ЖЕНЩИНА!
ЩАС ВЕРНУСЬ! ГОДО
МИККИ МАУС — ПЕДЕРАСТ!
ВСЕ ЗВЕРИ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ ДРУГИХ. ОРУЭЛЛ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАТЬ!

Они принесли проигрыватель с пластинками, и магазин наполнился мелодиями «Времен года» Антонио Вивальди, блюзов в исполнении Кийта Джеррета, гермафродитскими голосами Лу Рида и Дэвида Боуие, гитарными пассажами Рави Шанкара, прекрасно отгоняющими комаров и гремучих змей... В первый же день они зажгли пахучие индусские палочки, и в воздухе повис мистический аромат Востока.

Так изо дня в день, подобно реставратору, снимал я плесень апатии, десятилетиями покрывавшую это злосчастное место, с одной-единственной мыслью: может быть, она когда-нибудь...

Сети на золотую рыбку были расставлены, оставалось только найти подходящую приманку.

9

Хорошо зная тайную писательскую склонность к самолюбованию, не столь бросающуюся в глаза, но еще более неуемную, чем у артистов, я сел на телефон и стал зазывать сначала известных писателей. При этом воспользовался хитростью: просил прийти, чтобы надписывать свои книги. Даже самые преуспевающие литераторы комплексуют, что они никому не нужны. Каждый из них живет сам по себе в клетке из слов и образов и, хотя книжные магазины

должны были бы стать их вторым домом, стесняются заходить туда, боятся, как бы продавцы не подумали, что они приходят полюбоваться на свои книги, боятся показаться смешными, боятся досужих пересудов. Чаще всего они лишь как бы мимоходом останавливаются у витрины и ищут среди разноцветных обложек свое детище. Как они страдают, если их книга не выставлена в витрине! Им кажется, что они всеми забыты, что никто их больше не читает и никто ими не интересуется. Те белградские книготорговцы, которые поняли, как мало нужно, чтобы привлечь литераторов (удобное кресло, стакан вина или чашка черного кофе), можно сказать, вошли в историю отечественной литературы. Кто не слышал о Геце Коне или Цвияновиче, в лавки которых регулярно наведывались наши сегодняшние классики? Я последовал их примеру, сделав при этом еще один решающий шаг,— не желая превращать свой магазин в некий клуб знаменитостей, я задался целью создать нейтральное пространство, где могла бы встречаться и общаться между собой самая разнообразная публика: именитые и никому неизвестные, старые и молодые, красивые и мудрые, бедные и не знающие, куда девать деньги, все поколения одновременно, все те, кто сами не могут найти путь друг к другу, разделенные предрассудками и своим окружением. Исходя из собственного опыта общения с недалекими и навязчивыми продавцами книжных магазинов, которые каждого входящего уже на пороге встречают убийственным вопросом: «Что вам угодно?», я запретил своим юным помощникам вообще обращать внимание на покупателей; пусть каждый делает что угодно, пусть перелистывает, ощупывает, обнюхивает приглянувшуюся книгу, пусть сидит сколько хочет, даже если в итоге ничего не купит; их дело — получать деньги или оказать помощь, если таковая потребуется. Если кому-то купленная книга не понравится после первого прочтения, он может ее спокойно вернуть — мы примем ее назад или заменим другой; если у кого-то вдруг не окажется с собой денег, пусть берет, что желает, так, заплатит, когда сможет! Я купил ящик самого дешевого белого вина и таким образом одним махом превратил свой магазин в драгстор на Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где читатели ночью бродят среди книг с бокалами в руках. Если у нас нет столько книг, сколько у французов, то по крайней мере вина нам Бог дал, сколько душе угодно! Так мы стали первым книжным магазином в стране, где помимо духовной пищи всегда найдется и стаканчик вина, а когда мое вино было выпито, постоянные посетители стали приносить бутылки с собой; через некоторое время я приобрел старый, подержанный холодильник и поставил его в подсобку, сразу превратившуюся в своего рода литературно-питейный клуб. Мне пришла в голову революционная по нашим понятиям идея: если даже самая паршивая кафешка в городе может работать после полуночи, то почему не может книжная лавка? Не существовало установления, которое бы это запрещало, и я воспользовался этим пробелом в законе, создав маленькое ночное царство для великого бессонного братства. Кто-то наверняка скажет, что я вовсе не открыл Америки — во всем просвещенном мире книжные магазины выглядят именно так, как этот, поднятый мною из руин; но тот, кто никогда не занимался книготорговым делом в наших городах, вряд ли поймет, сколь непривычна для нас даже такая мелочь, как отказ от вопроса «Что вам угодно?», не говоря уже о босых ступнях моей помощницы Весны и серьге в ухе моего молодого компаньона Чубчика! Книги у нас продают в основном хмурые, неулыбчивые люди, обиженные на весь свет за то, что они всего лишь обыкновенные продавцы. Большинство из них хотело бы быть по крайней мере директором магазина, если не директором издательства, которому магазин принадлежит. Работу свою они выполняют со скукой, нисколько ее не любя, получают мало и не имеют никаких стимулов что-либо улучшать. Вообще в стране все считают себя достойными лучшего места, чем то, которое им уготовано судьбой, к государству относятся как к матери, которая что-то обещала, а потом не выполнила, работают с отвращением и затаенной злобой, давая на работе выход своей обиде на жизнь и судьбу. Не хочу, конечно, сказать, что я сам святой и энтузиаст, просто мне никогда не хотелось для себя ничего лучшего, чем вот такая книжная лавка, и то, чего я добивался, не было данью честолюбию — ведь я вил гнездышко для райской птицы, и трудностей для меня не существовало. Приглашал телевизионщиков снимать свои передачи о книгах в моем магазине, поил вином корреспондентов радио, чтобы сделали о нас какой-нибудь репортаж, дарил журналистам книги ради одного лишь упоминания в газете о том, что нас посетила какая-то знаменитость, организовывал представления книг, угощал гостей вином, был со всеми любезен сверх всякой меры, пока наша лавка не приобрела славу интереснейшего местечка, где всегда происходит что-то захватывающее. Конечно, это было не так

уж и трудно, хотя я частенько валился с ног от усталости; Белград в данном отношении еще совершенно девственный город, и все, что вы здесь ни сделаете, будет впервые! Все-таки я испытываю некоторую гордость оттого, что мне удалось из мрачной дыры создать прибежище для самых утонченных натур, уютную гавань, где они хотя бы на час-другой могут почувствовать себя не столь одинокими, найти родственные души.

Так проходили мои дни, как в каком-то горячечном сне, но вот вечера... Я не решался идти домой и, упав в два составленных кресла, лежал, погрузившись во тьму, которая была и вокруг меня, и во мне самом. Курил, пил и смотрел, как мимо освещенной витрины проходят нетвердым шагом возвращающиеся с ночной попойки. Они пели и целовались прямо перед моим носом, абсолютно не замечая меня; я ощущал нечто подобное тому, что, должно быть, испытывают мертвецы под бетонной плитой, на которой милуется какая-нибудь парочка. Я ждал, что придет Лена. Она, конечно же, не приходила. Видимо, три года со мной были для нее лишь мимолетным эпизодом, и сейчас она, наверное, жила в каком-то совершенно ином мире, среди совсем иных людей. А может, она сознательно обходила стороной эту часть города, эту улицу, этот магазин? Не думаю, чтобы из-за меня она прилагала даже столь незначительные усилия! Скорее, тут действует старый закон, согласно которому даже в самом небольшом городе мы постоянно встречаем лишь людей, нам безразличных, но не тех, кто нам дорог! Не знаю, что чувствует собака, оставшаяся без хозяина, но если она чувствует хоть что-нибудь, то я чувствовал то же самое. Куда бы я ни шел, за мной тянулся невидимый поводок, другой конец которого держала Лена. Днем, уходя с головой в работу, помогавшую выжить, мне еще как-то удавалось заглушить тоску, но ночью!.. Ночью я начинал понимать, что никогда больше не полюблю, а одному Богу известно, как скучны для меня флирты без любви! Я лежал хмельной, разбитый, брошенный, сраженный, потерянный, жалкий (есть ли еще какое-нибудь определение для этого состояния?), в аквариуме улицы плавали тени, только ее все не было, той волшебной золотой рыбки, которая одна лишь могла исполнить все три мои заветные желания: быть со мной, быть со мной и еще хоть немного побыть со мной!

...Я послал ей «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, чтобы разбудить в ней нежность, и «1984» Оруэлла, чтобы напугать временем, которое грядет...

10

Товарищ Елизавета вошла как раз в тот момент, когда в секретарском кроссворде хрестоматия скрестилась с ономатопеей, египетское божество (Ра) нацепило на себя часть конской сбруи (чересседельник) и при этом получило воспаление семенного канала (эпидидимит) после купания в реке (По), которая, как ни странно, текла по вертикали! Товарищ Елизавета вошла решительным, энергичным шагом, с гордо поднятой головой, похожая на командующего невидимыми войсками, которые как раз готовятся к торжественному смотру. На ее плечи в строгом сером костюме с золотым значком в петлице словно бы давил неимоверный груз ответственности; все то время, пока она там мужественно сражалась за интересы нашего издательства, мы, трое мужиков, это сразу видно, сидели и плевали в потолок. Плиссированная белая блузка облегала крупные вислые груди кормящей матери. Короткие, полные пальцы, похожие на сырные палочки, с аккуратно подстриженными ненакрашенными ногтями, украшало строгое обручальное кольцо, наподобие тех, какими метят голубей. Ободки слишком тесных туфель глубоко врезались в колоннообразные ноги; густые, коротко остриженные волосы и большая родинка на правой щеке, из которой торчит несколько волосков, довершали образ классной дамы, которой по ошибке достался класс малолетних преступников. Я попытался представить ее девушкой: ее молодость — без эротики. Ее жизнь — без пороков. Ее туфли — без каблуков. Она гораздо моложе меня, но все же: стал ли бы я спать с ней? Наверное, с тем же удовольствием я бы трахал какой-нибудь огромный пресный вареник с дряблой консервированной сливой внутри. После того как она в гробовом молчании извлекла из своей бездонной сумки и разложила на столе какие-то бумаги, выдержала длительную многозначительную паузу (предназначенную для того, чтобы мы сами припомнили все свои грехи, начиная от самых давних, еще детских, и до сегодняшних, идеологических), товарищ Елизавета весьма похвально отозвалась о проделанной мной работе, подчеркнув, что магазин уже давно перестал быть убыточным, приносит немалый доход и даже, можно смело сказать, выполняет

положительную культурно-просветительную миссию в нашем городе... Она говорила негромко, не поднимая глаз от разложенных шапирографированных материалов, то и дело подчеркивая в них какую-нибудь строчку. Во время своей речи она делала долгие паузы между отдельными словами, точно ожидая, что каждое из них, торжественно произнесенное ненакрашенными губами, в ту же секунду превратится в гранитную статую с решительно поднятым кулаком. Ее гнусавый, монотонный голос оказывал усыпляющее воздействие на будущие жертвы, лишая всякой способности к сопротивлению, предваряя смертельный укус богомола. Все это долгое и утомительное предисловие было лишь обязательным прологом к торжественному ритуалу предания анафеме. Быть жертвой у нас гораздо тяжелее, чем где-либо в мире! Нигде больше от жертвы не требуют, чтобы она сама же аплодировала собственной казни.

— Знаешь что,— сказал я секретарю,— я бы все-таки чего-нибудь выпил!

11

Когда я однажды на трезвую голову подсчитал, сколько обычно выпиваю за сутки, то пришел в ужас. И все же я не причисляю себя к пьяницам. Кстати, какая разница между пьяницей и алкоголиком? Не знаю. Однако пьяница по сравнению с алкоголиком мне как-то понятнее, симпатичнее, что ли... Я, правда, никогда всерьез не пробовал, но думаю, вполне бы мог и не пить. Вот не курить, пожалуй, не мог бы! Тут, возможно, следовало бы вспомнить, как я вообще начал пить, но к чему? Все как-нибудь начинают. Чаще всего чтобы казаться взрослее. Входя в литературу, я входил в кафаны, полные пьяных литераторов. Как и остальные начинающие, завоевывал их благосклонность тем, что время от времени за них расплачивался. Почему они столько пили, словно задавшись целью поскорее свести счеты с жизнью? Когда я сегодня думаю о тех далеких временах, мне кажется, что по причине тонкого душевного склада они просто не могли вынести окружавшую их грубость и ложь. Надо полагать, им грозило классическое шизофреническое раздвоение личности, и, чувствуя это, они пытались с помощью алкоголя как-то склеить две половины своей души. Государство ждало от них здорового, конструктивного искусства, провозгласив их «инженерами человеческих душ», в то время как голая правда жизни врывалась в их поэзию, разбивая официальный оптимизм. Пока они молчали, публично выказывая свою благонадежность, они могли пользоваться определенными привилегиями прогрессивных художников, но стоило им хоть на мгновение уступить внутреннему порыву, заставлявшему писать еретические сочинения, как их сразу же наказывали устранением из общественной жизни. И вот, зажатые между догмой, с одной стороны, и своим инстинктом художника — с другой, между страхом отлучения и жаждой свободы, наиболее ранимые среди них обнаружили случайно забытую щель, единственную лазейку в четко продуманной системе — вино! Ведь ни один даже самый жестокий режим не рассматривает пьянство как диверсию, считая его скорее болезнью, простительным пороком слабых. Благодаря этому многие писатели получили своего рода индульгенцию. Изображал ли Гамлет сумасшествие или действительно был безумцем? Во всяком случае, веди он себя разумно, как остальные при дворе, ему бы ни за что не дожить до последнего действия. («Если это и безумие, то в своем роде последовательное...») В нашем народе пьяница спокон веку имел статус божьего человека. Недаром говорят: «Пьяного да малого Бог бережет!» Это все равно как голубь на площади: нельзя его тронуть, чтобы не навлечь на себя всеобщего осуждения. Отношение к пьяным всегда было самым снисходительным. Они, подобно придворным дурачкам, спокойно могли резать правду-матку в глаза сильным мира сего, за что любого трезвого в один миг отправили бы на каторгу. Отказавшись добровольно от участия во всеобщей гонке, пьяницы оказались так низко на общественной лестнице (вернее сказать, вообще вне ее!), что для властей предержащих стали недочеловеками, на которых смотрят с благосклонным сочувствием. Мне приходилось несколько раз наблюдать, как бывшие именитые полицейские чины, суровые люди с неспокойной совестью, чуть ли не с мазохистским удовольствием позволяли в кафане пьяным поэтам оскорблять себя при всем честном народе. Они терпеливо сносили поношения, сами не давали официантам вышвырнуть нахалов вон, даже заказывали для своих хулителей вина, чтобы как-то их умилостивить. Обидеть пьяного в наших краях считается большим грехом, а если несчастный! к тому же еще и поэт, редко кто решится тронуть его. Кто теперь помнит боевые победы генерала Ранко Алимпича, начальника Военной академии, члена Государственного совета, командующего

добровольческими отрядами от Рашки до устья Дрины, кто помнит прославленного командующего Дринской армией, участника войн 1876—1878 годов, иначе как «душегуба», приказавшего своим молодцам избить Джуру Якшича? В истории сербского народа он остался как человек, не стерпевший оскорбления от пьяного поэта! У внуков начальника белградской полиции Божи Максимовича тоже нет оснований особенно гордиться своим дедом, выславшим в 1925 году из столицы за бродяжничество горемычного поэта Тина Уевича...

Возможно, именно в этом следует искать причины безудержного пьянства нескольких послевоенных писательских поколений, чье благословенное похмелье до сих пор ощущается в нашей литературе, которую я, кстати, застал под приличным градусом, войдя в свое время в ее призрачный мир. Надо, однако, сказать, что Белград не сто́ит своих пьяниц! Во всем просвещенном мире пристрастие к рюмке является сугубо личным делом, неприкосновенным, как частная собственность. Нам же, живущим друг у друга на виду (за неимением больших городов, где вы можете спокойно напиваться, затерявшись в каком-нибудь чужом районе), никогда не удастся надраться так, чтобы уже назавтра об этом не болтали на каждом углу. И человек может быть настоящим мастером в своем ремесле, но его всегда будет преследовать злополучная репутация пьяницы: «Он отлично работает, но пьет!» Эта фраза, которую мы так часто слышим, могла бы звучать и по-другому: «Он, правда, пьет, но отлично работает!» Почему я пью? Прежде всего это для меня не привычка, а ежедневный праздник! Ищу ли я в вине забвения? Ерунда! Наоборот, оно помогает мне вспомнить вещи, о которых трезвым я забываю. Они возникают из винных паров, иногда я могу их даже пощупать, столь осязаемую форму они принимают! Пью ли я потому, что страдаю? Нет. Вино меня прежде всего радует. Я люблю его терпкий вкус, запотелость бутылки со слезой на холодном стекле; обожаю первый долгий глоток, скользящий по пищеводу, с удовольствием предвкушаю легкое головокружение, которое наступит через несколько секунд; люблю священный ритуал поцелуя двух наполненных бокалов, их хрустально-чистый звук (чин-чин!), предаюсь блаженному состоянию, когда все становится возможным, все женщины — красавицы и все люди добры и умны... И наконец, чем кроме вина я могу порадовать себя в любое время дня и ночи? Любовью? Путешествиями? Успехом? Почему я пью?

Да потому.

Говорят, пить вредно? Да, вредно. Так же, как и жить. Один философ написал, что неприятности у человека начинаются, как только он выходит из своей комнаты. Я бы это сузил до постели. Хотя и в постели мы не гарантированы от неприятностей. Особенно если в ней кроме нас есть еще кто-то! С другой стороны, я не принадлежу к людям, экономно потягивающим свою жизнь маленькими глоточками, чтобы надольше хватило. Я не транжирю ее сознательно, но и не экономлю. И, кажется, растрачиваю быстрее других. Это потому, что про себя я всегда считал, что имею в распоряжении по крайней мере девять жизней. Одну я отдал литературе. Вторую — старым книгам. Третью, скажем, проспал. Четвертую посвятил картинам и художникам. Пятую жизнь у меня растащили по кусочкам. Шестую взяла Лена. Седьмую я утопил в вине. Восьмую теперь разбазариваю в своей лавке. Остается, стало быть, еще одна. Как-то я проживу ее без Лены?

12

...однако товарищи положа руку на сердце следует признать что в нашей работе допущены и определенные ошибки и давно пора откровенно и по-товарищески поговорить о них возможно вам товарищи мои замечания и наблюдения покажутся придирками однако в настоящий момент характеризующийся исключительно сложной политической обстановкой товарищи когда внутренние недруги смыкаясь с реакционными международными кругами используют товарищи каждую возможность чтобы вставлять палки в колеса нашего развития...

(Я напрягал все силы, чтобы не заснуть, пытаясь представить толпу недругов с оскаленными, как на картинах Домье, физиономиями, совместными усилиями заталкивающих длинную жердь между спиц в колеса громыхающей по камням телеги, но мне все никак не удавалось найти подходящее композиционное решение, тщетно призывал я на помощь желчного Георга Гроса, а после неудачи с его циничными уродцами даже самого Хиеронимуса Босха — фантасмагорические фигуры беспомощно кувыркались в пыли за повозкой, неудержимо летящей к светлому горизонту.)

...и любыми способами пытаются проникнуть в наши ряды в ходе организованной психологической войны такое место как наш книжный магазин на улице Королевы Анны думаю это всем ясно товарищи представляет собой идеальную почву для их деятельности возьмем к примеру подбор книг в витрине я вижу товарищ Лукач морщится но я бы порекомендовала ему не возражать а самому осознать свои ошибки товарищ Лукач конечно скажет что выставляет в витрине книги пользующиеся наибольшим спросом допустим с этим я согласна но давайте взглянем на проблему и с другой стороны зададимся вопросом товарищи должны ли мы идти на поводу у массового потребительского вкуса слепо следовать стихийным законам рынка или же нашей задачей является постоянная целенаправленная работа с широкими читательскими массами в направлении дальнейшего углубления идейно-политического воспитания уделяя особое внимание товарищи тем изданиям товарищи без которых хотя они и не пользуются чисто коньюнктурным спросом невозможно представить товарищи и т. д. и т. п. далее возникает вопрос о распитии спиртных напитков в книжном магазине товарищ Лукач утверждает что во Франции и Америке есть книжные магазины в которых пьют и даже едят мы не ставим это под сомнение товарищи мы верим товарищу Лукачу на слово но позвольте задать вопрос стоит ли подражать западным нравам в наших особых культурно-исторических условиях и прилично ли вообще некоторым товарищам выпивать с самого утра непонятно также почему товарищ Лукач разрешает своей помощнице разгуливать по магазину босиком к тому же товарищи с ногтями выкрашенными в зеленый цвет культурно ли это что скажут люди что касается того молодого человека с бородой и серьгой в ухе никто даже не знает как его настоящее имя так вот некоторые товарищи мне жаловались что он встречал их задрав ноги на стол и даже не спросил что их интересует я и сама имела возможность убедиться что покупатели там сидят на полу и на книгах а некоторые товарищи даже лежат как у себя дома так что через них приходится перепрыгивать что согласитесь неприлично если надо товарищи мы выделим дополнительные средства и купим необходимые стулья и кушетки чтобы можно было сидеть культурно но терпеть подобное безобразие больше не будем товарищи возвращаясь к вопросу о молодом человеке с серьгой и девушке с зелеными ногтями мы приобретем для них пристойную спецодежду с эмблемами нашего издательства а что касается музыки гремящей там с утра до вечера то никто товарищи не возражает против музыки но она не должна быть слишком громкой и кроме того надо внимательнее следить за тем что это за музыка я не удивлюсь товарищи если эти волосатые хиппи которые заполнили магазин превратив его в балаган употребляют там наркотики а то и занимаются кое-чем похуже а что касается разных дурацких значков товарищи я вот тут переписала с них некоторые надписи я их вам зачитаю а уж вы сами судите о пользе подобных возмутительных лозунгов вот например ЭДИП, ПОЗВОНИ МАМЕ! ЭРЦГЕРЦОГ ФЕРДИНАНД НАЙДЕН ЖИВЫМ И ЗДОРОВЫМ — ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ ПО ОШИБКЕ! ВОДИТЕЛЬ, ОСТОРОЖНО: ЗДЕСЬ ДЕТИ, А НЕ УЧИТЕЛЯ! ПЛАНЕТА В КЛИМАКСЕ! АНАРХИСТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НЕКРОФИЛИЮ! ЖЕНЩИНА БЕЗ МУЖЧИНЫ — ЧТО РЫБА БЕЗ МОТОЦИКЛА! ХВАТИТ С НАС ПОРЯДКА — ДАЙТЕ НАМ ГАРМОНИЮ! и так далее и тому подобное не буду перечислять остальные возмутительные надписи откуда взялись эти значки в нашем книжном магазине кто их там развесил кому их продают и где учитывается доход от них и еще товарищи мы в эти дни тоже включаемся в широкую кампанию по борьбе с курением в общественных местах и должны самым серьезным образом рассмотреть вопрос о том чтобы и в нашем книжном магазине...

13

Популярность нашей лавки объясняется помимо прочего тем печальным фактам, что во всей Европе, наверное, нет другой страны, столь бедной книжными магазинами, как наша. Я, конечно, не стану утверждать, что мне книжный магазин дороже кафаны, но, приезжая в чужой город, я прежде всего невольно ищу глазами витрину с книгами. Что до кабаков, то тут не нужны особые усилия — в незнакомом городе можно промочить горло уже за буфетной стойкой на любом вокзале. По витринам книжных магазинов я могу легко составить представление о духовном облике горожан. Вижу, к примеру, красивый, процветающий городок: многоэтажные здания, асфальтированные улицы, ухоженный парк, современный торговый центр — и ни единого книжного ма-

газина! Витрины забиты всевозможной бытовой техникой, модной одеждой, мебелью, телевизорами, проигрывателями, телефонами, миксерами — настоящее изобилие, но несмотря на это вам становится как-то не по себе, появляется чувство, будто вы оказались среди современных дикарей, которым вполне достаточно быть сытыми, одетыми и иметь крышу над головой. В большинстве наших населенных пунктов нет ни одного книжного магазина! А если и есть что-нибудь похожее, то продаются там учебники, сборники инструкций, какие-то бланки, бумажные стаканчики, обои, игрушки и канцелярские товары. В центре витрины обычно гордо стоит пишущая машинка, вокруг которой почему-то выложены звездой носовые платки, гигиеническая вата и конфетти... Кто-то, конечно, подумает, что наш народ ни в грош не ставит литературу, однако это далеко не так. Мы просто еще не вполне привыкли к печатному слову, потому что веками жили почти без единой книги. И при этом, кажется, дорожили тем немногим, что имели, куда больше, чем другие, более счастливые народы своими богатствами. Пожелтевшие песенники и церковные календари передавали по наследству и берегли как реликвии. Редкие рукописные, монастырские книги, жития святых и царей, первые переводы западных романов путешествовали при переселениях в самые отдаленные уголки Европы, закапывались в землю во время нашествий завоевателей; многим в наших краях книга стоила головы. И вот, когда мы наконец-то вдоволь наелись после векового голода, первое, о чем позабыли, была книга, та самая книга, что нам непрестанно напоминала, кто мы и откуда, помогая сохранить свое духовное естество. Но зато у нас шире, чем где-либо, процветает то, что можно назвать устной литературой, она пустила в нас глубокие корни, превратив нас в народ говорунов-сказителей. Вечером за любым столом в любой нашей кафане наберется материала для трехтомного романа, а каждый второй знакомый, которого вы встретите на улице, исполнит настоящую монодраму! В том, что книга и сегодня кое-как, с грехом пополам, но все же доходит даже до самых отдаленных уголков, исключительная заслуга принадлежит бродячим книготорговцам. Я и сам в свое время несколько лет был одним из бесчисленных миссионеров книги, членом безымянного легиона коммивояжеров, путешествующих по городам и весям этой прекрасной полуграмотной страны. Я обходил провинциальные книжные лавки, навещал библиофилов в самой что ни на есть глубинке. Какие это были времена! Я по многу дней гостил у одиноких интеллектуалов, жаждущих столичных новостей, питался продуктами без пестицидов, пил лучшие вина с местных виноградников, без труда очаровывал провинциальных учительниц литературы... Меня снова потянуло в дорогу! Я бы выехал ночью. Дороги в это время пусты, а радио развлекает по ночам одинокого путешественника. Еще лучше бывает в горах, когда утихнет болтовня столичных диск-жокеев, а из мерцающего зеленоватой шкалой настройки приемника польется космический шум пустого эфира, тогда остается только движение и темнота, необозримое море времени, где мелькают разные лица, подобно ночным бабочкам и мошкам, ослепленным пучками света автомобильных фар; виденные места, пережитые события, рой воспоминаний... Я люблю это ощущение одиночества в машине, доверху набитой книгами, ждущими своего часа, чтобы одухотворить серые жизни безвестных покупателей. Я колесил по сонной земле, как Чичиков в «Мертвых душах». Правда, Чичиков скупал мертвые души. Я их продавал. В красивых переплетах. По отдельности и сериями. С получением сразу или после уплаты первого взноса при покупке в рассрочку. Провинция! Терра инкогнита. Ноздри мои наполнились ароматом прелых листьев и русских классиков. Мне вспомнился Гоголь:

«В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки...» И дальше: «...Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русских мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты,— сказал один другому,— вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет»,— ответил другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет»,— отвечал другой. Этим разговор и кончился».

Меня всегда интересовали коммивояжеры, разъездные торговые агенты: всегда в пути, всегда на колесах... Что заставляет их странствовать по дорогам, обивать пороги, питаться в дрянных забегаловках, ночевать в третьеразрядных

гостиницах и мотелях, в холоде и неудобстве, становясь постепенно чужими в собственных семьях? Я заметил, что некоторые из них — бродяги по натуре, которым никак не удается привыкнуть к тихой домашней жизни, и они рады-радехоньки, что подвернулась такая работа, оправдывающая многолетние скитания. Другие принадлежат к разряду неудачников; это пенсионеры, раньше времени отправленные «на заслуженный отдых», разжалованные офицеры, ветераны войны, опустившиеся интеллигенты, учителя или преподаватели, не сумевшие найти работу по специальности... Третью группу составляют прирожденные авантюристы, мошенники, плуты и проходимцы. Эти, конечно, наиболее интересны.

Один из них годами отирается у семейных склепов на кладбищах, подходит к безутешным вдовам, держа наготове подписной бланк. Выразив соболезнование, он тут же переходит к делу — ему, конечно, ужасно неловко, но что поделаешь, покойный как раз неделю назад заказал у него собрание сочинений Перл Бак в кожаном переплете, и он счел своим священным долгом прийти на кладбище, чтобы исполнить последнюю волю усопшего. Если вдова не желает брать книги, он самолично опустит их в могилу и сам внесет плату, такой уж он человек! Ну кто, скажите, не подпишет бланк-заказ такому чувствительному? На его бланки упало куда больше горячих слез, чем на самые жалостливые любовные романы. Само собой, за день такой книжный стервятник раз десять слетает на разные похороны...

Вообще в этом деле главное — заполучить подпись покупателя на подписном купоне, обязывающую его аккуратно выплачивать кредит. Когда подпись поставлена, работа коммивояжера закончена: на основании подписанного документа он стребует с издателя свои комиссионные. Я знавал одного книготорговца, который специализировался на продаже собраний сочинений Кафки и Джойса неграмотным сезонным рабочим и цыганам-кочевникам, которых потом ни один суд во всем государстве не мог найти, чтобы взыскать деньги. Он отыскивал их на отдаленных стройках, поил пивом в столовках, только чтобы поставили на бланке крест или приложили палец, а затем сам вписывал их несуществующие адреса. Прохиндей вручал им комплекты книг и тут же выкупал назад за сотую часть цены, чтобы продолжать торговлю на других стройках у черта и бога на куличках...

(Кстати, эти ловкие, нахрапистые люди, на которых интеллектуалы смотрят презрительно и свысока, зарабатывают несравненно больше самых читаемых писателей, книги которых продают!)

Наиболее хитрые и образованные из них, как вороны, почувствовавшие добычу, устремляются в дома только что умерших профессоров университетов и библиофилов и скупают за бесценок их богатые, собиравшиеся всю жизнь библиотеки, с которыми наследники не знают что делать. Наследники — обычно сын или внук с молодой женой и ребенком, у которого якобы аллергия на книжную пыль; они чаще всего и не подозревают, какими библиографическими редкостями владеют, и с восторгом соглашаются на любую цену, какую им ни предложат. Потом книги перекочевывают к букинистам и в библиотеки знатоков, которые отваливают баснословные суммы пронырливым перекупщикам, не стесняющимся ежедневно интересоваться здоровьем старых, больных владельцев библиотек, будущих кандидатов на кладбище.

Впрочем, я не упомянул еще об одном типе книготорговцев. Это неудавшиеся писатели (обычно графоманы), вынужденные сами и издавать, и печатать, и продавать свои сочинения. Их нередко можно увидеть в кафанах и парках: они переходят от столика к столику, от скамейки к скамейке, предлагают свои книги, вызывая жалость и угрызения совести у преуспевающих коллег. Их легко узнать по печальному виду и большим кожаным сумкам, в которых они таскают собственные издания. Один из них, теперь уже старик, бывший до войны видным политическим деятелем, пошел, насколько я могу судить, дальше всех. Издал за свой счет мемуары, которые продавал исключительно у себя дома! Он любезно встречал потенциального покупателя, угощал его кофе или чаем, заводил беседу. Мемуары, однако, продавал только в том случае, если посетитель внушал ему симпатию и доверие. Должен признаться, что меня столь трогательная коммерция приводит в восхищение, если б это было возможно, я бы с радостью завел подобные порядки и в своем магазине. Ведь сердце кровью обливается, когда какой-нибудь явный болван покупает дорогую для меня книгу, взывающую из его лап о помощи!

Поэтому, что бы ни думали о торговцах книгами, какими бы мотивами они ни руководствовались, у меня всегда становится тепло на душе при виде их на площади какого-нибудь захолустного провинциального городка. Они мо-

гут остановить свой фургончик где угодно; разложат книги на капоте и крыше машины, и вот вам уже книжная лавка в зародыше, оазис печатного слова посреди всеобщей тупости и животного безмыслия.

Однако книжный магазин — это не только место, где можно купить книгу. Это нечто гораздо большее, выражаясь возвышенным языком,— маленький храм словесности среди векового мрака, что-то вроде святилища для тех, кого еще не совсем поглотила страсть к приобретательству, обжорству и дешевым увеселениям. Поэтому книготорговец — не просто продавец; помимо того, что он нередко является другом писателей, он еще и посредник, дающий рекомендации растерявшемуся читателю или исподволь подводящий его к выбору именно той книги, которую он сам вряд ли разыскал бы в море печатной продукции. При встрече с будущим читателем настоящий книготорговец прежде всего стремится помочь ему преодолеть робость, которая охватывает так называемого простого человека, теряющегося среди бесчисленных имен и названий и пуще всего на свете боящегося показаться невеждой. Для этого, по-моему, лучше всего не обращать на покупателя никакого внимания, дать ему возможность расслабиться, чтобы в нем проснулась дремлющая любознательность, надо выставить самые интересные книги на видное место, разложить их на столах и на полу, открыть свободный доступ к полкам, убрав традиционные прилавки. Благодаря всему этому покупатель начинает все чаще заглядывать в магазин даже тогда, когда не собирается ничего покупать, точно так же, как заходит на чашку кофе к приятелю-портному, даже когда не шьет у него костюм.

14

...а теперь что касается различных высказываний и интервью должна сказать и прошу понять меня правильно никто не ставит под сомнение компетентность товарища Лукача в вопросах которыми он занимается и мы рады что он является членом нашего коллектива но одно дело товарищи компетентность и совсем другое публичные высказывания я имею в виду различные заявления и интервью для газет и других средств массовой информации ведь в этом случае он товарищи не может выступать товарищи как так сказать частное лицо а лишь в рамках своих должностных обязанностей и штатного расписания здесь товарищи необходимо провести четкую грань и со всей серьезностью подчеркнуть что совершенно недопустимы любые высказывания а тем более в негативном смысле без предварительного согласия дирекции исходя из необходимости выработки общего мнения всего коллектива тут есть немалая доля вины некоторых товарищей из средств массовой информации которым конечно же легче всего поболтать за бутылкой в магазине высказываясь при этом товарищи в пренебрежительном смысле о нашей общественной системе они якобы интересуются какие книги на сегодняшний день пользуются наибольшим спросом но ведь можно кажется приложить некоторые усилия и найти соответствующих ответственных товарищей которые представят полные и достоверные данные не только о состоянии дел на текущий момент в смысле маркетинга но и о перспективных издательских планах предстоящих задачах и если хотите определенных трудностях которые мы товарищи не скрываем а также познакомят их с другими проблемами с которыми мы сталкиваемся в своей работе но нет товарищи падкие до дешевых сенсаций они вместо этого предпочитают делать из работника прилавка эстрадную звезду притом товарищи выступая с мелкобуржуазных технократических и я не боюсь этого слова анархо-либеральных позиций и мы товарищи не можем больше смотреть на это сквозь пальцы мы должны найти новые формы работы выработать новые подходы тем более товарищи что нельзя забывать сколь бы бойко ни торговал магазин на улице Королевы Анны доход от него составляет лишь три процента всех доходов нашей трудовой организации в целом другими словами весьма незначителен и мы спокойно можем товарищи если так будет продолжаться и далее просто-напросто прикрыть эту лавочку или превратить в складское помещение что никак не отразится на широком спектре нашей деятельности в целом мы вполне сможем обойтись и без нее в нашем дальнейшем поступательном развитии опираясь на передовой опыт и многолетнее расширяющееся и весьма плодотворное сотрудничество с книготорговыми службами других издательств думаю двух мнений тут быть не может поэтому предлагаю вам товарищи рассмотреть будущую концепцию профиль формы деятельности а также целесообразность сохранения книжного магазина «Бал-

каны» в его теперешнем виде кроме того следует обсудить и морально-политический облик работающих в нем товарищей с тем чтобы сделать соответствующие выводы у меня все не выпить ли нам кофе?

15

После месяца работы в магазине я выставил в витрине черную школьную доску, на которой каждую неделю мелом писал названия десяти самых ходких книг. Хотите верьте, хотите нет, но это был в то время единственный список бестселлеров во всей Югославии! Конечно, в цивилизованных странах такой способ определения наиболее читаемых книг уже давно стал привычным, в Европе, наверное, нет ни одной газеты или журнала, которые не печатали бы регулярно подобные перечни. У нас же к публикации таких списков всегда относились с подозрением, как к сомнительному западному обычаю. Причина, видимо, в том, что достоинства книги у нас всегда измерялись не популярностью ее у читателей, а репутацией, которой пользуется автор в обществе. Официальное общественное мнение не любит, когда народ охотно читает произведения какого-нибудь сомнительного типа, пусть даже большого художника, но личности неблагонадежной, упорно игнорируя широко разрекламированную книгу безупречного гражданина, которую усиленно рекомендуют и политики, и критики, осыпая ее всевозможными премиями. Одно время и в наших газетах публиковались перечни самых читаемых книг, но вскоре стало ясно, что они совершенно обесценивают суждения критиков, поскольку произведения, которые они расхваливали, как правило, не вызывали ни малейшего интереса у читателей. Сердиться на подобный хит-парад (при условии достоверности данных) — это все равно, что злиться на неблагоприятную сводку погоды. Но в обществе, официально признающем лишь безоблачное небо и замалчивающем непогоду, все возможно. Один за другим хит-парады постепенно заглохли, вернее сказать, были задавлены. Все больше неблагонадежных лиц писало хорошие романы, в то время как непроданные книги официальных лауреатов скапливались на складах, выстраиваясь в целые подземные улицы бледных и скучных сочинений. Между тем вновь возродился совершенно особый полузабытый вид рекламы, что передается из уст в уста, воскресший по необходимости в век электроники, подобно тому, как возникает из небытия утюг с раскаленным углем, когда отключают электричество. Лучшей рекомендацией для книги все еще остается совет того, кто ее уже прочитал и сказал другим, что вещь стоящая. Крупнейшие пропагандистские машины бессильны перед этой необычайно живучей и всеохватной народной рекламой. Появление в витрине моей доски с выведенными мелом названиями бестселлеров произвело в литературном Белграде действие разорвавшейся бомбы! Читатели, писатели и торговцы книгами уже давно забыли о самой возможности существования чего-либо подобного. Конечно, я не хочу сказать, что сознательно стремился к этому, когда выписывал первые десять названий; всего-навсего хотел привлечь как можно больше народу в заброшенный магазин, однако десять правдивых оценок в море лжи совершили настоящее чудо! Ведь тут рейтинг ни в коей мере не зависел от репутации и официального признания автора, мне было совершенно безразлично, кто он — впавший в немилость литератор или могущественный функционер, лауреат высших государственных премий. Я составлял свой список на основе простейшего из всех возможных методов — в зависимости от количества проданных экземпляров книги. Так витрина небольшого магазинчика неожиданно превратилась в неподкупный барометр литературных вкусов. Всего лишь фиксируя реальное положение вещей, я и не подозревал, что восстановил против себя целый полк продажных критиков и редакторов, у которых появился на меня здоровенный зуб и которые стали с вожделением ждать первой зацепки, чтобы расправиться и со мной, и с ненавистной черной доской, и с магазином. С другой стороны, я приобрел расположение беззащитных, третируемых авторов; обыкновенная правдивая информация, не зависящая от чьих бы то ни было влияний и власти, оказалась драгоценной поддержкой в их тяжелом, затворническом труде. Они стали все чаще заглядывать в магазин и приводить друзей. Все это создавало вокруг моей скромной лавки атмосферу скрытого напряжения, в которой рождалось нечто, что я еще и сам не мог до конца понять.

Но этого было далеко не достаточно для того, чтобы паршивая дыра вдруг наполнилась жизнью и привлекла интересных людей. Не хвастаясь, но и без ложной скромности смею утверждать, что тут необходим особый талант; не талант писания, который у меня давно выдохся, как вино в незакрытой бутылке, и не талант обольщения, пропадающий в тот же самый миг, когда

признанный сердцеед наконец страстно влюбляется и сдается на милость чьих-то ласковых глаз... В данном случае речь идет об особом таланте общения. Я долго не замечал его в себе, но вот неожиданно он стал помогать мне в моей новой работе. Вообще я твердо убежден, что нет на свете человека, у которого бы не было никакого таланта. Иногда это блестящий дар художника, будоражащий и освещающий целую эпоху, но чаще всего природа наделяет людей талантами помельче, даваемыми как бы в утешение, чтобы просто зарабатывать на жизнь: это таланты готовить, петь, играть, чинить моторы или делать деньги... Интересно, что мне мой талант до той поры не только не приносил никакой прибыли, но даже мешал. Сколько раз в компании я мечтал хоть немного побыть один, пообщаться в тишине с самим собой. Я всегда завидовал людям, страдающим бессонницей (мне не хватает дня для чтения, а заснуть я могу даже стоя), и тем, кто жалуется на одиночество. Они просто не сознают, как прекрасно оставаться одному, наедине с собой, своими мыслями, своей душой. Надо сказать, мне редко удавалось бегство в благодатное одиночество. Всегда кто-то вместо меня распоряжался моим временем, нахально предъявляя какие-то права на мою жизнь и поступки. Видимо, так получается потому, что я в основном стараюсь быть любезным, хотя мне от этого, как говорят в народе, такая пожива, что дай Бог быть живу! Я известен тем, что умею терпеливо слушать; те, кто обрушивает на меня свои монологи, конечно, не подозревают, что я в такие минуты полностью отключаюсь и думаю о чем-нибудь своем, рассеянно кивая головой. Возможно, мой талант состоит в умении, длительное время общаясь с человеком, никогда не переступать границы близости, а может быть, моего общества ищут и потому, что я не требую и не жду от дружбы слишком многого, того, что она не может дать. Самое большее, чего я требую от людей,— это вежливости. Все остальное меня мало трогает. У нас ведь так мало хорошо воспитанных людей, что я готов расцеловать каждого, кто умеет улыбнуться и сказать «Здравствуйте!» или приподнимается со стула, чтобы приветствовать вошедшего, даже если он не является важной персоной, не говоря уже о тех, кто помнит, у кого когда день рождения или умеет в разговоре обойти неприятность, которая с вами только что приключилась и о которой говорит весь город! Такие меня просто приводят в восторг, что бы там они из себя на самом деле ни представляли. Так вот, когда я сажусь за свободный столик в кафане, можно быть уверенным, что через полчаса за ним соберется столько народу, что мне в конце концов придется встать и уступить кому-нибудь свое место. Признаться, я не бог весть какой говорун, а уж тем более не тот, кого обычно называют «душой общества», анекдоты у меня вызывают отвращение, от сплетен и перемывания косточек всевозможным знаменитостям меня с души воротит, не выношу профессиональных кабацких краснобаев, язык у меня развязывается только когда напиваюсь, по большей же части я молчу, прислушиваясь к журчанию разговора... В чем же тогда дело? Может быть, я являюсь чем-то вроде медиума, связующего звена для самых разных характеров? Больше всего меня раздражает то, что между людьми, не знавшими друг друга, которых я сам же и познакомил, завязывается гораздо более близкая дружба, чем со мной! Потом они начисто забывают, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы преодолеть их взаимную антипатию и предубеждения. Вместо благодарности (которой я вовсе не требую) некоторые из них потом даже объединяются против меня! Тогда я начинаю чувствовать себя обманутым; в их близости, которой я сам споспешествовал, кроется что-то недостойное, что-то вроде маленького предательства. Обычно я переступаю через это, стремясь к тому, чтобы всем было хорошо. То, что мне придется отойти в сторону, считаю естественным — такая уж, видать, судьба. Все же где-то глубоко в душе у меня теплится надежда, что однажды я встречу настоящих людей, таких, которые никогда не сделают ничего подобного. Это, конечно, следствие веры в сказки и пристрастия к ковбойским фильмам, в которых хорошие парни всегда побеждают плохих. Иногда до меня случайно доходят чьи-нибудь высказывания о Педже Лукаче, ошибочные в основном отзывы. Кто-то считает, что я тщеславен и люблю быть в центре внимания. Другие утверждают, что я неисправимый сноб, претендующий на какую-то особую значительность, не соответствующую моему положению. Третьи говорят, что я жажду общества знаменитостей, чтобы погреться в лучах их славы, что я «везде суюсь», изображаю любезность, будучи на самом деле черствым и циничным; во всем, что я делаю, они усматривают определенный расчет, неизвестно, правда, на что... Должен признаться, подобные оценки меня задевают, однако я ничего не предпринимаю, чтобы их опровергнуть: по-прежнему пускаю за свой стол тех, кто

оттачивают на мне свои языки, стараюсь быть выше обид, надеясь, что в конце концов меня все же поймут. Хотя, повторяю, я бы солгал, если б сказал, что не страдаю от этого. Видеть себя глазами других — как это ужасно! Такая картина нисколько не похожа на тот автопортрет, который мы рисуем с детства в самом розовом цвете.

Но вот наконец все то, что раздражало меня в этом вечном совместном сидении за одним столом, вдруг сослужило огромную службу в моем новом деле! После непрерывной полосы неудач мне вдруг улыбнулась удача! Общение оказалось чертовски выгодным делом! Те, кто годами отнимали у меня время и деньги (обыкновенно я плачу за всех), неожиданно, сами того не заметив, превратились в бесплатных статистов в моей лавке, которая без них бы наверняка пустовала. Есть все-таки Бог на небесах! Не будь я по своей глубокой сути неудачником, можно было бы смело сказать, что я нашел себя в новом деле.

Я обнаружил, что общение заразно. Вскоре у нас сложился круг «постоянных клиентов», которые стали регулярно заходить и днем, и по вечерам, подолгу сидели, назначали в лавке встречи... В свою очередь вокруг каждого из них тоже кучковались друзья и случайные знакомые, которые приводили уже своих приятелей, и вот так, сам собою сформировался довольно обширный контингент наших постоянных посетителей и покупателей. Этих людей не связывали ни политические взгляды, ни принадлежность к одному поколению, ни эстетические вкусы. Напротив! Секрет в том, что они так сильно отличались друг от друга, что каждый для каждого становился настоящим открытием! Выползши из своих нор, писатели, годами не здоровавшиеся на улице, стали неразлучными друзьями. Не бравшие в рот ни капли спиртного запили, а те, что всю жизнь избегали женщин, повлюблялись до безумия в девчонок, потребляющих любовь с той же жадностью, что и жевательную резинку. Это, разумеется, не означает, что в магазин не наведывались регулярно педерасты, вернее, их интеллектуальная элита, но тут не было ничего странного, их присутствие придавало нашему заведению рафинированный аромат парижских салонов. Критики стали потихоньку сближаться с авторами, которых еще вчера нещадно бранили; сделав над собой небольшое усилие, обе враждующие стороны обнаружили в бывших противниках кое-какие человеческие черты. Я сам себе казался то третейским судьей, то исповедником, то сводником, то барменом... Оторопелые покупатели могли сколько угодно беседовать с писателями, которых считали давно ушедшими в мир иной. Литераторы же с изумлением открывали для себя цвет глаз своих милых читательниц и обменивались с ними телефонами. Частая картина: двое седоватых и лысоватых интеллектуалов с бородами и в очках с большими диоптриями, пользующиеся славой неумолимых полемистов, ищут в книге «По направлению к Свану» известное место о бисквитном пирожном, чтобы прочитать его стройной красавице, соблазнительные розовые ляжки которой обнажены аж до красных кружевных трусиков. Сусанна и старцы! Частая картина: суровый критик известнейших поэтов терпеливо слушает не слишком складные вирши аппетитной провинциалки и предлагает пойти куда-нибудь, где они смогут спокойно побеседовать о них. Я гляжу им вслед и наверняка знаю, что беседа эта кончится любовной интрижкой... Частая картина: я даю из нашей кассы деньги взаймы отнюдь не бедствующему автору бестселлера, боящемуся признаться жене, что проигрался в карты. В слепящем свете телевизионных юпитеров лавка все больше превращается в специализированную студию, где снимают передачи о книгах и писателях. Газеты публикуют фотографии, с которых улыбается картинный Чубчик — бородатый лик молодого апостола новой религии книготорговли. Регулярно наведываться в магазин для многих стало привычкой, подобной привычке к какому-нибудь безобидному наркотику. Когда кто-то из *постоянных* не заходит дня два, все начинают спрашивать друг у друга, что с ним случилось. Но все же в успехе, которому тайно завидуют многие белградские книготорговцы, мне чудится какая-то опасность, я нюхом чувствую неведомую угрозу, омрачающую счастливые картины ощущением недолговечности. Пытаюсь разогнать тревогу вином, но мне это уже плохо удается. Слишком долго меня преследовали неудачи, чтобы я поверил в то, что смогу спокойно дождаться здесь пенсии.

16

Однажды я тайком повынимал книги из отцовского книжного шкафа и построил из них крепость под обеденным столом. Этот стол на двенадцать персон, раздвигавшийся во время семейных торжеств, был покрыт широкой вы-

шитой скатертью из толстого сукна с кистями, достававшей до самого ковра на полу; там, в пыльной духоте, где пахло ванильными пирожными и пастой, которой натирали старое ореховое дерево, между четырех ножек, выполненных в виде лап неведомого зверя, в таинственной полутьме, где кончалась (по крайней мере, мне так казалось в то время) власть взрослых, я играл часами, воображая себя преследуемым беглецом, в то время как наверху за столом сменялись гости и домочадцы. Я мог вблизи рассмотреть и даже обнюхать их гулливеровские ноги в неправдоподобно огромных ботинках — шнурки казались мне тогда толстыми, как корабельные канаты; пробираясь между этими неуклюжими колоннами, я делал вылазки на вражескую территорию, а потом тем же путем, но уже с добычей осторожно заползал в свое тайное убежище. Сперва я перетащил туда тяжелые тома энциклопедического словаря Брокгауза и сложил из них прочный фундамент, на котором стал возводить стену из серии «Кариатиды» в твердых рыжих переплетах. Впоследствии, став букинистом, я не раз держал в руках книги из этой библиотеки, которые помнил с детства по солидному, надежному переплету, превосходной атласной бумаге и крупному, четкому шрифту. Так, через много лет я узнал, из чего были воздвигнуты первые стены под нашим старым обеденным столом. Это были: «Творческая эволюция» Бергсона, «Введение в психоанализ» Фрейда, «Капитал» Карла Маркса, «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, «Закат Европы» Шпенглера, «Золотая ветвь» Фрэзера, «Философия свободы» Николая Бердяева, «Путевой дневник философа» Кайзерлинга, «Прагматизм» Уильяма Джемса, «Индивидуальная психология» Адлера, «Восстание в пустыне» Лоуренса, «Вожди Европы» Людвига, «Деньги в политике» Левинсон-Моруса... Никто не станет отрицать, что я еще ребенком обладал хорошим вкусом! Хоть я в то время и не читал эти фундаментальные труды, интуитивно именно их выбрал для фундамента своей постройки, на которой затем стал укладывать красные бумажные кирпичи, обтянутые кожей (сербские и русские классики), и издания Сербской книжной задруги в голубом переплете. Когда крепость была закончена, я притащил в нее два серебряных подсвечника, отцовский бинокль, мраморный чернильный прибор с бронзовой фигуркой обнаженной девушки, державшей в руке вместо копья перо, несколько дагерротипных портретов солдат первой мировой войны в рамках, формочки для печенья в виде сердца и червяка, деревянную мельницу для перца, а также кое-какие съестные припасы, которые должны были помочь мне выдержать даже самую длительную осаду: сардины, уже окаменелый маковый рулет и пасхальные яйца... Я бессознательно пытался построить для себя мир по собственным меркам, потому что мир взрослых вне крохотного безопасного пространства под столом был для меня слишком большим, пугал своей огромностью. Но несмотря на приятное ощущение защищенности, отгороженности от внешнего мира, удовольствие от игры никогда не было полным из-за боязни, что моя постройка будет недолговечной. Видно, я, будучи еще совсем маленьким мальчиком, чувствовал, что рано или поздно кто-нибудь обязательно заметит исчезновение второго ряда книг из шкафа и предметов из кухни и кладовой и в конце концов заглянет под стол. «А ну-ка верни все, что ты утащил, на свои места и снимай штаны!»

Сегодня, спустя столько лет, мой сказочный замок отличается той же недолговечностью. Его построил человек, который и на пятом десятке упрямо отказывается повзрослеть и принять освященный веками порядок вещей, согласно которому книги должны стоять в шкафу, а не лежать на полу. Эту игру может прервать любой взрослый, которому она придется не по нутру; еще удивительно, как это мне удалось играть в нее целых три года и только теперь быть разоблаченным этой анемичной, тумбообразной женщиной, ответственной за примерное поведение людей и вещей. Вот опять, как и всегда, кто-то другой, обязательно кто-то другой, оказывается хозяином прекрасной игрушки, как две капли воды похожей на ту давнюю крепость из книг. Я, кажется, с раннего детства готовил себя к профессии наивного беглеца — в мою лавку приходят такие же испуганные люди, как и я сам, чтобы хоть на время найти прибежище в безнадежно угрюмом и неинтересном городе. Кто-то другой, всегда кто-то другой, обладает драгоценностями, истинной цены которых не знает. Ровным счетом ничего не сделав для того, чтобы этот маленький, наполненный теплым светом оазис среди всеобщей серости ожил, кто-то другой предъявляет на него неоспоримые права точно так же, как предъявляет свои права неизвестный мне Ленин муж, который, думаю, так никогда и не узнает до конца свою законную супругу, бывшую темноволосую беглянку, тоже упрямо отказывающуюся взрослеть. Мир, видимо, с давних пор разделен на два вида людей — тех, кто имеет, и тех, кого любовь заставляет красть. Я обречен

на эту игру, в которой проигрываю в тот же миг, как только разбужу спящую красоту чьего-то лица, предмета, места... И снова вечное бегство в полутьму детской крепости, защищенной от врага одной только скатертью; гулливеровские ноги вторгаются в мое укрытие, разрушая последнюю надежду построить неприступное укрепление. Вот-вот меня вытянут за ухо на свет божий, и я опять, как когда-то, буду виновато стоять посреди комнаты перед гостями, щурясь от сильного света, под укоризненными взорами законных владельцев.

«Верни все на свои места!»

17

Чувство вины — моя вторая натура. Это моя профессия, мое призвание. Мне никогда не удавалось быть счастливым хотя бы полчаса, не чувствуя себя при этом виноватым. Я с малых лет усвоил, что человек создан для страдания, а не для счастья, которое мы всегда считаем неожиданным и незаслуженным подарком судьбы, доставшимся нам по чистому недоразумению. Это, вероятно, потому, что я всю жизнь непрестанно был перед кем-то виноват. Сначала перед родителями, учителями, соседями и родственниками, потом перед преподавателями гимназии и института (который мне так и не удалось закончить), перед старшими по чину в армии, перед друзьями; я виноват в том, что из-за своего легкомыслия не оправдал возлагавшихся на меня надежд, виноват перед Леной в том, что... Сам не знаю, в чем! Кроме того, я вечно виноват перед государством и политиками, не пропускавшими ни одной возможности в очередной раз подчеркнуть, что мы тратили больше, чем зарабатывали, что мы плохо работали, что у нас ослабла бдительность, и при этом смотревшими с телевизионных экранов прямо мне в глаза, как будто я один во всем виноват. Теперь я само собой виноват в том, что в одиночку вернул к жизни этот магазин, который сейчас работает лучше, чем когда-либо!

Чего я все это время хотел? Только одного — затаиться, чтобы меня все оставили в покое. Не отступал ли я с завоеванных позиций, лишь бы никому не мешать? Пожалуйста! Только после вас! Я уступаю дорогу! Это началось давно, еще во времена моих литературных занятий. Почувствовав вокруг зависть и злобу, я уступил свое место тем, кто считал, что я занимаю его незаслуженно. Хорошо! Я не буду больше публиковать свои эссе! Дарю вам свои страницы в журналах, будущие ненаписанные книги, премии, все... Я сохранил только зеленую папку с материалами о Шломовиче, продолжая по привычке вкладывать в нее новые газетные вырезки и свои, сделанные мимоходом заметки, потому что мне по-прежнему не давала покоя трагическая судьба человека, который тоже всю жизнь уступал дорогу, вечно оставаясь наедине со своими чувствами и переживаниями. Исследование об Эрихе Шломовиче, которое я уже сколько лет не решаюсь закончить... Что бы я после с ним делал?

Потом я отступил еще раз. Я отдал им Лену! Не думайте обо мне, спокойно женитесь на ней! Я отказываюсь от борьбы! Я выберу самую неблагодарную работу из всех возможных, в самом захудалом книжном магазине из всех существующих в городе. Довольны теперь? Хватит вам этого? Не это ли наконец то место, где вы меня оставите в покое, место, которое я заслуживаю как гражданин второго сорта, где никому не буду мешать, где мне никто не станет завидовать, где я наконец-то стану тем, кем вы хотите, чтобы я стал, то есть никем? Однако я переоценил окружающих, думая, что они примут мое добровольное отступление, надеясь втайне, что им будет по крайней мере неприятно видеть, как я унижаюсь без вины виноватый. Возможно, кто-то и заметил, что я делаю, но очень скоро забыл и обо мне, и о том, что со мной произошло. Действительно, почему я постоянно ощущаю себя гражданином второго сорта — заключенным, выпущенным под расписку за примерное поведение после того, как отсидел энное количество лет за преступления, не поддающиеся определению? Почему, к примеру, я должен работать по крайней мере в два, если не в пять раз лучше всех остальных, занимающихся тем же делом, если хочу удержаться на своем месте? Я продаю больше всех книг в этом городе, который по любви к печатному слову находится далеко не на первом месте в Европе, но даже и этого, оказывается, недостаточно, чтобы внушить к себе доверие! Кого интересует, что книги хорошо продаются, что магазин всегда полон покупателей, что в него захаживают известнейшие писатели города? Во всем этом видят лишь хитрый ход ловкача интеллигента, которому, однако, никого не удастся обмануть притворным смирением и якобы скромной ролью обыкновенного криготорговца. Нет никакого сомнения, что он при

этом готовит какую-то диверсию, состоящую уже в том, что, соглашаясь на столь незначительную должность и коварно пользуясь своим положением, он явно хочет продемонстрировать невежество своих начальников, редакторов и таким образом чуть ли не возводит хулу на весь общественный порядок, при котором люди, по его мнению, занимают чужие места! Самое же подозрительное то, что я не проявляю ни малейшего желания подниматься по служебной лестнице, хотя мне не единожды любезнейшим образом делались соответствующие предложения. Я, разумеется, сам виноват, что всегда отказывался, в том числе и от места начальника торгового отдела, а потом и от должности завотделом пропаганды — от предложений, за которые бы многие ухватились и были благодарны по гроб жизни! Я не хочу быть никем другим, кроме как обыкновенным книготорговцем, но у них не укладывается в голове, что кто-то может всю жизнь довольствоваться столь незавидным положением, ведь они-то всю свою жизнь подчинили продвижению по службе, снизу вверх. Я их прекрасно понимаю. Выходцы из деревенских и провинциальных многодетных семей, испытывающие генетический страх перед голодом и нуждой, они, после того как наконец досыта наелись и приоделись, «обставили» свои квартиры в новых районах, смотрят на жизнь как на непрерывное восхождение по крутому косогору власти: от сельских школ, общежитий, снятых углов в чужих квартирах к ответственным постам, заслуженным преданностью и серьезностью. Однако эти посты для них отнюдь не предел мечтаний. Что им какое-то издательство! Это лишь трамплин, с которого, если повезет, они взлетят куда выше, на первые должности и посты, где решаются судьбы людей, где привилегии, деньги, власть, а не какие-то книги, которые их, кстати сказать, не очень-то и занимают. Что такое вообще книги? И кто эти не внушающие доверия, подозрительные личности, которые их пишут, а что еще хуже, предлагают печатать; смотрят своими странными горящими глазищами, неизвестно что там думая про себя и создавая лишнюю работу редакторам, которые куда охотнее занялись бы чем-нибудь полезным, а не туманными грезами, непроверенными теориями и сомнительными описаниями того, что уже давным-давно и не раз описано. К тому же от иных книг одни убытки. Другое дело — умершие писатели. Мертвые не требуют гонораров. Или книги, которые хочешь не хочешь, а приходится покупать: учебники, финансовые справочники, новые сборники инструкций, изменения и дополнения, формуляры... А я к тому же вместо того, чтобы сидеть да помалкивать в тряпочку там, у себя в магазине, если уж избрал себе такую судьбу, еще даю интервью для газет и радио! Они раз десять видели меня по телевизору в передаче «Поговорим о книгах», и я ни разу не упомянул не только их самих, но даже и название издательства, которому принадлежит магазин! Согласно их понятиям о субординации, за сведениями о том, какие книги пользуются наибольшим спросом, журналисты должны обращаться в дирекцию, если уж принято сомнительное прозападное нововведение каждую неделю печатать списки бестселлеров. Ведь не важно же в самом деле, что там пользуется спросом, важно, что должно им пользоваться! А тут я, конечно, некомпетентен. Совершенно случайно я нарушил их систему ценностей, и они почувствовали себя в опасности. Из-за меня у них появился «комплекс Золушки». К тому же, когда им случается заглянуть в свой магазин, никто не выказывает им должного почтения, на которое они как руководящие работники имеют полное право. Музыка не приглушается, Весна не надевает туфель, по-прежнему разгуливает босиком с зелеными ногтями, Чубчик не убирает ног со стола, я делаю вид, что их не замечаю... Они себя ужасно глупо чувствуют в своих серых костюмах при галстуках среди покупателей и постоянных посетителей, словно нарочно одевающихся как можно экстравагантнее. Возможно, они испытывают что-то вроде зависти, оттого что не принадлежат к этому узкому и чертовски интересному кругу, где всегда встретишь красивых девушек и умных, знаменитых мужчин (некоторых они вчера видели по телевизору!), где бутылка вина гуляет вкруговую и где говорят на каком-то, им непонятном, полушифрованном языке о вещах, о которых они не имеют представления, о книгах, которых не читали, хотя и являются их законными хозяевами, так же, впрочем, как и самого возрожденного магазина, для которого арендуют помещение, платят не только налоги, но и за электричество, воду и даже за мытье витрин! Сознавая, что жизнь магазина, находящегося в их ведении, течет помимо них и их контроля, они наконец замечают, что и книги уже не стоят в застекленных шкафах, а лежат под обеденным столом, где вдруг стало так уютно, что и взрослые гости начали забираться под скатерть, чтобы почитать при свете свечей в уворованных подсвечниках.

Эта зависть напоминает мне случай с одним человеком, которого я знал с малых лет. Расстались мы не по моей вине где-то на третьем курсе института... Когда бы мы ни встретились, я неизменно читал в его взгляде враждебность, чуть ли не ненависть, парализовывавшую меня своей необъяснимостью и постоянством. Надо ли говорить, что все те годы при каждой возможности он старался сделать мне пакость? Однажды через много лет давний недруг нетвердым шагом приблизился к моему столику в кафане «Под липой» и заглянул мне в глаза. От него шел сильный запах виски и табака, отечное лицо, заросшее двухнедельной щетиной, лоснилось от пота. Он вдруг почувствовал потребность подойти ко мне и наконец объяснить, почему ненавидел меня столько лет. «Из-за ботинок! — сказал он, пошатываясь.— У тебя всегда были до блеска начищены ботинки... Больше всего я тебя ненавидел за те черные мокасины в пятьдесят шестом, когда я носил солдатские башмаки!» Я остолбенел. В то время все мы были одинаково бедны, а у его глубоких, желтых ботинок из свиной кожи и подошва наверняка была толще, и качество получше, однако я и тогда из-за своей страсти к сверкающей обуви обязательно наводил невообразимый блеск на единственные мокасины с до того стершимися подметками, что я чувствовал под ступнями каждый камешек.

Он заглянул под стол, с трудом удержав равновесие,— хотел проверить, в каком состоянии теперь моя обувь. А я, сидя в кафане, имею обыкновение время от времени потирать ботинки о штанины своих вельветовых брюк, так что на их коже никогда не бывает ни единой пылинки. Выставив ногу из-под стола, я гордо продемонстрировал ему маленький шедевр искусства чистильщика. Его коричневые полусапожки были по крайней мере в два раза дороже, но все исцарапанные и пыльные, кое-где со следами засохшей грязи. Он снова был сражен. Я обернул все в шутку, но еще долго после этой случайной встречи не мог отделаться от засевшего во мне страха перед беспричинной, ничем не заслуженной ненавистью, вроде той, которая окружает меня сейчас. А может, все это лишь плод моего больного воображения? Мне вдруг вспомнились Ленины слова: «Твое вечное стремление отойти в сторону — по сути обыкновенное кокетство избалованного ребенка, который на всех дуется и от всего отказывается, потому что ему, видите ли, чего-то не досталось, а чего, он и сам не знает! Твое вечное чувство вины? Да ты же просто упиваешься им! Без него ты бы не смог прожить...»

Как будто сейчас слышу нежную модуляцию ее чуть хрипловатого голоса!

Расчувствовался и послал Лене по почте книгу Кафки «Письма (Ми)лене»...

18

Летом 1946-го в районном распределителе бедным детям выдавали вещи, присланные ЮНРРА[1] в качестве помощи. Чтобы не было толчеи и ругани, дети должны были туда явиться одни, без взрослых и выбрать себе что-нибудь из одежды. Но только что-нибудь одно! Уже за несколько дней до этого долгожданного события на семейных советах, собиравшихся за кухонными столами, гадали до одурения, что там будет, в этом бараке, заваленном американским добром. Сонных малышей до глубокой ночи учили, что следует выбрать из всего сказочного изобилия, когда они наконец попадут в эту сокровищницу. За две холодные и голодные послевоенные зимы пришлось познать нищету даже состоятельным семьям. Уже дважды перелицовывались довоенные зимние пальто, до дыр сносились подметки последних ботинок... Мы жили, придавленные бедностью... Считая меня, девятилетнего, достаточно, чтобы не сказать — не по годам, взрослым и умным, домашние не давали мне никаких советов. Им не хотелось влиять на мой свободный выбор, ведь я мог взять только одну-единственную вещь! Выберу ли я что-нибудь для себя, для дедушки, бабушки или мамы, и что это будет, они оставили на мое усмотрение. Все надеялись, что я слишком хорошо запомнил последнюю суровую зиму, чтобы повести себя легкомысленно, и что, раз уж мне представилась такая редкая возможность, я выберу вещь полезную и прочную. Может быть, высокие солдатские сапоги или кожаное пальто до земли, из которого могли бы получиться два поменьше, а может, если очень повезет, и целый парашют, из шелка которого всем бы нашили рубашек.

Хорошо помню трогательную сцену проводов: всей семьей меня провожают до ворот дома № 13 по Дукиной улице, и при этом никто ни единым словом

---

[1] ЮНРРА — Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций.

не упоминает о том, куда и зачем я иду. Из сегодняшнего далека читаю в их глазах надежду, что вернусь с чем-то поистине спасительным, чем-то таким, что может предложить лишь фантастически богатая заокеанская страна. Я босиком, на мне короткие рваные штаны и майка, из которых я давно вырос. Шлепая босыми ступнями по раскаленной пыли, я впервые в жизни чувствую на себе груз чужих ожиданий.

И вот там, в бараке, когда наконец подходит моя очередь выбирать в огромной развороченной груде кожи, металла, шерсти, пластмассы и полотна, резко пахнущей каким-то армейским дезинфицирующим средством, на глазах у изумленной комиссии, состоящей из делегатов районов и каких-то иностранных офицеров, я беру... кожаный авиашлем с очками и наушниками, похожий на водолазный. Само собой, тут же натягиваю его на голову и гордо выхожу на улицу. Раскинутые в стороны руки сразу превращаются в крылья, и я лечу, лечу! С пронзительным свистом пикирую и поливаю огнем вражеские цели. Моя улица кажется чужой сквозь очки неизвестного пилота «Спитфайера»...

Домочадцы заметили меня еще издали, потому что все это время простояли у ворот в ожидании моего возвращения. Увидели босоногого тощего мальчишку с рахитичными коленками и огромной диковинной головой инопланетянина, с упоением выписывающего виражи в полном восторге от своего выбора. Из всей массы сокровищ: гор шинелей, сапог, башмаков, галифе, парашютов, накидок, гимнастерок, плащей, пелерин, рюкзаков, свитеров и курток я безошибочно выбрал единственную совершенно бесполезную вещь — кожаный авиашлем.

Со мной не разговаривали целый месяц. Пустые стеклянные глазницы шлема укоризненно глядели со шкафа. И даже через десять лет после того события, когда нужда была уже давно забыта, мой дед, умерший в пятьдесят шестом, так и не смог простить мне этого первого свободного выбора в моей жизни. Более того: сомнения в моей нормальности, посеянные мною летом сорок шестого, всю жизнь мучили моих родственников и даже, кажется, просочились за пределы нашего дома — благодаря кожаному авиашлему на меня с подозрением смотрели все соседи, вся улица, весь Белград, все люди, меня знавшие... Тот давний выбор как будто предопределил и все мои последующие решения в жизни; из огромного разнообразия полезных вещей я всегда наверняка выберу самую никчемную, какую только можно себе представить! Вот и эта книжная лавка, где я случайно оказался, разве не подтверждает она мою органическую неспособность рассуждать здраво и думать о своей выгоде, как остальные?

19

Самое время для сакраментального «Мы должны»!
И, смотрите-ка, слово-призрак действительно произносится!
Мы должны принять меры!
Мы должны усилить бдительность!
Мы должны изменить концепцию!
Мы должны преодолеть недостатки!
Должны перехватить инициативу...
Должны приложить все силы!
Должны изменить...
Должны! Должны! Должны! Должны! Должны! Должны! Должны!

Это слово преследует меня с малых лет. Оно впивается мне в тело, подобно стрелам, пронзающим на картине Андреа Мантеньи святого Себастьяна, привязанного к столбу... (Черт бы побрал это никому не нужное образование, так и ждущее на кончике языка, чтобы опутать чувства в момент их оформления в слова сетью дурацких ассоциаций!) Почему не сказать просто: как иголки, которые рассерженная портниха яростно втыкает в игольницу, вымещая на ней свою злобу; или: «Я свихнусь от этого «мы должны»! Дай волю проклятому словечку, оно и облака в небе заставит ходить по струнке!» Но вот вместо старого Мантеньи на поле выбегает Рене Магритт и ловит ассоциации на лету: *«мы должны!»* — и поворачивают, и текут вспять реки и кровь в жилах, сталкиваются лбами разум и убеждения, сердце и любовь, послушные толпы смыкают бесконечные ряды: первый-второй, первый-второй, первый-второй, в колоооооонну по двоооое, впереееееед маааарш! Это слово хочет командовать жизнью, насиловать, кастрировать, согнать в стадо и держать в повиновении, пощелкивая кнутом; это вечное *«должны»* похоже на гудящий рой мошкары на бесконечно огромном и сильном теле, которое в начале прикидывается землей, пашней, рекой, городом, деревьями или морем и миро-

любиво поддается долженствованию, терпеливо выясняя, с кем имеет дело: с истинными знатоками природы вещей или обыкновенными дилетантами, которые в случае ошибки лишь пожмут плечами и спокойно скажут, что, мол, сваляли дурака, что ж такого? — кажется, будто эта обманчиво-податливая и покорная жизнь благосклонно позволяет людям месить себя, как им вздумается, и вот они, воодушевленные кажущимися первыми победами, опьяненные легко достигнутыми успехами, начинают думать, что им сам черт не брат, что им все по силам, и идут все дальше, всегда дальше и дальше, до последних пределов терпения и разума, до того момента, пока жизнь, как большой и добродушный зверь, не стряхнет их с себя, поднимаясь на ноги, фыркая и показывая зубы. Тогда начинаются катаклизмы, вздуваются спящие воды, приходят засушливые года. Четырьмя лютыми врагами земледелия становятся весна, лето, осень и зима! Народ косят эпидемии. Наступают экономические кризисы. Не выдерживают напора воды плотины водохранилищ, обрушиваются мосты, еще вчера казавшиеся такими прочными и надежными. Взрываются космические ракеты, не успев вонзиться в пышные телеса облаков. От смога задыхаются дети тех, кто еще недавно праздновал появление дымящих заводских труб как очередную трудовую победу... Ведь жизнь не подчиняется приказам, она ничего не *должна*, она или хочет, или не хочет, может или не может, любит или не любит, она отдается лишь тем, кто умеет найти к ней подход, тем, кто терпеливо разгадывает ее тайны, и только сумевший приручить этого дикого, норовистого зверя будет с лихвой вознагражден любовью и гармонией.

Мне же больше некуда бежать: «Мы должны!» набрасывает и на меня свою тонкую, неразрывную сеть, в которой я барахтаюсь, как пойманный дикий кролик. Слушая вполуха, что там они должны, отмечаю про себя: «Послать Лене «Кролик, беги!» Джона Апдайка.

20

В лавку заходили:

некто, читающий Энциклопедию подряд, как роман. За два года он добрался до буквы Е. «Представляете, Педжа,— сообщает мне доверительно,— Йосиф Панчич обнаружил ель сербскую только в 1872 году в районе Заовины и Растишта в западной Сербии! Интересно, что ее ближайшие сородичи растут в Японии, Корее и на острове Ситка в Северной Америке...»;

одна полнотелая мадам, каждое утро уводящая к себе домой по соседству какого-нибудь голодного студента. «Простите, вы не знаете, что это за книга?» — всегда одинаково начинает она разговор. Выходя из лавки с очередной добычей, заговорщицки мне подмигивает. «Вы знаете, можете думать обо мне что хотите, но я обожаю таких мальчиков! — призналась она мне как-то, когда мы были одни.— Нет-нет, не думайте, в постели они ничем не лучше ваших ровесников, но что-то в них есть такое... Не знаю, как вам объяснить!»;

один известный критик, который приносит связки новых, непрочитанных книг, посылаемых ему авторами на рецензию. Я выплачиваю ему семьдесят процентов от их цены, и он доволен. Опуская в очередной раз свой груз на стол у кассы, он вздыхает и говорит: «Нация все еще пишет!»;

один отставной полковник, всегда покупающий одну и ту же книгу: сборник материалов о боевом пути части, в которой он служил, где на сто семидесятой странице напечатана его фотография;

один писатель, интересующийся, как покупают его роман;

одна пожилая дама, покупающая детские книжки для своих внуков, которые живут в шведском городе Лунде. Пока я их ей запаковываю, она обязательно всплакнет. В сентябре она подарила мне банку варенья из черешни с аккуратно выведенным латинским названием Prunus avium;

один спекулянт билетами в кино, который приносит кучу мелочи, чтобы поменять у меня на более крупные купюры;

один тип, который спрашивает книги, еще не вышедшие из печати;

еще один, который приносит бутылку водки «Столичная», потому что не любит пить один;

одна девушка с льняными волосами, всегда покупающая только «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери;

мальчишки из ближайшей школы, сбегающие с уроков. Они забиваются в самый дальний и темный угол лавки, сидят на полу и читают комиксы в ожидании конца занятий;

постовой милиционер, пользующийся нашим туалетом;

некто, имеющий обыкновение сидеть и смотреть в пустоту;

два педераста, назначающие в нашей лавке свидания;

один поэт, который возмущается, что я не выставляю его сборника в витрине;

некто, каждый раз интересующийся, не спрашивал ли его кто-нибудь. Его никогда никто не спрашивает;

некто, ищущий писателя, который бы за него написал лучший роман всех времен о двух братьях. Один брат партизан, другой четник. Отец держит нейтралитет. В сорок третьем братья где-то в горах смотрят друг на друга сквозь прорезь прицела...

Дальнейший замысел он хранит в тайне, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, не украл у него тему. Гонорар за книгу предлагает разделить поровну. Литераторы бегают от него, как черт от ладана;

некто, каждый день собирающий подписи под новой петицией. Того, кто отказывается поставить свою подпись, он тут же объявляет трусом, а то и полицейским агентом. Никто толком не знает, чем он занимается;

некто, заходящий в лавку, чтобы продолжить свой внутренний монолог, начатый еще утром: «...а вы посмотрите, что сделали с монастырями! Это же ужас! Но кого сегодня волнуют фрески?.. Да что там говорить!..» — и так далее. В другой раз он разглагольствует о политике: «...нет, нет, я больше в жизни не возьму в руки газету! Только нервы себе трепать! Добро бы. если б еще можно было на что-то влиять, а то одно расстройство!»;

некто, собирающий пожертвования для бедных писателей, сидящих без работы. Этот всегда бывает навеселе;

одна особа, возвращающаяся то из Парижа, то из Рима, то из Лондона, то из Нью-Йорка. «Ну, что у нас нового?» — спрашивает она рассеянно и никогда не слушает ответа. Из ее раскрытой сумочки пахнет заграничным благоденствием;

некто, всегда являющийся в тот момент, когда мы пьем кофе;

некто, появляющийся, только когда идет дождь;

и другой, заглядывающий обычно накануне бурных политических событий;

женщина, которая вечно спрашивает, не заняла ли она мое место. «Ну что вы, ради бога сидите, я люблю размять ноги!»;

некто, невозмутимо курящий гашиш и читающий книги о трансцендентальной медитации, которые, впрочем, не покупает;

и другой, часами разговаривающий с кем-то вполголоса по нашему телефону;

некто, всем рассказывающий о своих изобретениях. Сейчас он как раз разрабатывает надувное сиденье для унитаза: «Вы только подумайте, сколько часов человек проводит на унитазе! — объясняет он увлеченно.— Ведь это немалая часть жизни! Деревянные сиденья негигиеничны, они впитывают мочу и вечно влажные. Пластмассовые же часто ломаются и могут вас поранить. Единственное решение — надувное сиденье: оно удобно и отвечает всем требованиям гигиены. Вопрос лишь в способе накачки — ведь со временем оно будет сдуваться...» Мы предлагаем производить накачку непосредственно выхлопными газами. «Это интересно, очень интересно...— соглашается он.— Я подумаю!»;

одна манерная молодая особа в очках, со строгим выражением лица. Эта сидит и читает самые заумные сочинения, как то: истории религии и философии, эссе о герметизме и исследования по семиотике... Время от времени поднимает взгляд от книги и с укоризной смотрит на нас. Даже ее молчание вызывает в нас смутное чувство какой-то вины. Уходит она, поджав губы, не прощаясь;

некто, обожающий обсуждать содержание телепередач. Заходит в лавку и с порога вопрошает: «Смотрели вчера эту срамоту?»;

некто, годами встречающийся здесь со своей любовницей. В лавке они никогда не разговаривают. Листают книги каждый в своем углу, делая вид, что незнакомы, а потом по отдельности выходят. Сперва он, затем она;

один книготорговец из провинции, желающий в своем городке создать нечто подобное. Он приходит по субботам, когда лавка только открывается, приглядывается и принюхивается, а потом обычно спрашивает меня: «А в чем же тут все-таки фокус?»;

и еще объявился один будущий книготорговец из Нью-Йорка, прослышавший обо мне и пожелавший пригласить меня к себе на работу. Как-то раздался телефонный звонок:

— Хелооо? Это bookshop «Балканы»?

— Что? — переспрашиваю я раздраженно.

— Oh, shit! [1] — поправляется мой незнакомый собеседник.— Это книжный магазин «Балканы»?

— Да!

— Я бы хотел поговорить с этим типом, который там у вас работает. Куда-то запропастилась газета, которая о нем писала! Fuck it! [2] Как его... György Lukacz?

— Он умер.

— Не валяй дурака, приятель! Я звоню из Нью-Йорка...

— Да ну? И как там у вас? Все в порядке?

Хотя голос моего невидимого собеседника звучал так, будто его разложили на составные части, пропустили через электронику, потом снова сложили и усилили, я все же думал, что меня разыгрывают. Звонивший из-за океана почувствовал, что ему не верят.

— Take it easy, mac! [3] — сказал он ласково, словно ребенку, видимо боясь, что я в любую минуту могу положить трубку.— Меня зовут George Popovich,— произнес он по буквам.— Мой телефон в Нью-Йорке: 645-87-96. Please, позвони мне сам за мой счет! О'кей?

Я позвонил на станцию и продиктовал номер.

Через пять минут из трубки снова послышался тот же голос:

— Thank you! [4] — вздохнул он с облегчением.— Я боялся, что ты не позвонишь... Могу я теперь поговорить с мистером, как его... Лукачем?

— Это я!

— Oh, my God! [5] — сказал он удовлетворенно.— Я так и знал, что это ты!

После того как он подробно распросил меня о погоде, своих старых знакомых и кафанах, в которые когда-то захаживал, после того как мне пришлось найти в газете и прочитать положение в первой и второй нашей футбольной лиге, George Popovich наконец перешел к делу: предложил мне работу в Нью-Йорке, в первом югославском книжном магазине, который вскоре намеревался открыть. Признаться, я был взволнован и польщен. Из трубки до меня доносилось могучее дыхание океана, по другую сторону которого сквозь звездно-полосатую дымку зеленел обетованный континент — мечта всех мальчишек из провинции. Передо мной в одно мгновение пронеслись картины ожидавшей меня новой жизни, но я почувствовал, что у меня на это уже нет сил. Джордж решил, что я колеблюсь из-за денег.

— Послушай, вопрос, конечно, не в западном духе, но все же, сколько ты там получаешь?

Я сказал.

— В неделю?

— Нет, в месяц.

— Bullshit! [6] — воскликнул он.— Да здесь столько получают черномазые, когда ни черта не делают, в качестве пособия по безработице! Приезжай, будешь деньги лопатой грести! Я читал про тебя в газете. Мне нужен как раз такой человек, как ты...

Я отказался со всей вежливостью, на какую был способен.

— О'кей! — сказал он после получасового разговора, наверняка влетевшего ему в копеечку.— Если передумаешь, мой телефон у тебя есть! Тебе достаточно позвонить, и я сразу высылаю билет на самолет. Fuck it! Было бы здорово, если б мы стали компаньонами!

У меня голова пошла кругом. Вот, значит, как делают дела там у них, в Америке!

С тех пор Джордж звонил мне из Нью-Йорка чуть не каждую неделю, чтобы я рассказывал ему новости и зачитывал результаты футбольных матчей. Я диктовал ему списки книг, которые он должен заказать для своего книжного магазина, и давал советы. Каждый наш разговор кончался тем же предложением выслать мне билет на самолет. Иногда, с пьяных глаз, оставшись в лавке один, я звонил ему сам за казенный счет. У меня в жизни было немало и друзей, и подруг, но никто никогда так не радовался моему звонку, как Джордж, который, едва услышав мой голос, испускал оглушительное ковбойское «Ого-го!», как будто ему звонит родной брат. От него я перенял привычку говорить «о' кей!».

---

[1] Здесь: Черт возьми! *(англ.)*
[2] Мать его! *(англ.)*
[3] Смотри на это проще! *(анг.)*
[4] Благодарю! *(англ.)*
[5] О, мой бог! *(англ.)*
[6] Здесь: дьявольщина! *(англ.)*

О'кей. В лавку заходило много чудно́го народа.

Заходил некто, не дающий никому слова сказать;

и некто, угощающий всех витаминами;

и одна особа, убеждающая нас, что парижские книжные магазины гораздо лучше нашего, но в наших условиях и это сойдет;

некто, постоянно назначающий торжественные представления книг и пластинок, а затем отменяющий их в последний момент;

некто, кого вечно все разыскивают, чтобы стребовать долги, а он всем обещает оставить для них деньги в нашей лавке;

некто, обожающий играть на нашем старом пианино марки «Петрофф». Терзая какой-нибудь злосчастный шедевр, он время от времени бросает на нас негодующие взгляды, возмущенный тем, что мы и не думаем прерывать разговор;

некто, беспрерывно нас фотографирующий, уверяя при этом, что когда-нибудь этим фотографиям цены не будет;

один писатель, предпочитающий давать интервью исключительно в нашей лавке и всегда уводящий куда-то молоденьких журналисток;

некто, остающийся иногда ночевать под столом в подсобке, потому что далеко живет;

и еще разные другие...

Самый примечательный среди них, без сомнения, Борис Полянский, один из последних живых сербских сюрреалистов, друг Арагона, Бретона, Тцары и Дали, живой укор своим белградским ровесникам-сюрреалистам, постоянно напоминающий им своим вызывающим поведением, что они, став добропорядочными гражданами, академиками, профессорами университетов и дипломатами, получая высокие пенсии, премии и удостаиваясь упоминания в учебниках, предали бунтарское движение, которому клялись в верности до гроба. Когда старый Полянский в кожаной куртке летчика и белом свитере заходит в магазин и занимает свое излюбленное место у окна, наша скромная лавка вдруг как бы попадает в историю современной литературы; над тем местом, где он сидит, уже так и видится мраморная доска со словами: «ЗДЕСЬ БЫВАЛ БОРИС ПОЛЯНСКИЙ. ПАМЯТНАЯ ДОСКА УСТАНОВЛЕНА В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». Экстравагантный в свои семьдесят с лишним лет, как и в пору расцвета сюрреализма, вечный белградский enfant terrible[1], бисексуальный, циничный, рожденный богатым, он умрет бедняком. Чудовищно образованный. Изысканный и сдержанный в какие-то моменты, сумасбродный временами, чаще всего непредсказуемый. Бывший гражданин мира, не имея теперь денег на путешествия, стоически переносит нищету. Художник до мозга костей, он так никогда и не сумел достичь синтеза своих разнообразных дарований. Он останется фрагментарным, если после него вообще что-либо останется при его неутолимой духовной любознательности и расточительном отношении к таланту. Элегантный. Хитрый. Распутный. Бывший до войны неплохим спортсменом, он до сих пор в январе поднимается вверх по Саве в своем стареньком скифе. Фехтует и ездит верхом. Лет двадцать тому назад он притащил из Чачака в Белград деревянный сельский памятник неизвестному сербскому солдату и установил его при входе в Сербскую академию наук и искусств. По этому поводу написал поэму «Знаки смерти» на французском языке и издал в трех экземплярах. Три года назад в знак протеста сжег этот фаллосообразный объект перед выставочным павильоном после того, как его не приняли в экспозицию. Порочен. В белградских литературных салонах до сих пор помнят его дерзкое высказывание: «Я был всем, не был только лесбиянкой!» Существенно ли в самом деле то, что он не выпустил собрания своих сочинений? Он совершил гораздо большее, заразив нас своим сумасбродством, абсолютно невероятным образом мыслей и особым взглядом на жизнь и искусство. Кто только не прошел через его дом и его школу! Когда-то в Белграде это была одна из первых станций на пути к славе.

Летом 1957 года я получил через редакцию «Дела» его телеграмму: «Дорогой молодой друг тчк прочитал ваше эссе об Эрихе Шломовиче тчк хотел бы побеседовать с вами тчк жду вас в четверг в пять тчк адрес...»

Я шагал по раскаленным улочкам к его дому, волнуясь и робея перед предстоящим знакомством. Я боялся не оправдать того благоприятного впечатления, которое произвело на него маленькое эссе о картинах Ренуара, Дега

[1] Ужасный ребенок *(франц.)*.

и Редона из собрания Шломовича в белградском Народном музее. До сих пор тешу себя мыслью, что это была первая опубликованная у нас статья о странном коллекционере. Полянский, вероятно, хорошо знал Шломовича еще с парижских времен. Он бы мог сообщить мне драгоценные сведения и указать путь, по которому должны пойти мои дальнейшие исследования. До этого мне удалось познакомиться с несколькими людьми, которые были откровенны со мной только до определенных границ, а потом замолкали или переводили разговор на другую тему. Между мной и моим героем как бы опускался невидимый занавес времени. Когда я пытался вернуться к так и не проясненной судьбе Шломовича, они отговаривались тем, что ничего не помнят и что вообще все это было очень давно... Я чувствовал, что они что-то скрывают. Но что — я так и не сумел докопаться. Каждый отсылал меня к другому свидетелю, который якобы был гораздо более близок со Шломовичем. Мне советовали, например, разыскать художника В. Л., в парижской мастерской которого Эрих Шломович провел какое-то время. «Он прекрасный человек! Он вам обо всем расскажет!» Я договорился с художником о встрече за неделю. Он умер за три дня до назначенного свидания. Отличный повод, чтобы напиться вдребезги! Я пришел на похороны и видел, как последнего человека, знавшего все о Шломовиче, опускают во влажную рыжую глину. А может, он-то и был тем ключом, с помощью которого я смог бы сложить воедино рассыпанные кусочки волшебной мозаики и добраться до глубоко запрятанной истины? И второй свидетель, один старый искусствовед, умер прежде, чем мне удалось его отыскать. Третий ослеп и оглох и больше никого не принимал. Одной женщине, которая немало знала о семье Шломович, сын не разрешал ничего рассказывать. Некто, когда-то писавший о нем, отсидел несколько лет в тюрьме и с тех пор молчит как рыба. Какой-то рок довлел над тайной коллекции Шломовича, к которой я так легкомысленно загорелся интересом, но именно поэтому меня все больше привлекал этот давно ушедший из жизни человек, словно взывающий ко мне из тьмы, моля рассказать о его жизни и смерти...

Дом Полянских, последний, еще не проданный хозяином, ничем не выделялся в ряду небольших коттеджей, скрытых в тени августовских садов. Я пришел на полчаса раньше и, чтобы не получилось, будто придаю чересчур большое значение этому визиту, подождал за углом, дымя сигаретой и еще раз перебирая в голове весь свой скромный сюрреалистический архив: фильмы Жана Виго, три сюрреалистических манифеста Бретона, картины-машины Франсиса Пикабии и Марселя Дюшана, сцены из «Андалузского пса» Бунюэля и Дали, списки сотрудников на обложке журнала «Невозможное» — точь-в-точь как плохой ученик, с трепетом ждущий вызова к доске.

Он открыл мне дверь совершенно голый, со сморщенным хоботком, меланхолически глядевшим на мои как всегда до блеска начищенные мокасины, и провел меня в полутемную гостиную. В широком потертом кресле сидела нагая молодая женщина, изящно скрестив ноги. Оба они были похожи на двух больших белых рыб, занесенных летним приливом в этот душный интерьер. По мере того, как мои глаза привыкали к полутьме, в ней все яснее вырисовывалось тело молодой женщины — обнаженная натура, разлинованная полосками света, пробивавшегося сквозь жалюзи. Чай был уже на столе. Они ожидали, что я буду точен.

— Мими, моя последняя жена... Она, знаете, ревнует меня к моему прошлому, а я ее — к будущему!

Я поклонился. Не позволил себя смутить. Вел себя как ни в чем не бывало и начал, кажется, обычный разговор о невыносимой жаре и о том, что скоро должен пойти дождь. Женщина встала, разлила чай («Вам с молоком или без?») и мягким волнообразным движением передала мне чашку из хрупкого фарфора. В какое-то мгновение перед самым моим лицом качнулись ее полные груди с черными сосками, как два беззвучных эротических колокола.

— Чем вас привлек Шломович? — спросил Полянский.

Я попытался объяснить, что меня интересуют люди, родившиеся здесь, в наших краях, и отправившиеся в дальние странствия, чтобы чего-то добиться и вернуться обратно домой не с пустыми руками... Сказал, что восхищен коллекцией французских мастеров, собранной Шломовичем, что, на мой взгляд, дело даже не столько в ценности самой коллекции, сколько в том, что в Белграде, где-то на задворках Европы, оказались шедевры мировой живописи!

Полянский, спокойно выслушав меня, сказал, что Шломович был обыкновенным обывателем, который, боясь прогадать, собирал только проверенных мастеров.

— На искусство своего времени он плевать хотел. Развитие живописи для него заканчивалось постимпрессионизмом!

Я спросил, что его группа привезла из Города света.

— Безумие! — сказал он и начал объяснять потребность сюрреалистов в непрерывном изменении выразительных средств, стиля, манеры.— Нет более жалкого занятия, чем вечно вскапывать один и тот же огород! — заявил он. Я получил в подарок редчайшее издание его книги «Merde»[1] с надписью: «Педже Лукачу, чтобы вовремя остановился! Борис Полянский». Он словно предвидел уготованную мне судьбой постоянную перемену круга интересов и занятий. Потом поинтересовался моим мнением о сюрреалистах. Я ответил, что с французами лично не знаком и поэтому мне о них судить трудно, но вот что касается сербских сюрреалистов, мне кажется вполне понятным, почему из всех возможных течений в Париже того времени они выбрали именно сюрреализм. По-моему, сказал я, все дело в том, что это направление не требует от человека ни особых усилий, ни таланта; вполне достаточно быть нахальным и как можно меньше знать о писательском ремесле. Разве Тристан Тцара не писал стихи, вытаскивая наугад из шляпы бумажки с отдельными словами? Нашей врожденной лени и безалаберности отвечало как раз такое искусство, а вовсе не приближение к совершенству изнурительным многолетним трудом. Ведь согласитесь, сказал я тогда Полянскому, куда легче копаться в подсознании, чем писать рифмованные сонеты, к тому же на чужом языке, что бы там сегодня ни говорили об устарелости сонетной формы!

Он мне ничего не ответил. Встал и попросил извинить его, что оставит нас на некоторое время (он должен был кое-что перевести), предложив немного развлечь его супругу.

— Бедняжка здесь ужасно скучает...— сказал он.— Не правда ли, дорогая, тебе же скучно?

Она взглянула на него миндалевидными глазами преданной одалиски и ничего не ответила.

— Да, кстати, забыл вас спросить...— он остановился в дверях гостиной.— Вы онанизмом занимаетесь?

— Чем, простите?

— Да онанизмом, рукоблудием, если хотите!

— Только в своих писаниях! — еле нашелся я.

Он заметил, что это весьма полезно и что сам он занимается этим ежедневно, потому как ничто так не развивает воображение.

— Вы знаете, mon chéri, женщина, так же как и картина, ограничивает восприятие конкретностью форм. Разве мы не закрываем глаза в момент наивысшего наслаждения? Только звук и слепое прикосновение открывают простор фантазии...

Так я остался наедине с нагой хозяйкой, думая лишь о том, как бы, не дай Бог, не задрожали пальцы и не выдало меня нервное позвякивание фарфоровой чашки о блюдце. Какое-то время мы молчали, а потом стали говорить об африканских масках, щитах и копьях, развешанных по стенам, у которых были свалены в беспорядке связки книг и журналов. Потом женщина встала, по-кошачьи потянулась и, подойдя к окну, подняла жалюзи. Комнату залил поток горячего послеполуденного света, обнажив печальную картину запустения: бесчисленные черные точки на ковре и зачехленной мебели — следы сигаретного пепла, темные пятна от пролитого вина, пыль и грязно-серую лепнину на потолке... Она стояла, повернувшись спиной к неприглядному интерьеру, как солнечный знак женственности. Ее тело как бы таяло в размытой раме окна, становясь почти прозрачным; вокруг чуть полноватого силуэта дрожал ореол светлой пыли и августовское марево. Она словно отдавалась пустой улице, не боясь случайных взглядов.

— Хотите взглянуть на Большого Мона? — промурлыкала она.

— С удовольствием! — ответил я.

Она открыла бывшую когда-то белой дверь, и в комнату в тот же миг влетел неправдоподобно большой ангорский кролик, оставляя за собой облако вылинявшей шерсти.

— Посмотрите, какой хорошенький! Ну иди скорей к своей мамочке, иди...

Она взяла его на руки и поцеловала в розовый нос. Белая ободранная муфта, прижимаясь к ее голому телу, часто помаргивала красными глазками.

— Он, бедняжка, слепой,— пояснила она.

---

[1] Дерьмо *(франц.)*.

— Как, вы еще не разделись? — спросил Полянский, входя в гостиную якобы за каким-то словарем, который ему вдруг потребовался.

Теперь он был в бедуинском балахоне, доходившем до пола. Наши глаза встретились. Он понял, что я угадал его затаенный страх и хочу помочь ему остаться в роли человека широких воззрений, который выше такой чепухи, как ревность, и при этом не потерять свою голую игрушку. С того мимолетного взгляда двадцать лет назад и зародилась наша взаимная симпатия.

— К сожалению, мне пора...— сказал я, целуя руку даме.

— Будем рады, если вы нас еще навестите...— сказал Полянский.— Ma douce, montre le chemin à mon cher ami! [1]

Я пропустил ее вперед себя, силясь оторвать взгляд от двух восхитительных подвижных ямочек над круглым задиком.

Когда я вышел на слегка подгибающихся ногах на улицу, они стояли у окна и с серьезными минами смотрели мне вслед.

Должен признаться, что в ту ночь я послушался совета маэстро и призвал на помощь память и воображение, «не переносящее конкретности форм».

Я солгал ему. Я занимался этим не только в своих писаниях.

22

Вначале его никто не замечал. Только когда он стал приходить каждый день и утром и вечером, на него обратили внимание. То ли из-за больших оттопыренных ушей, то ли из-за того, что он, делая вид, будто читает, с величайшим вниманием прислушивался ко всему, что говорилось в лавке, мы прозвали его Дежурное Ухо. Со временем эта тощая потасканная личность неопределенного возраста, с большими печальными глазами, похожая на хронического холостяка, стала для нас чем-то вроде козла отпущения. Все, что нам хотелось высказать властям, мы, не имея возможности обратиться непосредственно по адресу, говорили ему, Дежурному Уху, в надежде, что он все передаст кому следует. Он выслушивал нас понуро, словно мы взваливаем непосильное бремя на его и так отягощенные тяжким грузом плечи. Я так привык к нему, что мне начинало его недоставать, стоило ему несколько дней не появиться в лавке; наши разговоры тогда теряли ту прелесть, которую им придавало ощущение опасности,— нам казалось, что родное государство махнуло на нас рукой, что мы ему больше неинтересны.

Дежурное Ухо вел себя очень скромно, можно даже сказать, застенчиво. Отказывался от предложенного кофе или сигареты и только после долгих уговоров соглашался выпить с нами. Сидел ссутулившись в одном из четырех полупродавленных кресел, словно извиняясь, что занимает место кого-то более достойного, всегда с раскрытой книгой на коленях. Больше всего он любил слушать писателей и умел это делать как никто другой, с каким-то почти благоговейным вниманием. Никудышные собеседники, созданные для монолога, они наконец обрели в Дежурном Ухе благодарного слушателя, который им никогда не противоречил, а лишь с пониманием кивал головой и время от времени цокал языком, выражая свое изумление очередным открытием. В те часы, когда магазин пустел, Дежурное Ухо погружался в чтение, предпочитая спорные произведения, вокруг которых поднималось много шума и крика. Мне кажется, со временем он стал настоящим специалистом по так называемой диссидентской литературе и, хотя никогда ни о чем не высказывал своего мнения, иногда, не в силах удержать в себе накопленные знания, исправлял кого-нибудь, переврашего цитату, имя или дату. И сразу вслед за этим, устыдившись своей дерзости перед умными, образованными людьми, Дежурное Ухо прикусывал язык, заметно покраснев. Он увязывался за нами, когда мы отправлялись перекусить или выпить в кафану или ресторанчик поблизости, но никогда ничего не ел (видимо, из-за стесненности в средствах), а пил исключительно фруктовые соки. Через него постоянные посетители магазина передавали друг другу записки, он присматривал за их вещами, знал, кто с кем и кто против кого, что кто о ком думает, кто с кем назначает якобы случайные встречи в лавке, у кого любовь рождается, а у кого умирает, какие писатели настаивают, чтобы их книги выставляли в витрине, а каким это все равно, был он тих, надежен и молчалив, как памятник.

А может, мы ошибались в отношении его тайного ремесла? Может, брали грех на душу, подозревая этого милого, стеснительного человека, который просто любил наше общество, отдавая нам свое время и внимание и ничего не требуя взамен? Вдруг лавка заменяла ему несуществующий дом, а мы — ут-

---

[1] Дорогая, проводи моего милого друга! *(франц.)*

раченную семью? Сколько мы спорили об этом, в который раз решая спросить наконец прямо, как его зовут и чем он, собственно, занимается. Дело в том, что, представляясь, Дежурное Ухо всегда бурчал нечто неразборчивое, что-то вроде Ссс-ич, и всем, как правило, было неудобно переспрашивать — не дай Бог, покажешься навязчивым. Наконец как-то под пьяную руку я, обнаглев, отозвал его в подсобку. Он вошел туда через некоторое время после меня с печально-смиренным видом человека, которого всегда, на каждом шагу ждут одни неприятности.

— Я хочу тебя кое о чем попросить...— сказал я.— У меня тут проблема с продлением загранпаспорта. Надо ехать, а срок истек. Ты не можешь это устроить?

Он страдальчески посмотрел на меня увлажнившимися глазами и спросил:

— Почему именно я?

— Ну... я подумал,— пробормотал я, запинаясь,— может, у тебя там есть знакомые...

— Ладно, давай паспорт! — сказал он.— Один мой земляк там работает...

На следующий день меня ждал продленный паспорт.

Вскоре это стало своего рода игрой. Дежурное Ухо нам выправлял новые удостоверения личности, свидетельства о гражданстве, освобождал нас от уплаты штрафов за стоянку в неположенном месте, улаживал дела с судебными исполнителями, доставал всевозможные удостоверения и справки, давал юридические советы.

Потом вдруг перестал приходить. Как сквозь землю провалился. Мы о нем уже почти забыли, когда он снова появился через полгода еще сильнее побледневший и осунувшийся, с отросшей шевелюрой и, к нашему изумлению, в потертых джинсах. Под мышкой у него была толстая голубая папка.

— Дай это кому-нибудь посмотреть! — он застенчиво протянул мне рукопись, усаживаясь на свое прежнее место.— Не для того чтоб напечатали, просто хочу услышать чье-то мнение.

Так в который раз подтвердилось, что литература сильнее любого другого ремесла. Сколько генералов и полководцев оставили военное поприще, отдавшись писательской страсти, сколько великих мужей, правивших государствами и делавших историю, посвятило себя писанию мемуаров; есть ли хоть один бывший посол, который не хранит в своем письменном столе хотя бы начало объемистых «Воспоминаний и встреч», какой политзаключенный при первой же возможности не обратил годы своего заточения в страницы бестселлера? Я часто спрашиваю себя, почему они добровольно отказываются от своей полнокровной, деятельной жизни, от власти ради литературной химеры, почему ищут убежища в искусстве, этом единственном утешении для нас, слабых и мягкотелых, у которых никогда не было ничего иного, более реального? Если б я мог жить как хотел, я бы никогда не написал ни слова и, по всей вероятности, ничего бы не читал! Какой дурак станет утыкать нос в страницы, описывающие чужую жизнь, когда его собственная куда интересней и увлекательней? Однако же они, люди, властвующие над этим миром, уверенно распоряжающиеся и своими и чужими жизнями, не могут довольствоваться тем, что имеют; наверное, в какой-то момент на них вдруг пахнет гнилью грядущего забвения, и они начинают осознавать бренность власти; тогда-то и возникает паническое стремление оставить после себя хоть какой-то след помимо мавзолеев и монументов (кому-кому, а им-то хорошо известна их недолговечность — сколько чужих памятников они сами повергли в прах!); и что же? — упираясь руками и ногами, они пытаются пролезть из бельэтажа в жалкую каморку под лестницей, отведенную литературе, проталкиваясь между фантазерами, сумасшедшими, скептиками, фанатиками, авантюристами, пасынками судьбы, которых талант обрек на это бесплодное ремесло. Мы смотрим на них, широко раскрыв глаза, не понимая, чего ищут они в литературе (в которой, как правило, чувствуют себя по-любительски неуверенно), когда им судьбой назначено быть благополучными министрами, дипломатами, судьями, торговцами или полицейскими, одним словом — почтенными гражданами, которым всяк уступает дорогу? И что самое удивительное, все те черты, которые им были присущи на государственной службе, вся та надменность, невероятная уверенность в себе и непогрешимости своих суждений, черно-белое видение мира без тени каких-либо сомнений, все это перекочевывает в их книги.

Не был исключением в этом смысле и Дежурное Ухо. Разумеется, собиравшаяся в лавке братия, с которой он целых два года не спускал глаз, несет наибольшую ответственность за его прискорбную метаморфозу. Общаясь с

нами и с книгами, он просто не мог уберечься от литературной заразы; он сказал, что уволился оттуда, где работал, и решил всерьез заняться писательством.

Кто знает, какое новое дежурное ухо сменило новоиспеченного литератора на его посту в нашей лавке? Одно или несколько ушей, а может, дело взял в свои руки любитель? Этого мы так никогда и не узнали, но с момента своего превращения в писателя наш старый приятель как бы упал в наших глазах — вот и еще один сменил свое солидное, серьезное ремесло на трепологию, фантасмагорию, на пшик... Зачем ему это понадобилось? Так Дежурное Ухо, общество которого раньше приятно щекотало нам нервы, в одночасье превратился в одного из бесчисленных литературных дилетантов, от которых мы бегали, как от чумы. Поинтересовавшись, на что он теперь собирается жить, я услышал в ответ, что, познакомившись теперь близко с литературной и книжной публикой, он первое время поработает торговым агентом — будет продавать книги в городе, где знает многих, а там, даст Бог...

Я раскрыл голубую папку, которую он мне передал. На первой странице аккуратно отпечатанной на машинке рукописи прочитал:

«ПРОБУЖДЕНИЕ НА ЗАКАТЕ».

Имени автора, однако, не было. Профессиональный вывих. Даже как автор романа он предпочел остаться анонимным!

«...состоится в книжном магазине «Балканы». Автор подпишет экземпляры своей книги «Абсурд власти» и ответит над вопросы читателей. Начало в 18 часов» («Политика», объявления).

Я не люблю представлений новых книг. Всегда что-нибудь стащат с полок. Просто удивительно, до чего эта интеллектуальная элита нечиста на руку! Однако Чубчик и Весна назначили это рискованное мероприятие без моего ведома, так что мне не оставалось ничего другого как согласиться. Впрочем, раз автор на свободе, а книга его напечатана и поступила в продажу, я не вижу никаких причин, по которым он бы не мог ее надписывать в магазине, где уже состоялись представления стольких изданий. Конечно, ни Весна, ни Чубчик не знали, кто такой Доктор, вернее, кем он был. Они родились и выросли уже после его падения, потрясшего страну, фотографии его с тех пор не публиковались, а имя не упоминалось. И его самого, и все, что с ним было связано, начисто позабыли. И когда он через много лет стряхнул с себя наконец паутину официального забвения, напечатав свои мемуары под названием «Абсурд власти», то сразу же покорил этих двоих молодых людей, точно так же, как в свое время покорял широкие массы. Дело в том, что Весна и Чубчик впервые встретились с человеком подобного типа, который, едва перешагнув порог лавки, заполнил собой все ее пространство, подчинив его своей мегаломанской натуре прирожденного вождя. Несмотря на то, что его как политика уже давно сдали в архив, Доктор сохранил и горделивую осанку, и авторитетный вид человека, в чьих руках власть. Его хорошо продуманные свинцовотяжелые паузы в разговоре заставляли менее искушенных собеседников чем-то заполнять неприятную тишину, выскакивая со своими неуместными замечаниями, увериениями и глубокомысленными выводами, оставляя ему возможность вынести последнее и окончательное суждение о предмете беседы. Мощный бас и громоподобный смех, от которого со стеллажей валились книги, простецкое обращение ко всем на «ты» и дружеское похлопывание по плечу, от которого человек невольно приседал, сочные, со смаком рассказываемые анекдоты, в которых упоминались известнейшие люди эпохи, все это в сочетании с авантюрным довоенным прошлым боксера-тяжеловеса и, естественно, пересыпание своей речи словечками из уличного жаргона, знание пяти-шести языков и открытое лицо гладиатора, испещренное шрамами, притягивали всякого, оказавшегося в магнитном поле его неотразимого обаяния. Ореол поверженного памятника (о чем, казалось, напоминал даже сломанный нос) и затаенная неистребимая убежденность в том, что он стал жертвой исторической несправедливости, которую сносит безропотно, оставаясь до конца верным своему жизненному предназначению, поза некоего антигероя заставляли всех в его присутствии чувствовать себя в чем-то виноватыми: то ли в том, что предали его своим молчанием, когда все случилось, то ли в том, что даже не предприняли в знак протеста попытки самосожжения на площади Республики. По тому, как он без всяких усилий, в два счета обработал моих молодых помощников, которые чуть ли не сами предложили ему устроить представление мемуаров, вне себя от счастья, что им доверено столь ответственное дело, можно

заключить, что его всем известное обаяние не утратило силы. С другой стороны, как я уже сказал, Весна с Чубчиком принадлежат к поколению, выросшему в совершенно другое время, чем я; их восхищение Доктором — результат неосведомленности, простого недостатка сведений о людях и времени, когда новоиспеченный мемуарист был безжалостным вершителем судеб.

Современный доктор Джекил и давно ушедший в мир иной мистер Хайд могли бы написать действительно блестящие мемуары, работай они вместе. Но... мистер Хайд погрузился во мрак амнезии, а доктор Джекил ни разу не вспомнил о нем на всех шестистах страницах — в книге он описывал исключительно солнечную сторону своей жизни, избрав смешанную форму мемуаров — социологического эссе-дневника-памфлета, чтобы поведать о том, что проделывали с ним, ни словом не обмолвившись о том, что творил сам. Доктор — разочаровавшееся дитя движения, фанатичный проводник определенной идеологии, некогда всеобщий любимец и активный деятель — обнажил во всех подробностях скрытый механизм власти, частью которого был сам, выставив себя жертвой.

Все, собственно, началось довольно безобидно, когда товарищи послали перспективного Доктора в Соединенные Штаты на стажировку. До этого Доктор несколько раз бывал за границей, в основном в восточноевропейских странах, и лишь однажды в Триесте, когда он еще был разделен на зоны. Один его современник рассказывает, что в то время действительно верили, будто Запад заваливает Триест апельсинами, шоколадом, виски, бананами и кофе исключительно в пропагандистских целях, чтобы пустить пыль в глаза соседней Югославии, в то время как Рим, Венеция, Париж, Лондон, Нью-Йорк и остальные капиталистические города кладут зубы на полку. Как бы то ни было, через три года Доктор возвратился из Гарварда бледный, но с горящим взором и стал публиковать свои странные статьи, которые вначале никто не принимал всерьез, но лишь до той поры, пока из-за них не стали возникать крупные недоразумения. С ним несколько раз беседовали откровенно, по-товарищески, но Доктор, резкий и бескомпромиссный в тот период своей жизни, который успешно вычеркнул из памяти, остался таким же в отстаивании неприемлемых для его окружения взглядов. Он терял один пост за другим и наконец был насильно выпихнут на пенсию. Все это описано в «Абсурде власти». Его бывшие товарищи направили к нему своих посланцев, чтобы те попробовали убедить Доктора не публиковать книгу (о чем по городу уже несколько недель ходят слухи), но он снова гордо отказался, твердо решив до конца нести свой крест, серп и молот.

Весна и Чубчик, разумеется, не знали, что ни один книжный магазин в городе не согласился организовать представление его книги, от которого он многого ждал, я же в то время, когда они договаривались об этом мероприятии, отсутствовал — разгребал пыльные залежи на книжных складах в поисках редких изданий.

Впрочем, их суетные проблемы были так далеки от меня! Надо сказать, что в то время все книги, в особенности политические, вызывали у меня глубокое отвращение. Имелись куда более серьезные темы для раздумий. «Кого-то она теперь целует?» — этот вопрос был лейтмотивом моих тогдашних пустейших дней, он возникал каждый вечер из опорожненной бутылки рислинга подобно джинну в «Тысяче и одной ночи».

24

В августе сорок седьмого я стоял в почетном карауле перед трибуной, на которой находился Доктор с товарищами. Один мальчик потерял сознание от солнечного удара. Он упал лицом вниз. Его место сразу занял другой мальчик с красным пионерским галстуком. Он был счастлив, что ему предоставилась возможность постоять в почетном карауле. На пыльном асфальте перед нами осталось маленькое пятно крови из носа. Кое-кто из ребят описался, стоя два с половиной часа по стойке «смирно», пока Доктор произносил речь, а усилители в разных концах площади отзывались вразброд запоздалым эхом, дробя его надтреснутый, жестяной голос. Никто не думал, что он будет говорить так долго, но, что бы ни случилось, наставляли нас пионерские вожаки, мы должны стоять «смирно» все время. На нас смотрит все прогрессивное человечество! Мы должны помнить, каково было нашим отцам и старшим братьям, стоявшим насмерть, до последней капли крови! Мальчик рядом со мной плакал от унижения и стыда, чувствуя, как моча стекает по его худым ляжкам. Эта давняя картина пахнет пылью, аммиаком и потом. Мне писать не хотелось. Я воображал себя стоящим насмерть, до последней, самой что ни

на есть последней капли крови. Только через мой труп враг сможет добраться до обожаемого Доктора! Я был готов погибнуть за него! Потом он надолго куда-то исчез. Я в то время не читал газет и поэтому не мог знать, что он навсегда сошел с трибун на улицу.

— Ты прочел? — спрашивает меня Доктор через тридцать четыре года в моей лавке.

Он говорит мне *«ты»*, я ему — *«вы»*. Я не формалист, однако чувствую себя при этом в несколько подчиненном положении, словно бы в роли прислуги. Интересно, как бы он воспринял, обратись я к нему тоже на «ты»? В этом «ты» кроется два психологических варианта: товарищеское, мужское ТЫ единомышленников, людей одного круга извлекается, когда нужно, из футляра взамен другого, пренебрежительного ТЫ, которым определенный сорт людей пользуется при обращении к крестьянам, носильщикам, лифтерам, таксистам, словом, к тем, кто ниже их по званию, независимо от возраста. Для меня унизительно это словно извечно заданное соотношение двух наших карм, как будто ничего не изменилось за все эти годы, и я снова стою в почетном карауле перед трибуной, с которой вещает Доктор, и так будет во все времена. Я принимаю его «ты», оправдывая его перед самим собой тем, что он почти на тридцать лет меня старше.

Да, этот образ знаком мне с детства. Но прежняя воистину легендарная сила как будто растаяла, можно представить, как его одряхлевшие мышцы и кожа висят на гигантском скелете, подобно старому, ставшему слишком широким костюму на похудевшем толстяке, который слишком долго сидел на диете. Крупные, поблекшие глаза смотрят на меня откуда-то из сумрака истории. И хотя держится он по-прежнему властно, в этих глазах с темными, синеватыми обводами от долгих ночных бдений и бессонницы то и дело мелькает неуверенность человека, не решающегося перейти дорогу из боязни, что вот-вот зажжется красный свет.

— Прочел...

— И как тебе кажется?

— Вы действительно хотите, чтоб я вам сказал?

— Не бойся, переживу!

— Да нет, не в этом дело. Книга — настоящая бомба, только...

— Только?..

— Все дело в том, чего нет в книге.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, если вы настаиваете... вашу странную метаморфозу. Как получилось, что вы... вы...

— Не стесняйся: сатрап!

— Я не это хотел сказать!

— Подыскиваешь слово помягче?

Зачем он наседает? Ситуация мучительная и тягостная для меня, я в неловком положении, и он явно сознает свое преимущество. Кто, уважающий себя, станет бить лежащего? Между тем этот вроде бы поверженный победитель легко может ударить ногой в самое чувствительное место. Может вытащить из рукава велосипедную цепь и выбить глаз противнику. Может все, потому что у него преимущество. Преимущество всегда на его стороне. И когда он на трибуне, и когда на улице.

— ...вдруг до того переменились, что вам стало не по нутру то, что вы сами же и создали. Ведь не я, простите, строил это государство, тут исключительно ваша заслуга!

— Ты не допускаешь, что люди могут меняться?

— Допускаю...— сказал я.— Например, Пикассо, переходящий из голубого периода в розовый, а затем увлекающийся фовизмом и кубизмом... Только при этом никто не страдал, кроме него самого! Ваше же превращение многим дорого обошлось!

— Разве я не заплатил за это? Разве за это уже не заплачено?

Он словно постарел на моих глазах. Я заметил, что у него из ушей и ноздрей пучками белой травы растут седые волосы. Мы стояли совсем близко друг от друга, и мне была хорошо видна рябая кожа его воскового лица, как будто уже тяготеющего к земле-матушке, как прах к праху; большие кисти рук заметно дрожали; одежда его выдавала полное равнодушие к впечатлению, которое он производит; словом, был он помят и потаскан, и в руках держал последнее, что осталось у него от жизни,— свои мемуары. Так, больной, не зная, что делать с апельсином, который принесли в больницу родственники,

вертит его в руках, поглаживает пальцами. Да простит его Бог! А я ему не судья!

— Разве за это не заплачено?

Я выдержал его стопудовую паузу, дождавшись, когда он сам продолжил:

— Ладно! — сказал он полушепотом.— Я никому не давал спуску, а знаешь почему? Чтобы ты мог сегодня от этого воротить нос! Революция — не дискуссионный клуб. Она жестока... Представь себе, нам приходилось и сажать, и убивать! Это было ужасно!

Его прорвало, и я вдруг услышал тот прежний, уже забытый саркастический тон, о котором мне рассказывали очевидцы, слышавшие его в свое время, вернее сказать, на себе испытавшие припадки ораторской истерии Великого инквизитора (голос его, говорят, тогда переходил из баса в фальцет), который теперь, отлученный, лишенный всех чинов и званий, сидит рядом со мной в лавке, как обычный беззащитный смертный, без ризы былого могущества. И именно это вызывало во мне сильнейшее раздражение, мешавшее быть терпимым и всепрощающим, милостивым к поверженному,— он как наказание воспринимал тот факт, что после всего оказался одним из нас с улицы, что больше не находился там, на трибуне, перед которой пионеры стоят, вытянувшись по стойке «смирно», все то время, пока он выступает перед толпой, массами, народом столько, сколько считает нужным, не задумываясь над тем, интересно ли, умно ли и нужно ли кому-нибудь бесконечное патетическое пережевывание одних и тех же общих мест... Он явно воспринимает это как наказание! Стало быть, и я, и все мне подобные несем такую кару всю жизнь, сами того не сознавая! Быть ровней нам — для него, ясное дело, самое несправедливое из всех возможных наказаний, в знак протеста против которого он даже написал книжищу в шестьсот страниц! О Господи!

— Должен вам заметить,— сказал я,— что из-за ваших частых метаморфоз кое-кто лишился и головы, без всякой, кстати, вины. Вы превысили пределы необходимой обороны — не все были врагами. Чем вы за это заплатили?

Выражение лица его изменилось, он посмотрел на меня, как отец иногда смотрит на сына, завидуя его наивности и в то же время боясь за него, еще не узнавшего темных сторон жизни.

— Чем? — переспросил он как бы про себя.— Чем?

Он стал рыться в глубокой кожаной сумке, лежавшей у его ног, набитой папками, газетами и брошюрами. Извлек из нее книгу в матерчатом переплете, раскрыл и ткнул пальцем в какую-то фотографию. На фотографии было человек десять мужчин и женщин за длинным столом, задрапированным какой-то тканью (по всей видимости, зеленым сукном); они стояли и, улыбаясь, смотрели на что-то, явно радовавшее их взоры. Это была одна из тех первых послевоенных фотографий, которые при увеличении для печати словно подергиваются мелкой рябью; чувствовалось, что этих людей что-то крепко связывает, что это одна компания, которая только что выбралась из благополучно закончившейся передряги,— молодые, худощавые, с туго натянутой кожей на выступающих скулах; хотя они прошли войну (об этом говорили гимнастерки, из-под которых были дерзко выпущены воротники рубашек, остроугольные по тогдашней моде), лица их сохранили какую-то детскую невинность, особенно лица мужчин; женщины были очень молоды, ремни перетягивали их упругие, соблазнительные груди; несмотря на строгие прически — волосы коротко подстрижены или собраны в пучок на затылке — трудно было отделаться от впечатления какой-то скрытой эротики; их женственность выпирала из-под военной формы, это были вооруженные властительницы жизни и смерти, а может быть — кто знает? — и любви; амазонки, одержавшие победу над какими-то другими мужчинами (вспомнилась песенка времен войны: «Ай да Анка-партизанка, ей гордится весь отряд! Ай да Анка, ай да Анка — ей сам черт не брат!»). Так они стояли и улыбались истории, которую делали, которую переиграли и теперь крепко держали в своих молодых руках, опаленных порохом, как дети в книге «Тимпетил — город без родителей», запечатленные объективом какой-то трофейной «лейки», снятой с убитого немецкого офицера...

— Угадай, где здесь я? — сказал Доктор, не выпуская раскрытой книги из рук.

Я стал внимательно вглядываться в лица, но найти его не смог, поэтому остановил выбор на наиболее похожем, третьем справа, сравнив его костистое лицо с изжелта-бурой физиономией Доктора в обвислых складках кожи, пропитанной дымом бесчисленных сигарет.

— Вот! — сказал я, показывая пальцем на молодого здоровяка на фотографии.

— Не угадал! — засмеялся он.— На этой фотографии меня нет! Нет вообще! Я не существую! А ведь я стоял там! Вот здесь, на этом самом месте... Разве это недостаточная плата?

В месте, которое он мне указал, на втором плане находилась невысокая бутафорская античная колонна, и хотя люди стояли тесно, чтобы все попали в квадрат фотографии («Поплотнее, товарищи, поплотнее»,— командовал их приятель, молодой фотограф), между ними образовалась нелогичная, странная пустота, нарушавшая мизансцену близости; не уверен, правда, что я бы сам заметил ее, но теперь, когда Доктор обратил мое внимание на зияющий промежуток между стоящими, его необъяснимое исчезновение казалось пугающе очевидным, несмотря на то, что колонна за головами компании была умело продлена до самой столешницы и оттенена удачно положенной ретушью.

— Они допустили маленькую оплошность! — сказал Доктор радостно.— Забыли мою руку! Погляди, вот она...

В самом деле, одна рука без туловища судорожно сжимала пару кожаных перчаток, ухватившись за них, как за соломинку, в панической попытке уберечься от кисти ретушера. (Сосед невидимого Доктора, таким образом, получил дополнительную третью руку.) Несколько раз я испытывал похожее ощущение при взгляде на любительские фотографии неба, самые обыкновенные снимки, сделанные случайно из окна или автомобиля на пустом шоссе. Меня охватывал безотчетный страх: хотя на первый взгляд на фотографии не было ничего, кроме неба, вглядевшись, можно было заметить, как в облаках, точно играя со зрителем в прятки, парит нечто вроде негатива тени, нечто белесое и воздушное, до жути напоминающее правильную форму летающей тарелки. Такое же ощущение неясной угрозы вызвала во мне эта никому больше не принадлежащая рука, хозяин которой таинственным образом исчез без следа...

— Откуда вы знаете, что это ваша рука? — пробормотал я.

— Часы! — ответил он спокойно и закрыл книгу.— У меня одного тогда были часы!

25

Я соврал Доктору, сказав, что прочитал его мемуары, я их лишь перелистал. Правда, попытку одолеть «Абсурд власти» сделал, но, к сожалению, это оказалось невозможным. Я спрашивал себя, куда девался весь его блеск и убедительность, сочный язык, веселый нрав, все то, что его делало тем, кем он был, куда все это испарилось, стоило ему взяться за перо, которое оставило на бумаге одни бесцветные слова, сухие мысли, решения, заключения, циркуляры, жалобы и упреки, петиции, высказывания «за» и «против», заявления, скучные цитаты, отрывки из дневников, кошмарные сны? Каким вздором все это покажется в один прекрасный день! Сколько напрасных усилий, чтобы не сказать ничего! От человека, прожившего такую бурную жизнь, несомненно, можно было бы ожидать чего-то куда более интересного, чем эти куцые, наполовину зашифрованные телеграфные записи, за которыми якобы кроется какой-то глубокий смысл. Просто удивительно, как революционер, человек, перестраивавший мир, может писать так дубово и пресно!

«Приехал в М. Беседовал с С. Ш-ом о М-е. Интересно. Прекрасный товарищ! Поужинал со Зденкой. Выехал в П. Комиссия СКЦТ. Острая дискуссия о левых, превращающихся в правых. Приехал К. и привез письмо от Славко. Ж. передает привет. Читал Ленина в Дворцовом парке. Какая сила и актуальность! Троцкий? Да или нет? Поздняя осень. В парке повстречал С., который здесь проездом. Он сделал вид, что меня не видит. Вспомнился случай в Л-е тридцать лет назад. Как меняются люди! Где-то теперь П.? Надо перечитать Гегеля. Написал письмо Д-у. Вернулся в Р. Беспокойная ночь. Все чаще снятся ленивые дравские волны... Задушенная длинным белым шарфом из тюля М. в лодке, где на веслах в маске сидит Е. К., вплывает в з-ский затопленный кафедральный собор, перед которым стоит А. Г. М. Утром легкая инфлюэнца. Врач прописал отдых и покой...»

Интересно, читают ли когда-нибудь подобные индивиды в клозете, как все люди? Мне что-то не приходилось встречать упоминания об этом даже в самых интимных дневниках или мемуарах, которыми лавка в последнее время просто завалена. А как было бы здорово наткнуться на что-нибудь вроде:

«Читал, сидя в сортире, пятый том М. К. В том бесподобном месте, где говорится об отчуждении главного героя, наконец-то шмякнулось толстой

коблаской долгожданное Г., от которого я не мог освободиться со времени поездки на симпозиум в Л. Какое облегчение! Превосходный стиль! Превосходное Г. средней консистенции. Какое-то время пребывал в блаженной расслабленности...»

А их сны! Они напоминают мне оформленные в сюрреалистическом духе витрины универмагов перед началом сезона. Все, что не решаются сказать в состоянии бодрствования, суют в них. Никому никогда не снилось ничего похожего на поллюцию. Никто никогда не занимался во сне тем же онанизмом. Даже погружаясь в сон, авторы мемуаров всегда остаются безупречными гражданами, правда, с несколько более широким кругом ассоциаций.

Какой бы свежестью повеяло от любого искреннего пассажа! К примеру:

«Провел *сеанс* на тему В. и ее подруги С. Они купали меня в ванне в «Эксельсиоре», а потом я мылил им шерстку. Их очаровательное, совершенно естественное бесстыдство подействовало на меня возбуждающе. Я фонтанировал, как гейзер. Потом лежал между ними, и мы болтали о сперме, размазывая ее по нашим телам. Сколько неродившихся детей, в то время как стерильные и бесплодные воют безутешно над дохлыми сперматозоидами! Какая жалость! Одной этой порции хватило бы, чтобы заселить детьми какой-нибудь остров. Республика Утопия братьев и сестер по сперме! Утром легкая инфлюэнца. Через три дня начало легкого триппера. Доктор порекомендовал мне пока что не купаться в одной ванне с В. и С. Надо было бы провести еще *сеанс* на эротические темы маркиза де Сада. Чем больше думаю о нем, все сильнее укрепляюсь в мысли, что он был настоящим *садистом*...»

Порой я и сам удивляюсь, откуда у меня, какого-то книготорговца, столько нахальства, чтобы считать большинство подобных книг самым натуральным дерьмом? И все-таки мне это кажется позволительным, хотя, убей Бог, не могу сказать почему. Достаточно ли обладать тонким вкусом или каким-то особым шестым чувством, чтобы получить это вонючее право принимать не все из того, что, по мнению остальных, достойно величайших похвал? Не знаю. Но я чувствую это свое право! Беда в том, что я не могу представить ни одного доказательства своей исключительности, кроме тех давних статеек, разбросанных по литературным журналам и газетам; ведь и то, что я написал, так никогда и не обрело никакой пристойной обложки (если не считать той коробки из-под ботинок на шкафу, в которой желтеют старые газетные вырезки); я не оставил после себя никакого следа, ничего не выдумал, ничего не открыл, не сказал никакого нового слова, которым было бы отмечено время и литературный процесс, ничего! Не смог даже набраться смелости и терпения, чтобы закончить исследование о Шломовиче и перепечатать свою жалкую тетрадку, как этот сумасшедший Доктор, который хоть задницей силен — высидел-таки аж шестьсот страниц сплошного текста. Все же я слишком часто беру на себя смелость называть ту или иную книгу барахлом, а после еще удивляюсь, когда другие говорят, что я много о себе думаю, что на всех смотрю свысока, когда таят на меня обиду из-за того лишь, что я сказал им правду, ту самую правду, которую чувствуют и сами, только боятся признаться в этом даже себе. Впрочем, что есть правда? Сказать горбуну, что он горбат и что скоро умрет, о чем красноречиво свидетельствует цвет его лица, или с ободряющей улыбкой заметить: «Вы сегодня великолепно выглядите!» Нет, дело, конечно, не в правде, моя беда, видимо, в том, что люди чувствуют, какое отвращение у меня вызывают многие вещи, которых я просто не принимаю, а ведь такую роскошь могут позволить себе лишь те, кто имеет доказательства своей исключительности. Я бы мог написать об этом книгу еще потолще, чем мемуары Доктора. Только зачем? Разве не сказал Лоренс Даррел в «Александрийском квартете» (NB: послать Лене!) прекрасные слова о том, что все великие книги — это погружение в жалость?

26

«Вы знаете, я никогда не пытался и не пытаюсь отрицать, что являюсь тем, кто я есть! Что поделаешь, кому нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка! Но вы же знаете наш примитивный народ и можете представить, как оно было зимой сорок четвертого, когда и на нормальных-то любовников смотрели косо (время пуританства), а что уж говорить про нас, «извращенцев»... За это самое тогда запросто могли шлепнуть. Да, да, не смейтесь, вам это сегодня, может быть, смешно, потому что вы не помните тех лет, но все же вам бы следовало знать, что первые переводы Пруста и Жида смогли увидеть свет лишь десять лет спустя, не говоря уж о бедняге Жане Жене и Кокто! Так вот, когда меня вышибли из театра, я остался без гроша за душой,

даже продуктовые карточки отобрали! Вы знаете, это было ужасно, просто ужасно, можете мне поверить! Я голодал. Голодал в буквальном смысле слова. Потом один знакомый посоветовал обратиться к этому вашему... Доктору. Он вроде как был ответственным за нас — актеров, певцов, художников и остальную шатию; мы знали друг друга в лицо и здоровались на улице; Белград до войны был маленьким городишкой, почти все друг друга знали; я подумал: интеллигент, изучал право, пусть даже не закончил, должен понять, хоть он и их человек! И вот в один прекрасный день я отправился к нему, туда... туда, где он работал. Пошел... ну да, просить помочь, чтобы меня взяли назад в театр, я же никого не убивал, не доносил, не предавал, а у нас до войны столько коммунистов бывало, и обедали, и ужинали. И хотя люди искусства боязливо обходили тот дом стороной, я решил: будь что будет! Я был готов на все. Абсолютно на все. Он меня не принял. Перед дверью стоял молодой статный солдат с автоматом на груди, собой до того хорош — с ума можно сойти! Он доложил обо мне, но тот не принимает. Я приходил целую неделю каждое утро, и наконец на седьмой день он смилостивился. Я слышал, как он приказал этому пареньку: «Впусти его!» И он меня впустил. «Здравствуйте!» Думаете, он поздоровался? Сидел за огромным столом и читал газету, с головы до пят в черной коже: кепка, кожаное пальто до пола, ремень, сапоги — все при нем! И ни слова! Мне стало так не по себе... На столе перед ним лежал пистолет без кобуры (его дуло, знаете, все время смотрело на меня) и почему-то линейка! Я до сих пор не могу понять, зачем там была линейка? Не знаю, хоть убейте! Я стоял посреди комнаты, пока он, все так же уткнувшись в газету, не процедил сквозь зубы: «Говори!» И я стал рассказывать ему о своих бедах, постарался объяснить, что театр для меня все, в нем вся моя жизнь, и, может быть, он в силах мне помочь, потому что как культурный человек понимает, что иначе меня лучше просто сразу убить, поскольку без сцены я и так мертв. Он все это время молчал, уставясь мне в глаза, а потом вдруг неожиданно вытащил из стола средний, самый большой ящик и, не говоря ни слова, бросил его через всю комнату мне под ноги, да так, что он развалился на куски, можете мне поверить, и из него высыпалась куча газетных вырезок, фотографий, театральных афиш, программок, чего там только не было, и все это, представьте, о моих спектаклях! Даю вам честное слово, я и не подозревал, что обо мне во время оккупации столько писали! Я, правда, играл одни заглавные роли: Зигфрида в «Нибелунгах» (прекрасная была постановка!), потом в «Счастливых днях» играл, в «Джидо», в «Разбойниках» Шиллера, всего уж и не упомню! Были вечера, когда занавес поднимался и опускался раз по пятнадцать, что-то невообразимое! Я встал на колени и начал было перебирать все эти фотографии, рецензии, а он, этот ваш Доктор, как рявкнет: «Положи!» — я и положил, что мне еще оставалось, а он уставился на меня этими своими дьявольскими глазищами так, что у меня даже ноги подкосились, и спрашивает, кто был в зале, когда я играл все эти спектакли? А откуда мне знать кто? Я же не билетер! Я артист! Актер! А дело актера — играть, и только! Публика как публика! «Немцы были твоей публикой, педераст вонючий! — заорал он внезапно, отчего у меня мороз по коже побежал.— Фашисты! Ты, сука, фашистам играл!» Он выскочил из-за стола или через него перемахнул, я уж теперь и не помню, этакий верзила, и хвать меня вот так за грудки: поднял в воздух, как перышко, я и вздохнуть не мог, глядит в упор, а глаза у него, Боже мой, я до конца дней эти глаза не забуду, и вопит: «В то время как мы кровь проливали, ты для фашистов играл, гнида!» Я на это что-то забормотал, дескать, и сам бы ушел в партизаны, да не мог, а он рычит: «Это почему же, почему ты не мог?», на что я попытался объяснить, что меня не пустила мама. «Она меня, знаете, с детства ни на шаг от себя не отпускала!» — говорю ему, по-прежнему вися в воздухе. И тогда он меня вышвырнул через стеклянные двери, вот так вот взял и швырнул; я вылетел сквозь них (причем, что удивительно, ни одно стекло не разбилось, представляете качество?) и прямо на того солдатика, эту конфетку, который меня холодно оттолкнул так, что я скатился с лестницы и хлопнулся в пыль. И перед кем! — представьте: как раз перед моим бывшим директором театра, который, видно, шел к Самому с докладом! Думаете, он остановился? Какое там! Мимоходом только вот так поддал мне рукой. С тех пор я с ним не здороваюсь! А все же я, как говорится, в рубашке родился: при всем при том не получил ни единой царапины! Идиот! Потом читаю в газете: и ему указали на дверь, и он стал врагом! Как говорит моя мама: «Сегодня князь — завтра мразь!» А меня, представьте, снова приняли в театр — у них там некому было играть гнилых аристократов — классовых врагов... Но это уже было не то. Что-то во мне над-

ломилось, я ушел в себя... Мама моя, слава Богу, еще жива и в здравом уме, хотя весной девяносто стукнет. Живем хорошо, несмотря на трудные времена, я понемногу занимаюсь аранжировкой цветов, есть у меня еж и хомячок, развожу птиц и, вы знаете, я счастлив. Заходите как-нибудь на чай. Мама будет рада...»

27

Сегодня здесь все: и давно побежденные, раз и навсегда сошедшие со сладостной карусели власти, и другие, столкнувшие первых, чтобы потом и их вышибли из игры, и третьи, полные оптимизма, которым только предстоит принять участие в старом, как мир, действии, сперва в качестве статистов, а затем и главных действующих лиц, которых ничему не научила судьба их предшественников. Тут же и те, кто ни во что никогда не лезут, но любят поглазеть на чужую беду; случайные покупатели и прохожие, привлеченные толпой у входа... Здесь же, само собой, и неопрятные молодые интеллектуалки, не заботящиеся о своей внешности и не пользующиеся косметикой, чтобы подчеркнуть свое презрение к благопристойному обществу, в котором, однако же, непрестанно отираются. Стоит их кому-нибудь прижать в укромном уголочке, и они вмиг забудут и политику, и литературу и замурлыкают кроткими домашними кисками, мечтающими о замужестве.

В лавку набилось человек сто. Еще столько же осталось снаружи. С десяток возмущенных откликов в газетах, два обсуждения на телевидении с участием общественности, фрагменты политических выступлений на различных собраниях и заседаниях, посвященных «Абсурду власти» и его автору, создали книге невероятную рекламу. Воздух липкий от пота и каких-то на редкость вонючих духов. Дышим дымом.

Доктор стоит посреди лавки и надписывает экземпляры своей книги. Чубчик и Весна работают за кассой. Высокая стопа мемуаров Доктора тает с каждой минутой. Он спокойно закрывает ручку, снимает очки и прячет их в карман, потом медленно обводит присутствующих гордым взглядом человека, которому случалось иметь дело и с куда более серьезными противниками.

В таких случаях кто-то обычно громко хлопает в ладоши, чтобы обратить внимание публики на оратора, чаще всего какого-нибудь критика или публициста, который представит автора в самых лестных выражениях, как будто он уже давно умер. Сам же автор при этом будет, скрестив на груди руки, скромно смотреть на носки своих ботинок, принимая похвалы со спокойной сдержанностью человека, которому, конечно, немного неудобно, что его так превозносят, но, с другой стороны, он это без сомнения заслужил. В конце писатель и критик сердечно жмут друг другу руки (иногда даже облобызаются трижды в обе щеки), а потом писатель отвечает на вопросы присутствующих. Сегодня, однако, никто не хлопнул в ладоши, потому что ни один из критиков не согласился представлять «Абсурд власти»; все стояли и смотрели на Доктора, не знавшего, как ему начать, и никто не решался ни о чем его спрашивать. Это была одна из тех долгих, неприятных пауз, которые могут выдержать лишь сильные, уверенные в себе люди или мазохисты.

Разбуженный тишиной, я очнулся от дремоты, оставил на время Лену (а может быть, она была тут, в толпе, и ждала, что я что-нибудь предприму?) и, вынырнув из хмельных паров прямо в гуще происходящего, увидел около сотни людей, которые неподвижно стояли, уставясь на Доктора, также, казалось, потерявшего дар речи. То ли он вдруг испугался долгожданного момента истины, оказавшись лицом к лицу с будущими читателями? Не знаю. Они стояли, не шелохнувшись, как в детской игре «замри — отомри», будто в ожидании принца, который освободит их от чар зловредной колдуньи и вытащит из задницы усыпляющие колючки. Тишину, долгую, как вечность (пользуюсь избитой метафорой за неимением лучшей), внезапно прервал звучный, внушительный голос:

— Что здесь происходит? Что за комедия? Где организаторы?

По толпе прошел гул. Древним животным инстинктом она, похоже, почувствовала опасность! Из людской массы, зажатой между книг, послышался одинокий выкрик:

— А ты кто такой?

Остальные подхватили:

— А какое твое дело, кто организатор?

— Кто тебя послал?

— Я из редакции «Журнала» и еще раз спрашиваю: кто организатор?

Я наконец обнаружил, кому принадлежит этот строгий начальственный

голос. Его обладатель стоял прямо против Доктора; обращаясь ко всем, он смотрел в упор на него. Крепкие, гладко выбритые скулы, крупное молодое тело на грани полноты, стянутое новым костюмом, жилетом и галстуком с широким нахальным узлом, жесткие, коротко подстриженные волосы, чей аккуратный ухоженный вид не допускал и мысли о декадентской взлохмаченности,— он жутко походил на самого Доктора — и ростом, и твердой решимостью дать отпор толпе, какой бы многочисленной она ни была. Вся фигура молодого человека, державшего под мышкой сверток газет, дышала каким-то конструктивным здоровьем: товарищ был явно доволен и собой, и миром, к которому принадлежал и который в данный момент представлял; к тому же ему выпала редкая возможность разоблачить змеиное вражеское гнездо: коварных «голубых» во время противоестественного акта, анархо-либералов, целующихся лесбиянок, анархистов, уже прилаживающих запалы к своим черным, круглым бомбам, третьеклассников, занимающихся онанизмом в сортире... Казалось, что и он, и Доктор сделаны из одного добротного материала, из которого делают людей, способных крепко держать в руках и свои и чужие жизни. Если бы волею судьбы этим вечером в лавке молодой человек не должен был выступать против него и его мемуаров, Доктор мог бы быть доволен, что его порода не исчезла, что есть у него наследники на этой земле — живет агрессивное племя и множится, несмотря на все исторические перемены, потому что дело тут не в идеологии, а в особом складе ума, который, как известно, так медленно, так ужасно медленно меняется. Доктор, правда, уже давно попытался отречься от своего племени — одухотворенный самообразованием, размышлениями, сомнениями, путешествиями и опытом, он больше не желает участвовать в том, у истоков чего сам же стоял, не отказываясь, разумеется, от своей исключительности — той первой детали духовного одеяния, которую человек должен раз и навсегда отбросить, прежде чем вступить в храм благородной терпимости. Молодой же человек еще даже не приблизился к этому священному порогу. Его налитое кровью лицо, напрягшееся, со вздувшимися мышцами, точно изготовившееся к прыжку тело произвели ужасающее впечатление на Весну и Чубчика, в один миг позабывших про свою небрежную позу подражателей французских букинистов: застигнутые врасплох, они буквально оцепенели от какого-то атавистического страха. Балканы ворвались в стеклянные двери книжной лавки того же названия, и мои помощники стояли, совершенно растерявшись, среди обломков своего детского садика.

— Не цепляйся, пусть Доктор говорит! Не твоя же книга! — крикнул кто-то, скрытый анонимностью толпы.

— Мы не тебя пришли слушать!

— Не нравится — вали отсюда...

Молодой человек побледнел от ярости:

— Ни одна редакция в городе не поставлена в известность...

— Объявления надо читать, как все люди делают.

— Я звонил в дирекцию «Балкан»! Там никто понятия не имеет о том, что происходит в их магазине!

— Ну и что?

— Как это «ну и что»? Я спрашиваю, кто организатор, потому что собираюсь писать об этом... Это мое право!

Я увидел цепочку возбужденных лиц, потом бледную физиономию Доктора; его пальцы судорожно сжимали переплет «Абсурда власти». На губах его я прочитал немой приказ: «Убрать!» Случись такое лет тридцать назад, нахал очутился бы за решеткой еще этой ночью. В спертом воздухе гроздью повис унизительный страх. А мне это твердое, благонадежное лицо без тени сомнения, слабости или порока вдруг показалось воплощением всего, что я ненавижу: может статься, Лена как раз с таким вот предала меня и мой мир, бросила одного здесь, в этом магазине игрушек для взрослых, которым нравится забавляться красивыми сказочками, перешла на какие-то другие орбиты, где вращаются сильные, предприимчивые мужчины-бойцы, а не слабаки и мечтатели. Нет, я не был на стороне Доктора, я вообще не был ни на чьей стороне; как уже сказано, эти двое принадлежали к одному типу людей, которых остальные живые существа не интересуют иначе, как в роли послушного им войска, у власти ли, в оппозиции ли, им всегда необходимо быть окруженными свитой. Молодой человек был именно из этой когорты, он заскочил сюда мимоходом, чтобы всех нас унизить и показать, какие мы все в сущности ничтожества. И вот тогда я, всю жизнь искавший утешения в высокомерном цинизме или презрительном молчании, понял в одно мгновение (перед глазами

мелькнула убегающая Лена с распущенной гривой каштановых волос), что есть куда более удачные способы выражения отчаяния, чем прыжки с двенадцатого этажа или участие в локальных войнах в Азии или Африке; вот она, эта возможность — сама плывет в руки. Подгоняемый рислингом и бесшабашным «почему бы и нет, черт возьми?», я выбрался из своего мягкого, прогнившего капкана, который сам же себе поставил, и в полной тишине взял всю ответственность на себя.

(Лена, я иду! Ты видишь, как я падаю и, падая, ору твое имя!)

— Я!

Он повернулся ко мне. Мое заявление его явно обескуражило. Остальные тоже повернули головы. Я прочитал в их глазах радость, оттого что они не на моем месте. Однажды очень давно я уже видел это выражение глаз, когда директор перед всем классом зачитал постановление о моем исключении из гимназии без права поступления в другую.

— Ну и что теперь? Ты доволен?

По лицу его скользнула едва заметная тень неуверенности. Он ждал, что вызов примет равный противник, кто-то из его же породы, а вместо этого оказался лицом к лицу с представителем плохо знакомого ему вида, чуть ли не пришельцем из космоса! Мы стояли, глядя друг другу в глаза, и я, не отрывая немигающего взгляда от его горящих ненавистью зрачков, тихо сказал:

— В гляделки не тебе со мной тягаться! Я был абсолютным чемпионом улицы... Еще вопросы есть?

Подобно благодатному весеннему дождю по лавке прокатился смех облегчения.

— Раз ты организатор, значит, ты и будешь представлять «Абсурд власти»? — спросил он злорадно, отступая в гущу толпы.

— Буду! — сказал я.— И чтобы ноги твоей здесь больше не было!

Нагнувшись, я вытащил из-за кресла припрятанную бутылку вина, налив полный бокал, осушил его за здоровье всех присутствующих и произнес первую в своей жизни речь о книге, которую лишь мельком пролистал, думая при этом только об одном: услышит ли обо всем этом Лена?

28

«В августе 1947 года я стоял в почетном карауле перед трибуной, на которой был Доктор с товарищами. Вы помните, Доктор, мы стояли в трех метрах от вас, вы произносили речь, и один мальчик потерял сознание. Впрочем, я не о том. Знакомы мы, стало быть, почти тридцать пять лет! Тридцать пять лет... Господи, неужели я уже могу сказать, что знаю кого-то тридцать пять лет? Это ж почти целая жизнь! Собственно, это только я знал Доктора, а он меня нет. Почему мы раньше не познакомились? Дело в том, что первые тридцать пять лет моей жизни Доктор был занят более важными делами, а последние десять занят был я! (Смех.) Теперь встает вопрос, достаточный ли срок тридцать пять лет, чтобы узнать и дать оценку чьей-то деятельности? Думаю, да, тем более что я и сам в некотором роде продукт этой грандиозной деятельности, хотел этого Доктор или нет. Вы спросите, конечно, как такое возможно? Видите ли, в книге «Абсурд власти» Доктор во многих местах утверждает, что хотел обеспечить моему поколению счастливое детство и юность, сделать из нас настоящих людей нового времни и что все, что он тогда делал (хотя он признает отдельные мелкие ошибки, причина которых исключительно в горячем энтузиазме), делал из лучших побуждений. У нас нет оснований ему не верить. Но, возможно, выход мемуаров Доктора неплохой повод, чтобы задаться вопросом, удалось ли ему это. Может, Доктору было бы интересно услышать и другую сторону, ту, над которой проводился эксперимент, выслушать одного из свидетелей, духовно (обратите внимание, я говорю: духовно!) выжившего вопреки процессу перевоспитания с детских лет. Перевоспитание! Как давно мне не приходилось слышать это старое доброе слово! (Перевоспитать... Его перевоспитали... Он перевоспитан!) Так вот, когда после войны началась идеологическая муштра, когда из нас, маленьких анархистов-индивидуалистов, выросших на обломках вчерашнего мира, надо было по тогдашнему советскому образцу сделать маленьких старичков, организованных пионеров с красными галстуками в духе непревзойденной «Педагогической поэмы» гениального товарища Макаренко, появилась масса идиотских книг, превращавших детей в кретинов. Мы, разумеется, по-своему сопротивлялись... Как? Лично мне помогли довоенные комиксы, которые я отыскивал на чердаках и в подвалах (в то время существовал настоящий черный рынок комик-

сов), я был просто без ума от Флэша Гордона! В те мрачные времена, когда идеальный ребенок должен был быть чем-то вроде маленького общественно-политического деятеля, занимающегося критикой и самокритикой, перевоспитывающегося, фискалящего на своих близких и берущего пример со старших, какими бы подлецами они ни были, мы уносились на космическом корабле Флэша Гордона в иные далекие миры... Фьють — и нет маленького Педжи! Итак, с помощью Флэша Гордона я восстановил утраченную связь с довоенным временем, заглянул в чье-то чужое детство, из которого не были изгнаны детские игры, фантазии, приключения,— да, да, так мы спасались от всеобщего откровенного оглупления! (Простите, один глоток, в горле пересохло.) На чем я остановился? Ах, да! На Флэше Гордоне. Какое отношение Флэш Гордон покойного Алекса Реймонда имеет к книге Доктора? Имеет, сейчас сами увидите! Мы ведь в то время должны были писать сочинения о добрых глазах Сталина, но при этом втайне от всех вели свою духовную партизанскую войну, детскую, но весьма эффективную. Я с полным основанием мог бы обвинить кое-кого в том, что нам явно была уготована участь шизофреников, которым приходилось с детства страдать от раздвоения личности. Одно лицо, общественное, было для школы и пионерской организации, а другое, тайное, только для себя и самых близких друзей. Впрочем, я не буду сейчас об этом распространяться, все это было так давно, и мы все уже постарели... Как бы то ни было, хорошо уже то, что мы такие, какие есть, если вспомнить, через что нам пришлось пройти! Однако в книге «Абсурд власти», которую я сегодня имею честь предложить вашему благосклонному вниманию, Доктор во многих местах пишет, что еще накануне войны знал про сталинские концлагеря и массовые убийства невинных людей! Необычайно ярко и красочно он живописует свои послевоенные конфликты с советскими товарищами и даже встречи с самим Сталиным в Кремле! Описания поистине блестящие, посмотрите, как точно подмечены детали: «Рябое лицо с глубоко посаженными хитрыми глазками дикого зверя... Маленький рост и характерное телосложение человека, которому самой природой назначено быть преступником... Неподвижно висящая парализованная рука, простой френч... Азиатская малоподвижность, страх, который он распространяет вокруг себя, перегарный дух...» Нет, нет, это бесподобные страницы, драгоценнейшее свидетельство, мимо которого наверняка не смогут пройти и будущие авторы подобных книг! Но меня волнует другое! Почему, какого черта Доктор, бывший тогда высшей властью, заставлял нас писать сочинения о добрых глазах Сталина и о том, что он лучший друг детей, в то время как сибирские ГУЛАГи были битком набиты советскими детьми, которые мерли, как мухи, почему, если обо всем этом, как он сам пишет, знал уже тогда? Зачем заставлял нас петь песни о самом обыкновенном убийце, рисовать его для стенгазеты, класть цветы перед его бюстами и портретами? Хорошо! Допустим, он не мог всего рассказать нам, детям, чтобы мы ненароком не проболтались, но почему же он заставлял и взрослых делать то же самое, вплоть до сорок восьмого? Зачем делал из нас дураков, хорошо зная мерзкую уголовную сущность «вождя народов»? Возникает еще один небольшой вопрос: что бы случилось с тем, кто бы все то, что Доктор пишет сегодня, сказал тогда, перед той трибуной, с которой Доктор произносил речь, когда я стоял в почетном карауле? Сказать вам? Этот несчастный, будь он трижды прав, мог бы считать, что ему сильно повезло, если б отделался только длительным сроком! А когда бы вышел на свободу, перед ним никто даже не извинился бы! (Смотрика, ни капли не осталось!) Что я предлагаю? Монастырь? Нет, это слишком старомодно, хотя, надо признать, по крайней мере честно! Может быть, Доктор должен принести извинения лично каждому югославу, который ему верил, в то время как он сам сомневался во всем том, во что заставлял верить других? Возможно, это было бы неплохо. Как это осуществить? Не знаю. Что-нибудь вроде странствия кающегося грешника по городам и весям нашего дорогого отечества: останавливаешь прохожих и просишь у них прощения... Шучу, конечно! Вполне достаточно было бы и правдивых мемуаров. Только мало их, правдивых-то. Все же, может быть, «Абсурд власти» будет первым шагом на этом пути, и я вам горячо рекомендую эту в высшей степени полезную книгу! А теперь, как принято, задавайте вопросы Доктору, он вам постарается ответить... Прошу вас!»

29

В поплывшем у меня перед глазами тумане вдруг исчезли корешки книг, суперобложки, плакаты и люди, заполнявшие лавку; стены превратились в колыхающиеся занавеси, в мгновение ока все линии стерлись, как на центрифуге в

луна-парке, когда из-за огромной скорости кажется, будто движение вовсе прекратилось, и взгляд выхватывает лишь застывшие в немом вопле искаженные гримасами лица любителей острых ощущений, прижатых центробежной силой к овальному, гладкому металлу, который и сам растворяется в бешеной скорости собственного вращения, а чья-то невидимая рука выключает звук.

(так ли я представлял себе эту встречу?)

в ушах зазвенело, до боли сдавило виски, пересохшее горло и дрожь в коленях, впечатление, что я теряю равновесие, и над всем этим — ощущение беспомощности и тщетности — следствие неподготовленности к такому событию, случавшемуся со мной уже тысячу раз и всегда по-разному, а сейчас будничному, заурядному, неожиданно возможному, осязаемому и реальному посреди этой застывшей немой сцены, где какие-то интеллектуалы по-рыбьи открывают и закрывают рот, не производя никакого звука.

(в море света стояла Лена)

за ней медленно, очень медленно закрываются стеклянные двери, и она оказывается здесь, завлеченная своим любопытством в сети; в нерешительности останавливается среди книг и задержавшихся посетителей; ее никто не заметил и никто не находит ничего особенного в появлении обыкновенной молодой женщины в белом плаще, которая может быть покупательницей или случайно заглянувшей сюда прохожей и которая сейчас стоит под сводами волшебного замка, созданного одной лишь силой страсти, во дворце, построенном для нее одной из книг вместо кирпичей, скрепленных музыкой вместо цемента; ей и в голову не приходит, что все это ждало только ее, и было без нее мертвым, не оплодотворенным живым смыслом.

(душа, долго витавшая сама по себе, наконец соединилась с телом)

в тот момент, когда сумасшедший круг стал замедлять свое кружение, возвращая лицам лица и звуку звук, фортепьянное кружево Кейта Джеррета вновь прорвало тоненькую звуконепроницаемую пленку, и вслед за ним хлынули обрывки разговора, зашелестели перелистываемые страницы, стены снова встали на свои места, обретя четкие очертания, а книги попрыгали обратно на полки — дыхание мое выровнялось, и я увидел ее темный силуэт на освещенном фоне уличного аквариума; лицо ее еще какое-то время оставалось невидимым, в тени, но с каждой минутой все яснее проступали хорошо знакомые черты в обрамлении темно-каштановых волос, из-под которых двумя светлыми озерками заблестели любопытные глаза девочки, оказавшейся за кулисами кукольного театра; однако мы все еще не могли двинуться с места, стояли и смотрели друг на друга, как в какой-нибудь дурацкой киномелодраме сороковых годов, просто так стояли и смотрели, пока босоногая Весна не прошла между нами в поисках какой-то книги, которую ждал покупатель, разорвав своим телом пучок невидимых нитей, связывавший нас и одновременно удерживавший на расстоянии.

Лена, конечно, как всегда опомнилась первой и подошла ко мне так близко, что до нее можно было дотронуться рукой; я же стоял, по-прежнему парализованный ее близостью, но уже сознавая свой паралич, длившийся лет двести, а может, лишь одну человеческую жизнь, а может, лишь столько, чтобы сосчитать до восьми, не знаю, во всяком случае до тех пор, пока мне не удалось составить первую фразу — конечно же, не из тех, что я придумывал по ночам, что роились, как винные мушки над бутылкой рислинга; я не узнал своего голоса, который, надо думать, был самым естественным, несмотря на то, что во мне происходило; это была какая-то непредсказуемая, вполне глупая фраза, которую нельзя было бы вставить ни в один фильм и даже в рассказ, я сказал, я вымолвил вот что:

Ух, какая духотища
а она сказала
Кошмар
а я сказал
Я все думал, как это будет
а она сказала
Ну и как
а я сказал
Уже не болит только
а она
Только
а я тогда сказал
Только к перемене погоды.

Потом, просто чтобы что-нибудь сделать, я провел пальцем по клавиатуре пятидесяти сербских романов, изданных «Нолитом» от несчастного Атанасия Стойковича, автора «Аристида и Натальи», до Мирко Ковача. «Все романы, достойные внимания, составляют библиотеку, которая приобщит новые поколения к непреходящим ценностям нашей культуры. Купивший их никогда не пожалеет о потраченных деньгах» — значится в аннотации. Не было только моего романа, как раз приближавшегося к своей последней главе (или одной из последних), такого же бессмысленного, как и фразы, которыми мы обменивались с Леной:

Здесь очень мило,— сказала она.

Я рад, что тебе нравится,— сказал я.

Вы давно открылись?

Давно.

Что с тобой? Ты не рад, что я пришла?

Очень рад.

Что-то не похоже, чтобы ты был рад.

Выпьешь что-нибудь?

Нет. Хотя, впрочем... Я бы выпила кока-колы. У тебя есть?

Думаю, что есть.

А это что такое?

Нечто вроде кабинета...

О твоем магазине говорит весь город...

Неужели? — я изобразил удивление и крикнул Чубчику, чтобы он подменил меня за кассой. Потом прикрыл дверь подсобки.

Достал из холодильника кока-колу.

Налил. Пена пролилась на бумаги.

Ерунда,— сказал я.

Открыл бутылку водки и налил полный стакан.

Выпил залпом.

Зазвонил телефон. Я выдернул шнур из розетки.

Подождал, пока водка начнет действовать.

Потом было хорошо.

Мы сели за стол друг против друга.

Спасибо за книги. Я их регулярно получаю.

Ерунда.

Это так мило с твоей стороны.

Ты хорошо выглядишь.

Ты тоже неплохо.

(Мы на качелях, с которых не можем слезть.)

Как глупо!

Что?

Все это. Это вот все.

Разве?

Что с нами?

Не знаю.

Ты тоже не в своей тарелке?

Нет. Не то. Просто странно. Не могу расслабиться.

(Качели поскуливают. Почему их не смажут?)

Хочешь водки? Тебе полегчает.

Я больше не пью.

Вот как!

Правда не пью. Меня бы, наверное, первый же глоток свалил с ног. Отвыкла.

Почему?

Не чувствую потребности. Я изменилась.

Хорошо.

Что хорошо?

То, что ты изменилась.

Твой сарказм неуместен.

Какой там сарказм! Тебе показалось.

Нет, не показалось.

Скрип-скрип.

Как на качелях!

Каких качелях?

Как живешь?

Счастливо. Чувствую полноту жизни. Даю и получаю. Мне очень хорошо.
Я страшно рад, что тебе хорошо. Я же говорил, что тебе еще будет хорошо. Вот видишь, хорошо же.
А ты? Ты счастлив?
Быть счастливым — не мое ремесло.
Быть счастливым — ремесло каждого.
Только не мое.
Я выхожу замуж.
Чудесно! Это просто чудесно!
Я тебя задерживаю? Ты должен быть там?
Ерунда! Обойдутся и без меня.
Качели снова заскрипели. Теперь их услышала и Лена.
Что толку.
Лучше уж нам помолчать.
Молчим.

31

Мне кажется, я наконец вижу Лену! Вот она здесь, напротив меня. Я пытаюсь смотреть на нее, как будто вижу впервые в жизни. Ее кожа, которая меня больше всего привлекала. Кожа и запах. Что за запах, я знаю. Запах американский — духи «Халстон». А вот что такое ее кожа? Если поглядеть на срез, идя сверху вниз, то это прежде всего наружный слой омертвевших клеток. Потом волоски.

Капилляры. Сетка сосудов. Сальные железы. Волосяные мешочки. Слой жировых клеток. Потовые железы. Вены. В коже располагаются и нервные окончания. Поглубже те, что откликаются на сильное нажатие, а ближе к поверхности — рецепторы, реагирующие на прикосновение, тепло и боль. Вот, значит, что такое Ленина кожа. Я был влюблен в наружный слой омертвелых клеток и все остальное. Смешно.

Гляжу в ее глаза. Они смотрят на меня со смесью сочувственного любопытства и жалости. Почему, говоря о любви, всегда описывают глаза? Что такое глаза? Белки, роговица, хрусталик, радужная оболочка, зрачок, глазной нерв... Ну как, узнали вы что-нибудь о глазах Лены? Могу еще только добавить, что они темные, как блестящий дикий каштан, и что на белках можно разглядеть сетку тончайших капилляров. Потому ли ее глаза сводят меня с ума? Нет, не потому. Ее мозг? С десяток миллиардов нервных клеток, образующих сложную систему. (Сколько, интересно, клеток занимаю я?) Ее тело? Артерии. Мышцы. Внутренности. Непереваренный обед в желудке. Вонзаю свой рентгеновский взгляд и вижу разжеванный телячий бифштекс с грибами, зеленый салат, яблочный пирог, кофе, арахис...

— Почему ты на меня так смотришь?

Что ей сказать? Что думаю о ее ногтях, зубах, пломбах, пупке, нежных волосках на ногах, с которыми она упорно борется?

— Да так,— говорю,— задумался...

А задумался я о том, как вылеплял ее из прекраснейших кусков любимых стихов и книг, рассыпанных осколков вдребезги разлетевшегося сентиментального воспитания, самых ранних своих представлений об идеале женщины (мои сердечные запасники просто забиты женскими профилями работы Пизанелло, чувственными лицами похищенных сабинянок Делакруа, портретами Ольги Хохловой кисти Пикассо; отблески дрожащего света пляшут на белой коже Сони Хени еще до войны; есть у меня и с полдюжины выразительных взглядов Одри Хепберн — на каждый день и еще для праздничного настроения; тут же и Жанна Моро: вот она сдержанно-своевольно встряхивает волосами, не подозревая, что оказалась в моей коллекции!); я создавал из всех них Лену много дней, ночей и лет, подобно доктору Калигари, чтобы, когда она наконец ожила, убедиться, что сотворил обыкновенного, хоть и очаровательного монстра. В конце концов, когда я остался ни с чем после стольких мучений и бесчисленных экспериментов, она, как и все подобные творения пигмалионов, восстала против меня же, своего создателя! И та безмерная чувственная энергия теперь возвращалась, чтобы задушить меня тоской, превратив из владельца в угнетенного и униженного раба. Что она, собственно, такое, Лена? Мифический образ, с которым я несчетное число раз ложился в постель, с надеждой ожидая следующего дня, когда, возможно, встречу ее, рассмотрю и освобожусь наконец от гипноза. Увидев ее в истинном свете, в том, в каком видели ее остальные люди, я, вероятно, смог бы отделаться от напасти и вернуться к жизни. Глядя на Лену поверх второго стакана водки, я почувствовал себя обманутым.

Меня обокрали. Вся любовь, которую я вкладывал в это нерукотворное создание, воздвигнув вокруг своей постройки литературные леса, не оставила, как видно, на Лене и следа. Мое чувство прошло мимо нее, материализовавшись в каком-то ее двойнике, Бог знает, где теперь обитающем, не коснувшись Лены, которая осталась вполне обыкновенной молодой женщиной. Да, она обыкновенная, обыкновенная во всем, кроме своего привилегированного положения по отношению ко мне. Она, значит, выходит замуж! Отлично. Через полгода она надоест мужу. Надоест всем, кроме меня. Ей будут изменять. Врать. Возможно, даже станут поколачивать, ее, единственного по-настоящему дорогого мне человека на всем белом свете... И никто из них не сможет оценить ее по достоинству. Ведь Лена и не обладает никакими особыми достоинствами с обычной точки зрения — их дано видеть только мне. Сколько дураков имело и точку опоры, и рычаг, и лишь у того старого философа, который с их помощью мог перевернуть мир, не оказалось ни того, ни другого. Сколько крестьян имело конюшни, а королю, предлагавшему полцарства за любую захудалую лошаденку, не дали и самой последней клячи... Я хорошо знаю, о чем говорю, потому что Лена и раньше доставалась на некоторое время другим мужчинам. Они уже давным-давно ее позабыли. («Кто эта девушка на фотографии? Да я уж и не помню, это где-то на курорте!») Они не находили в ней ничего особенного. Я вижу, как она заходит в их комнаты, вижу ждущие ее постели, одеяла, простыни, подушки, лампу у изголовья, слышу мурлыканье проигрывателя, вижу сигаретный дым, скрадывающий растущее возбуждение; этот любовный натюрморт обязательно дополняют два недопитых бокала на паркете; вижу стул с нервно смятой одеждой: вывернутые рукава свитера, чулки, неслышный водопад юбки, переброшенный через спинку поясок (почему никто не отольет в бронзе этот ворох обнявшейся мужской и женской одежды на стуле, под которым друг на друга брошены ботинки и туфли?); я вижу, как она раздевается, повернувшись спиной к мужчинам, лица которых не имеют значения, стерты, которые сливаются в одно тело и один запах пота и одеколона pour homme[1], слышу одни и те же фразы, повторяющиеся годами:

Чья это квартира? Сколько мы тут можем пробыть?
Иди ко мне!
Только приму душ...
Учти, там левый кран барахлит...
А если он вернется?
Не волнуйся.
Останься еще немножко так!
Хочу сигарету...
Который час?
Девять.
Мне пора.
Разве мы не поужинаем вместе?
Сегодня я правда не могу. В другой раз. Ладно?
Ладно.
Позвони мне!
Обязательно. Как только выберу время.
Может, встретимся в среду?
Конечно. Только сперва созвонимся.
Нам было хорошо.
Да, было чудесно.
У тебя есть мелочь на такси?
Есть.
Тогда пока!
Пока!

Все те мужчины. Все они. Все те мужчины, обладавшие ею, берущие любовь так, как берут в буфете бутерброд с ветчиной и сыром, как пьют кока-колу, не находят в ней ничего особенного; они говорят приятелям, что она хороша в постели, все делает, как полагается, и предлагают ее телефон, потому что в ней действительно нет ничего необыкновенного ни для кого, кроме меня (так предопределено нашими кармами, предрешено задолго до нашего рождения), и она это знает, потому-то, что бы ни случилось, всегда ощущает какую-то болезненную потребность во мне, она знает, что создана только для меня и что я где-то в темноте курю и жду, жду, когда она, перебывав во всех постелях, переспав со всеми, придет и скажет то, что она как раз сейчас и говорит:

Признайся, ты думал обо мне!

---

[1] Для мужчин *(франц.)*.

Думал.
Часто?
Все время.
Я знала.
Откуда?
Я всегда знаю, когда ты думаешь обо мне.
Я всегда думаю о тебе.
Больше не думай, прошу тебя!
Почему?
Мне от этого как-то не по себе. Обещай, что не будешь...
Это зависит не от меня.
А от кого?
Не знаю.
Ну и глупо! Ты мог удержать меня, если б хотел.
Мог.
Ты не смеешь меня ни в чем упрекать! Я тебя спрашивала...
Все в порядке!

Качели раскачиваются все сильнее, я взлетаю под самую крону липы во дворе на Дукиной, 13 и возвращаюсь назад по траектории огромного маятника, не чувствуя собственных ног то ли от головокружительного полета, то ли от того, что незаметно для себя выпил полбутылки водки. Не знаю как, но Ленина голова оказалась на моем плече. Я целую ее волосы, мочку уха, шею и думаю: «Это только волосы, это только мочка уха, это только шея, а где же *то*?»

Может, в какой-то иной жизни? Я ведь ужасно терпелив. Ты веришь в какую-то иную жизнь?

Не знаю. Мне пора...

Тебя проводить?

Не нужно. Я шла попросить тебя не думать обо мне больше. По крайней мере, не так часто. Пожалуйста!

Я попробую...

(Хоть и знаю, что не смогу выполнить обещание.)

Значит, договорились?

Договорились. Постой, а кто он?

Лена оборачивается в дверях и, прежде чем исчезнуть, говорит:

Тот из зоны грозы.

Скажи «фрррррр» без р!

Ф-ф-ф-ф-ф! — фы(р)кнула она по-кошачьи и вышла.

Может быть, я задремал. Не знаю. А может, это просто один из тех тупых вечеров, незаметно переходящих в ночь, когда я, сам того не сознавая, прохожу сквозь невидимую стену, отделяющую действительность от фантазии, и оживляю Лену с помощью «Водки Выборовой» в Лесу Стриборовом? Я обнимаю телефон и прижимаюсь горящей щекой к его прохладной пластмассе. Слышу, как Чубчик говорит Весне:

— Шеф опять наклюкался!

Они гасят свет, закрывают двери, и я в полном изнеможении наконец засыпаю.

32

Однажды мы сбежали на море.

Я занял немного денег (будучи в то время на мели) и полетел с Леной в Дубровник, пораженный тем, что всего в каких-нибудь тридцати пяти минутах лета от царства смога и прокуренной белградской кафаны, где мне часто приходится выслушивать чьи-то пьяные излияния, находится нечто вроде рая. Одурманенный густым, пьяняще-соленым воздухом, пахнущим сосной, я дымил сигаретой, как паровоз, только чтобы почувствовать в легких что-то привычное. Мы были унизительно белыми в начале лета среди уже загоревших отдыхающих. Лена ходила на нудистскую часть пляжа, подставляя солнцу все свое ухоженное тело манекенщицы, а я оставался в затененном баре у моря, напиваясь от скуки с раннего утра. Я испытываю неприятное чувство среди нудистов. Мне противно смотреть на эти груды вульгарного мяса, с эксгибиционистским наслаждением выставляющего себя напоказ, не имея, однако, достаточно смелости, чтобы отдаться до конца. Время от времени я относил Лене лимонад или фрукты. Оскорбленная тем, что не одна щеголяет здесь обнаженной натурой, она лежала на гладкой пологой скале подобно бесполой скульптуре. Мимоходом я поглядывал на голые пары, смазывавшие друг другу тела маслом для

загара в приторно-сладком облаке кокосового запаха. Голые среди голых скал, они напоминали иллюстрации Гюстава Доре к «Чистилищу» Данте; все словно бы одинаковые, похожие друг на друга своей бронзовой наготой, загоравшие словно исполняли какой-то непристойный балет, хореография которого придумана самой неудовлетворенной похотью. Я бы мог поспорить на что угодно, что каждый из этих упитанных мужчин и каждая из этих дебелых женщин втайне желает чужую партнершу или партнера и мысленно представляет их, обнимая друг друга ночью в номере своего спутника. Я, признаться, тоже не безгрешен, утверждать обратное может лишь патологически влюбленный или тот, кому просто недостает смелости посмотреть правде в глаза. Нет такой связи, которая со временем не наскучивает, становясь привычной. Лена для меня в то время, поправде сказать, чаще всего служила универсальной моделью. С помощью ее совершенного тела я, закрыв глаза, мог обладать всеми женщинами, которых мне удалось бы представить.

Сидя с утра до вечера в баре на пляже, я подружился с одним симпатичным пожилым итальянцем, который из-за своих отечных ног и тучного студенистого тела даже и не пытался раздеться и искупаться. Время от времени, когда он взглядывал на свой раздувшийся до угрожающих размеров живот, на лице его появлялось гадливое выражение, похожее на немой вопрос: «Откуда взялась эта безобразная плоть?» Потом он наливал себе полный бокал вина и осушал его залпом, возвращаясь к своей книге, которую не выпускал из рук, или заказывал порцию копченого мяса и сыра, словно стремясь едой заглушить охватившее его отвращение. Вскоре у нас завязалась беседа. Он прилично говорил по-сербски, правда, с сильным итальянским акцентом. Мы заговорили о Дино Буццати (он как раз читал «Татарскую пустыню») и быстро обнаружили, что любим одних и тех же итальянских писателей. Вскоре наша беседа стала походить на перелистывание книжного каталога; мы перебрасывались именами-символами, прощупывая духовную конституцию друг друга: Пратолини, Звево, Витторини, Кальвино, Моравиа и, конечно же, кого никак нельзя было обойти — придет смерть и у нее будут твои глаза — Чезаре Павезе, этот пробный камень для всякой души, склонной к самоуничтожению!

За нашим столом росла невидимая библиотека любимых книг и весьма внушительная коллекция бутылок белого дубровницкого. Сам я здорово подднабрался, но на моего нового друга вино вообще не действовало. В конце концов старый итальянец (звали его Маурицио Ангелини) предложил нам быть его гостями этой ночью. Я тогда еще не знал, что это значит, но все стало ясно уже в десять вечера, когда он встретил нас в баре, одетый в безукоризненный черный смокинг, и повел в казино, арендатором которого, как выяснилось, являлся. После того как мы поужинали омарами и выпили две бутылки шампанского, синьор Ангелини пригласил нас немного развлечься за рулеткой. Мы перешли в игорную комнату, где служащие встретили нашего приятеля с заметным почтением. Мы оказались в своего рода экстерриториальном пространстве, куда входят исключительно с иностранными паспортами, поскольку югославам (чтобы деньги их не испортили) играть в азартные игры запрещается. Видя нас в обществе владельца заведения, охранник у дверей игорного рая не стал строжиться. Вскоре перед нами на зеленом сукне возникла кучка жетонов — подарок хозяина, любезно усадившего Лену на единственный свободный стул. Я стоял рядом с ней и наблюдал за игроками, несколько смущенный роскошью и благоговейной атмосферой этого святилища, в котором чувствовал себя жалким бедняком, чуть ли не деклассированным элементом: перед каждым из них лежала кучка квадратных бляшек — настоящее богатство для такого, как я, кому бы и одного из этих жетонов хватило, чтобы продлить пребывание на море по крайней мере еще на неделю. Наш короткий весенний отдых подходил к концу, денег оставалось всего на два дня. Я чувствовал всю абсурдность нашего присутствия со своими несчастными грошами за одним столом с настоящими богачами, которые с невозмутимыми лицами проигрывали и выигрывали головокружительные суммы.

— Faites vos jeux, mesdames et messieurs! Faites vos jeux! [1]

Жужжание рулетки не вызывало во мне никакого волнения. Я начисто лишен азарта, что, разумеется, не означает отсутствия других пороков. Живу достаточно кипучей жизнью, чтобы нуждаться в каких-то дополнительных возбуждающих средствах. Кроме того, боюсь, что шальные деньги, подаренные случайным капризом бегающего шарика, совершенно обесценили бы мой постоянный заработок; могу себе представить, с каким видом я получал бы по-

---

[1] Делайте вашу игру, дамы и господа! Делайте вашу игру! *(франц.)*

том свою ничтожную зарплату в размере чаевых, которые здесь дают крупье. Вообще без ложной скромности могу сказать, что уже много лет я живу вне власти денег, которые появляются и исчезают без всякого моего участия. Они меня просто не волнуют! Я поглощен другими вещами. Это, вероятно, следствие моего образа жизни, не требующего никаких особых расходов: пью я самые дешевые вина, курю «Драву», а ем очень редко и мало, забывая через две минуты, что было на обед или ужин.

— Rien ne va plus! Rien ne va plus, mesdames et messieurs![1]

Лена, осторожно положившая половину подаренных жетонов на красное поле, вскрикнула от радости — ее ставка удвоилась! Она снова поставила на *rouge* и снова выиграла. Я наблюдал за ней со стороны, она была прекрасна, как никогда, смеялась, взвизгивала от восторга, сжав кулачки, неотрывно следила за шариком, взглядом умоляя его остановиться в нужном месте... Какой разительный контраст являла она собой с пресыщенными, не первой молодости игроками, пытавшимися с помощью рулетки разогнать скуку! Ее красота и искренняя увлеченность игрой вызывали улыбку на их непроницаемых лицах. Я никак не предполагал, что затаенная страсть к игре, неожиданно проснувшаяся в тот вечер, может ее так преобразить! Собственно, я не вполне уверен, что это была просто любовь к риску, столь милому сердцу тех, кто непрестанно пришпоривает свою ленивую жизнь; мне кажется, тут речь шла, скорее, о корыстолюбии, задрапированном азартом...

Рассказывая о Лене, я замечаю, что у меня получается портрет этакого монстра с прелестным лицом. И я часто спрашиваю себя, насколько он соответствует действительности. Не говорит ли это во мне оскорбленное самолюбие? Может, Лена совсем не такая, может, мне просто не удалось проникнуть в ее настоящую суть? Да и как я сам выглядел бы, доведись мне взглянуть на себя ее глазами? Льщу себя, однако, мыслью, что нет такой дурной черты, которую она могла бы во мне выискать и которой я сам не знал бы за собой. Кто знает Педжу Лукача лучше, чем он сам? И кому известно больше постыдных подробностей его жизни? Конечно, ему самому!

— Почему ты не играешь? Посмотри, сколько мы выиграли!

Я был уверен, что тоже выиграл бы в рулетку, если б поставил на цифру сорок (столько мне тогда было лет), но моего числа не было, на последнем зеленом поле значилось 36, и я решил не испытывать судьбу. К тому же я не без гордости считаю своим призванием не выигрывать, а проигрывать (тут я действительно настоящий талант), а вскоре надо было вернуть и Лену из ее золотого сна к действительности, как ни было бы мне ее жаль,— она уже заработала на то, чтобы еще по меньшей мере месяц прожить в самом дорогом дубровницком отеле и, возможно, на круиз по Средиземноморью, о котором так мечтала, но ведь начальный капитал, с которым мы за неполных два часа игры разбогатели, был подарком сеньора Ангелини. Мне казалось невозможным пройти к кассе и преспокойно получить деньги за жетоны, подаренные нам просто из дружеского расположения (как после этого ограбить человека на такую сумму?). Говоря высоким слогом, в известном смысле я предал бы этим Чезаре Павезе и всех остальных, благодаря кому наш знакомый поверил, что я лишен алчности и что для меня посещение его казино будет лишь небольшой экскурсией в другой мир, дававший ему возможность оплачивать свою тайную любовь к литературе, вкусной еде и праздности. Как объяснить это Лене, которая как раз зарабатывала на поездку в Нью-Йорк? Я устал, мне наскучило стоять у стола вне игры, правила которой я не до конца понимал. У меня было ощущение, что я надел грязную рубашку.

Уже сколько месяцев я не прикасался к заветной зеленой папке, не пополнил свои материалы ни единым новым фактом. Разве, живя подобным образом с этой молодой, избалованной особой, таскаясь с ней по каким-то совершенно мне чуждым местам, я смогу когда-нибудь завершить свою работу о Шломовиче? Да знает ли она вообще, кто он такой? Ей же это до лампочки! Я несколько раз начинал рассказывать ей одиссею таинственной коллекции французских мастеров, но она всякий раз прерывала меня каким-нибудь дурацким замечанием, вроде: «Милый, ты мне не подашь вон тот розовый лак для ногтей? Ну, и что же дальше?..», после чего у меня пропадало всякое желание говорить об этой странной истории, владеющей моими мыслями вот уже более десяти лет. А однажды, когда я откопал великолепный след одного профессора-искусствоведа на пенсии, рассказавшего мне невероятные вещи о жизни Шло-

---

[1] Ставки сделаны! Ставки сделаны, дамы и господа! *(франц.)*

мовича в Париже, она прервала меня вопросом: «Кто? Шломович? Это тот, что собирал картины? Да ты мне это уже сто раз рассказывал!» И вот теперь здесь, в казино у зеленого стола с жужжащей игрушкой, дарящей и отбирающей целые состояния, мне кажется, что я слышу откуда-то из тьмы времен отчаянный, зовущий голос Эриха Шломовича, за которого я несу ответственность, я словно вижу укоризненный, разочарованный взгляд его больших еврейских глаз: ведь я обещал и себе, и ему, что спасу его от забвения и что однажды, неважно, когда, поведаю миру всю правду о нем и его жизни, о том, что уже давно поросло быльем. И что же я сделал? Ничего, потому что все время откладывал на потом, наивно оправдываясь тем, что собрал еще не весь материал, хотя даже подшофе, как сейчас, мог бы рассказать об Эрихе Шломовиче больше, чем кто-либо на этом свете.

Мне хотелось пить и спать. Могу себе представить, как я надоел Лене своим: «Ну хватит! Пошли!»

Перед ней между тем уже выросла горка красных квадратных жетонов.

— Faites vos jeux, mesdames et messieurs! Faites vos jeux...

— Попробуй, сыграй,— предложила Лена, надеясь, что и во мне проснется спящий игрок.

— Сколько тебе лет? — спросил я ее.

Она посмотрела на меня удивленно:

— Двадцать пять...

Соврала: ей тогда было двадцать шесть.

— Поставь все на двадцать пять! — велел я.

Никогда не забуду ее взгляд, в котором была и ненависть, и бешенство, и мольба, и презрение, и боязнь проигрыша.

— Поставь! — повторил я и тут увидел синьора Ангелини, все это время наблюдавшего за мной из-за спин игроков с другой стороны стола. Он понял мой жест. От человека, понимающего Павезе, такое не может ускользнуть. Все же в его взгляде я прочитал и некоторое сомнение: с нами, нищими интеллектуалами из Восточной Европы, едва сводящими концы с концами, никогда и ни в чем нельзя быть уверенным: сколько их продалось за куда меньшие западные бабки! Я оказался между двух огней. С одной стороны, на меня смотрели всеведающие глазки старой, мудрой черепахи, а с другой — огромные, полные слез глаза самого дорогого для меня существа, встретясь с яростным взглядом которых я с ужасом понял, что, выбирая между мной и раскрашенными пластмассовыми бляшками, она бы скорее выбрала их.

Она поколебалась, а потом дрожащей рукой оттолкнула море, наряды и путешествие в Нью-Йорк, сделав знак крупье, что ставит все на 25. Я облегченно вздохнул. Буквально оторвал ее от зеленого стола и повел к старому итальянцу, чтобы проститься и поблагодарить за гостеприимство. Она шла за мной вокруг стола, как сомнамбула, не сводя взгляда с рулетки.

— Rien ne va plus! Rien ne va plus, mesdames et messieurs!

Рулетка снова зажужжала. Проигрывая, я чувствую себя как рыба в воде. Но в тот момент, когда я протянул руку одобрительно глядевшему на меня синьору Ангелини, Лена вздрогнула, точно пораженная неслышной шальной пулей: этот чертов шарик остановился на двадцати пяти! Дьявольщина! Все сначала! Что этот человек подумает обо мне?

Я раздвинул игроков и приказал крупье поставить все на 17. Почему на семнадцать, я до сих пор не знаю. Наверное, потому, что в семнадцать лет я был гораздо лучше, чем сегодня, когда бегаю за манекенщицами и таскаюсь по таким заведениям, куда простые люди не вхожи.

Само собой, мы проиграли все. У меня гора с плеч свалилась. Денег по-прежнему оставалось только на два дня.

В лифте Лена плакала.

Я ласково погладил ее по худой спине борзой, которой хозяин нарочно не дал выиграть какую-то вонючую гонку, но она со злостью оттолкнула мою руку.

— Я знаю одного типа в Дубровнике, который сегодня будет спать один! — заметил я, ухмыляясь про себя.

— Мне он тоже знаком! — прошипела она.

NB: Послать Лене «Игрока» Достоевского в память о днях, проведенных на голубой Адриатике!

33

Книги, книги, книги, книги, повсюду вокруг меня книги, в венах моих течет не кровь, а расползается свинцовая типографская краска и струится, закручиваясь в водовороты, поток сознания в романах-реках, и шуршат, шурша

расходящиеся бумажные круги книжных ассоциаций, а перед каждым произнесенным словом точно стоят неизбежные кавычки. Я уже не в состоянии отличить жизнь от вымысла, отрывки из книг, как спирохеты, проникли мне в мозг, в нервы, в каждую клеточку отравленного организма, рот набит старой бумагой и многократно пережеванными оборотами, и я все чаще ловлю себя на том, что думаю о себе в третьем лице:

как только погасла красная надпись NO SMOKING, Педжа Лукач нетерпеливо зажег смятую сигарету, которую во время взлета нервно крутил в пальцах.

Глядя на снежно-белые башни кучевых облаков через овальный иллюминатор «Боинга-727» (погода на трассе — местами облачность), он сказал своей прекрасной спутнице:

— Я не боюсь летать, я боюсь падать!

— Я люблю тебя! — сказала она, глядя ему в глаза.

Это «Я люблю тебя», должно быть, все еще парит где-то в высокой голубизне — осколок уходящей любви, насквозь промерзший при температуре в минус пятьдесят пять градусов.

— Меня? — он взглянул на нее приятно удивленный.— Что ты находишь во мне? Я же износился, как эти джинсы!

Молодая женщина коснулась кончиками ногтей с перламутровым маникюром его колена в потертых джинсах «Левис». На ней был тонкий белый пуловер с высоким воротом, подчеркивавший нежный оттенок смуглой кожи и великолепие каштановых волос, ниспадавших на худые плечи. Безупречный профиль с изящными линиями носа, лба, подбородка, чувственных, немного припухлых губ и длинных ресниц, казавшихся искусственными, четко рисовался на кобальтово-голубом фоне неба, по которому они плыли, пьянея от высоты, усыпляемые равномерным гудением трех мощных двигателей этого электронно-керосинового комбайна для перемалывания ветра, так и распираемого самодовольством, оттого что человек наконец стал великаном, как верно предугадали товарищи Ильин и Сегал, до чего, впрочем, не было никакого дела пассажирам, каждый из которых был занят своим маленьким большим страхом.

Кто ты, Лена?

Дорогая куколка-манекенщица, в которую вложены деньги, в которую вложено все лучшее, чем на данный момент располагает наша изнеженная европейская цивилизация, очаровательная девочка, представительница класса, который мы условно называем средним в обществе, поторопившемся объявить об отмене всех классов, с головы до пят являющая собой отчаянное стремление провинции во что бы то ни стало идти в ногу с большим миром, а что такое для нее большой мир? — роскошный каталог свободной торговой зоны в аэропорту с точно обозначенными ценами в долларах, покупки, покупки, покупки, бесконечные покупки, куда ни повернись!

Ну-ка, поглядим: твой плащ и шарф к нему куплены в Лондоне («Барбери хаус»). Посмотреть картины Уильяма Тернера в Национальной галерее ты там, разумеется, не успела. Туфли фирмы «Бруно Магли» приобретены на Виа Венето в Риме, где ты не удосужилась сходить на толкучку Порта Портезе, на которой Де Сика снимал «Похитителей велосипедов», фильм, в конце которого я обычно разнюниваюсь, как кретин. Очки ты купила в Цюрихе. Ты могла там зайти в известное кафе и разыскать стол, за которым сидели Ленин с Троцким. Впрочем, что тебе до них! На коленях сумочка от «Луис Виттон», по которой можно отличить даму из высшего общества от всякой швали — какая изысканность! Снаружи лакированная, но изнутри! — изнутри благороднейшая желтая кожа. Твое левое запястье с восхитительно выступающей косточкой украшают классические часы «Картье» с римскими цифрами на белом квадратном циферблате... Где ты их купила? В Париже? Или тебе их кто-то подарил? Кто? Что еще? Духи? Ну-ка, ну-ка?.. «Халстон»! Хотя, возможно, тебе больше бы подошел «Примитифф»?.. Ну вот, кажется, и все!

Люблю ли я тебя? Если хорошенько подумать, то, любя тебя, такую эффектную, такую авантажную и такую дорогостоящую, я, видимо, на самом деле люблю не тебя, а Педжу Лукача, которому удалось тебя подцепить. Ведь во времена его нищей молодости девушки твоего типа были настоящей редкостью, доступной лишь тем немногим, в число которых он-то уж никак не попадал. Что это за тип? Это тип ухоженной, самостоятельной, немного ветреной молодой женщины, при всем том в достаточной степени обывательницы, чтобы вы чувствовали себя с ней более или менее спокойно. И что же произошло с Педжей Лукачем? С Педжей Лукачем произошло следующее. Педжа Лукач имел редкое несчастье встретить Лену в то время, когда она была одним из первых образчиков описанного типа, прежде чем такие девушки стали чуть ли не

массовым явлением. Педжа Лукач это полностью сознает, да что проку, если он одновременно и обожает и презирает объект своей любви. По этой причине он делает одну ошибку за другой: разыгрывает из себя утомленного жизнью, пресыщенного субъекта (роль, вполне соответствующая его возрасту), изображает разочарование, а из-за всего этого выглядывает, растерянно моргая, самый обыкновенный мальчишеский страх перед состязанием с настоящими, нахрапистыми парнями, которые наверняка хотят отнять тебя, красавица; Педжа Лукач заранее отказывается от этой борьбы и прячется в свой улиточный домик, склеенный из печатных страниц, где безопасно и удобно, потому что все соперники давно мертвы. И поэтому он играет! Ему не остается ничего другого, кроме игры, а о том, что она может стать опасной, он и не подозревает, это ему предстоит узнать позднее, когда придет время.

34

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, ГОВОРИТ КОМАНДИР ЭКИПАЖА, ПРОСЬБА ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНИ И ПРИВЕСТИ КРЕСЛА В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. МЫ ВХОДИМ В ЗОНУ ГРОЗЫ...

— Тебе бы надо замуж...— ровным голосом сказал Педжа Лукач своей молодой спутнице, когда самолет, заметно подрагивая, входил в зону грозы.

— За кого?

— За кого-нибудь.

— Мне никто не нравится.

Сучка! Думаешь, я не заметил твоего скользкого, быстрого, по-женски испытующего взгляда, полного желания, брошенного на того молодого красавца-стюарда в аэропорту? Он, конечно, в своем форменном костюме выглядел привлекательно, ничего не скажешь (мне с ним не тягаться!), и ты тогда рассеянно, вдруг ни с того ни с сего сказала: «Да, да, в аэропорту вечно теряешь столько же времени, как если б ехал поездом!» А потом, тоже на первый взгляд без всякого повода, лихорадочно: «Люблю тебя, люблю, ох, до чего я тебя люблю!», что звучало как: спаси меня, спаси меня, спаси меня от соблазна, так бы и пошла за этим парнем!

— Почему ты меня любишь? — спросил Педжа Лукач, стоя в очереди сдавать багаж.

— Потому что я к тебе привязалась!

— А почему ты привязалась?

(Господи, что за идиотский разговор! Они с Леной уже годами собирали коллекцию глупейших и банальнейших фраз, которыми обмениваются любовники, и вот теперь в который раз исполняли свою камерную драму без зрителей.)

— Я привязалась к тебе потому, что я дочь разведенных родителей и нашла в тебе потерянного отца, привязалась потому, что желторотые мальчишки не умеют трахаться, привязалась потому, что ни с кем до тебя не испытала оргазма, потому что у тебя есть деньги, а я люблю комфортную жизнь, потому что ты красивый и умный и все знаешь, вот почему я привязалась!

А потом, через полчаса они оказались в зоне грозы, и он сказал: — Тебе надо бы замуж! — а когда она спросила: — За кого? А он ответил: — За кого-нибудь! — и тогда они стали придумывать Лениного будущего мужа, потому что она спросила: — Интересно, а как бы он выглядел?

Педжа Лукач предложил, чтобы ее будущему мужу было двадцать шесть лет, на что она сказала: слишком молод, и тогда они договорились, что ему должен быть тридцать один год, потому что шесть лет, как утверждают специалисты, идеальная возрастная разница для супругов. Какой тип мужчины? Среднего роста. Худощавый. Шатен. Мускулистый. Глаза голубые. Кто по профессии? Юрист! — предложил Педжа Лукач, на что Лена сказала: — Ты меня недооцениваешь! По-твоему, я не заслуживаю ничего более интересного? Поэт. Вот еще! Не люблю поэтов. Мне нужен комфорт. Хочу, чтобы он прилично зарабатывал. Дипломат? Лена задумалась: — Это уже лучше! — сказала она.— Но в тридцать один год он бы не мог быть послом, а все, кто ниже посла... Как представлю, что мой муж стоит перед чьим-то столом навытяжку, а начальник ему устраивает разнос... Это так унизительно! Как уважать такого мужчину?

«Что такое вся моя жизнь,— думал про себя Педжа Лукач,— как не зона грозы?»

Лена отвергла предложение, чтобы ее будущий муж был артистом (они вечно заняты самолюбованием, как женщины); летчиков вечно нет дома (стюарда они не упоминали); гинекологов, наверное, с души воротит при одной мысли об этом самом. В итоге было решено, что он должен быть архитектором! У ар-

хитекторов есть как раз то, что нужно Лене: необычная профессия, искусство без самовлюбленности (ведь и это искусство, и ремесло!), самостоятельность и некоторая власть над другими, которая не является властью ради власти, потому что временна, дается только на время строительства. Итак, он должен быть архитектором! Надежный, спокойный, разумный, обстоятельный, но при этом безалаберный, как все художники (может быть, немного чудаковатый?) — одним словом, идеальный мужчина, который может обеспечивать семью, с которым спокойно, надежно, ну и так далее.

Так они с помощью воображаемого фоторобота создавали мужа для Лены, складывая его из лучших черт всего мужского рода, слепленных в единое целое тайной ревностью Педжи Лукача.

— Чего-то ему все же не хватает...— сказал он.— Он слишком безупречен, чтобы стать реальным. Потому никак и не оживает...

— Что же делать? — спросила Лена.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, НАШ САМОЛЕТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К БЕЛГРАДСКОМУ АЭРОПОРТУ...

— У него должны быть какие-нибудь недостатки, верно? Ничего особенного, так, по мелочи...

— Например?

— Может, он пьет?

— Разве это недостаток?

— Храпит?

— Меня из пушки не разбудишь!

— Обожает мать?.. Эдипов комплекс?

— Она стара. Умрет и оставит нас одних.

— Есть еще кое-что, чего ты о нем еще не знаешь.

— Что? Неужели?..

— Нет-нет, он не голубой. Это так, мелочь...

— Ну, говори же!

— Счастливо женат и имеет детей.

— Э, нет! Я не согласна. Хватит с меня женатых!

— Хорошо! Разведен и имеет детей.

— Это пожалуйста. Я не возражаю, чтобы они его время от времени навещали. А квартира у него есть? Или дом?

— Он занимает один этаж в небольшом домике.

— В каком районе?

— Скажем, Дединье[1].

— Претенциозно.

— Тогда на Крунской? Крунская, одиннадцать, высокий первый этаж.

— Это еще не все,— сказала Лена.— Как его зовут?

— Какое имя тебе больше всего нравится?

— Вук.

— Хорошо, Вук Радович. Крунская, одиннадцать, высокий первый этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! НАШ САМОЛЕТ СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ В БЕЛГРАДСКОМ АЭРОПОРТУ. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ОТСТЕГИВАТЬ РЕМНИ И ОСТАВАТЬСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕМПЕРАТУРА В БЕЛГРАДЕ ПЛЮС ВОСЕМНАДЦАТЬ ГРАДУСОВ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПОЛЕТ БЫЛ ДЛЯ ВАС ПРИЯТНЫМ!

Они вышли из «Боинга», взяли свой багаж, сели в такси и поехали на Крунскую. Педжа Лукач внес Ленин «Самсонит» в подъезд дома номер одиннадцать. Позвонил в дверь мореного дуба с начищенной латунной ручкой. Открыл мужчина лет тридцати, голубоглазый шатен в купальном халате.

— Вы Вук Радович?

— Слушаю вас?

— Это Лена, ваша будущая супруга!

— Очень приятно, я очень рад! Проходите, пожалуйста!

— Нет-нет, спасибо, я только ее проводил, меня ждет такси...

— Вы даже ничего не выпьете?

— Я в самом деле не могу. Привет!

— Чао! Заходи как-нибудь, мы с Вуком будем рады...

---

[1] Фешенебельный район в Белграде

Никогда прежде я их не видел.

Они не похожи на людей, которые интересуются книгами. Лица у них незапоминающиеся, одеты аккуратно, ни одной броской детали. Двое серых мужчин в таких же серых дождевиках. Один направляется в глубину лавки, проглядывая мимоходом названия. Второй остается у двери. Я не спрашиваю, что им нужно. Сижу и смотрю сквозь стекло витрины. Первый возвращается от стеллажей и подходит ко мне сзади:

— У вас случайно нет «Абсурда власти»?

Свихнуться можно — в последние дни ничего другого не спрашивают! Как будто я продаю не книги, а скандалы!

— Вот же, у вас под рукой,— говорю.

Подошел и второй дождевик.

— А еще экземпляры есть?

— На складе, наверное, найдутся,— ответил я.

— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько еще есть экземпляров?

— Я посмотрю.

— Я пойду с вами! — заявил он и привычным движением извлек из кармана маленькую книжечку — удостоверение.

Осталось еще одиннадцать экземпляров.

— Сколько вы всего заказывали?

— Разве я помню! — ответил я.— Сейчас посмотрю в книге заказов.

Он не отходит от меня ни на шаг.

— Дайте, я сам! — сказал он и стал листать бланки заказов.— Продали вы, значит, восемьдесят экземпляров?

— Выходит так...

— Кому?

— Я не записываю фамилий...

— Ты мне дурочку-то не валяй! — процедил он сквозь зубы.— Тебе отлично известно, кто покупал это дерьмо!

— Известно,— смиренно признался я.

— Так кто?

— Сам автор купил десять экземпляров. Мы ему продали с двадцатипроцентной скидкой.

— Кто еще?

— Я. Мне что, принести тебе из дома свой экземпляр?

Он не ответил.

— Какой-нибудь мешок есть? — спросил он неприязненно.

Я дал ему целлофановый мешок, и он побросал в него оставшиеся «Абсурды».

— А квитанция?

— Какая еще квитанция?

— Я отвечаю за эти книги! Как мне, по-твоему, потом за них отчитываться?

Он нехотя нацарапал что-то на квитанции, поглядывая на меня исподлобья:

— Ты не больно-то умничай.

— Ее что, запретили? — спросил я его помощника.

— Вроде бы...

— Но почему?

— Понятия не имею.

Они ушли, не сказав больше ни слова.

Я продолжал смотреть сквозь витрину, но уже без всякого удовольствия. Вскоре зазвонил телефон. Меня вызывали в дирекцию.

На этот раз мне не предложили ничего выпить, не предложили даже сесть. В секретариате сидели двое незнакомых мужчин и женщина средних лет за пишущей машинкой. Они замолчали при моем появлении. Секретарь почему-то обратился ко мне на «вы»:

— Вы можете нам ответить, кто организовал представление книги «Абсурд власти»?

— Я.

— Вы предварительно консультировались с кем-нибудь из дирекции?

— Нет.

Женщина отпечатала мои ответы, и я их подписал.
— Можете идти...
Я вернулся в лавку. Через пять минут зашел парень в куртке десантника.
— У вас случайно нет «Абсурда власти»? — спросил он еще с порога.
— Нет.
— Жаль! — сказал он.— Я слышал, его собираются запретить...
— Из-за чего?
— Понятия не имею! — ответил парень и вышел.

36

Я все спрашиваю себя, что было бы, если бы в тот вечер корреспондент «Журнала» случайно (случайно ли?) не забрел в наш магазинчик и через два дня не напечатал о происшедшем репортаж на два столбца? По всей вероятности, ничего. Все бы прошло тихо, как обычное представление публике новой книги, какие чуть не каждый вечер организуются в белградских книжных магазинах и галереях. Но уже сама величина жирных букв заголовка служила зловещим предупреждением, что речь идет о событии, не могущем остаться без серьезных последствий. Под заголовком располагался большой снимок лавки, напоминающий фотографию места, где совершено какое-то ужасное преступление. Не хватало только мелового контура на тротуаре.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ «БАЛКАНЫ».

В последнее время даже книжные магазины, предназначение которых служить храмами просвещения и культуры, становятся местом политических диверсий все более наглеющих врагов нашего общества всех мастей и оттенков. Об этом свидетельствует возмутительная выходка служащего книжного магазина «Балканы» на улице Королевы Анны, который, воспользовавшись недавней презентацией книги, написанной в духе недостойного памфлета, пытался пропагандировать типично конформистские, обывательские, анархо-либеральные и антикоммунистические идеи и взгляды, ничем не отличающиеся от высказываний злейших врагов нашей страны.

После того, как он чуть ли не с кулаками набросился на нашего корреспондента, обзывая его провокатором только потому, что тот, исполняя свой профессиональный долг, осмелился поинтересоваться, кто является официальным организатором встречи читателей с автором книги весьма сомнительных идейно-художественных достоинств, и после того, как он запретил ему впредь появляться в *своем* магазине, полупьяный книготорговец (в дирекции мы узнали, что его имя Педжа Лукач), не обращая внимания на негодование присутствующих покупателей и гостей, влил в себя чуть не целую бутылку вина и обрушил поток желчи и грязи на наш общественный строй. Говоря о послевоенном периоде восстановления и строительства, когда наше общество напрягало все силы для того, чтобы поднять страну из руин, П. Лукач дал следующее свое «видение» тех героических лет: «Когда после войны началась идеологическая муштра, когда из нас, маленьких анархистов-индивидуалистов, выросших на обломках вчерашнего мира, надо было по тогдашнему советскому образцу сделать маленьких старичков, организованных пионеров с красными галстуками в духе непревзойденной «Педагогической поэмы» гениального товарища Макаренко, появилась масса идиотских книг, превращавших детей в кретинов. Мы, разумеется, по-своему сопротивлялись... В те мрачные времена, когда идеальный ребенок должен был быть чем-то вроде маленького общественно-политического деятеля, занимающегося критикой и самокритикой, перевоспитывающегося, фискалящего на своих близких и берущего пример со старших, какими бы подлецами они ни были, мы уносились на космическом корабле Флэша Гордона в иные, далекие миры... (Уместно спросить, в какие такие миры уносился юный П. Л.? Уж не в миры ли чуждого нам общественно-политического строя?) Так с помощью Флэша Гордона я восстановил утраченную связь с довоенным временем!»

Охарактеризовав в своем «выступлении» всю политику нашей страны как сталинско-догматическую, П. Л. на этом не останавливается, он обвиняет старшие поколения борцов-революционеров в том, что они якобы «уготовили молодежи участь шизофреников, которым приходилось с детства страдать от раздвоения личности: одно лицо, общественное, было для школы и пионерской организации, а другое, тайное, только для себя и самых близких друзей!»

Согласитесь, это уже слишком! Такое непозволительно даже пьяному книготорговцу. Все же мы благодарны П. Лукачу за то, что он раскрыл нам тайную стратегию враждебных элементов. В конце своей «речи» П. Л. обвинил

поколение наших отцов и дедов в злоупотреблении доверием народа, заявив, будто «тот, кто в те годы посмел бы открыто говорить правду, и по сей день сидел бы в тюрьме, и никто бы перед ним даже не извинился!»

Книжный магазин «Балканы» на улице Королевы Анны, где на днях были высказаны подобные «мысли», уже давно избрали местом своих сборищ разного рода «литераторы» и частные «издатели», ловко ускользающие от общественного контроля. Кстати сказать, там регулярно распиваются спиртные напитки, якобы по примеру аналогичных заведений на Западе (!). Ничего удивительного, что его служащий осмелился произносить речи перед публикой в, мягко говоря, нетрезвом виде! Возникает вопрос, действительно ли это его частная лавочка, где он может вести себя подобным безответственным образом, или речь идет о государственном объекте культуры, на развитие которой наши рабочие выделяют из своей зарплаты немалые средства? Интересно было бы послушать, что думают обо всем этом ответственные товарищи в дирекции «Балкан», а также издательский совет этого солидного издательства, книжный магазин которого явно без ведома ответственных лиц используется в своих грязных целях враждебно настроенными элементами?»

37

«Весь оставшийся тираж книги «Абсурд власти» переработать во вторичное сырье...» («Официальный вестник»)

— Так в два счета грыжу заработаешь! — жалуется рабочий, таскающий связки «Абсурда власти» к машине для резки бумаги.

— В обложке нельзя! — протестует человек за машиной.— У меня все ножи полетят!

— А как же раньше можно было? — спрашивает старший инспектор.

— Раньше книги были в мягких обложках. А тут поглядите, какой твердый переплет, да еще пластик! После этого ножи можно сразу выбрасывать...

— Что будем делать, товарищи? — спрашивает старший инспектор комиссию.

— Надо оторвать обложки! — предлагает второй член комиссии.— Позовите еще двоих человек!

Подходят двое, в руках у них кефир в картонных пакетах и рогалики. Старший инспектор нетерпеливо смотрит на часы:

— Побыстрее, товарищи, мы спешим!

— Имеем мы право позавтракать? — возмущается первый рабочий.

— Да пошел он...— негромко говорит второй.— Лично мне спешить некуда!

— Что ты сказал? — подходит к нему второй член.

— То, что слышал! — отвечает рабочий с набитым ртом.— Посмотри на время! У нас перерыв до десяти...

— Принесите комиссии кофе из столовой! — требует второй член комиссии.

— Кофе нет! — говорит бригадир рабочих.— Чай будете?

— Давай что есть! — машет рукой старший инспектор.

Не спеша позавтракав, рабочие закуривают и начинают лениво отрывать обложки. Обнаженные, книги отправляются в бумагорезательную машину, которая затем выплевывает их в виде бумажной лапши. Обложки кидают на тележку и вывозят во двор типографии. Двор окружен грязно-серыми стенами, у которых свалены рулоны старой бумаги и какие-то бочки.

— Кошава начинается...— говорит старший инспектор, глядя в небо.

— В этом году что-то рано,— говорит третий член комиссии.

Бригадир обливает обложки бензином. Подходит пожарный:

— Что это вы делаете?

— А ты не видишь?..

Пожарник хватается за висящую на поясе кобуру:

— А ну брось! — кричит он грозно.— Здесь я хозяин!

— У нас постановление...— говорит второй член.

— Чье постановление?

— Не суйся, не видишь — мы работаем! — отпихивает его бригадир.

— Насрать мне на ваше постановление! — кричит пожарник.— Здесь я хозяин!

— Так нельзя, товарищ,— пытается утихомирить его старший инспектор.— Выбирайте выражения!

— А я вам говорю: здесь не будет открытого огня, пока я на посту! Я из-за вас не собираюсь в тюрьму садиться!..

— Сходите в секретариат! — велит старший инспектор второму члену.— Товарищ прав. Пусть ему там дадут указание.

— Это другое дело,— соглашается пожарник, убирая руку с кобуры.— Пусть принесут разрешение от инженера по технике безопасности, и потом хоть всю типографию спалите — мне дела нет! А в тюрьму я ни из-за кого не желаю садиться!..

Второй член комиссии шипит:

— Я это тебе припомню, Милич! — и уходит за разрешением.

— Плевать я хотел на твои угрозы! — кричит ему вслед пожарник.

— Выбирайте выражения, товарищ! — укоряет его третий член.

— Тебе я ничего не говорил!

— Откуда вы, товарищ? — примирительно спрашивает старший инспектор.

— Из Чаетины,— нехотя отвечает тот.

— Красивый край...— говорит инспектор.

Пожарник молчит, мрачно уставясь на носки своих сапог.

Третий член, представитель издательства, выпустившего книгу в серии «Книги и идеи», спрашивает старшего инспектора, читал ли он «Абсурд власти». Это его, впрочем, нисколько не интересует, просто ему тягостна наступившая тишина. Старший инспектор отвечает, что не читал. Некогда, много работы.

— Крупная издательская недоработка..— сокрушенно говорит третий член.

— Н-да, бывает...

Они молча стоят над грудой оторванных обложек. Через некоторое время возвращается второй член с заведующим типографией.

— В чем дело, Милич? — вопрошает тот пожарника.— Опять твои фокусы?

— Я не собираюсь из-за него в тюрьму садиться! — возмущается тот.— Вы же сами у меня в прошлом месяце вычли из зарплаты из-за какой-то паршивой зажженной сигареты! Если вы берете на себя ответственность, я не возражаю!

— Поджигай! — велит заведующий бригадиру, который стоит в нерешительности с мятой газетой и зажигалкой в руке.— Я отвечаю.

— А докýмент?

— После зайдешь со мной в канцелярию. Эта корова ушла завтракать и заперла печать...

Пожарник берет под козырек. Со стороны кажется, будто он отдает честь очередной жертве Index librorum prohibitorum [1].

Бригадир подносит зажигалку к смятой газете, которую затем бросает на груду обложек. Они вспыхивают, сворачиваясь в трубочки и распространяя вокруг кисловатый запах. Люди молча смотрят на фиолетовое пламя.

Комиссия подписывает протокол о переработке «Абсурда власти» во вторсырье.

— Не зайдете ли к нам в столовую позавтракать? — предлагает второй член старшему инспектору.— У нас сегодня фасоль...

— По-солдатски?

— По-солдатски?

— Ну, если по-солдатски, то пойдем!

Первый рабочий пьет в буфете пиво со вторым рабочим.

— Глянь-ка, что я стибрил! — он вытаскивает из-под спецовки «Абсурд власти».

— Смотри, чтобы кто не увидел. Мало ли что там может быть написано!

Ветер разносит по двору золу и пепел. Пожарник гоняется за тлеющими обрывками и затаптывает их сапогами.

— Кошава, мать ее так! — ругается он, поглядывая на небо.

38

Интересно, что бы произошло, если бы товарищ Уча через день не должен был выступать на каком-то митинге? Скорее всего ничего. Заметка корреспондента «Журнала» по поводу представления «Абсурда власти» была бы вытеснена из памяти читателей уже следующим номером этого фискального листка, как вполне заурядная глупость, к каким уже все давно более или менее привыкли, и наши три судьбы даже теоретически никогда бы не смогли соприкоснуться, а тем более переплестись.

Как принято в подобных случаях, товарищ Уча (читавший свою речь по бумажке) сперва поделился воспоминаниями о военном времени, а потом коснулся положения в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в

[1] Список запрещенных книг *(лат.)*.

энергетике, здравоохранении, науке, образовании и туризме, закончив обращением к моей скромной персоне, о которой он говорил уже не только по шпаргалке, но и экспромтом, причем с неподдельным пафосом. Хотя мне он в своей длиннющей речи посвятил не больше двадцати строчек, все газеты именно эту часть его выступления вытащили в заголовки и подзаголовки, выделили в тексте курсивом. Получилось, что мне придается гораздо большее значение и важность, чем славному прошлому и всем отраслям народного хозяйства и социальной сферы, о которых рассуждал оратор. Чаще всего встречался устрашающий заголовок «НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ С ВРАГАМИ!», кочевавший с легкой руки корреспондента ТАНЮГ из одной газеты в другую. Видимо, всем уже осточертели одни и те же навязшие в зубах фразы, которые без конца талдычит Уча, вот они и возгорелись охотничьей страстью, почуяв живую дичь.

«Говоря о нашей действительности,— отметил товарищ Уча,— мы вместо конкретного критического анализа зачастую ограничиваемся лишь абстрактными рассуждениями и намеками. Пора перестать ссылаться на «определенные негативные явления», «отдельные ошибки» и «несознательные элементы», давайте, товарищи, назовем вещи своими именами! Надо полагать, у виновников этих негативных явлений есть имена и фамилии? Вот на днях читаю в средствах массовой информации, что посреди нашей столицы возникло неприкрытое вражеское логово и что это логово оппозиции, из которого классовые враги клевещут и изрыгают хулу на величайшие завоевания нашего движения, сформировалось в рамках социалистического издательства (под названием «Балканы»), а мы по-прежнему смотрим сквозь пальцы на то, что подобные вредные элементы портят и сбивают с пути нашу молодежь! Примером того может послужить омерзительная, контрреволюционная и националистическая выходка некоего Педжи Лукача, в бессильной обывательской ярости обрушившегося с гнусными нападками на нашу общественную систему, столь ненавистную вышеупомянутому Лукачу и ему подобным. Все начинается с разглагольствований о том о сем, но очень быстро становится ясно, о чем на самом деле идет речь — речь идет о подлых нападках на Революцию. Неужели, товарищи, у нас настолько ослабла бдительность, что стало возможным говорить подобные вещи — я цитирую: «Когда после войны началась идеологическая муштра, когда из нас, маленьких анархистов-индивидуалистов, выросших на обломках вчерашнего мира, надо было по тогдашнему советскому образцу сделать маленьких старичков, организованных пионеров с красными галстуками в духе непревзойденной «Педагогической поэмы» гениального товарища Макаренко, появилась масса идиотских книг, превращавших детей в кретинов. Мы, разумеется, по-своему сопротивлялись... С помощью Флэша Гордона я восстановил утраченную связь с довоенным временем!» Конец цитаты. Выходит, товарищи, этот самый Педжа Лукач еще ребенком мечтал о возврате к старому, к старой, королевской, капиталистической Югославии. И он об этом говорит сегодня, когда на дворе год тысяча девятьсот восемьдесят второй, и ведь это еще не все! Он принародно утверждает, что тот, кто в те годы посмел бы открыто говорить правду, и по сей день бы сидел в тюрьме, и никто перед ним даже не извинился бы! Я думаю, товарищи, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!» (Аплодисменты)

НАГЛЫЕ ВЫПАДЫ
С ПОЗИЦИЙ АНАРХИЗМА
НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ!
ГРУБЫЕ НАПАДКИ НА РЕВОЛЮЦИЮ
БАЛКАНСКИЕ ВЫХОДКИ В «БАЛКАНАХ»
КОГДА ОСЛАБЕВАЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ФИГА В КАРМАНЕ
ОППОЗИЦИЯ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОИСКИ
КТО ОТВЕТИТ?
ОЧЕРНЕНИЕ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО
ОППОРТУНИЗМ ПОД ВЫВЕСКОЙ КНИЖНОЙ ЛАВКИ
НОВОЯВЛЕННЫЕ ДИССИДЕНТЫ И БЕЛОЕ ВИНО
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИЛИ ТРАКТИР?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОДНОМУ КНИГОТОРГОВЦУ
ИДЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОБЫВАТЕЛЬЩИНЫ
КНИЖНАЯ ЛАВКА — ЛОГОВО «СВОБОДНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ»
НОЖ В СПИНУ

КАБАЦКАЯ ЛОГИКА ПСЕВДОИНТЕЛЛИГЕНТОВ
ДОРОГА В НИКУДА...

— это лишь небольшая часть заголовков в газетах, опубликовавших речь товарища Учи, который, кажется, наконец нашел виновника всех бед в государстве. С газетных страниц на мою беззащитную голову внезапно обрушился свинцовый ливень проклятий. На безмятежном фоне тихого политического сезона я нежданно-негаданно стал главной темой. Леденея от ужаса, забился я в свою маленькую, запущенную квартирку, вся меблировка которой состоит из связок старых газет и пустых бутылок. Я выбирался из своей норы только для того, чтобы купить свежие вечерние газеты и вино. Но вместо того, чтобы утихнуть через день-другой, как я ожидал, травля продолжала шириться, принимая невероятные размеры. К счастью, я не слишком известная личность, и поэтому мог беспрепятственно передвигаться по городу, по крайней мере ночью или в сумерки, без боязни быть узнанным и линчованным прямо на улице. В голове у меня все время звучала фраза:

Я думаю, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!
Я думаю, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!
Я думаю, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
посадить в тюрьму!
посадить в тюрьму!
посадить в тюрьму!
в тюрьму!
в тюрьму!
в тюрьму!
В ТЮРЬМУ!

Я чувствовал себя диким зверем, который сбежал из зоопарка, или бродячим котом, который крадучись пробирается по городу, зная, что если его обнаружат и схватят, то в тот же миг засадят за решетку как опасного для окружающих.

Забившись в угол комнаты, я сидел и думал: «Кто же этот человек, о котором я почти ничего не знаю, который так внезапно появился, вернее спустился откуда-то из заоблачных административных высот, подобно неумолимому карающему ангелу, чтобы в одну минуту всего лишь несколькими строчками в газете перевернуть всю мою жизнь? Кто он такой? Его лицо смутно знакомо мне в основном по газетам, хотя он, правда редко, появляется и на экране телевизора, это обычно один-два кадра типа: «На заседании также присутствовали...», мимолетом выхваченное лицо, а то и крупный план: он всегда сидит над бумагами и делает какие-то пометки в окружении людей такого же вида; у него очки в толстой оправе с большими диоптриями, за ними невыразительные глаза, ничем не запоминающиеся, разве только несколько высокомерным, рассеянно-равнодушным выражением; серый, землистый цвет лица, характерный для человека, много времени проводящего в закрытом помещении, две строгие морщинки между густых бровей; он никогда не улыбается на фотографиях, всегда деловит, холоден и корректен. Как за этим фасадом — безликой физиономией в газете в оспинах растра (а ведь за ней скрывается кто-то живой!) — угадать настоящее человеческое лицо, проникнуть в мысли? Озабоченный Чубчик приносит мне из лавки справочник «Кто есть кто в Югославии», я там нахожу его имя, фамилию, день, месяц, год и место рождения, длинный список его прежних и теперешних должностей, по которому совершенно невозможно определить его настоящую профессию, так как все эти учреждения, где он много лет «руководил, направлял и координировал», ничем между собой не связаны (что общего имеет, например, здравоохранение с футбольными клубами или строительными работами за границей?), как будто ему было абсолютно все равно, чем заниматься,— работает там, куда назначат, а через некоторое время вдруг всплывает в совсем другом месте и в совершенно иной сфере. Он словно олицетворяет вечную равнодушную административную карусель. И вот из этой распространившейся надо всем и вся темной тучи вдруг — внезапный гром, взрыв необъяснимо сильной ненависти, которая наконец показывает, что и он — человек из плоти и крови, и поражает даже видавших виды репортеров (интересно, что они впервые посвящают ему так много места в газетах и времени на телевидении). Или это прорвалось долго копившееся скрытое раздражение, нашло выход озлобление на все, что связано с людьми моей породы,

дала себя знать усталость от долгой изматывающей игры на очки, в которой ни в коем случае не должна слишком выделяться личность игрока — надо присутствовать, оставаясь незаметным, так сказать, серым кардиналом, благодаря терпению и осторожности оставляющим далеко позади куда более одаренных и заслуженных игроков, которые, увы, были слишком нетерпеливы, подгоняемые чрезмерными амбициями или желанием выделиться (правда, эта многолетняя сдержанность стоила ему нескольких инфарктов, из которых он едва выкарабкался)? А может быть, во всем этом определенную роль сыграла и его личная жизнь, о которой никто ничего не знает, словно она и не существует; как бы то ни было, его гнев громами и молниями какого-то мифического административного бога обрушился на мою голову, как deus ex machina[1]. Я не могу даже ненавидеть его, потому что он, кажется, и не существует иначе, как символ нашего серого времени. Как ненавидеть того, кого ты не знаешь, с кем ни разу не соприкасался, кому ни разу не взглянул в глаза? Как ненавидеть человека, который лишь по чистой случайности вырвал тебя из анонимной массы, как морковку из земли, и показал на твоем теле признаки какой-то опасной болезни, грозящей заразить весь огород? Как ненавидеть кирпич, случайно упавший на голову прохожего (почему всегда этот проклятый кирпич?), или цветочный горшок (почему всегда горшок?), или птичий помет (почему, черт возьми, помет?), как ненавидеть болезнь, которая внезапно наваливается на человека, приковывает к постели, высушивает, как щепку (почему обязательно как щепку?)?

Или, может быть, все это плод какой-то случайности, может, на него так повлиял бреющий полет спецсамолета, доставившего его на то празднество, стремительный, красивый полет маленькой, но мощной машины над желтыми пашнями и лесами, над сельскими домиками и скромной крестьянской жизнью; не посещали ли его тогда, как это часто бывает в самолете, мысли о прожитой жизни и беззаветной борьбе за порядок, который беспрерывно нарушали какие-то сомнительные типы, недовольные Бог знает чем и Бог знает почему; в отличие от них на нем лежала ответственность за эту страну, проносящуюся внизу, и за будущее этой мокнущей толпы на митинге, где он держал речь, когда с неба моросил мелкий октябрьский дождь, а они стояли в чистом поле без зонтов, некоторые с непокрытыми головами, другие в мокрых кепках, меховых шапках, фуражках, шляпах, под намокшими провисшими транспарантами, на которых расплывалась красная краска горящих слов; они стояли невозмутимые, как земля, терпеливые, как само время. Он видел изрытые морщинами лица старых воинов, тускло поблескивающие медали и разноцветные орденские планки, палки в узловатых руках инвалидов войны, а ноздри его щекотал кисловатый дымок от костров, где на вертелах под растянутым брезентом поджаривались молодые барашки (потом всегда банкет). Да, он отвечал за них, они пришли на митинг пешком из своих затерянных в горах сел, и он читал уважение в их замутненных глазах, а где-то там, далеко, в глубине большого грязного, замусоренного города ему виделось отвратительное книжное логово, откуда скалились интеллигентские рыла, для которых нет ничего святого, которые готовы самые серьезные вещи обратить в анекдот, каламбур или еще какой, ему непонятный словесный выверт. И сколько бы он ни брал их к ногтю, они все равно продолжали зубоскалить, даже когда не смели этого делать в открытую, он слышал их внутренний смех и непроизнесенные слова, видел их невидимые непристойные картины и страницы ненаписанных книг, высмеивающих его, книг, пропитанных интеллектуальным гноем, и, возможно, под влиянием чувства, что защищает этот промокший народ от заразы, даже он, известный своей необыкновенной сдержанностью, на мгновение утратил контроль над собой и, дав волю благородному возмущению, неожиданно для самого себя выпалил в конце эту фразу: «Я думаю, что его-то как раз следовало бы посадить в тюрьму!», которую напечатали во всех утренних выпусках газет, но уже в вечерних и всех последующих — выбросили, спохватившись, что как бы товарищ Уча ни был прав, в данном случае он все же хватил через край, выстрелив из главного калибра по политическому воробью.

40

На третий день моего добровольного домашнего ареста зазвонил телефон:

Адвокатская контора Петровича! — представился энергичный мужской голос.— Надо бы поговорить..,

— О чем?

---

[1] Бог из машины *(лат.)*.

— О вашем деле.
— Слушаю вас.
— Это не телефонный разговор...
— У меня нет тайн от своего телефона!
— Все же, если вас интересуют некоторые данные в связи с... Лучше всего вам было бы зайти к нам!

Он продиктовал мне адрес. Что я, собственно, теряю? Через полчаса я был в приемной, где томились будущие подзащитные, сумрачный, озабоченный народ, явно не в ладах с законом. Не успел я представиться, как секретарша провела меня в кабинет, выразив таким образом особое почтение к серьезности моего дела. Я почувствовал себя польщенным. Петрович-младший, элегантный мужчина лет тридцати, встретил меня в интерьере диккенсовских адвокатских контор. Даже теннисные ракетки висели на стене над настоящим маленьким музеем всевозможных допотопных пишущих машинок: «Ремингтон», «Адлер», «Континенталь», «Универсал»... Поблекший шелк на стенах, фотографии разных знаменитостей с посвящениями и выражениями глубочайшей признательности и легкий запах трубочного табака дополняли атмосферу этого мужского святилища. Разумеется, прежде всего мы осмотрели пишущие машинки, про которые Петрович-младший сообщил мне, что они достались ему от деда, также бывшего адвокатом. Все три поколения их семьи специализировались на политических процессах.

Короче говоря, Петрович-младший случайно узнал в суде, что в столе какого-то очень важного судьи лежит требование прокурора о возбуждении против меня дела!

Я сел и выпил предложенную водку. Она была как нельзя кстати. Дело принимало все более серьезный оборот. Это уже была не беллетристика, а жизнь, и не чья-нибудь, а моя, все это происходило со мной, страстным читателем книг о чужих несчастьях!

— С вашим делом получилось много шума...— продолжал Петрович-младший.— По чистой случайности вы оказались в эпицентре столкновения различных интересов, и за всем этим уже длительное время внимательно следит международная общественность...

— Какое она к этому имеет отношение?

— Сейчас, знаете ли, очень деликатный в политическом смысле момент. Иностранных корреспондентов, которые о вас уже пишут, вы сами, собственно, не интересуете, им надо знать, каким будет дальнейший курс страны. И тут они всякое лыко готовы поставить в строку. Не обижайтесь, но вы — всего лишь случайно подвернувшаяся лакмусовая бумажка, которую погрузили в данный политический раствор и теперь ждут, покраснеет она или посинеет...

— Что это значит? — спросил я.— Меня что, действительно посадят?

— Не знаю,— ответил он,— но этот судья известен своей строгостью. Мне не нравится, что дело передали именно ему...

— Что он может мне пришить?

— Не могу сказать, что он решит, если вообще что-нибудь решит,— сказал Петрович-младший, раскрывая кодекс.— Но насколько я его знаю, он бы мог вам навесить 133 статью. Вражеская пропаганда...

— Вражеская пропаганда? — я налил себе еще водки.

— «Выпуск и распространение печатных материалов, листовок, рисунков и других материалов, а также устные выступления, призывающие или подталкивающие к свержению власти рабочего класса и трудящихся, к антиконституционному изменению системы социалистического самоуправления...» — быстро читал он.— Ну и так далее, и так далее, «равно как и насаждение заведомо ложных представлений об общественно-политической ситуации карается лишением свободы сроком от одного до десяти лет».

Он озабоченно посмотрел на меня поверх страниц:

— В этом случае,— продолжал он,— мы попытались бы добиться того, чтобы ваши действия были переквалифицированы по статье 218.

— Сколько это?

— До трех лет! — ответил он и стал быстро читать: — «Распространение лживых слухов с целью вызвать недовольство или волнения в народе, спровоцировать нарушение общественного порядка или помешать осуществлению решений и мер государственных органов и учреждений или же дискредитировать подобные решения и меры в глазах граждан карается лишением свободы сроком до трех лет...»

— И... Что же делать?

— Ничего,— ответил он.— От вас абсолютно ничего не зависит.

— Это утешает...

— Что поделаешь! В такие ситуации попадают помимо своей воли. Хуже всего приходится тем, кто пытается что-то предпринять, начинает брыкаться, барахтаться... Знаете эту старую притчу о лисе, упавшей в Саву у Шабаца? Не знаете? Когда она попыталась выбраться на берег и ей это не удалось, она перестала бороться с течением, сказав: «Не беда, все равно у меня есть дела в Белграде!»

— Можете вы по крайней мере посоветовать мне, что делать, если он меня вызовет?

— Держаться следует спокойно и рассудительно. Было бы неплохо, если бы вас сопровождал ваш адвокат...

— Зачем?

— Бывают, знаете ли, разные юридические подвохи, особенно в формулировках при составлении протокола, которые потом могут осложнить ваше положение...

— Но у меня нет адвоката!

— Так наймите его!

— Может быть, вы возьметесь?

— Если хотите.

— Хочу.

Мы пожали друг другу руки и перешли на «ты». У меня появился первый в моей жизни адвокат.

— Я слышал, они приходят под утро?

— Ерунда! Это все выдумки, сказки судейские! — сказал он, улыбаясь.— Но на всякий случай тебе не мешало бы сложить в сумку самое необходимое: белье, туалетные принадлежности, иголку с ниткой, какую-нибудь книгу потолще...

Он проводил меня до дверей кабинета.

— Ты знаешь, как ни странно, сейчас примерно равное число людей берет тебя под защиту (причем вовсе не из-за твоего неотразимого обаяния!) и точит на тебя зубы. Впрочем, ты не занимаешься политикой, и лучше тебе поменьше знать об этом; излишняя информация могла бы тебе только повредить. Короче говоря, в этой игре каждый или теряет, или набирает очки. Поглядим, как пойдет дело дальше...

— А как мы это увидим?

— По тебе! — сказал он, прощаясь.— По тому, сколько шишек на тебя свалится.

41

Следующие несколько ночей тюрьма стала моей навязчивой идеей. Как-то там будет? Смогу ли я там читать? Посадят меня в одиночку или в общую камеру? А что, если у меня вдруг заболит зуб? Можно ли там курить? А выпивка? Это для меня, может быть, последняя возможность отвыкнуть от алкоголя. Что, если я там начну голодовку? Что, если умру? Что останется после меня? Ничего. Я не закончил даже монографию о Шломовиче... Как скоро меня все забудут? Я перечитал «Процесс» Кафки и снова не смог принять воображаемой вины героя. Наверное, потому я и не люблю Кафку, хотя и восхищаюсь им. Читаю его ради самозащиты. Ведь мою судьбу решали какие-то люди, которых я и знать не знал. Что мне еще оставалось, кроме как ждать их решения? К счастью, вино у меня всегда под рукой. Ложился я под утро, выучив наизусть и отрепетировав речи, которые вызывали бурные аплодисменты в зале воображаемого суда. Я не расставался с визитной карточкой Петровича-младшего, клал ее даже в карман пижамы.

Как-то ровно в полночь стали бешено трезвонить в дверь. Вот оно! Наконец-то пробил мой час! Не спрашиваю, ни кто там, ни что нужно. Знаю и так. Зажигаю свет в прихожей и настежь распахиваю дверь. Я готов! Наденут мне наручники сразу или потом?

В дверях пьяно раскачивается поэт Ангел, личность, известная в богемной среде Скадарлии[1], живущий где-то в середине девятнадцатого века.

— Я тут проходил мимо,— он едва ворочает языком,— и решил сказать тебе, что ты настоящий мужик! Ей-богу! Снимаю шляпу! Только не вздумай теперь оправдываться и что-то им объяснять. Ты свое сказал! А если надо, я на суде заявлю, что тоже читал про Флэша Гордона. Да, и вот что,— добавил он, придерживаясь за косяк,— дай-ка мне на пиво!

---

[1] Улица в Белграде, где собирается белградская богема.

На следующий день я позвонил Петровичу-младшему и спросил его, как мне себя вести.

— А как ты себя вел раньше? — ответил он вопросом.— Что ты обычно делал?

— Ходил в лавку...

— Ну и ходи себе дальше,— сказал он.— Тебя же еще не вытурили...

— Гулял, сидел в кафанах с друзьями... Мало ли что еще.

— Продолжай по-прежнему гулять и сидеть в кафанах! — сказал он.— Конечно, если найдешь кого-нибудь, кто осмелится сидеть с тобой за одним столом!

В то же утро я вышел из своего домашнего заключения, к которому сам себя приговорил, и с головой окунулся в волны, поднятые моим «делом».

Так я узнал, что весь номер «Журнала», в котором были приведены отрывки моей речи в лавке, распродан до последнего экземпляра. По слухам, на черном рынке он шел по пятьдесят тысяч динаров. В других городах цена, говорят, была еще выше. Один владелец ксерокопировальной машины выставил у себя в витрине неподалеку от Байлониева рынка ксерокопию страницы с моей речью. У него ее можно приобрести всего за десять тысяч. Воистину, наш народ может торговать чем угодно, даже идеями! Я сам себе начинаю казаться народной песней, передающейся из уст в уста.

— Разве ты не в тюрьме? — чаще всего спрашивают меня знакомые на улице или в кафане.

— В тюрьме,— отвечаю я,— но днем меня выпускают. Там я только ночую!

— Разве вы не в тюрьме? — спрашивает Ладислав Кирхнер, польский переводчик, который частенько заглядывает в лавку.

— Вы говорите с моим дублером! — объясняю ему.— Настоящий Педжа Лукач в тюрьме!

В известном смысле это правда. Куда бы я ни шел, я ношу свою клетку с собой.

Сижу за ее невидимыми решетками в одном клубе. Полдень.

— Какова ваша политическая концепция? — спрашивает госпожа Лерка Кон, руководитель корреспондентской сети одной из крупных американских газет в странах юго-восточной Европы.

Похожая на какую-то экзотическую птичку, госпожа Кон (фамилия ей досталась от одного из многочисленных мужей) явно наслаждается неприкосновенной экстерриториальностью иностранного корреспондента.

— Пожалуйста, заверните мне эти остатки для собаки! — приказывает она официанту, уши которого превратились в некое подобие локаторов.

Я ответил, что не имею никакой концепции.

— Хорошо! Каковы в таком случае ваши намерения?

— У меня есть намерение забиться в какую-нибудь нору!

Остатки бифштекса ей завернули.

«КНИГОТОРГОВЕЦ ПРОТИВ СИСТЕМЫ!» — гласил заголовок ее статьи.

«ФЛЭШ ГОРДОН — ПЕРСОНА НОН ГРАТА В ЮГОСЛАВИИ» — сообщала «Нью-Йорк таймс».

«КНИГОТОРГОВЦУ-ДИССИДЕНТУ ГРОЗИТ АРЕСТ» — сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс, которое перепечатали все газеты западного полушария, имело броский подзаголовок: «НЕ ИДЕТ ЛИ ЮГОСЛАВИЯ СНОВА НА ПОВОДУ У РУССКИХ?»

«ПОД ПРИЦЕЛОМ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ! — писала парижская «Монд».— СИМПТОМЫ БОЛЕЕ ЖЕСТКОГО КУРСА?»

«КУДА ИДЕТ ЮГОСЛАВИЯ? (лондонская «Таймс») МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕН-КЛУБ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТЬ КНИГОТОРГОВЦА ЛУКАЧА ПОД ЗАЩИТУ, ХОТЯ ОН И НЕ СОСТОИТ ЕГО ЧЛЕНОМ...»

«НА ОЧЕРЕДИ ФЛЭШ ГОРДОН» — оповестил читателей корреспондент агентства Рейтер.

Би-би-си посвятила мне получасовую передачу.

«Голос Америки» охарактеризовал происшедшее как «внушающее озабоченность охлаждение во взаимоотношениях между двумя странами, продвигавшимися до сих пор в направлении более тесного сотрудничества. Кампанию нападок на старый комикс покойного Алекса Реймонда можно расценить как непродуманный шаг югославского руководства, направленный против американского культурного влияния в данном регионе...»

«КНИЖНАЯ ЛАВКА — ЦЕНТР АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ» — под таким заголовком «Литературная газета» опубликовала статью своего белградского корреспондента.

«Зери и популлит» в своей передовице выступила гораздо резче: «Югославские ревизионисты и американские подстрекатели поливают грязью самые светлые страницы марксистско-ленинской культуры!»

В лавке меня поджидала небольшая съемочная группа Си-би-эс. Не успел я войти, включили мощные юпитеры.

— Не могли бы вы сказать несколько слов? — обратился ко мне корреспондент по-сербски с сильным американским акцентом.

— О чем?

— О том, что с вами произошло.

— Ничего не знаю,— ответил я.— Я несколько дней не читал газет.

— Все же было бы интересно услышать, что вы обо всем этом думаете?

— Прошу вас считать это небольшой семейной размолвкой,— сказал я.

— Но разве вы не знаете, что вас хотят посадить?

— Неужели? — изумился я.— А за что?

— Станете ли вы искать защиты у организации «Международная амнистия»?

— Нет! — ответил я.— Я буду ждать, когда товарищ Уча или его представители придут за мной. Думаю, они знают, где я работаю.

Я сбежал от них в подсобку и заперся на ключ.

Си-би-эс провела опрос в связи с моим делом.

— Слушай, мы вчера видели тебя по телеку! — донесся до меня через три дня далекий голос Джорджа Поповича из Нью-Йорка.— Что у вас там происходит?

— Ничего,— ответил я.— Дурака валяем... А как у вас погода?

— С книжным магазином все о'кей! — орал он из-за океана.— Выслать тебе билет?

— Дай мне немного времени подумать...

— Forget it! [1]

— Я позвоню тебе через пару дней!

— О'кей, приятель! — вибрировала трубка.— Приезжай, мы перевернем Нюцу [2] вверх тормашками!

В лавку пришло и письмо на мое имя, подписанное мистером Лео М. Клейном, директором Карпентерского центра по изучению искусства комикса в Лос-Анджелесе.

«Уважаемый господин Лукач, наш Центр уже много лет занимается изучением искусства комикса и сбором всевозможных материалов по этому чрезвычайно интересному вопросу. Нам стало известно, что Вы являетесь блестящим знатоком этого жанра и специализируетесь на комиксах о Флэше Гордоне. Не скроем, мы искренне рады тому, что этот комикс покойного Алекса Реймонда и сегодня пользуется популярностью в Вашей стране, в то время как даже в самих Соединенных Штатах, к сожалению, лишь единицам знакомо имя этого непревзойденного художника. В связи с этим для нашего Центра, бережно хранящего и продолжающего традиции искусства комикса, просим Вас ответить на несколько вопросов:

1) Как и когда произошла Ваша первая встреча с Флэшем Гордоном?

2) Какое влияние оказал на Вас этот комикс?

3) Что для Вас символизируют такие герои Реймонда, как Дале Арден, доктор Зарков, Король Минго на планете Монго и другие?

4) Каково Ваше отношение к остальным комиксам Алекса Реймонда, таким, как «Джим из джунглей» или «Рип Кирби»?

5) Оказал ли Алекс Реймонд влияние на авторов комиксов в Вашей стране?

6) В чем конкретно образ Флэша Гордона противоречит политике правительства Вашей страны?

7) Наказуемо ли в Вашей стране хранение комиксов Алекса Реймонда и почему?

Надеемся, что Вы не откажете нам в любезности ответить на эти несколько вопросов. Заранее благодарим от имени Центра. Искренне Ваш...»

— А вот и кофе! — кричит с порога На Здоровьичко, торопливо семеня с подносом в руках.— Ну что? Как она, жизнь-то?

— Помаленьку! — отвечаю.

---

[1] Забудь об этом *(англ.)*.

[2] Нюца, Нуйка и др.— жаргонные названия Нью-Йорка, бытующие среди югославских эмигрантов в Америке.

— Ну и на здоровьичко!

Впервые за три года он не хочет брать с меня деньги за кофе. Оглянувшись по сторонам, кладет мне руку на плечо:

— Живы будем — не помрем! — шепчет, но тут же снова натягивает на лицо прежнюю шутовскую маску и кричит: — На здоровьичко! На здоровьичко!

— Поостерегись там! — звонит мне старая тетка с курорта.

— Да что они могут мне сделать? — храбрюсь я, как когда-то в детстве.

Помолчав, она говорит:

— Они могут все!

42

Я послал Весну купить пару бутылок вина. Вернулась она в слезах. Какой-то тип ударил ее в глаз. Он сзади легонько хлопнул ее по плечу, а когда она обернулась спросить, что нужно, его кулак въехал ей в глаз. Это произошло на углу нашей улицы. Я выбежал из лавки, таща за руку плачущую Весну. Видишь его где-нибудь? Не вижу. Раньше ты его когда-нибудь встречала? Нет. Он заходит в наш магазин? Не заходит. Может, он был пьян? Вроде бы нет. Как выглядел? Не знает. Обыкновенно выглядел... Среднего роста. Волосы каштановые. Нет, скорее белокурые. Ее больше всего потрясло то, что прохожие все видели, но никто не пришел ей на помощь.

— Мало ли в городе маньяков...— неуклюже попытался я утешить Весну, но тень невидимой опасности уже нависла над нашей лавкой. Или мы стали всему придавать чрезмерное значение?

— Welcome to the club![1] — известный белградский диссидент, уволенный с работы философ М. Б. махнул мне через застекленную дверь, чтобы затем продолжить свою философскую прогулку.

— Да хранит тебя Бог! — патетично приветствовал меня Васа Живанчевич, автор книги «Албанская Голгофа».

— Вы мужественный человек! — остановил меня перед лавкой какой-то пожилой господин с галстуком-бабочкой.— Я хочу лишь пожать вашу руку! Мое имя не имеет значения...

(Когда-нибудь нам будет стыдно оттого, как мало было нужно, чтобы считаться героем!)

— Свинья, предатель! — верещал из телефонной трубки истеричный женский голос.— Всех вас надо перестрелять!

— С вами говорят из патриархии,— представился глубокий загробный баритон.— Мы молимся за вас...

— Очень мило с вашей стороны!

— Мы, священники, и вы, интеллигенция,— продолжала трубка,— должны до конца нести свой крест, как нес его наш Господь. Крепитесь и не падайте духом!

Признаться, у меня в тот момент как-то не было настроения нести крест, к тому же меня страшно раздражала вся эта патетика.

— Его Святейшество патриарх приглашает вас погостить в одном из наших монастырей, пока все не уляжется...

Я самым любезным образом поблагодарил за приглашение, решив, однако, остаться в городе. Город — мой лес, мои родные джунгли; без асфальтового панциря тротуаров, где-нибудь на природе я чувствую себя беззащитным.

«Предлагаю меняться комиксами о Флэше Гордоне, которые я тоже собираю. Мирослав Янчич, 12 лет. Школьник. Сараево, улица генерала Жданова, 4».

— Да, братец, ты хватил через край! — говорит мне один отставной офицер, живущий по соседству.— Оно, конечно, может и Уча малость переборщил, но ведь какое это великое время было!

— Все это подстроено! — бурчит один скептик.— Они между собой сговорились устроить весь этот шум, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем, а ты как дурак попался на их удочку!

— Вот чего тебе еще не хватало, чтобы оказаться в центре внимания,— ухмыляется мне в лицо известный завистник.— Мало тебе лучшей книжной лавки во всем городе, ты еще и диссидентом хочешь заделаться!

Наконец появился и Доктор, явно очень довольный всей этой кутерьмой. Он добился, чего хотел: через столько лет о нем снова писали и говорили повсюду.

— Мой бедный друг! — трагически возопил он, стоя в дверях и воздевая руки.— Ну, что нового?

---

[1] Добро пожаловать в клуб! *(англ.)*

— Не знаю,— ответил я,— игру делают они.

Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением:

— Кто это они? — спросил холодно.

Я растерялся. В самом деле кто?

Навестил меня и известный психиатр, доктор Рашич. Я спросил его, может ли человек, которого на самом деле преследуют, заболеть манией преследования, и будет ли это тогда манией или нормальным ощущением реальности?

Чубчик показал мне петицию в мою защиту, подписанную семьюдесятью шестью постоянными посетителями нашей лавки. Возник только вопрос, кому ее послать?

— Я приду, чтобы лично плюнуть тебе в морду! — пообещал мне незнакомый мужской голос по телефону.

Лавка, через которую днем и ночью течет река паломников, приходящих посмотреть на меня, превращается в нечто вроде непрерывно заседающего Совета обороны. Заходят самые разные люди: юристы, бесплатно предлагающие свои услуги, бывший заключенный с богатейшим тюремным опытом, стратеги из кафан, просчитывающие действия противника на три хода вперед и имеющие готовые системы защиты, литературоведы (они утверждают, что это первый случай за все послевоенное время: еще ни одному книгопродавцу не грозили тюрьмой на таком высоком уровне!), разные бунтари и смутьяны, дающие мне советы, что говорить на суде, студенты, жаждущие проинтервьюировать меня для своих газет, очаровательные балканские girls [1] — полупотаскушки-полуманекенщицы-полуфотомодели, которым я советовал, что читать, чтобы было о чем болтать в изысканном обществе, две из них предлагают мне свои великолепные дорогие тела, желая помочь мне расслабиться и забыть неприятности; милая пожилая женщина принесла банку инжирного варенья, заглядывают разные диссиденты, не скрывая своей зависти оттого, что вокруг меня, обыкновенного торговца книгами, поднялась такая кутерьма, в то время как они из кожи вон лезут, пытаясь привлечь внимание властей, но неизменно наталкиваются на непробиваемое молчание; они считают, что я приобрел незаслуженную известность, однако же вынуждены держать мою сторону. Доктор Рашич предлагает мне убежище в своей психиатрической клинике: если я пожелаю, он объявит меня сумасшедшим. («Что, кстати, не так уж далеко от истины!» — добавляет он с улыбкой), какие-то писатели предлагают направить письма протеста властям предержащим, потому что думают так же, как я, и даже много раз писали об этом в своих книгах, но кто теперь читает книги? Заходят какие-то личности, в свое время близко знавшие товарища Учу, о, они могли бы столько порассказать про него! — предлагают мне убийственный компромат на Учу, да только что мне с ним делать?

Я замечаю, что лавка снова приобретает прежний запущенный вид. Мы не успеваем заказывать новые, только что вышедшие издания, пользующиеся спросом. Не успеваем — отчего? Времени у нас сколько хочешь, но книги вдруг отходят куда-то на второй план. Все наши мысли заняты опасностью, нависшей над лавкой. Снятые с полок книги никто теперь и не думает ставить назад, и они валяются где попало. Пепельницы переполнены, никто их не вытрясает. Везде стоят немытые стаканы с недопитым вином и грязные тарелки с с остатками еды. Все значки давно распроданы — новые мы не удосужились заказать. Плакаты тоже. Никто больше не выставляет в лавке свои картины. Проигрыватель уже неделю как сломался, но никто этого не замечает. Магазин постепенно, изо дня в день теряет свой веселый вид, которым мы так гордились. Вместо изящного, расчетливого беспорядка углы его погружаются в самую натуральную мерзость запустения. Какое-то зловещее предчувствие неумолимо приближающегося краха, развала все яснее угадывается и в людях, и в книгах. Даже витрина как будто потемнела, а книги в ней покрылись первым тонким, почти незаметным слоем пыли. Да, от прежнего уюта не осталось и следа! Я чувствую себя виноватым в этой перемене. Все, к чему я приближусь, все, к чему прикоснусь, обречено... В который раз повторяется старая история. Пора уходить отсюда, чтобы окончательно не погубить лавку своим присутствием. Может быть, Весну с Чубчиком оставят в покое, если я уйду? Может, им тогда удастся сохранить магазин в приличном виде?

Звонит телефон. Снимаю трубку и вначале слышу звенящую тишину, мне приходит в голову, что это международная линия, но из трубки доносится учащенное дыхание. Я несколько раз спрашиваю, кто это, а затем связь прерывается. Когда я во второй раз беру трубку, то слышу далекую музыку, какие-

---

[1] Девушки *(англ.)*.

то шумы и задыхающийся Ленин голос, от которого у меня колени становятся ватными. Если у кого-нибудь есть клитор в горле, так это у Лены!

— Зачем... зачем тебе это... было нужно? — спрашивает она хрипло.

Что мне ей сказать? Я бормочу какие-то объяснения, но она меня, кажется, вовсе не слушает. И только тут до меня доходит, что она в этот момент с кем-то в постели! Ее дыхание все учащается, сопровождаемое ритмичным поскрипыванием пружин; густая, непроглядная тьма выползает из черной бакелитовой трубки, обволакивая все вокруг; я слушаю, как моя любимая женщина стонет и скрипит зубами, я представляю ее счастливое потное лицо, на которое падают влажные от пота пряди волос — она, наверное, сидит на коленях, жарко дыша в трубку; мое унижение ей необходимо, чтобы испытать оргазм. Мне знакомы эти звуки, эти вздохи: сколько раз она так разговаривала по телефону с другими, сидя на мне верхом, и я чувствовал свое превосходство над ее наивными собеседниками, спрашивавшими: «Что с тобой? У тебя такой странный голос?», а она отвечала, что бежала по лестнице, услышав снизу звонок, и они ей, может, верили, а может, и нет. И вот теперь кто-то берет реванш за те телефонные сеансы, только я не настолько глуп, чтобы спрашивать, почему она так странно дышит,— я знаю, твердо и бесповоротно знаю, и опускаю трубку, парализованный стыдом и отчаянием, но она все равно, как магнитом, притягивает меня, эта гладкая шипящая головка змеи; она липнет к пальцам, и я снова ее поднимаю — нет, связь не прервана, она забыла и обо мне, и о том, что звонила мне. Я слушаю музыку, босые шаги и перекликающиеся голоса, прижимая к уху эту дьявольскую черную раковину, в которой шумит море моей ревности.

— Чуть не забыла! — говорит Весна, входя в подсобку и протягивая мне голубой конверт с названием нашей фирмы.— Приходили из дирекции, оставили это для вас...

Дрожащими пальцами разрываю конверт. Внутри находится аккуратно отпечатанное постановление дисциплинарной комиссии о моем увольнении с работы.

— Вы... вы плачете? — растерянно бормочет Весна.

(Да, я плачу.)

— Да нет, это у меня от дыма слезятся глаза! Знаешь этот старый шлягер «Дым в твоих глазах»?

Я напеваю ей первые такты мелодии, но она не верит.

В каморку заходит На Здоровьичко, чтобы забрать свои чашки:

— Поете? — дружески подмигивает он нам.— Ну и на здоровьичко!

43

Прежде всего надо было выяснить, где она живет, на какой улице, в каком доме? Я это без труда узнал, хотя никогда не провожал ее туда и ни у кого не спрашивал адреса. Я просто-напросто построил этот дом в своем воображении: мне хорошо знаком и сырой запах плесени в ее подъезде, не закрывающемся на ночь, и гладкость перил на лестнице, дверь квартиры, расположение комнат, освещение, вид из окон на улицу, вдоль которой вместо деревьев выстроились в ряд счетчики на платной автостоянке, похожие на взвод пришельцев из космоса, охраняющих ее покой... Затем надо было изучить ее распорядок дня, установить время, когда она делает покупки (где?), дни, когда ходит к парикмахеру (какому?), часы, отведенные для приготовления завтрака, обеда, ужина, чтения газет (каких?), сна, узнать, на какой стороне кровати она спит (у стены?), во что одевается, какими духами пользуется, какие сигареты курит; а потом дни и ночи напролет концентрировать мечту о ней, как бы полностью отделившуюся от своего объекта и живущую самостоятельной жизнью, в один гипнотический, узкий, как тончайшая иголка луч сокрушительной силы, которым я обшаривал район за районом, улицу за улицей, дом за домом, этаж за этажом, бакалейные лавки, кинотеатры и парикмахерские, газетные киоски, пиццерии, кафе, магазины, аптеки, по вечерам концертные залы, как последняя зенитная батарея разрушенного до основания города обшаривает темное, полное угрозы небо желтым лучом единственного прожектора, уцелевшего после длительной бомбежки. И этот луч должен был быть настолько мощным, чтобы пробить каменные стены домов, молнией прошить стекло и сталь, победить расстояние, сгладить колдобины на асфальте, пройти сквозь подземные переходы, автомобильные пробки на перекрестках, битком набитые трамваи и автобусы, настолько тонким, чтобы проникнуть в игольное ушко, в прорезь почтового ящика, в замочную скважину, в дверной глазок,

(я хочу тебя видеть, ты нужна мне)

он, наконец, должен со снайперской точностью попасть в тот крохотный центр ее живого компьютера, где записан я, разбудить в ней уснувшее прошлое, расшевелить память... И смотрите-ка: Лена вдруг застывает с отсутствующим видом, оставляет недомытую миску из-под салата,

(«Куда ты? — Мне надо кое-что купить».)

развязывает передник, собирает в пучок рассыпавшиеся волосы (в них уже видны первые седые нити), перехватывает их красной резинкой, потому что нет времени заниматься прической, на ходу надевает плащ, открывает дверь, сбегает по лестнице, переходит через дорогу, не обращая внимания на сигналящие ей машины, она идет, идет, бежит, запыхавшись влетает в лавку, проходит между книгами и покупателями, распахивает дверь моей каморки, и я, еще не поднимая глаз, знаю, что это она, потому что следил за ней с того момента, когда она отложила мыльную посудную губку. Разве не я останавливал для нее потоки машин, зажигал зеленый свет на перекрестках, убирал с ее дороги пьяниц и очереди, расчищал путь сквозь толпы перед кинотеатрами, чтобы она застала меня неподвижно склонившимся над столом, на зеленой поверхности которого нацарапан маршрут, приведший ее ко мне? Она останавливается в дверях и говорит нетерпеливым и властным тоном:

— Вставай, пошли! У нас мало времени...

и я встаю, натягиваю ветровку, рассовываю по карманам ключи, зажигалку, сигареты и записную книжку и как лунатик выхожу из лавки вслед за ней. Мы едем сперва в машине, причем у меня в памяти не остается ни ее цвет, ни лицо таксиста, ни сколько я ему заплатил, а затем в лифте до моей берлоги, в которой я не узнаю ни одной вещи (как будто никогда в жизни не был в этой конуре, комнате, кажущейся сейчас еще более жалкой и неприглядной), торопливо освобождаемся от одежды, которая никак не хочет расстегиваться и шуршит в полной тишине, а потом, не соприкасаясь телами, сидим нагие лицом к лицу и смотрим друг на друга, сознавая, что оба находимся во власти какого-то колдовства. Пытаемся начать любовную игру, но у нас ничего не выходит, мы боремся, переплетаясь ногами, тремся друг о друга кожей, сжимаем друг друга в объятиях с отчаянием двух утопающих: несчастной жертвы и неловкого спасителя, которые, сцепившись, идут ко дну, теряя сознание вместе с последним воздухом из легких. Тут мы понимаем, что секс — последнее из того, что нас связывает; вместо маленькой послеполуденной оргии двух бывших любовников, когда-то умевших превращать свои тела в совершеннейшие орудия для наслаждений, остается осадок бессилия, что лишь еще больше усиливает бесплодное желание.

— Не важно,— говорит Лена,— почему всегда обязательно...

и я уже не знаю, что делать с этим нежданным, трудно доставшимся мне подарком: закуриваю, включаю радио, свет, потому что коварные сумерки уже пробрались в мое логово и скалятся из углов. И тогда вижу перед собой уже не очень молодую женщину (она немного пополнела, а кожа стала чуточку темнее), к которой не испытываю ничего кроме братской нежности без всяких задних мыслей, как к младшей сестре, которой сейчас плохо. А Белград мне представляется огромным дворцом злой волшебницы, которая все это время нянчилась с нами только для того, чтобы потом сожрать.

Возможно ли, что я так страстно желал именно это тело, именно эту кожу, эту женщину, которая, расслабленная и неудовлетворенная, лежит на моей постели, этот взгляд из-под упавших на глаза волос и этот хрипловатый голос, который произносит:

— Я жду ребенка.

нервно и неприязненно, как будто это я виноват в новом повороте ее жизни, грозящем испортить фигуру и цвет лица, а может, это оттого, что она ждет не моего, а чьего-то чужого ребенка, и что это маленькое существо рождается из ничего, требуя для себя часть ее крови, воды, солей, минералов, пищи — жизни, крохотная личинка требует права на жизнь и незаметно растет, чтобы стать бабочкой. Лена в ярости оттого, что она, такая хитрюга, не смогла обмануть исконные законы деторождения и не может ничего поделать с этим унизительным (для нее) фактом, что надолго оказалась выброшенной из той кокетливой игры, в которой до сих пор заключалась вся ее жизнь. Что-то безвозвратно уходит. Конец. Я подписываю добровольную капитуляцию. До сих пор я питал иллюзию, что дождусь, когда она состарится и станет некрасивой (женщины в наших семьях быстро отцветают), что буду тогда еще относительно крепким и, таким образом, безболезненно выйду из-под ее власти, но теперь она размножается, собирается производить на свет новых маленьких Лен-Ленок-Леночек, у которых будет ее смуглая кожа, ее волосы, зубы, глаза, ее

смех, они будут поджидать меня где-то в будущем времени... Знаю: я стану старым, очень старым и однажды, сидя где-нибудь в парке на лавочке или зайдя в книжную лавку, вдруг увижу одну из них, и она взглянет на меня, как Лена, или что-то скажет, не важно что; этот хрипловатый голос меня окончательно доконает, несмотря на то, что Лена-мать к тому времени уже давно постареет, превратится в располневшую и сварливую матрону, придавленную тусклой заурядностью своей жизни. К тому же должен признать, что я уже чувствую ревность к этому маленькому, незнакомому будущему существу, ведь как я ни старался, мне ни разу не удалось проникнуть в Лену так глубоко, чтобы стать тем, что называется часть ее. Наверное, только убив ее, я добился бы полного и единоличного обладания ею (мне становятся понятными мотивы убийства из страсти, это, видимо, последнее, отчаянное и самое убедительное выражение любви!). Мне приходит на память рассказ старого сюрреалиста Полянского об одном африканском студенте, который в 1922 году в Париже убил свою подружку-француженку, расчленил и съел до последнего кусочка. «Каннибализм? Ерунда! Возможно ли полнее обладать той, которую любите? — говорил мне старый Полянский двадцать лет назад.— Как вы не понимаете: она в буквальном смысле стала его плотью и кровью... Говорят, он умер счастливый на гильотине!»

и еще: Лена очень скоро станет членом святой Троицы, в которой для меня нет места, ее теперь ожидает иная жизнь, которая будет все больше отдаляться от меня и того, что нами вместе прожито.

Мой гипнотический луч наконец гаснет, рвется на моих глазах, как светящаяся нить, падает и, поскуливая, извивается на асфальте, превращаясь в конце концов в змейку пепла, которую разносят на своих подошвах прохожие.

На следующее утро я послал Лене несколько книг о безболезненных родах и уходе за ребенком. Предчувствуя, что теперь долго ее не увижу, добавил к ним «Сказки» братьев Гримм, несколько альбомов с картинками для раскрашивания и Диснеевскую «Белоснежку и семь гномов» — начало сентиментального воспитания маленькой Лены, завершения которого мне, по всей вероятности, не суждено дождаться. Это была моя последняя посылка.

44

Долгими ночами в ожидании развязки я сам расширял список своих преступлений. Безусловно верно, что с помощью Флэша Гордона я устанавливал связь со старой, гнилой, капиталистической, королевской Югославией... Но ведь не только с ней! Так же верно и то, что с помощью Гомера я установил связь с рабовладельческой Грецией, с помощью Сервантеса — с испанской инквизицией, через графа Льва Толстого — с русским дворянством; с эмиграцией, разумеется, при посредстве Бунина, с предателями благодаря Кнуту Гамсуну и Эзре Паунду, с фашистами при помощи итальянских футуристов, с мошенниками и карманниками через Франсуа Вийона и позднее Жана Жене, с гомосексуалистами с помощью Пруста, Жида и Кокто, с диссидентами через Солженицына, Синявского, Шкворецкого, Кундеру, Кошинского, Войновича... Я понял, что на сколько бы меня ни осудили, вину мою не искупить никаким сроком — даже в два тысячелетия европейской цивилизации, с которой я связан пуповиной!

Жажда власти, как видно, безгранична, в своей ненасытности она доходит до абсурдных претензий властвовать над чужими душами. Не ограничивается контролем собственно поведения, но стремится подчинить себе и самые сокровенные человеческие переживания, предельно их упрощая и направляя в накатанную колею сиюминутной политики.

При всех неприятностях, свалившихся на меня, ничем не выдающегося книготорговца, этот случай не стоил бы упоминания (тем более что товарищ Уча принадлежит к тому типу людей, которых быстро забывают, как только они уходят с общественной сцены на пенсию), если бы он не иллюстрировал столь наглядно типичную нетерпимость к определенным видам искусства, которые ускользают от бдительного политического контроля. Считая себя полновластным хозяином и господином в идеологической вотчине, духовным опекуном всех поколений, рождавшихся и живших под его властью и попечительством, невосприимчивый к «чуждым влияниям, идущим как с Востока, так и с Запада» (в особенности с Запада), товарищ Уча говорил обо мне с праведным гневом: старая, затаенная враждебность периода строго контролируемого воспитания прорвала заслоны сдержанности, открывшись перед моим изумленным взором вневременной черной бездной. Обо всем этом я говорю не для того, чтобы спасти от несправедливого забвения и таким образом сохранить для по-

томства человека, который хотел упечь меня за решетку, а для того, чтобы ярче высветить то время, когда было действительно небезопасно читать о Флэше Гордоне, слушать джаз, носить узкие брюки или длинные волосы (бдительные омладинцы [1], организуясь в специальные группы, обрезали своим сверстникам и то, и другое), не говоря уж о ношении галстука, считавшемся демонстративным переходом на позиции классового врага... Я знаю, что молодым людям, родившимся в более или менее нормальное время, все это покажется невероятным, но факт остается фактом: спустя тридцать пять лет против читателя комикса о Флэше Гордоне, найденного когда-то на пыльном чердаке, была организована настоящая травля. Так проснулась долгие годы дремавшая ненависть к наглецу, который, пренебрегая рекомендованной литературой, посмел читать что-то по собственному выбору! Все на поимку беглеца, сбежавшего в 1946-м с урока морально-политического воспитания!

Я объявлен врагом и уже не дал бы за свою жизнь и ломаного гроша. Я теперь меченый и предназначен для отстрела. На мою бедную голову обрушилась страшная анафема, навсегда исключающая меня из числа правоверных. Что от меня теперь ждут? Чтобы я умер? Сам наложил на себя руки? Что я могу сделать? А ничего. Все пойдет своим чередом, не я, а другие будут решать, когда призвать меня к ответу. Мне кажется, что я уже не хозяин собственного тела, которое превратилось в живую мишень, покорно ожидающую прямого попадания. Все это напоминает мне рассказы о колдовских чарах, которыми африканские шаманы опутывают непослушных соплеменников. Им достаточно произнести короткое заклинание, чтобы эти несчастные сами привели в действие свои скрытые механизмы самоуничтожения. Принцип, видимо, везде один.

Но вот, почувствовав под ступнями уже самое дно пропасти, мой бедный организм вдруг без моего ведома взбунтовался, просто-напросто отказался признавать власть шамана! Или это было обыкновенное отчаяние, придавшее мне силы и смелости? Может быть. Отчаяние превратилось в непробиваемую кольчугу. Я открыл простую закономерность: никто не может ничего сделать с человеком, находящимся так низко на общественной лестнице, как я, обыкновенный книгопродавец! Что я могу потерять, кроме места в книжной лавке, на которое и так никто не претендует? Откуда меня могут вышвырнуть? Что отнять? Будь я министром, директором, советником или хоть каким-нибудь начальником, мне могли бы пригрозить смещением или понижением. В этом случае я бы действительно потерял много. А в моем положении чем меня могут наказать, когда я и так наказан уже самим своим существованием? Кто я, собственно, такой? Обыкновенный образованный сумасшедший! Никчемный интеллигент! Пустое место! Удары моих недругов приходятся в пустоту, приводя их в ярость. Говорят, боксеру-тяжеловесу бывает больнее, когда он промахивается, чем когда его удар достигает цели. Он при этом может легко вывихнуть какой-нибудь важный сустав. Каждую ночь терпеливо ожидая решения своей участи, я начинаю понимать, что мои преследователи теряют след. Увлекшись, загонщики проскочили мимо зайца, притаившегося под кустом. Я вижу их спины. Слышу удаляющиеся голоса. Они, вероятно, и сами начинают сознавать, что придали мне чрезмерное значение, но продолжают совершать ошибку за ошибкой, не в силах остановить снежный ком ненависти, который несется с горы, все увеличиваясь в размерах, подгоняя их слепой инерцией глупости.

К тому же мне кажется, что за этой ненавистью не кроется ничего, кроме пробелов в образовании. Дело в том, что большинство людей, занятых борьбой за власть и ее удержание, просто в свое время не успели прочитать определенные книги. Некоторые начинают читать их лишь после своего падения, когда уже поздно что-либо изменить. Большинство функционеров каждодневно утопают в настоящем бумажном море всевозможных материалов, законов, инструкций, решений, дополнений и изменений, газет, специальных изданий, выныривая из которого попадают прямехонько в объятия телевидения. И лишь когда подчиненные обратят их внимание на какую-нибудь крамольную книгу, они выкраивают немного времени, чтобы бросить взгляд на возмутительные страницы и приходят в неописуемое негодование — им, наверное, кажется, что наступил конец света! Как можно писать такое?! Как будто какой-нибудь бесстыдник подсунул пожилой незамужней учительнице «Черную весну» Миллера в обложке целомудренной «Книги для чтения». Ведь чтобы спокойно и с улыбкой принять какую-нибудь скабрезную страницу «Записок старого извращенца» Чарльза Буковского, надо сперва прочитать бесстыдные сатиры Лукиана, получить

---

[1] Члены Союза социалистической молодежи (омладины) Югославии.

удовольствие от «Декамерона», подводящего нас к непристойным новеллам Пьетро Аретино, разнузданному Рабле, извращенцу маркизу де Саду, возбуждающему воображение «Тому Джонсу» Филдинга или пикантным историям Бальзака... Говоря о книге «Абсурд власти» и ее авторе, о времени, свидетелем которого был, я не сказал ничего нового, ничего такого, что бы не было уже много раз сказано и написано. (Проклятие человека, занимающегося книгами!) Разумеется, я придал своему небольшому выступлению личную окраску, но ведь за каждой моей фразой стояли тома романов, мемуаров, исповедей, начиная от «Слепящей тьмы» Кёстлера, «1984» Оруэлла, «Заговора молчания» Вайсберга-Цыбульского, включая Солженицына, Надежду Мандельштам, Василия Гроссмана («Все течет») и кончая «Признанием» Артура Лондона, книгами Натальи Гинзбург, Карла Штайнера, философскими и историческими сочинениями и рассказами очевидцев... Я поразился и даже, признаться, ужаснулся не самой возможности быть посаженным за решетку как обыкновенный уголовник, а внезапно обнаружившейся разнице в нашем воспитании, образе мыслей, ассоциациях и опыте; ведь человеку свойственно думать, что все знают то, что знает он, что все чувствуют похоже, что все читали те же книги и что поскольку, как ему кажется, все их читали при одинаковом освещении, сюрреалистическая фраза «Мать надо бить, пока она молода!» не может вызвать массовых линчеваний, так же как никто не станет верить до конца утверждению, будто «маркиза (действительно) вышла в пять часов!» Как глубоко мы заблуждаемся! Я проснулся после долгого сна, с ужасом осознав свое одиночество. Я понял, что существует множество параллельных логик: сентиментальная, литературная, историческая, политическая, судебная, сиюминутная... Как это возможно? Я уверен, что изумление другой стороны было не меньшим. Занятые созиданием мира в соответствии с идеей, которая им со временем начинает казаться отражением всеобщих стремлений, власть имущие, вероятно, так же столбенеют, когда в книгах или беседах с теми, кто думает не так, как они, натыкаются на сомнения, отчаяние, разочарование, разрушительные подводные течения, тайные страсти или туманные намеки,— все это они воспринимают как прямое оскорбление, оскорбление достоинства людей, самоотверженным трудом строящих идеальный мир по собственному проекту, в котором, видите ли, сомневаются разные смутьяны, слабаки, извращенцы, мягкотелые и неблагонадежные интеллигенты, одним словом, декадентские отбросы! Наконец-то они нашли столь необходимых врагов, да не где-то далеко, вне границ их досягаемости, а тут, поблизости, можно сказать, под рукой, это их же собственные подданные, чьи судьбы находятся в их полной власти.

(Я замечаю, что так же, как остальные, слишком часто употребляю местоимение «они»! Кто такие *они?* Они — это они! Следовало бы, наверное, написать трактат о себе и о них, может быть, этот труд раскрыл бы наконец и объяснил проклятие этих извечно несправедливых взаимоотношений? Но с какого края подступиться к этой загадке? Ведь не успеешь приблизиться к кому-нибудь из них, намереваясь проанализировать феномен «их», как тут же натыкаешься на «я», очень похожее на тебя самого! *Они* в ту же секунду рассеиваются, рассыпаются, как рассыпаются свинцовые литеры из матрицы какой-нибудь трескучей передовицы.)

Я решил забыть и про них, и про себя и заняться заброшенной монографией о Шломовиче. Раскрыв зеленую папку, я попытался привести в более или менее упорядоченный вид свои записки и газетные вырезки. Больше уже невозможно было оправдывать свою лень отсутствием свободного времени. Теперь у меня его была пропасть! С тех пор как меня уволили, оно тянется очень медленно, и хотя в моем положении мне не удается полностью сосредоточиться на несчастном коллекционере и его жизни, я тем не менее часами в какой-то полудремоте-полусне пялюсь в раскрытую папку. Без нее я бы часами глазел в потолок и в конце концов бы решил, что схожу с ума.

Вчера я зашел в лавку взять одну книгу о постимпрессионистах. Там я заметил худого мальчика лет девяти, который как раз направлялся к кассе со сказками Андерсена. Он бережно положил выбранную книгу на прилавок и из кармана коротких штанов, из которых торчали голенастые ноги, покрытые великим множеством синяков, царапин и ссадин, стал вытаскивать слипшиеся, измятые купюры и мелочь.— Сколько она стоит? — спросил он у Чубчика, подняв на него по-взрослому озабоченный и одновременно просительный взгляд. Я подарил ему эту книгу, подумав: «Вот еще один, отправляющийся в долгий путь от Андерсена до Оруэлла!» Он посмотрел на меня с недоверием, но подарок все-таки принял и убежал не поблагодарив. И может быть, кому-то это кажется смешным, но я с той минуты как бы уже больше не чувствовал себя та-

ким одиноким, обреченным на вечно одинокое «я». Теперь я со спокойной душой мог сказать: «Приходят новые, всегда приходят какие-то новые мальчишки, будущие новые скептики, воспитанные на книгах... Мы!»

45

Дождь лил как из ведра.

Большинство наших романов и рассказов начинается обязательно описанием погоды и чаще всего именно фразой: «Дождь лил как из ведра». Видимо, писатели веками заимствовали ее друг у друга за неимением лучшего начала для осеннего повествования и так истаскали долгим употреблением, что всякий смысл из нее давно улетучился, и выжать еще хоть каплю нет никакой возможности. Эта фраза-фантом преследует меня на протяжении всей истории отечественной литературы, как умалишенный, сбежавший из психиатрической лечебницы: почему, собственно, как из ведра? Почему не как из испорченного крана, из гидранта, взбесившегося душа или брандспойта, направленного на демонстрантов? Однако дождь, под которым мы с Весной безуспешно пытались поймать такси, лил действительно как из ведра; это был один из тех знаменитых белградских дождей, которые собираются неделями, грозя всемирным потопом, в котором даже старому Ною не удастся спастись; уже много дней нарастало напряжение в пропитанной электричеством атмосфере, а над Земуном и Обреновацем выстраивались, смыкая ряды, темные дивизии туч, как две грозные армады, готовые яростно схлестнуться над столицей. Обрушившись наконец на город сплошным потоком без всяких звонких вступлений в манере Дебюсси, он всего за несколько минут превратил Кнез-Михайлову улицу в бурную реку, в которую, клокоча, вливались притоки боковых улочек и переулков. Потоп самым подлым образом застиг нас точно на полпути между лавкой, откуда мы вышли, и домом Весны, куда направлялись, так что мы не могли ни вернуться, ни добраться до цели, не промокнув при этом, как два цуцика. (Откуда вдруг взялись эти цуцики? Наверное, из того же ведра...) Все началось с того, что я за полчаса до дождя, размышляя о своем абсурдном положении, вдруг ни с того ни с сего захохотал, перепугав Весну, решившую, что я на почве известных событий начинаю сходить с ума. Я успокоил ее, объяснив, что смеюсь над собой, потому что среди всего огромного множества людей, которых знаю и с которыми ежедневно встречаюсь, среди тех, кто годами угощались у нас кофе (редко делая попытки заплатить) и нашим вином, которое мы покупаем для гостей, выделяя немалые суммы из своей мизерной зарплаты, среди всех тех, кто часами торчат в нашей лавке, берут почитать и не возвращают новые дорогие книги, звонят с нашего телефона и роются в нашем холодильнике, нет никого, к кому бы я сегодня вечером мог сходить посмотреть по телевизору новости! Представь: никого, ни единого человека! Этот факт настолько поразил меня своей очевидностью, что я впервые задался вопросом, какого черта я делал все эти годы, если за все время не приобрел ни одного настоящего друга, к которому мог бы ввалиться без предупреждения, не произведя переполоха и не создав той хорошо мне знакомой натянутой и неловкой ситуации, которой любая уважающая себя супруга не преминет воспользоваться как оружием против и без того погрязшего в грехах мужа. Дело в том, что у меня никогда не было телевизора (он мне был не нужен), а как раз сегодня вечером, как мне сказали, в новостях речь пойдет обо мне, и я смог бы определить, насколько действительно тяжело и серьезно мое положение. И вот тогда Весна, эта тихая, сдержанная девушка, последний человек, о котором я мог бы подумать в данных обстоятельствах, зарумянившись, предложила мне свое гостеприимство, от которого я, разумеется, сразу же отказался, посчитав это всего лишь жестом вежливости. Ее, однако, мой отказ почему-то обидел, она чуть не заплакала, так что во избежание слез я согласился в конце концов принять любезное приглашение, ругая себя за то, что вообще упомянул про этот злосчастный телевизор и возможную экранизацию вынесенного мне приговора. К чему втягивать во все это еще и детей? Ведь сам я вляпался по собственной неосторожности и теперь уже просто не мог выбраться из стремительного водоворота, затягивавшего меня помимо моей воли все глубже и глубже. Я словно оказался во власти какого-то неумолимого механизма, устройства которого не знал и силе которого не мог противостоять. Итак, оставив бедного Чубчика дежурить в опустевшей лавке, мы с Весной пошли к ней домой, где, как она мне поклялась, никого не было. Весна сообщила мне по секрету, что живет одна в роскошной квартире, хозяева которой сейчас в отъезде — работают в Ираке. Она проветривает комнаты, кормит птиц, поливает фикусы и цветы, заводит на всю катушку пластинки, демонстрируя потенциальным грабителям, что кварти-

ра обитаема, и за все это может там бесплатно проживать до самого их возвращения.

Если бы кому-нибудь удалось проникнуть взглядом за плотный занавес дождя, поднимавшийся и опускавшийся на «бис» по требованию мучимой жаждой земли, то он увидел бы, как сквозь дождь, льющий как из ведра, бредет, втянув голову в плечи, будущий кандидат в диссиденты не первой молодости в потертых джинсах и юная девушка (на несколько сантиметров выше его), одетая в длинную индийскую рубашку. Мужчина все еще питал напрасную надежду, что сможет остаться хоть отчасти сухим с помощью старого приема: держась у самых стен домов, под узенькими карнизами. Какое-то время ему это даже удавалось, пока три хорошо направленных струи из водосточных труб — три точные копии водопадов на реке Крке, от которых он не смог увернуться, не вымочили его до нитки, в чем он, однако, судя по тому, что по-прежнему пытался прятаться под козырьками и карнизами, не хотел признаться даже самому себе. Девушка же спокойно шла босиком по середине тротуара, не обращая никакого внимания на дождь; насквозь промокшая одежда изящно облегала напряженные мышцы ног, плоский живот и худые лопатки, на плечи падали слипшиеся пряди длинных светлых волос, по лицу бежали струйки дождя, и «лил дождь, и шел дождь, не переставая, над Брестом в тот день», а она шла улыбаясь, промокшая, светлая, зачарованная, невозмутимая, как молодая буддийская монахиня, считающая дождь совершенно естественным состоянием природы — неба и земли, по которой ступает. Спутник ее, воспитанный на традициях европейского образа мышления, ненавидел дождь всей душой, для него он не был гармоническим проявлением круговорота живой воды между испаряющей ее землей и небом, возвращающим благословенную влагу всем живым существам на земле, с которой состоит в тайном сговоре, нет, он считал дождь личным оскорблением, которое ему именно сейчас, когда он по уши в дерьме, наносит какой-то зловредный специалист по небесным эффектам (гром, молнии, вой ветра за кулисами для спектакля «Король Лир», где Лир вопит: «Дуй, ветер, дуй!», грохот, журчание воды и прочие театральные фокусы), с единственной целью еще более усугубить его и без того незавидное положение. В конце концов немолодой мужчина полностью отдается во власть дождя и своей злой судьбы и специально выбирает самые большие водосточные трубы, чтобы по-мазохистски пройти под ними, как под огромным душем (вызывая приступы веселья у людей, терпеливо пережидавших непогоду в подъездах), и этим доказать своему року, что уже не может быть мокрее, чем есть. И как раз в ту минуту, когда он окончательно убедился, что и само небо восстало против него, когда он прошествовал сквозь последние ворота слалома унижения, белградский дождь, этот непредсказуемый водяной волшебник, послал ему награду, как самому мокрому из своих подданных.

Вбежав в Веснин дом, я тут же отбросил всевидящее книжное третье лицо, которым хитро воспользовался на время этого мокрого похода (чтобы вместо меня вымокло третье лицо), а вместе с ним и стыд оттого, что раздеваюсь догола перед девчушкой, годящейся мне в дочери, которая, впрочем, еще раньше меня сбросила с себя все, что на ней было, оставшись в чем мать родила, голая и влажная посреди ванной, выложенной черным кафелем, жутковато блестящая поверхность которого отражала алебастровую белизну ее гибкого тела. Необычайно ловко и быстро Весна развесила нашу одежду на веревке над ванной. Прикрепила прищепками мое размокшее удостоверение личности и деньги, а потом мы полотенцами протерли друг другу спины и волосы и включили фен — настоящий маленький ветродуй. Покончив с сушкой, Весна провела меня в большую комнату, где вся мебель (за исключением широкой французской кровати и большого телевизора) была в белых чехлах, и только тут, пока она, нагнувшись, искала среди смятых простыней куда-то запропастившийся пульт дистанционного управления телевизором, я с изумлением обнаружил, что мы принадлежим к разным полам! Я удивленно взирал на ее длинные ноги, на безупречные линии тела, на прозрачную кожу, под которой угадывалась тончайшая паутина вен. Поразила меня и пышность ее груди, которую она обычно успешно прятала под широкими складками индийских платьев, жеваными блузками и несколькими археологическими слоями маек, свитеров и других тряпок, которые надевала одну на другую, словно стремясь небрежностью в одежде скрыть недостойную, по ее мнению, женственность, грозящую поставить под вопрос ее статус последовательного борца за феминистские права и бесполое мировоззрение.

— Смотри-ка... Да у тебя бюст! — вымолвил я и благоговейно дотронулся до него, дивясь необыкновенному открытию.

Целомудренно опустив глаза на розовые кончики — две припухшие соски для будущих младенцев — и глядя на них так, точно видит впервые в жизни, она сказала:

— Что поделаешь! Никто не совершенен...

46

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДОРОГИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ. СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БЫЛ БОГАТ СОБЫТИЯМИ», КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ, ИЗ МНОЖЕСТВА НОВОСТЕЙ МЫ ОТОБРАЛИ ВАЖНЕЙШИЕ...

Выключи звук, Весна!

Мы оказались в постели так неожиданно, без всяких подготовительных маневров и заранее обдуманных намерений, что я даже не сразу осознал происходящее. При всем возбуждении, охватившем меня от этого подарка судьбы (спасибо тебе, дождь!), я не мог не заметить, что Весна начисто лишена всякого кокетства и обычной женской хитрости, придающих любви загадочную прелесть чередованием жеманного сопротивления и покорности. С акробатической легкостью она прыгнула в постель и оседлала меня подобно чемпионке-юниорке, лихо вскакивающей на кожаного гимнастического коня (хотя я родился под знаком Тельца). В этой дисциплине, где положения тела заранее заданы и известны, моя прекрасная гимнастка искала и находила те удовольствия, к которым и стремилась — не больше того, но и не меньше, без всяких эмоциональных вывертов, а экстаз, то и дело туманивший взгляд, нисколько не мешал ей, придя в себя, уже через несколько мгновений оказаться на ногах, ловким соскоком по всем правилам закончив эффектно выполненное упражнение: алле-гоп! Девять и восемь десятых, похлопаем маленькой Весне! Мы не прерывали игры даже когда началась передача. Весна лишь предупредительно предложила переменить позу (до этого мы были обращены спиной к освещенному экрану и пижонам из рекламы) и, не дожидаясь моего согласия, предложила мне на десерт восхитительную попку, зрелый розоватый персик, покрытый нежнейшими волосками, который украшала едва заметная тонкая светлая полоска на темном фоне — след золотой цепочки, единственного ее пляжного костюма прошлым летом. В то время пока я осторожно проникал в самые сокровенные ее глубины (черт возьми, что за кич!), она все усиливала звук телевизора, и наконец до нас донеслись обрывки фраз какого-то репортажа: «ЭТОТ ВИЗИТ, НЕСОМНЕННО, ВНЕСЕТ НОВЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ НА ОСНОВЕ ОТНОШЕНИЙ ДРУЖБЫ И ШИРОКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И ДРУГИХ СФЕРАХ,— ПОДЧЕРКНУЛ...»

Я сжимал в объятиях Весну, и мне казалось, что я трахаю в голову весь этот сучий мир, этот суетный, неврастеничный паноптикум лиц, с невообразимой быстротой сменяющих друг друга на экране, какие-то люди с кожаными портфелями и озабоченными лицами выходили из одних и садились в другие черные автомобили, поднимались по лестницам, жали друг другу руки, скалили фарфоровые зубы, поправляли галстуки и прически перед камерами (убери звук, Весна!), бесшумно поднимались облака дыма и рушились дома, подобно замкам из песка, бежали по полю солдаты в пятнистой форме, торжествующе потрясали автоматами, стоя на башнях танков, а какие-то другие люди в штатском стояли с грустными лицами под дождем (значит, и там идет дождь), держа в руках транспаранты, и смотрели... «...ПОСТОЯННЫЙ УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ТРУДНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ РЕАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, В КОТОРОМ, СОГЛАСНО ДОСТОВЕРНЫМ ИСТОЧНИКАМ, ВИДНОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ ГЛАВА ЛИБЕРАЛОВ, А МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СТАНЕТ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ...» Испитые лица с кругами под глазами и нескрываемой жаждой власти во взглядах, колышущиеся животы, обтянутые жилетками, лисьи физиономии молодых чиновников-подхалимов, окружающих шефов живым фризом белых воротничков, подающих им портфели, снимающих колпачки авторучек, угодливо переворачивающих для подписания страницы договоров, чтобы те, не дай Бог, не утомились от перелистывания, ждущих, подобно стае стервятников, когда придет их черед вкусить сладость власти,— не надо быть антропологом, чтобы, глядя на все эти лица, черепа, мощные челюсти, опущенные плечи и нездорового цвета кожу, сделать все выводы о характерах вожаков первобыт-

ных стад, уцелевших в борьбе за существование: телекамера беспощадно обнажала самую суть...

«ЧЕТВЕРТАЯ ПОДОБНАЯ ВСТРЕЧА ПЯТНАДЦАТИ МИНИСТРОВ ДВУХ СООБЩЕСТВ БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА НЕ ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ДАННОГО РЕГИОНА, НО И ПРОЦЕССАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ВСЕ БОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ У ОБЕИХ СТОРОН...»

...представительный мужчина в окружении свиты осматривает свиней в каком-то загоне, крупный план свиной головы, щурящейся на высокого гостя... Кто-то объясняет, что нужно делать, чтобы вырастить такую замечательную свинью, которая...

«...ВНОВЬ ОСТАНОВИЛА ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ФОСФАТА НАТРИЯ...

...СТРЕМЛЕНИЕМ К ПОЛУЧЕНИЮ АКТУАЛЬНОЙ И КОНКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОНИКНУТА РЕЗОЛЮЦИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ...

...НЕОБЫЧАЙНО ТЕПЛЫМ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА ДНЕМ ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН СОБРАЛИСЬ В ПОРТУ НА ТРАУРНЫЙ МИТИНГ...»

...крики чаек и блеск солнца, как у Камю, на штыках почетного караула, хриплые команды и похоронный марш духового оркестра пожарников, вздувшиеся жилы на шее мужчины в чересчур узком черном костюме, листок бумаги, дрожащий у него в руке...

«...НА ОТКРЫТИИ ЭТОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ВЫСТАВКИ ПРИСУТСТВОВАЛИ МНОГИЕ ВИДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, СОСТОЯЛСЯ ТАКЖЕ КОНЦЕРТ, УЧАСТНИКИ КОТОРОГО БЫЛИ ТЕПЛО ВСТРЕЧЕНЫ СОБРАВШИМИСЯ. ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДОБНОГО РОДА ТРАДИЦИОННЫМИ...»

Планировать традицию? А почему бы и нет? Все возможно. Ты устала? Ох, нет, нет... Хочу еще! Тогда выключи звук! Череда сумрачных людей, в гробовой тишине перекладывающих бумаги за длинными-предлинными столами. Немые губы одного из них шевелятся. Кто-то делает пометки. Один гасит окурок в хрустальной пепельнице, уже до верха наполненной изжеванными бычками. Другой пьет минеральную воду...

Когда я последний раз был в постели с женщиной? Давно. С каждым движением тела, которое Весна принимает с благодарностью, я как бы избавляюсь от долгого мучительного кошмара. Благодатный дождь смыл с меня пыль книжного червя, секс — очистил изнутри. Мои ладони лежат на Весниных горячих, податливых бедрах, узких, как у мальчишки; сейчас она — мой нежный живой щит, молодая кобылица, на которой я, подобно святому Георгию, сражаюсь с электронным чудищем — на меня бессмысленно таращится, испуская дрожащий зеленоватый свет, жуткий выпученный глаз Циклопа, в зрачке которого видны его несчастные пленники. Я всматриваюсь в их лица — да это же она, товарищ Елизавета, зачитывает какую-то бумагу, лежащую перед ней на столе! Камера отъезжает, показывая главного редактора и секретаря, а затем и весь издательский совет «Балкан», но прежде чем я успел сказать Весне, чтобы она прибавила звук, мы оба ощутили тот самый пик возбуждения, когда остановиться уже невозможно, как на крутой ледяной горе, с которой несешься вниз так, что захватывает дух. Между тем кадры заседания сменила дикторша, зрелая красавица с блудливыми глазами, обведенными темными кругами. Она смотрела на меня вызывающе, и я тут же решил включить эту красотку в нашу игру (раздев ее в мгновение ока), однако она продолжала что-то вещать с серьезным видом, и в ту самую минуту, когда мы достигли последнего рубежа, оглушенные взрывом где-то в спинном мозгу и криками: Ну же! Ну! Ну! Сейчас! Нуууууу!, Весна случайно сдвинула регулятор звука, и нам в уши ударил громоподобный голос красавицы дикторши, заканчивавшей фразу:

«...ДАНА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОЦЕНКА ВОЗМУТИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ СТАРШЕГО ПРОДАВЦА КНИЖНОГО МАГАЗИНА ПЕДЖИ ЛУКАЧА, НА КОТОРОГО НАЛАГАЕТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ». (Смена кадра.)

...в меня вперились глаза товарища Елизаветы, которая наконец подняла свой строгий взгляд от материала, секретарь тоже смотрел на меня с угрозой, и главный редактор, и все остальные, сидевшие в зале заседаний «Балкан», но они уже ничего не могли со мной поделать: освобожденный от вечного чувства вины и тяжести собственного тела, совершенно опустошенный, не чувствуя ни рук, ни ног, я падал вместе с Весной — Алисой в стране телевизионных чудес — в пухово-мягкий провал бездонного колодца, слыша шум своей крови в жилах

и биение пульса, а дикторша, злясь оттого, что ей не удалось тоже испытать оргазм, нервно сказала:

«А СЕЙЧАС — ПОГОДА НА ЗАВТРА»,

на что Весна выдохнула:

— Сумасшедший!

«НА СЕГОДНЯ ВСЕ, УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!»

Потом мы лежали, а онемевший телевизор бесшумно демонстрировал нам счастливых молодых людей в новых моделях демисезонных плащей фирмы «БЕКО», потом возникли запотевшие бутылки кока-колы, полетели люди-птицы с пестрыми крыльями, следом на бешеной скорости, грозя их настичь и протаранить, неслись банки печеночного паштета «КАРНЕКС», а куры под предводительством франтоватого петуха с бодрой песней шли в крематорий для пернатых (ARBEIT MACHT FREI[1]), чтобы радостно превратиться в концентрат куриного супа...

К счастью, Весне не требовались постконтактные ласки, за что я ей был чрезвычайно признателен. После близости я больше всего мечтаю оказаться за много километров от арены любви, а как минимум — чтобы дама хоть ненадолго удалилась куда угодно, хотя бы в ванную или на кухню, и чтобы в зубах у меня оказалась зажженная сигарета. Соприкосновение потных, остывающих от страсти тел вызывает у меня отвращение, а запускание пальцев в волосы я воспринимаю как прямое посягательство на личность. Весна была умницей: налив нам в два бокала вина, она смотрела на меня, подперев подбородок ладошкой:

— Вы ее очень любили?

Я мгновение подумал, прежде чем ответить:

— Очень.

Лежа на спине, она задрала свои длинные ноги на стену. Неправдоподобно стройные, они терялись в облаках сигаретного дыма. Весна, казалось, с интересом их разглядывала.

— Подумаешь... барышня! — сказала она презрительно после долгого молчания.— Фифа! Что ей нужно от вас? Почему она не оставит вас в покое?

Она пружинисто выпрыгнула из постели и настежь распахнула обе створки окна, словно желая, чтобы вместе с дымом выветрилась и моя память о Лене. Дождь прекратился. Нарезвившись всласть, разрядив напряжение, много дней накапливавшееся в небе и в людях, он успокоился.

47

В какой-то книге, ни автора, ни названия которой я не помню, мальчик, которого бьет отчим, все время молится про себя Богу, чтобы он помог ему не возненавидеть своего мучителя. От этого ему вдвое тяжелее, ведь приходится одновременно превозмогать боль от ударов и желание отомстить. Оказавшись после всех свалившихся на меня неприятностей в похожем положении, я понял одно: что бы с ним ни случалось, человек ни в коем случае не должен допустить, чтобы ненависть возобладала у него над остальными чувствами. Если это произойдет, он станет таким же, как те, кто не дают ему житья, и тогда, даже если он одержит над ними победу, его триумф потеряет всякий смысл. До тех пор, пока он сохраняет в себе хотя бы крохотный сокровенный оазис человеческого тепла, пока в нем не погас трепетный огонек любви, никто не сможет ничего с ним сделать. Не потому ли я с таким отчаянным упорством держался за последнюю нить, связывавшую меня с Леной? Теряя Лену, я тем не менее не переставал ее любить! Моя безответная любовь была чем-то вроде невидимого щита, заслонявшего меня от тех, кто могли с легкостью уничтожить и куда более сильных, чем я. Поэтому я смотрел на своих гонителей даже с некоторой жалостью, как на дефективных, с безнадежным вывихом чувств. Разумеется, они считали, что на их стороне власть и большие преимущества надо мной, потому что не сознавали моего превосходства. Калеки, эмоциональные уродцы! Все их усилия показать мне где раки зимуют, выглядели бессмысленными, чуть ли не смешными. Существовала, однако, другая, действительно серьезная опасность: спирохета их образа мышления могла незаметно проникнуть ко мне в мозг и развиться там в маленького автоцензора, куда более опасного, чем те, кто его взрастили, потому что их семя упало бы на плодородную почву. Вот тогда бы они могли считать, что добились своего! Находясь под их повседневным надзором, живя в их окружении, человек, незаметно для самого себя, начинает говорить и думать, как они. Естественное желание избавиться от одино-

---

[1] Труд делает свободным *(нем.)*.

чества, стать частью одного целого толкает нас в объятия массовой логики. Быть отличным от других опасно. Но сколь бы многочисленны ни были те, кто хочет причесать нас под одну гребенку, уподобить себе, их никогда не будет достаточно много, чтобы контролировать все чужие чувства и все мысли в чужих головах. Их усилия принесут успех лишь в том случае, если каждый вырастит и станет содержать за свой счет персонального тюремщика, который, куда бы ты ни шел, что бы ни думал, как бы тихо ни шептал какую-нибудь еретическую мысль, будет с тобой всегда, даже во сне. Но до тех пор, пока я в состоянии разглядеть подобную ловушку, я неуязвим! Может быть, мне в этом помогает взгляд сквозь очки пилотского шлема, когда-то полученного от ЮНРРА? Или все дело в книгах, которыми я занимаюсь? Может быть, как раз с помощью таких вот мелочей, как заштатная книжная лавка, человек неосознанно и сопротивляется духовному насилию, способствует совершенствованию мира скорее, чем любые манифесты, воззвания, школьные реформы, суровые законы или перевороты? Просто нужно упорно, ежедневно делать пусть хоть маленькие шажки в нужном направлении; терпеливо и настойчиво предлагать людям книги, картины, музыку, как странствующие монахи предлагают за несколько медяков молиться во время своих долгих скитаний за спасение чьей-то души; предлагать свое время, опыт, быть любезным и терпимым к невежеству, угощать сигаретами, вином, чашкой кофе и идеями, стараясь быть добрым в обезумевшее и осатанелое время, не обращающее внимания на подобные мелочи и полутона, ищущее спасения от неотвратимо надвигающейся гибели в великих исторических начинаниях и глобальных решениях. Нет, это никакое не христианство, это просто-напросто любовь, которая старше любой религии. Благодаря стечению обстоятельств или, лучше сказать, настоящему маленькому чуду, которое никто не планировал и не ожидал, в лоне самого скучного и серого издательства, какое только можно себе представить, вдруг возник сказочный замок — маленькая книжная лавка, одинокий маяк в море тьмы, о котором мы вместе заботились с единственным желанием иметь уголок, где бы можно было отдохнуть душой в обществе книг и нормальных людей. Должно было пройти целых три года, чтобы они обнаружили, что там происходит нечто необычное. Вначале, конечно, никто из них даже самому себе не смел признаться, что́, собственно, ему там не нравится, но когда молчаливое возмущение каждого из них достигло пика, последовал настоящий взрыв ненависти, сила которой, кажется, ошеломила даже самих экзекуторов. Чувствуя, но не умея сформулировать глубинные мотивы своего негодования, они ополчились на детали: на босые ноги Весны, серьгу в ухе у Чубчика, сидение на полу, вино, музыку, «непотребные» плакаты и значки... Но все их потуги вернуть серость, обкорнать все, что торчит, собрать разбросанное, сосчитать несчетное, постоянное желание провести учет неучитываемого, свести к цифрам статистики несводимое, разложить по полочкам, выдрессировать, вышколить согласно своему пониманию приличий, выкрасить все в милый их сердцу мышиный цвет (на котором меньше всего заметна грязь), закрасив им все остальные цвета, оскорбляющие их своей хаотической пестротой, для упорядочения которой нужен вкус, а в своем вкусе они не уверены, все эти усилия напрасны, страх, который они хотели внушить, посеять в чужих головах, испаряется, как нечистая сила перед крестным знамением, если человеку, несмотря ни на что, удалось сохранить в себе хоть малую толику любви. Вот почему я не очень испугался (хотя и не отношу себя к разряду смельчаков), увидев на экране хмурые лица членов издательского совета, решающих мою судьбу. Лаская Весну, я смотрел на них, как на пришельцев с другой планеты, до которых мне нет никакого дела. С одной стороны, были наши нагие тела, горячие губы, потная кожа, то, что можно потрогать, лизнуть, понюхать, а с другой — обладатели бумажной, для нас не существующей власти, набившиеся в деревянный ящик с выпуклым стеклом вместо одной из стенок. Снова, уже в который раз, жизнь побеждала фикцию! В их запуганных, сереньких головах, наверное, могла возникнуть лишь одна картина: скукожившись в каком-нибудь темном углу, я дрожу от страха в ожидании их решения. Видели бы они меня в эту минуту с персиковой Весниной попкой на фоне их серьезных физиономий!..

48

Кажется, за мной следят. Плешивый молодой человек с лисьей мордочкой работает попеременно с каким-то обтрепанным и занюханным типом, который, когда наши взгляды случайно встречаются, смотрит на меня с невыразимой печалью. Этот второй, постарше, постоянно таскает с собой белый полиэтиленовый мешок, из которого торчит свернутая газета. Выглядит это довольно жал-

ко, особенно вечный полиэтиленовый мешок из универсама, грозящий стать неприглядным символом нашей серой жизни, чуть ли не обязательным атрибутом современного мужчины, это одна из тех вещей, которые отличают нас от стран, где уважающие себя люди носят сумки из гладкой, дорогой кожи с медными застежками или элегантные кейсы, как, впрочем, и от тех, граждане которых ходят вообще без ничего, засунув руки в карманы. Полиэтиленовый мешок, нищенский багаж времен экономического кризиса... Обоих я вожу по интереснейшим местам города. В Клубе литераторов мой молодой сопровождающий ужинает в гордом одиночестве, а потом часами читает спортивную страницу «Политики». Тот, что постарше, страдает или язвой, или чрезмерной бережливостью: положив свой мешок возле ног, тоскливо выпивает стакан минеральной воды, глядя с отсутствующим видом прямо перед собой. Освобожденный от ежедневной обязанности ходить в лавку, я наслаждаюсь ласковым солнцем бабьего лета на террасе ресторана «Шесть тополей». Ленивая Сава с медленно ползущими вверх по течению баржами напоминает отсюда Сену из «Прекрасной нивернезки» Додэ, и я снова ловлю себя на том, что никак не могу выбраться из заколдованного круга литературных ассоциаций. Вот и этот человек с полиэтиленовым мешком, сидящий на другом конце террасы над стаканом с минеральной водой, как будто бы вовсе не причастен к моей судьбе, а всего лишь является персонажем какого-то дешевого детектива, названия которого я никак не могу вспомнить. Мы одни на террасе. Почему бы нам не сесть и за один стол? Я мог бы рассказать ему, что на самом деле обо всем этом думаю. Его отчеты стали бы содержательнее. Может быть, ему бы даже повысили оклад? Как глупо! А мне как раз до смерти хочется с кем-нибудь поговорить! Мы вроде как ровесники. Живем в одном городе, говорим на одном языке. Мальчишками оба, наверное, играли среди развалин в полицейских и воров. Он, скорее всего, любил ловить, а я — убегать и прятаться. То давнее распределение ролей, видно, и предопределило нашу дальнейшую жизнь. Ну и что с того? Нас объединяет то, что мы оба пережили, а вскоре обоих ожидают схожие проблемы. Я встаю и направляюсь к его столу, но он в ту же секунду поспешно поднимается и исчезает в глубине ресторана. Через несколько минут я возвращаюсь из туалета, куда нырнул, чтобы скрыть неловкость из-за внезапного приступа сентиментальности, но моего знакомца уже и след простыл. Наверное, разгадал мои намерения и испугался, что будут нарушены правила старой игры в полицейских и воров.

Следующей ночью моя вечная тень стоит в подъезде напротив Весниного дома. Весна стелит постель. На улице снова хлещет дождь. Я вижу дрожащий огонек сигареты, то разгорающийся, то гаснущий в ритме его дыхания. Роли как бы переменились: теперь гораздо удобнее быть вором, чем полицейским. Но именно поэтому мне уже не до любви. Как могут люди преспокойно ужинать, когда их на улице перед рестораном ждет шофер в машине? Каким надо быть бессовестным и как не ценить время чужой жизни, чтобы при этом получать удовольствие от еды! Впрочем, личных шоферов имеют именно такие. Иначе как бы они их заполучили? Наскоро прощаюсь с разочарованной Весной и выхожу из дома. Я не могу расслабиться, когда кто-то из-за меня мокнет, пусть даже филер... Перебегаю через улицу и заглядываю курильщику в лицо, но их оказывается двое! — парень с девушкой, обнявшись, курят одну сигарету! Никого с полиэтиленовым мешком в подъезде нет. Уж не начинается ли у меня паранойя? Действительно ли за мной ходят люди товарища Учи или вся эта слежка существует лишь в моем перевозбужденном воображении? Если за мной следят, то что́ надеются узнать? Скорее всего они просто хотят меня запугать. А может, им надо выяснить, с кем я встречаюсь? Но я этого и не скрываю. Кто их подослал шпионить за мной? И сколько это будет продолжаться?

Помимо опасности заболеть манией преследования, существует еще одна, о которой не следует забывать. Человек, на которого обрушивается слепой гнев власть имущих, помимо своей воли начинает сам верить в собственную важность и значимость. На него попеременно накатывают приступы ярости, страха и жалости к себе. Он забывает, кто он есть на самом деле. Забрасывает свою работу. Вырезает из газет статьи, где говорится о нем. Заводит досье на самого себя. Останавливает прохожих на улице и начинает им подробно рассказывать, что с ним произошло. Вскоре он уже не может думать ни о чем другом. А потом, когда гроза над ним пронесется и жизнь потечет дальше своим чередом, о нем потихоньку начинают забывать. Он же по-прежнему носится со своим «делом». Теребит знакомых и бывших друзей, сует им прошения, жалобы, опровержения и письма в разные инстанции, собирает подписи под петициями в свою защиту. Карманы его набиты многократно сложенными, замусоленными

газетными вырезками. Подписи под письмами протеста расплылись от пота. Несчастный постепенно превращается в городского сумасшедшего. Утверждает, что за ним следят, прослушивают его телефон, вскрывают письма, травят водой из водопровода, отказывают в приеме, хотя он каждое утро упрямо дежурит перед дверьми чьего-то там кабинета. Если вы вдруг попытаетесь разуверить маньяка в существовании коварного заговора против него, то приобретете в нем смертельного врага. Он тут же причислит вас к своим гонителям. Отнимая у него ореол преследуемого, вы лишаете смысла само его существование. Так мимолетная политическая заварушка, о которой все быстро забывают, способна навсегда погубить того, в ком разбудит чрезмерное самомнение.

Чтобы не стать жертвой подобного психоза (не хочу прослыть городским дурачком!), я пытаюсь спокойно разобраться в сути происходящего. Прежде всего необходимо попробовать взглянуть на это дело со стороны. Вместе с окурками из переполненной пепельницы вытряхиваю в унитаз и чувство жалости к себе, и возможное самомнение, а также наброски будущего памятника себе-мученику. Спускаю воду.

В одном можно быть уверенным: у товарища Учи нет никаких особых причин ненавидеть меня, потому что мы даже не знакомы. Сильнейшая неприязнь, которую он испытывает ко всем гнилым интеллигентам, по всей вероятности, уходит корнями в его нищенскую молодость недоучившегося слушателя Учительской школы, откуда, кстати, и идет его знаменитое прозвище [1].

Может, какой-нибудь франтоватый гимназист увел у него из-под носа девушку на провинциальном балу в 1938-м? Может, он завидовал счастливым городским детям, которые по утрам пили кофе с молоком? Разумеется, не следует забывать, что «он безмерно любит весь народ в целом, ненавидя каждого человека в отдельности»... Во всяком случае я для него значу не больше, чем желтый бильярдный шар, на который он нацелился кончиком своего кия. Если мы пойдем еще дальше, то обнаружим, что и самого Доктора он ненавидит лишь как представителя старой революционной элиты, чьим наследником является. Конечно, он, в биографии которого за неимением исторического оправдания ловко обходятся кое-какие скользкие места, не может не завидовать их чистому революционному прошлому. Доктор для него, стало быть, второй шар. Красный. В этом хитром политическом карамболе товарищ Уча ударом желтого шара по красному одновременно разбивает скопление шаров в углу бильярдного стола. С помощью меня и Доктора, на которого он не решается нападать в открытую (даже если Уча и переживет его, то еще долго будет побаиваться его трупа), Уча обвиняет в отсутствии бдительности тех, кто разрешил печатание сомнительных мемуаров Доктора, клеймит тех, кто попустительствовал возникновению политического климата, в котором вообще стало возможным появление такого вражеского логова, как книжная лавка, где, в свою очередь, смог появиться такой зловредный элемент, как я! Старый хитрый лис, Уча стремится выиграть вчистую сто очков, демонстрируя свою всегдашнюю готовность встать на пути подобных вражеских вылазок и таким образом доказать, что достоин подняться на еще более высокую ступень в иерархии, к которой принадлежит. Его возмущение наигранно, благородный гнев, которым было проникнуто его выступление,— скорее всего плод творчества секретаря, какого-нибудь неудавшегося поэта, занимающегося подобными экзерсисами под защитой Учиного авторитета. Я для них не важен, но они уже не могут остановить облаву, выгоняющую меня из теплой книжной берлоги. По желтому шару нанесли слишком сильный удар, он слетел со стола и стремительно покатился в темноту кафаны. Все бегут за ним, чтобы вернуть в игру, но он этого не хочет и катится, катится, катится...

Я прикончил вторую бутылку белого, вспоминая в полудреме великолепное изречение одного венгерского писателя:

«Восточная Европа полна пьяных мыслителей!»

49

Я узнал, что сносится дом, где я родился. Мне прислали приглашение на прием, который по этому поводу устраивает Михайлович-младший, внук Анастаса Михайловича, построившего в начале века это чинное здание и установившего в овальной нише фасада свой бронзовый бюст работы скульптора Джордже Йовановича. Здание это стоит на Дукиной улице. Дукина, 13. Когда я попадаю в какую-нибудь передрягу или собираюсь в дальнюю дорогу, то прихожу сюда, чтобы снова вдохнуть сентиментальную атмосферу своего детства и

---

[1] **Уча** — ласкательное от «учитель» *(сербскохорватск.)*.

юности. Если человек не имеет понятия, куда идет и где в настоящий момент находится, ему необходимо знать по крайней мере исходную точку своего пути. Моя исходная точка — это мощенный булыжником двор, в середине которого растет ветвистая липа. Это что-то вроде маленькой площади, окруженной с четырех сторон обветшалыми стенами здания, построенного в дар городу на выручку от продажи пшеницы и свиней, которых на баржах возили вверх по Дунаю на скотные рынки в Австрию. Однажды я увидел этот дом с двадцать четвертого этажа возвышающегося неподалеку небоскреба, из окна мастерской одного графика. С высоты птичьего полета этот двор с липой, заросший сад и дом под черепичной крышей среди многоэтажек выглядели странным провинциальным оазисом — последним островком определенного жизненного уклада, обреченного на умирание. Казалось, какой-то чудаковатый этнограф, несмотря на дороговизну здешней земли, решил сохранить эту постройку вместе с ее разношерстным населением, садом, мощеным двором, сквозь булыжник которого пробивается нежно-зеленая травка, вместе с веревками, на которых, как флаги в знак капитуляции перед бедностью, вывешены рваные простыни, вместе с дымовыми трубами, увенчанными птичьими гнездами, и колодцем в центре этого маленького феода — все это словно должно служить наглядным пособием для поколений, произрастающих на бетонных паркингах: «Вот так, дети, жили здесь люди, пока Белград не вырос в современный безликий европейский город...» Глядя с высоты на этот маленький зеленый островок посреди высохшего асфальтового озера, я видел далеко внизу и себя самого: худенький мальчик с жидкими соломенными волосами и острыми коленками сидел на ступеньках и читал какую-то потрепанную книжку. Левое стекло его круглых очков в металлической оправе было заклеено пластырем. Я почувствовал жалость к этому малышу. Судьба к нему и так была не слишком-то благосклонна! Мало ей было бедности, в которой он родился, надо было еще закрыть ему один глаз пластырем! (Мальчишки меня тогда дразнили Косым.) Сегодня это, конечно, уже не важно, но мне кажется, что из-за того пластыря я никогда не смотрел на мир так, как остальные. Возможно, именно с него началось мое взаимное непонимание с внешним миром, которое со временем превратилось в сознательную тайную войну, наложившую отпечаток на весь мой образ жизни. Во всяком случае, без ложной скромности могу утверждать, что то едва заметное, так и не вылеченное косоглазие мальчика, глотавшего для своих лет слишком много книг, позднее сообщило моему взгляду необычную, скажем так, мягкость. Одна особа, к которой я был весьма неравнодушен, однажды сказала мне, что я всегда «смотрю на нее с какой-то жалостью, будто мне все про нее известно!»

(«Боже мой, Педжа, когда вы на меня так смотрите, мне хочется плакать, сама не знаю отчего...»)

Вернемся, однако, к моему родному дому тринадцать на Дукиной улице, хранящему память о более чем двадцати годах тихого, уютного житья, детских болезней, мечтаний, веселых похождений, тайных влюбленностей, наивных пороков. Если смотреть снаружи, это один из бесчисленных белградских домов, где квартиры сдавались внаем, фасад которого с неудержимо осыпающимися лепными украшениями, подобно крепостной стене, надежно защищает от любопытных взглядов улицы так же, как и старые кованые ворота для экипажей с чуть приоткрытой маленькой боковой калиткой. С тех пор, как из города изгнали лошадей, большими воротами пользуются редко, их открывают только когда привозят уголь и дрова или когда кто-нибудь переезжает. Но зато, стоит войти во двор, как перед тобой открывается некое подобие примитивного атриума — сцена многолетних дружб и ненавистей, стычек, ссор и примирений, рождений, свадеб и смертей; философская школа давно похороненных и забытых мудрецов, передававших свой богатый опыт, сидя под липой,— клубок человеческих судеб, которые, будучи отделенными от внешнего мира толстыми стенами и зеленым сводом ветвистой кроны, навсегда остались здесь сгустком своего времени. Расселенный добром ли, силой ли по новым районам здешний достойный люд уже никогда не будет тем прежним, который, правда, мог подраться из-за какой-нибудь ерунды, но при этом был готов и поделиться с соседями всем, что имел, тот, что со страстью участвовал в жизни ближних, но и сам был для всех открыт как на ладони. И этот дом предназначался на слом! Запасясь достаточным количеством сигарет и белого вина, я уселся с пишущей машинкой на кухне и стал яростно выстукивать письмо протеста в «Политику».

50

«Уважаемый товарищ редактор, пишу вам в связи с решением о сносе жилого дома по адресу Дукина, тринадцать. Хочу напомнить, что данное зда-

ние построено в 1899 году по проекту зодчего-самоучки из Панчева Теодора Божидаровича. Строителю, конечно, и в голову не могло прийти, что его детище, один из редких у нас памятников в стиле позднего сецессиона, будет перегорожен и поделен на маленькие закутки, что его будут разрушать войны (в которых у нас не было недостатка), бедность, безвременье и случайные жильцы, селившиеся здесь последние полвека в порядке уплотнения. Я это все знаю. Я в этом доме родился. Но прошу вас, товарищ редактор, понять меня правильно: я маленький человек и у меня нет никакой личной причины бороться за спасение этого здания как будущего памятника культуры, на котором когда-нибудь повесят доску с надписью: «Здесь родился такой-то...» По правде сказать, в стенах этого дома не родился никто из великих и славных, а мне уже поздно таковым стать. В них рождалась лишь частичка неповторимого белградского духа, если вы понимаете, что я хочу этим сказать. Историки утверждают, что разные завоеватели сорок раз разрушали Белград до основания. Но никто не вспоминает, сколько раз мы его сами разрушали. А ведь, положа руку на сердце, следует признать, что именно потому он имеет такой малопривлекательный вид. Беру на себя смелость утверждать, что это едва ли не самая неприглядная столица в Европе. Но если что-то и выделяет его среди всех остальных городов, делает единственным и неповторимым, так это его дух. Очень хорошо сказал один из известных белградских архитекторов: «В Белграде нет значительных архитектурных памятников — он сам свой памятник!» Верно. Его дух неуловим. Он материализуется только в редких случаях и в определенных местах. Одним из таких мест, несомненно, является дом номер тринадцать на Дукиной с огромной липой во дворе, где в известные периоды жили в любви и согласии более двадцати семей. Здесь рождались и умирали, здесь корпели над учебниками и оплакивали покойников, отсюда во время войны юные подпольщики, почти мальчишки, шли жечь немецкие грузовики на Автокоманде[1] — одним словом, дом этот делил со своими жильцами и радости, и невзгоды. Я слышал, что на его месте будет построено высотное здание с супермаркетом на первом этаже. Позволю себе заметить, что у нас становится все больше супермаркетов и все меньше близости между людьми. Мы не птицы, чтобы жить где-то под облаками. Мы хотим почувствовать под ногами землю, которая вернет нам утраченную силу. Многоэтажки отсекают наши корни. Мы охотно променяли бы супермаркеты на бакалейные лавки, а морозильники на овощные базары. Кто-то мудро заметил: «Лучше жить без квартиры, чем без хороших соседей!» Что в итоге останется от Белграда и от нас, его жителей? Что останется от нашей духовности, от нашего образа жизни, который мужественно, до последнего вздоха защищался на Дукиной, тринадцать? Я взываю к вам о спасении Белграда от дальнейшего обезображивания, принимающего с каждым днем все более угрожающие масштабы. Прошу спасти старый дом Михайловича...»

Но уже с середины второй страницы я, сам того не сознавая, стал писать себе ответ, бешено колотя по клавишам машинки:

«...У Белграда есть только один путь: путь включения в общий современный процесс развития сообщества европейских городов, и здесь нет места никакой идеализации прошлого, ностальгии и прочим сантиментам. Легко рассуждать о прелести старых двориков, булыжной мостовой и голубятен, живя в благоустроенной квартире с ванной, лифтом, центральным отоплением и телефоном, предоставляя своим не столь счастливым согражданам ютиться в постройке конца прошлого века, лишенной всех этих удобств. Легко горевать о «старых добрых временах» и выступать за «приземление» Белграда (ненавижу кавычки, обозначающие иронию!), не имея понятия об основных элементах экономических расчетов в строительстве, таких как стоимость инфраструктуры (ненавижу это слово!) и объектов соцкультбыта (и это!). У Белграда есть только один путь роста — в высоту, куда он всегда и стремился! С уважением, Зам. секретаря отдела строительства и реконструкции Белграда ИЗСРТБ (ненавижу сокращения!) С. Стоисавлевич».

Допечатав ответ на свое обращение, я вытащил лист из машинки и порвал в клочки. Снова, уже в который раз, получил подтверждение мой вывод о том, почему я так и не стал писателем. Об одном и том же вопросе у меня может быть несколько взаимоисключающих мнений, что не позволяет с уверенностью писать о чем-либо. Впрочем, кто бы теперь напечатал мое письмо, даже если бы я твердо верил в свою правоту? Я побрился и отправился на Дукину, тринадцать на встречу с детством.

---

[1] Район в Белграде, где находились авторемонтные мастерские.

Боже, неужели это в самом деле мой родной город? Эта темная дыра с неосвещенными витринами, погашенными рекламами и фонарями, эти пустые тротуары без людей, которые сейчас наверняка сидят, уставившись как загипнотизированные в свои телевизоры, и не оторвутся от них, пока не прозвучит прощальное «Белград, ты сияешь, как солнце!», после чего целые кварталы наполнятся водопадным грохотом спускаемой в унитазах воды, затем последует всеобщий широкий и усталый зевок и скрип пружин незастеленных кроватей, пропитанных застоявшимся запахом спален и фланелевых ночных рубашек. Боже, неужели это в самом деле мой родной город? Говорят: кризис. А листья в октябре горят всеми оттенками оранжевого, желтого, красного и рыжего, в точности как на полотнах г-жи Надежды Петрович, первой сербской импрессионистки, отпечатанных на рекламных календарях Белградского полиграфического комбината. Если б не разные времена года, не жалеющие красок на листву и газоны, черта с два мы когда-нибудь увидели бы какой-либо другой цвет, кроме серого, к которому у нас, кажется, даже бóльшая склонность, чем у других восточноевропейских народов, достигших в многолетней серости несомненных высот. Боже, неужели это в самом деле мой родной город? Да, это он.

Но эта тихая улица — что такое с ней? Я ее уже не узнаю! Откуда взялись эти молодые люди, что с шумом вываливаются из своих лимузинов, нахально поставленных прямо на тротуаре, вылезают из такси, хохоча и обмениваясь приветствиями; куда идут эти элегантные мальчики и эти красивые, счастливые девушки, возбужденные и радостные, откуда тут эти сверкающие лаком мотоциклы, с которых спрыгивают юноши-кентавры, одетые с головы до пят в кожу, помогая своим спутницам слезть с высоких сидений и освободиться от защитных шлемов, возможно ли, чтобы сонная Дукина улица, где еще вчера жили скромные ремесленники, мелкие чиновники, машинистки, кондуктора, учителя на пенсии и бакалейщики, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратилась в центр города? И все они, судя по всему, шли к дому Михайловича, спрашивая друг у друга, как найти номер тринадцать. Я шагал вместе с ними, не узнавая родных, внезапно разбуженных мест, вошел в ворота, перед которыми толпилась куча народа, и остановился ослепленный светом прожекторов, оглушенный ревом рок-ансамбля, про который кто-то сказал, что он называется «Теплые братья» и состоит из одних агрессивных молодых педерастов. Прожектора освещали обшарпанные стены, крышу с дымовыми трубами и даже внутренность комнат со множеством безобразных шрамов, оставленных съехавшими жильцами. Я знал каждый сантиметр этого убогого интерьера, каждую скрипучую дверную петлю, каждый камень во дворе и все же шел как во сне, чувствуя в себе какую-то сосущую пустоту, будто из меня что-то вырвали с мясом, превратив эту мягкую октябрьскую ночь в жуткий кошмар. И только когда мои уши привыкли к тупому грохоту электронной музыки, а глаза — к слепящему свету, я понял, чего тут недостает — липы! Не было липы. Кто-то ее срубил. В это время года ее крона, зажатая в рамку крыш, походила на желто-зеленый зонтик, сквозь который едва можно было разглядеть небо. Теперь тут не было ничего. Я двинулся вперед, туда, где прежде стояло дерево моего детства, стал протискиваться сквозь толпу приглашенных, становившуюся ближе к центру двора все гуще. Я расталкивал аристократического вида людей, разрывая нити бесед и знакомств, пока не нащупал это место: нагнувшись, кончиками пальцев коснулся совершенно гладкой поверхности пня полуметровой высоты, похожего на круглый деревянный столик, на который стоявшие поблизости гости кощунственно ставили свои картонные стаканчики и подносы с бутербродами, мешавшие им прикуривать и болтать.

Я огляделся вокруг. Мне вдруг захотелось кого-нибудь избить. Многих из этих гостей я знал по газетам и телепередачам (они носили свои общеизвестные имена с надменной скукой), некоторые, бывало, захаживали и в мою лавку, но большинство принадлежало к плохо поддающемуся определению разряду праздных обеспеченных людей, одетых по последней моде, с выражением кичливой пресыщенности на лицах. Были тут и мои ровесники, старательно скрывающие свои годы, пуще всего боящиеся отстать от жизни и времени и потому не пропускающие ни одного подобного мероприятия; были неправдоподобно высокие манекенщицы с мальчишескими бедрами, длинными ногами и плоской грудью, едва обозначенной бугорками сосков под тонким шелком, они рассеянно смотрели через головы своих собеседников, оглядывая, как жирафы, собравшихся в надежде высмотреть кого-нибудь, кто в еще большей моде; были и подвыпившие гуляки, панибратски хлопающие по плечу каждого встречного-поперечного; за-

метил я и молодых красавцев, любующихся собой и своим декадентским изяществом, стремящихся обратить на себя благосклонное внимание увядших дам и стареющих педерастов; каждый здесь чего-то хотел и на кого-то охотился или же сам был дичью, в том числе и только-только распустившиеся девочки-подростки, рано осознавшие свою привлекательность нимфеток, с нетерпением ждущие, кому бы себя подарить, а лучше продать, да подороже,— тому, у кого жизнь повеселее или карьера покруче и кого всегда можно шантажировать разницей в возрасте...

А сквозь эту пеструю публику, которая сама себя с гордостью называет tout Belgrade[1], которая одновременно испытывает взаимную ненависть и влечение, любовь и презрение, имеет одни интересы, общается, сплетничает, спаривается, обменивается партнерами (вечно в одном и том же заколдованном круге), расходится и сходится, которая обязательно оказывается везде и всюду, где происходит что-нибудь исключительное — от гастролей мировых звезд, открытий выставок и торжественных закрытий сезона до скандальных политических выступлений и лошадиных бегов на ипподроме у Царевой чуприи[2] — сквозь всю эту толпу, которая уже самим своим присутствием даже похороны превращает в оживленные коктейли, сквозь это жужжащее облако дорогих духов и дыма импортных сигарет виртуозно маневрирует на своем гоночном велосипеде Борис Полянский в костюме «сафари». Его древний, яйцеобразный, наголо обритый череп выкатывается из толпы сорвавшимся с ветки апельсином. На этот раз он избрал гоночный велосипед, чтобы еще раз посмеяться над своими сверстниками, которые давно уже гниют под пледами в креслах, страдая подагрой и склерозом, терроризируемые своими сварливыми супругами. Время от времени он останавливается, чтобы сообщить стайке юных ночных бабочек, сейчас же слетающихся к нему, как к розовой лампе, что до сих пор регулярно самоудовлетворяется. Они хихикают, угадывая под клоунской маской старого жеребца редкие способности мастера блуда, который, возможно, мог бы их спасти от пресыщенности всем и вся.

Так вертится эта сумасшедшая карусель тщеславия и скуки, а в самом ее центре, одетый в безукоризненно белый костюм и черную рубашку, стоит совершенно невосприимчивый ко всему происходящему вокруг молодой Михайлович, правнук Анастаса Михайловича, построившего это здание, чтобы увековечить свой купеческий род, конечно же не подозревавшего, что все закончится этим кошмарным спектаклем в октябре 1982-го. Сколько вообще живут наши династии? Столетие? Сто пятьдесят лет? Двести? Их основатели были крестьянами или торговцами, в лучшем случае свиноторговцами. (На знамени Карагеоргия вышита кабанья голова, пронзенная стрелой.) И Милош Обренович торговал свиньями. Его потомок, исколотый саблями заговорщиков, выброшен вместе с королевой из окна дворца на зеленый луг... Наш крутой, горячий нрав заставляет нас жить быстрее других народов; история, завоеванная свобода, дедовские состояния, успех, любовь плывут у нас между пальцев. Здесь, кажется, никто ничего не наследует. Мой дед (царство ему небесное!) десятилетиями собирал книги, чтобы оставить отцу. Вся библиотека сгорела. Отец начал собирать книги сызнова, намереваясь передать их по наследству мне. Все его собрание распродано в годы нужды. Кому посчастливилось сохранить крышу над головой от пожаров и разрушений, у того она отнята. Вот и этот дом, во дворе которого я стою, принадлежит законному наследнику только этой ночью. Здание лишь на бумаге зовется домом Михайловича. Завтра его станут ломать — наследник, стало быть, может владеть им только до утра, и он это, наверное, чувствует, если вообще в состоянии что-либо чувствовать, после того как накачался героином. Он стоит, словно позируя автору нудной трехтомной саги о гибели белградских семей для последней главы, где будет наглядно изображен абсурд накопительства, обогащения и наследования. Он воспользовался этой ночью, чтобы показать Белграду, кем он был или кем бы мог быть, если б все осталось по-старому. Остаток дней своих он будет жить за счет молчаливого признания того круга, мнением которого дорожит, былого аристократизма и этой ночи, напомнившей всем о его забытом происхождении.

Что нам оставить детям и внукам такое, что бы никто не смог у них отнять, сжечь, разрушить? Может, какое-нибудь полезное ремесло, которое пригодится при всех обстоятельствах и при любой системе? Или хорошее воспитание и знание языков, которое поможет им уехать подальше отсюда по следам

---

[1] Весь Белград *(франц.)*.
[2] Район в Белграде.

древних переселенцев? А может быть, вернее всего вооружить их презрением к любой собственности, благодаря которому они будут покидать свои гнезда с легким сердцем, посвистывая, засунув руки в карманы?..

52

Моя старая липа влипла. Вот и еще один сон закончился!

А чего, собственно, я ожидал? Разве это не логическое завершение длительного процесса разрушения всего, при котором я присутствую? Все рушится, и на обломках дорогого мне мира новое поколение топчет своими элегантными туфлями щепки легендарной славянской липы, пьет коктейли и договаривается о случке в конце ночи, радуясь, что собралось вместе, в стадо, что что-то происходит, что хоть на один вечер решен вечный вопрос, куда деваться от одиночества и скуки. («Подожди меня потом... Я еще не знаю, буду ли свободна. Там видно будет!») Может, с этим? Или с тем? Или еще немножко поохотиться, попробовать подцепить кого получше, кого не так просто взять, но тем ценнее каждое завоеванное очко? Что такое вообще история? Разве не стояли бы они так же с картонными стаканчиками в руках на бранном поле после какой-нибудь страшной битвы, болтая ни о чем над грудой тел? Разве не поставили бы преспокойно свой коктейль на гусеницу подбитого танка, не прикуривали бы от горящего трупа? («Куда потом ткнешься, когда все закрыто?.. У вас не найдется еще немного льда?..»)

Внезапно толпа заволновалась.

Майя Салваро... Кутаясь в черный плащ, к пню пробиралась высокая молодая женщина с болезненно-бледным лицом, белизну которого еще больше подчеркивали крупные темные глаза с золотистыми тенями на веках. Волна иссиня-черных волос падала ей на плечи, а длинные тонкие пальцы судорожно стягивали плащ под горлом. Она была босая. В ее взгляде весталки я заметил болезненную сосредоточенность на какой-то ей одной видимой внутренней картине, которая, казалось, все время держала ее в состоянии немого ужаса; эти расширенные зрачки, правда, смотрели на присутствующих, расступавшихся перед их обладательницей, но, кажется, вовсе их не видели, обращенные внутрь себя, к себе, к своему надменному одиночеству, какой-то тайной цели, скорее всего недостижимой или же не стоящей борьбы и усилий, оставляющей в душе лишь брезгливое презрение и усталость — следствие неудовлетворенности. Она взобралась на пень и одним движением худых плеч освободилась от плаща, легко соскользнувшего с ее нагого тела. Борис Полянский, сопровождавший ее вместе с каким-то женоподобным юношей, ловко подхватил плащ, свернул и положил у подножья пня, превратившегося в круглый пьедестал для живой скульптуры. Это стройное, трепетно-белое тело, как ни странно лишенное всякой эротики, обнаженная натура, и только, словно выросло из самого пня, как молодой побег, укрывшийся невидимой кроной тишины, которая распростерлась над зрителями, погасив музыку рок-группы, приглушенное хихиканье, обрывки разговора и чей-то восхищенный присвист. В фигуре молодой женщины, неподвижно стоявшей в чем мать родила среди толпы, не было и намека на эксгибиционизм или желание шокировать своей наготой; собственное тело как будто было для нее всего лишь инструментом, на который она обращала не больше внимания, чем скульптор на глину, которую мнет в пальцах, поглощенный замыслом будущего творения. Старый Полянский и юноша подтащили к пню плетеные корзины и подносы с едой, стали раскладывать у ног девушки всевозможную снедь, словно принося ей жертву. Сперва они развернули упакованные в бумагу телятину, куриные ноги и головы, свежую печенку, за ними последовали листья зеленого салата, цветная капуста, морковь, петрушка; они плотно обложили ее кусками белого и ржаного хлеба, баночками с горчицей, кругами колбасы и сосисками, ломтиками шпика, сельдереем и головками чеснока, нарезанной савойской капустой и яйцами, а она, все так же неподвижная, опустив руки вдоль тела, невозмутимо принимала приношения, глядя поверх голов зрителей куда-то в другой конец двора, где в ворота по-прежнему текла нескончаемая река гостей. Когда все было готово для их тайного обряда, юноша стал обкладывать голени, икры и бедра девушки кусками мяса, овощами и хлебом, а Полянский, достав откуда-то клубок бечевки, все это ловко привязывал, делая множество узлов, превращая нагую фигуру в женщину-бутерброд и быстро поднимаясь к ее лицу, не без гадливости смотрящему в пустоту. Юноша прикладывал кусок печенки к груди Майи, придерживая одной рукой, другой добавлял морковку или капустный лист, а Полянский, не говоря ни слова, как почтовый служащий, со скукой упаковывающий очередную посылку, обматывал девушку бечевкой, один раз, второй, столько, сколько требо-

валось, чтобы новая порция не соскользнула, не забывая каждый раз завязать узел. Юноша выдавливал из тюбика всхлипывающую струйку майонеза или ложечкой размазывал горчицу по хлебу и колбасе, а время от времени подсаливал и перчил. Огромный живой бутерброд внушал неприятное чувство, но не потому, что драгоценная человеческая пища (к которой мы все еще относимся с благоговением) пришла в соприкосновение с женским телом, не потому, что девушка за каких-нибудь десять минут была превращена в груду съестного, и не потому, что по голой коже там, где она случайно осталась неприкрытой, стекали кетчуп, густая черная кровь из печени вперемешку с зеленовато-желтым майонезом и китайским соевым соусом цвета йодной настойки; это чувство стыда, неловкости и смущения вызывал скорее безмолвный профессионализм ассистентов живой скульптуры, упаковывавших необычный объект при полном отсутствии всякого личного отношения к своей работе, а отчасти и остекленевший взгляд девушки — ее все это словно не касалось, она равнодушно позволяла издеваться над собой, хотя, несомненно, была для обоих мучителей обожаемой госпожой и предметом преклонения.

— Перформанс! — сказал один интеллектуал другому.— Давно мне не приходилось видеть такой великолепный перформанс!

— А знаете, что она вытворила в том году в Касселе? Не знаете? Так вот: обрезала перед камерой ногти на руках и ногах, сожгла и продала эту пленку Мюнхенскому музею! Но уж это действительно превосходит...

— Для чего все это? — сухонький бородач объяснял происходящее своей породистой молодой подружке.— Для чего? Возьмем, например, обыкновенную домохозяйку, которая каждый день готовит для своей семьи. Что она делает? То же самое! Режет мясо, хлеб, солит, перчит, варит, ставит на стол тарелки, убирает их, моет... Для чего? Что останется от ее трудов, когда все будет съедено и вымыто? Ничего. Вся работа оканчивается ничем. Но ведь никто не задается вопросом, для чего это было нужно? А может быть, работа доставляет ей радость? А может, она испытывает от нее удовлетворение? Иначе бы она этого не делала, верно? Посмотри, как ей сейчас хорошо! Ей просто хорошо, потому что она существует! Это все прикосновения... Если есть искусства для остальных чувств, то почему бы не быть искусству для осязания? Скажем, touch art[1]? А?

Девушка взглянула на него презрительно.

— На словах-то ты боек! — сказала она.— А когда доходит до... тогда...

Она не сказала, что тогда, но шепелявый бородач замолчал и опустил глаза.

Не досмотрев перформанс, я отправился бродить по пустым комнатам и общим кухням своих бывших соседей. Какие-то мальчишки писали на стенах шипящими цветными аэрозолями: БОГ — ПАНК! ЗОЛУШКА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! СМЕРТЬ БРЕХУНАМ! К ЧЕРТУ СТЕНЫ, НА КОТОРЫХ НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО! Я пил подряд все, что попадалось под руку. Джин с запахом ацетона. Потом кислое вино. Коньяк, забытый кем-то на подоконнике. Пиво без пены. Виски из картонного стаканчика со следами губной помады. Кто-то плакал. Кто-то блевал в пустую бочку из-под квашеной капусты. Двое молодых людей влюбленно держались за руки. У меня кружилась голова от невообразимой смеси, которую я в себя влил, и поэтому я не видел, кто первый бросил кирпич в окно комнаты, где раньше жил бывший почтальон, занимавшийся на пенсии разведением голубей. Может, сам Михайлович? Кто бы это ни был, он подал остальным сигнал к началу разгрома дома. Они выламывали двери и срывали с петель окна, обдирали оставшиеся обои, швыряли недоеденные бутерброды в стены, поливали их фруктовыми соками, били бутылки, обрывали бельевые веревки, выбрасывали оставленную старую мебель, из которой соорудили посреди двора костер... Какой-то парень в кожаных штанах залез на крышу и с терпеливой методичностью сбрасывал оттуда черепицу за черепицей. Женщина-бутерброд куда-то исчезла вместе со своими ассистентами. О том, что она на самом деле здесь была, свидетельствовали лишь раздавленные овощи и мясо среди опилок вокруг пня. Две босоногие манекенщицы прыгали через веревочку, которую крутили два господина средних лет в блейзерах. Я сидел на своей старой лестнице, пытаясь остановить кружение двора, который с каждым поворотом все больше пустел.

В шесть пятнадцать в распахнутые ворота въехали, громыхая, два грузовика, и из них стали выпрыгивать рабочие. Какая-то нимфочка, ползая на коленях, искала потерянную сережку. Пыльные голубые комбинезоны перемешались с темными костюмами и голыми спинами задержавшихся дам. Они молча мерили друг друга взглядами: с одной стороны — морщинистые, жесткие, не-

---

[1] От англ. «touch» — «касаться» и «art» — «искусство».

бритые лица, с другой — оскаленные, опухшие от пьянства физиономии, привидения и вампиры, которые, заигравшись, не услышали первых петухов и не успели вовремя вернуться в свои могилы; с ними женщины с расплывшимся макияжем, бледные красавицы, озирающиеся в испуге, застигнутые врасплох серым утром. Кто-то вопил из окна ближайшего дома:

— Наркоманы! Их всех надо пересажать! Почему вы не вызовете милицию?

Двое молодых людей выводили под руки шатающегося Михайловича, а прораб, смуглый мужчина с усами, расталкивал последних гостей, увещевая их скороговоркой:

— Давайте, товарищи, расходитесь, расходитесь...

Я сидел на ступеньках перед своим бывшим домом и слушал грохот заводимых и отъезжающих мотоциклов. Свет уже давно был погашен, и двор накрыла сиреневая тень исчезнувшей липы. Мне было зябко.

— Ты что тут делаешь? — зарычал чей-то грубый голос.

Мне удалось на мгновение остановить стремительную карусель двора. Прораб угрожающе стоял надо мной в окружении группы голубых комбинезонов.

— Разойдись! — приказал он.

Я разошелся. Бредя на нетвердых ногах к воротам, я затылком чувствовал тяжелые взгляды, полные отвращения.

Вот и здесь все кончено. Через два дня от моего старого гнезда не останется ничего. Потом долгие осенние дожди будут наполнять водой яму, похожую на рану от вырванного зуба. Она будет ждать весны, чтобы принять бетонный фундамент будущего здания. И вскоре уже никто не вспомнит ни это место, ни эту безумную ночь.

На следующий день я долго чистил пыльные ботинки, впервые не в силах добиться обычного блеска. Прах моей юности слишком глубоко въелся в их старую кожу.

Я снял с телефона трубку и вызвал Нью-Йорк, номер 645-87-96.

— О'кей, приятель! — сказал Джордж Попович.— Получай американскую визу, билет у тебя будет через два дня! И не высовывайся из окна, когда полетишь через океан!..

Все остальное происходило как во сне. Я заполнял формуляры и анкеты, прощался с друзьями, получил билет (Джордж в Нью-Йорке оплатил его), вырвал коренной зуб, болевший не переставая много дней, побросал свои жалкие тряпки в новый кожаный чемодан и оказался в самолете, в салоне для страстных курильщиков, прижимая к груди единственную вещь, которая у меня осталась,— досье Шломовича.

А потом мы погрузились в море тумана, вина и облаков...

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

Последняя любовь принца Гэндзи

НОВЕЛЛА

Перевод с французского В. РУМЯНЦЕВОЙ

Когда Блистательному Гэндзи, величайшему из соблазнителей, коим когда-либо дивилась Азия, исполнилось пятьдесят лет, он обнаружил, что настает пора умирания. Его вторая жена, Мурасаки, Лиловая Принцесса, которую он так любил, хотя столько раз бывал ей неверен, опередила его на пути в Рай — один из тех, куда попадают умершие за непонятные заслуги в нашей переменчивой и трудной жизни,— и Гэндзи мучился, ибо не мог точно припомнить ее улыбку, и еще гримаску, что она строила перед тем, как заплакать. Его третья жена, Принцесса Западного Дворца, изменила ему с одним из молодых родственников, как в дни молодости самого принца юная императрица изменила с ним его отцу. То же действо разыгрывалось заново на подмостках мира, но теперь он знал, что ему отведут лишь роль старика, а ей он предпочитал образ призрака. Вот почему он раздал свои богатства, назначил слугам содержание и приготовился уйти, чтобы окончить дни в уединенной хижине, которую загодя приказал построить на склоне горы. Он в последний раз прошел по городу, сопровождаемый лишь двумя-тремя верными друзьями, для которых он был олицетворением их собственной молодости — и они не желали с ней прощаться. Несмотря на ранний час, женщины прижимались лицами к тонкой деревянной решетке окон. Они громко шептали, что Гэндзи еще очень красив, и принц лишний раз убедился: поистине настало время уходить.

Путь к хижине, окруженной дикими полями, занял три дня. Домик стоял под сенью столетнего клена; была осень, и листья прекрасного дерева лежали на соломенной крыше золотым шатром. Жизнь в таком одиночестве оказалась еще проще и суровей, чем во время долгой ссылки за границу, в годы бурной молодости Гэндзи,— и наконец-то этот утонченный кавалер сполна вкусил высочайшую роскошь: обходиться самым малым. Вскоре дали о себе знать первые холода; склоны гор покрылись снегом, уподобившись широким складкам одежд на вате, какие носят зимой, и туман задушил солнце. От утренней зари до вечерней, при скудном свете еле теплившейся жаровни Гэндзи читал священные книги и находил в суровых строках наслаждение, которого отныне ему не приносили самые страстные любовные стихи. Но он заметил вскоре, что зрение его слабеет, словно все слезы, пролитые им по хрупким возлюбленным, сожгли ему глаза, и принц понял: мрак придет к нему раньше смерти. Время от времени к нему заглядывал гонец из столицы, ковыляя на опухших от усталости и мороза ногах, и почтительно передавал послания от родных или друзей, надеявшихся навестить его еще раз в этом мире, до нескончаемых и неопределенных

© Editions Gallimard, 1963

встреч в иной жизни. Но Гэндзи опасался вызвать у гостей лишь жалость или почтение — эти два чувства приводили его в ужас, он предпочитал им забвение. Грустно качая головой, слывший в былые времена талантливым поэтом и каллиграфом принц отсылал гонца назад с чистым листком бумаги. Мало-помалу связь со столицей ослабла; круговорот праздников года продолжался вдали от принца — а раньше он управлял ими легким взмахом веера,— и Гэндзи, без стыда оставленный на милость одиночества, совсем не щадил своих больных глаз, ибо уже не стыдился плакать.

Две или три его бывшие любовницы выразили желание разделить с ним уединение, исполненное воспоминаний. Самые нежные письма шли от Дамы из Селения Опавших Лепестков: это была его прежняя наложница — она не могла похвастаться ни своим происхождением, ни красотой. Она верно служила фрейлиной другим женам Гэндзи и восемнадцать лет кряду любила принца, неустанно страдая. Он навещал ее время от времени по ночам, и этих встреч, хоть и редких, словно звезды дождливой ночью, хватало, чтобы озарить неприметную жизнь Дамы из Селения Опавших Лепестков. Не обольщаясь иллюзиями о своей красоте, уме, происхождении, дама — единственная среди стольких любовниц — сохраняла нежную признательность Гэндзи, ибо не считала его любовь само собой разумеющейся.

Поскольку ее письма оставались без ответа, она наняла скромный экипаж и повелела отвезти себя к хижине одинокого принца. Она робко толкнула дверь, сплетенную из ветвей, и опустилась на колени со смиренной улыбкой, как бы прося прощения за то, что появилась здесь. В то время Гэндзи еще узнавал в лицо посетителей, когда те подходили совсем близко. Горькое бешенство охватило его при виде женщины, пробудившей в нем самые острые воспоминания прошедших лет не столько своим видом, сколько тем, что ее рукава были еще пропитаны духами его умерших жен. Она с грустью молила оставить ее при себе — хотя бы служанкой. Впервые забыв о жалости, он прогнал даму,— но она еще знала кое-кого из прислуживавших принцу стариков, и те иногда присылали ей вести. В свой черед, впервые в жизни проявляя жестокость, она издали следила за угасанием зрения Гэндзи как женщина, которой не терпится соединиться с возлюбленным, ждет, пока совсем не стемнеет.

Узнав, что он почти полностью ослеп, она скинула городские одежды и натянула короткое и грубое платье, какое носят молодые крестьянки; она заплела волосы на манер деревенских девушек и взвалила на спину узел с тканями и глиняной утварью, что продают на сельских ярмарках. В этом наряде она и приказала отвезти себя туда, где в окружении косуль и диких павлинов жил добровольный изгнанник; она прошла пешком последнюю часть пути, чтобы грязь и усталость помогли ей лучше сыграть роль. Нежные весенние дожди лились с неба на мягкую землю, потопляя последние отсветы сумерек: это был час, когда Гэндзи в строгом монашеском платье медленно прохаживался по тропинке, с которой старые слуги заботливо убрали все камешки до единого, чтобы он не споткнулся. Его отсутствующее, бесстрастное лицо, потускневшее от слепоты и близкой старости, походило на зеркало со свинцовым отливом, где некогда отражалась его красота, и Даме из Селения Опавших Лепестков не пришлось вызывать притворных слез.

Услыхав женские рыдания, Гэндзи вздрогнул и медленно обернулся в ту сторону, откуда исходил плач.

— Кто ты, женщина? — спросил он с беспокойством.

— Я Укифунэ, дочь крестьянина Сохэя,— сказала дама, не забывая подражать деревенскому выговору.— Я пошла с матерью в город — купить тканей и посуды, ведь меня выдают замуж будущей луной. И вот я заблудилась на горных тропинках и плачу, потому что боюсь ветрей, демонов, мужского желания и привидений.

— Ты вся вымокла, девушка,— сказал принц, положив руку ей на плечо.

Она и впрямь промокла до костей. От прикосновения этой руки, такой знакомой, она содрогнулась от кончиков волос до мизинцев босых ног, но Гэндзи мог подумать, что она дрожит от холода.

— Войди в хижину,— вновь призывно заговорил принц.— Ты сможешь обогреться у моего огня, хотя углей в нем меньше, чем золы.

Дама последовала за ним, стараясь подражать простоватой походке крестьянки. Оба присели на корточки перед гаснущим огнем. Гэндзи протягивал руки к теплу, но дама прятала свои пальцы, слишком нежные для деревенской девушки.

— Я слеп,— вздохнул Гэндзи мгновение спустя.— Ты можешь без зазрения совести снять мокрые одежды, девушка, и погреться нагишом у моего огня.

Дама покорно сняла крестьянское платье. Ее стройное тело, казавшееся выточенным из самого бледного янтаря, розовело в отблесках огня. Внезапно Гэндзи прошептал:

— Я обманул тебя, девушка, ибо я не совсем еще слеп. Я угадываю тебя сквозь туман, который, быть может,— не что иное, как сияние твоей красоты. Позволь мне положить ладонь на твою руку: она еще дрожит.

Так Дама из Селения Опавших Лепестков вновь стала любовницей принца Гэндзи, которого смиренно почитала больше восемнадцати лет. Она не забыла расплакаться и разыграть робость девушки в минуты первой любви. Ее тело осталось на удивление молодым, а зрение принца было слишком слабым, чтобы различить несколько сединок в ее волосах.

Когда их ласки завершились, дама опустилась на колени перед принцем и сказала:

— Я обманула тебя, принц. Я — в самом деле Укифунэ, дочь крестьянина Сохэя, но я не заблудилась в горах. Слава принца Гэндзи докатилась до деревни, и я пришла по собственной воле, чтобы в твоих объятиях познать любовь.

Гэндзи поднялся, шатаясь, словно сосна под натиском зимнего ветра. Он закричал срывающимся голосом:

— Горе тебе, ведь ты пришла, чтобы напомнить мне о моем злейшем враге, прекрасном принце с живым взглядом, чей образ не дает мне сомкнуть глаз ночами... Уходи...

И Дама из Селения Опавших Лепестков удалилась, сожалея о совершенной ошибке.

В течение следующих недель Гэндзи оставался в одиночестве. Он страдал. И, терзаемый сомнениями, догадывался, что не презрел еще соблазнов сего мира, а потому не подготовлен к самоотречению и к обновлениям иной жизни. Приход дочери крестьянина Сохэя вновь пробудил в нем тягу к созданиям с узкими запястьями, с продолговатыми острыми грудями, со страстным и уступчивым смехом. С тех пор как он стал слепнуть, осязание сделалось для него единственным средством прикосновения к красоте мира, и природа, в лоне которой он искал прибежища, больше не дарила ему утешения, ибо шум ручья однообразнее голоса женщины, а изгибы холмов и пряди облаков созданы для зрячих и парят слишком высоко, чтобы до них дотронуться.

Спустя два месяца Дама из Селения Опавших Лепестков предприняла новую попытку. На этот раз она тщательно оделась и надушилась, но проследила за тем, чтобы покрой ее платья при всем изяществе был несколько банален и чтобы скромные, простенькие духи выдавали в ней скудость воображения молодой женщины из честного провинциального рода, которая никогда не бывала при дворе.

По этому случаю она наняла носильщиков и подобающий ее положению паланкин, лишенный, однако, новомодных примет городского убранства. Она намеренно прибыла в окрестности хижины Гэндзи уже глубокой ночью. Раньше нее в горы пришло лето. Гэндзи, сидя под кленом, слушал пение сверчков. Она приблизилась к нему, наполовину прикрыв лицо веером, и прошептала в смущении:

— Я Тюдзё, жена Сукадзу, сановника седьмого ранга из провинции Ямато. Я отправилась в странствие к храму Исэ, но один из моих носильщиков подвернул ногу, и я до зари не смогу продолжить путь. Укажи мне хижину, где я могла бы расположиться, не боясь клеветы, и дать передохнуть моим слугам.

— Где юная женщина лучше всего укрыта от клеветы, как не в доме слепого старца? — с горечью сказал принц.— Хижина слишком мала для твоих слуг, пусть они устроятся под этим деревом, но тебе я уступлю единственную подстилку в моем одиноком жилище.

Он поднялся на ощупь, чтобы показать ей дорогу. Ни разу он не обратил к ней взора, и по этому признаку дама заключила, что он совершенно слеп.

Она улеглась на подстилке из сухих листьев, и Гэндзи возобновил печальное бдение на пороге хижины. Он тосковал и не знал даже, красива ли молодая женщина.

Ночь была теплой и ясной. Лунный отблеск ложился на запрокинутое лицо слепца, словно выточенное из белой яшмы. Долгое время спустя дама покинула грубое ложе и тоже уселась на пороге. Она сказала со вздохом:

— Ночь прекрасна, и мне не спится. Позволь же спеть одну из песен, которыми полно мое сердце.

И, не ожидая ответа, она запела милый принцу романс: ведь когда-то он столько раз слыхал его из уст любимой жены, Лиловой принцессы. Взволнованный Гэндзи невольно придвинулся к незнакомке.

— Откуда ты, юная женщина, которой знакомы песни, что любили в пору моей молодости? Арфа, звенящая старыми мелодиями, дай мне тронуть твои струны.

И он погладил ее волосы. Спустя мгновение он спросил:

— Увы, разве твой муж не красивей и не моложе меня, юная женщина из края Ямато?

— Мой муж не так красив и выглядит старше,— просто ответила Дама из Селения Опавших Лепестков.

Так дама в новом облике стала любовницей принца Гэндзи, которому принадлежала в давние времена. Утром она помогла ему приготовить горячую похлебку, и принц Гэндзи сказал ей:

— Ты ловка и нежна, юная женщина, и я думаю, что даже у принца Гэндзи, который был весьма счастлив в любви, не было любовницы милей тебя.

— Я никогда не слыхала о принце Гэндзи,— покачала головой дама.

— Что? — с горечью воскликнул Гэндзи.— Его так скоро забыли?

И весь день он был мрачен. Дама поняла тогда, что ошиблась во второй раз, но Гэндзи не стремился отсылать ее прочь и, казалось, был счастлив слышать шуршание ее шелковых одежд в траве.

Пришла осень, превратив горные деревья в сонм фей, одетых в пурпур и золото, но обреченных смерти с наступлением первых холодов. Дама описывала Гэндзи все эти серо-коричневые, золотисто-коричневые, лилово-коричневые тона, предусмотрительно заводя о них речь будто бы по случайности, и всякий раз старалась не слишком явно приходить ему на помощь. Она без конца восхищала Гэндзи, придумывая замысловатые гирлянды из цветов, изысканные в своей простоте кушанья, новые слова к старым мотивам, трогательным и томительным. Она и прежде нежила принца теми же чарами у себя, в по-

коях пятой наложницы, где он навещал ее, но он, увлеченный другими привязанностями, ничего не замечал.

К концу осени с болот поднялась лихорадка. В зараженном воздухе кишела мошкара, и каждый вдох был подобен глотку воды из отравленного источника. Гэндзи заболел и лег на постель из сухих листьев, понимая, что уже не встанет. Ему было стыдно перед дамой за свою слабость и необходимость унизительных забот, к которым вынуждала болезнь, но отныне этот человек, искавший во всяком переживании самое неповторимое и одновременно самое мучительное, мог испробовать лишь то, что новая и жалкая близость добавляла к тончайшим усладам любви.

Однажды утром, когда дама растирала ему ноги, Гэндзи приподнялся на локте и, ощупью отыскав ее руки, прошептал:

— Юная женщина, ухаживающая за тем, кто скоро умрет, я обманул тебя. Я — принц Гэндзи.

— Когда я пришла к тебе, я была всего лишь невежественной провинциалкой,— сказала дама,— и не ведала, кто такой принц Гэндзи. Теперь я знаю: он был самым красивым и самым желанным среди мужчин, но тебе не надобно быть принцем Гэндзи, чтобы тебя полюбили.

Гэндзи поблагодарил ее улыбкой. С тех пор как потухли его глаза, взгляд, казалось, живет на его губах.

— Я скоро умру,— проговорил принц с трудом.— Мне суждено разделить судьбу цветов, насекомых, светил. Во вселенной, где все проходит как сон, вряд ли сто́ит и жизни человека длиться вечно. Я не жалуюсь на то, что предметы, существа, души погибают, ведь тайна их красоты именно в этом несчастье. Меня огорчает то, что они неповторимы. Когда-то самой светлой из моих тайных утех была уверенность в том, что каждый миг моей жизни дарит мне откровение, которое никогда более не возвратится; теперь я умираю со стыдом, словно избранник, в одиночестве побывавший на единожды устроенном роскошном пиру. Милые предметы, поведать о вас ныне может лишь умирающий слепец... Расцветет краса других женщин, таких же улыбчивых, как мои возлюбленные, но их улыбки будут иными, и родинка на янтарной щеке, приводившая меня в исступление, сдвинется на один атом в сторону. Другие сердца разобьются под гнетом непереносимой любви, но их слезы будут — не наши слезы. Ладони, влажные от желания, все так же будут соединяться под миндальными деревьями в цвету, но одному и тому же лепестковому дождю никогда не застигнуть человеческого счастья дважды. Ах, я чувствую, что похож на человека, несомого наводнением: он ищет хоть клочок суши, чтобы спасти несколько пожелтевших писем и поблекших вееров... Что станет с тобой, когда меня уже не будет здесь и исчезнет моя нежность к тебе, о ты, Воспоминание о Голубой Принцессе, моей первой жене, в чью любовь я поверил лишь накануне ее смерти? А ты, неутешное Воспоминание о Даме из Вьюнковых покоев, умершей в моих объятиях, потому что ревнивая соперница возжелала быть единственной моей владычицей? А вы, лукавые Воспоминания о моей чересчур красивой мачехе и о моей чересчур юной супруге, научивших меня каждая в свою очередь тому, что испытывают сообщник и жертва неверности? А ты, хрупкое Воспоминание о Даме по имени Садовая Цикада, которая уклонилась от моих объятий из целомудрия, так что мне пришлось утешаться в обществе ее юного брата, ведь на его детском личике мелькал отблеск робкой женской улыбки? А ты, милое Воспоминание о Даме Долгой Ночи, что была так нежна и согласилась стать всего лишь третьей в моем доме и в моем сердце? А ты, бедное пастушеское Воспоминаньице о дочери крестьянина Сохэя, любившей во мне лишь мое прошлое? А ты — главное, ты — сладостное Воспоминание о маленькой Тюдзё, которая сейчас растирает мне ступни и не успеет стать воспоминанием? Тюдзё, я хотел бы встретить тебя раньше, в начале

жизни, но справедливо и то, что лучший плод приносит нам поздняя осень...

Опьяненный печалью, он уронил голову на жесткую подушку. Дама из Селения Опавших Лепестков склонилась над ним и прошептала, вся дрожа:

— Не было ли у тебя во дворце еще одной женщины, чьего имени ты не произнес? Не была ли она нежна? Не звалась ли она Дамой из Селения Опавших Лепестков? Ах, вспомни...

Но черты принца уже приобрели безмятежность, даруемую лишь мертвым. Пришел конец земному страданию, и с лица Гэндзи исчезли следы пресыщенности или горечи; казалось, он и сам поверил, будто ему лишь восемнадцать лет. Дама из Селения Опавших Лепестков издала вопль и рухнула на землю, презрев всякую сдержанность; соленые слезы хлестали по ее щекам потоками грозового дождя, и волосы, вырываемые пучками, взлетали на воздух, словно шелковые охлопки. Одно-единственное имя позабыл Гэндзи — ее собственное.

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ

С польского

Ответственность человечности

В семь утра слышен стук машинки из его кабинета. «Виктор мне всегда видится за письменным столом,— говорил мне известный русист, поэт Северин Полляк,— хотя он не меньше других участвует во всех наших заботах и акциях».

К обеду он выходит усталый, рассеянная улыбка, не теряя теплоты, сразу же становится внимательной. Это очень «ворошильское» качество: немногословный, мягкий, он, доброй внимательностью, будто растворен во всем — в большом плодотворном дне, во всем этом беспокойном, трудно живущем городе.

За мягкостью таится исключительная твердость...— я когда-то писал о «камюсовском складе» его личности,— голос Ворошильского в польском обществе всегда был голосом совести и гражданской чуткости («Ко мне стали ходить молодые за советом, за помощью»,— написал мне он однажды. Я познакомился с этими людьми через пятнадцать лет, это были Адам Михник и другие деятели польской «Солидарности»).

Простое перечисление литературных трудов Виктора Ворошильского заняло бы десятки страниц, треть из них составили бы работы, связанные с Россией, с русской культурой.

«Русский язык я впервые услышал в сентябре 1939 года,— говорит Ворошильский в интервью, опубликованном 4 марта 1990 года в газете «Московский комсомолец»,— и услышал его от людей в военной форме. Затем — с экрана, на котором погибал Чапаев, и наконец это язык поэзии — прежде всего стихов Маяковского. Они еще звучали в моих ушах, когда их заглушил немецкий язык, и я слышал его опять от потных мужчин в незнакомой военной форме. Но вот что тогда произошло: в каком-то дворе я обнаружил кучу книг, выброшенных из квартиры, оставленной эвакуировавшимися русскими. Я забрал эти книги и читал их все три года немецкой оккупации... Когда русские вернулись, я лучше знал их язык и вообще Россию, чем тогда, когда они уходили. К тому времени мне исполнилось семнадцать лет. Россия — через свою литературу — прочно осела во мне. Но по отношению к реальной, Советской России всегда смешивалось притяжение с отталкиванием, любопытство — с каким-то напряжением, неуверенностью».

«Притяжение» и «отталкивание», продолжавшиеся всю жизнь, воплощались в огромную работу — исследовательскую и переводческую. Не один том составили бы переводы Ворошильского из русской поэзии — от Пушкина до сегодняшних молодых. Работая в Музее В. В. Маяковского, я был в курсе многолетней работы Виктора «Жизнь Маяковского» и доныне считаю ее лучшей из жизнеописаний русского поэта. Вскоре последовали книги о Сергее Есенине, о Пушкине (последняя, под названием «Кто убил Пушкина», пятнадцать лет не могла быть изданной в Польше).

В середине шестидесятых годов ходил в Москве по рукам машинописный роман Виктора Ворошильского о Салтыкове-Щедрине «Сны под снегом» в превосходном переводе Георгия Кухарского (изданный на Западе в 1980 году, сейчас этот перевод выходит в Союзе). Роман о Щедрине, появившийся в Варшаве в 1963 году, кажется мне одним из лучших образцов целой литературной эпохи (непродолжительной, но весьма интенсивной и яркой): многое создавалось тогда под знаками Кафки, Камю, Беккета и Ионеско — это была острая, прямая в своем экзистенциализме, чрезвычайно лаконичная проза.

В смысле неповторимости литературных устремлений того времени, роман Ворошильского хочется назвать классическим — сконцентрировавшим в себе многие особенности поэтики тогдашней прозы: отказ от описательности, движение по внутренним ориентирам «сущностного» (это близко к поэзии), резкий, пунктирно-скоростной язык, заменяющий многословные рассуждения скальпельными психологическими ударами.

Более тридцати лет длилось враждебное отношение советских официальных кругов к Виктору Ворошильскому. Разрыв с ним, созревавший исподволь, произошел

в памятном 1956 году, когда Ворошильский-журналист, находившийся в Будапеште, стал публиковать первые главы своего «Венгерского дневника». В Союзе — «там, где надо»,— заметили их сразу же (даже руководство Литературного института, где в том году закончил аспирантуру польский писатель, заказало, «для внутреннего пользования», перевод появившихся частей «Дневника»,— выйдя из-под контроля, эти главы превратились в «самиздат»).

И вот, после стольких лет замалчивания, возвращается к русскому читателю поэт Ворошильский (я и полюбил-то его еще в начале пятидесятых годов — по тогдашним русским переводам его стихов).

Как вписывается этот выдающийся мастер в контекст современной польской поэзии?

Лирика поляков давно прорвала барьер инерционного «белькантизма», накопленного прошлыми веками,— как это произошло во всех европейских литературах. Ружевич, Херберт, Шимборская [1] — они продолжают определять тональность сегодняшней польской лирики — жесткой, оголенной до констатации трагической предметности, составляющей то, «чем живем»,— без иллюзий, без привычных «поэтизмов».

Поэзия Виктора Ворошильского в этом ряду. Поляки не любят сантиментов, но я не могу не говорить о человеческом тепле его стихов (будто таящемся в сумеречной толпе бедного люда, во мраке и холоде терпеливого существования) — стихи эти н а с у щ н ы, как прямая человеческая помощь, они с у щ н о с т н ы и истинно п о э т и ч н ы в том смысле, что и бедно-драматическое жизневыдерживание прекрасно,— с особым качеством неброского, несмиряющегося человеческого достоинства. Что касается поэтической лаконичности Ворошильского, то, например, такие стихотворения из предлагаемых циклов, как «Сон и действительность» или «Море», кажутся мне шедеврами, в них — и трагически-щемящая действительность, и «всеобщность» огромного мира.

В приниженной изуродованности бытия, выраженного в этих стихах, словно есть что-то «мистическое», это, пожалуй, п р е к р а с н а я ч е л о в е ч н о с т ь; я, дружащий с самим поэтом, знаю его истинное сострадание к людям,— но это, я думаю, убедительно и для тех, кто впервые прикоснется к его строкам,— ибо это выражено не декларативным нравоучительством (которого, например, полно в нынешней советской поэзии), а неким в е ю щ и м д у х о м, пронизывающим его поэзию.

Стихи, с которыми предстоит знакомиться читателю, вызывают и более общие раздумья.

В современной европейской поэзии (включая и нас) дефицит человечности очевиден. В западноевропейской лирике все больше литературного персонализма (попросту, самоутверждения авторов), лирика этого рода — как тренаж индивидуумов для выживания в жизненной борьбе. Необходимость такой интеллектуально-духовной тренировки вполне понятна, при этом, на мой взгляд, происходят и потери — естественной человеческой контактности, снисходительности к другим. Восточноевропейская поэзия, по-видимому, будет развиваться в том же направлении, но то поистине демократическое и экзистенциально-гуманное (когда «вечные вопросы» выражаются через проблемы скудного хлеба, нехватки одежды и убогого жилища), что накоплено ею на данное время, останется в «фонде человечности» и может пригодиться — всем.

В любом случае, неладно что-то в общем уже для всех «датском королевстве». Приходится думать о возрождении качественно новой человечности — со скептицизмом, но и с осознанной ответственностью за милосердное чувство человеческого братства.

Следует отметить, что «Дневник интернированного», ставший известным в переводе на многие европейские языки, исключителен и для самого Ворошильского. Послушаем поэта: «13 декабря 1981 года в Польше было введено военное положение — для того чтобы остановить движение нашего общества во главе с профсоюзом «Солидарность» к коренным демократическим переменам,— вспоминает поэт в упоминавшемся интервью.— Несколько тысяч людей были в этот день арестованы и помещены в лагеря для интернированных. Эта участь постигла и меня, я пробыл десять месяцев сначала в варшавской тюрьме Бялоленка, затем в лагерях Явоже и Дарлувко на северо-западе Польши... Стихи, которые вы упомянули, создавались как прямое отражение тогдашних реалий... Вначале у меня не было ни бумаги, ни карандаша, и стихи приходилось запоминать, отсюда их лаконичность, которая им пошла, я надеюсь, на пользу. Через некоторое время мне все-таки удалось их записать и переправить на волю».

Снова — в памяти — декабрь того грустного года. Снова — мучительные ночи «роковых минут» мира (как тогда, в 1956 году,— за полночь раздавались тогда в Варшаве звонки от одинокого и больного Владислава Броневского: «Виктор, неужели ты разуверился...»— речь шла о социализме; после неутешительного ответа следовало: «Да, твой венгерский дневник говорит именно об этом...»), и в предновогодней окраинной московской ночи мне мерещатся снежные поля Польши, столь запомнившиеся по стихам Важика и Бачиньского. Позже я получаю открытки с видами Дарлувко, на одной из них крестиком отмечен вполне приличный дом, с припиской: «Там находится Виктор». Я знаю, что там же находился и Анджей Дравич, позже узнаю, что т а м, где-то з а т е м ж е к р е с т и к о м, находился и Тадеуш Мазовецкий.

Теперь эти давние, грустные снега, темнея в стихах интернированного, создают, как это ни странно, даже некий уют — добра, терпения, сострадания. И я снова вспо-

---

[1] Стихи Т. Ружевича см. «ИЛ», 1978, № 5; 1989, № 3; В. Шимборской — «ИЛ», 1967, № 2; 1974, № 7; З. Херберта — «ИЛ», 1990, № 8. *(Прим. ред.)*

минаю — это уже февраль 1990 года — тихие варшавские сумерки: мы за церковной оградой, у могилы ксендза Попелюшко... Молча возвращаемся в город. Я бормочу про себя строки идущего рядом Виктора: «Что я здесь делаю на этом свете/Как выпрямляюсь и чем живу я», и мне становится обжигающе-грустно — от всего того, что столь дорого в этой жизни, в дружбе и поэзии,— от мучительно борющейся человечности, братства и веры.

ГЕННАДИЙ АЙГИ

Дневник интернированного I

(Бялоленка — Явоже, зима 1981—1982)

Еще нет

Еще ночь
Еще — ничего
Еще не больно от ножа звонка
подъемлющего веки сна
Еще не понимаю: ломами —
в наручниках —
отца и сына —
Еще — пустые наушники
пустые улицы
пустые глаза
пустые часы
Но понемногу заполняются
белые как снег листы следами птичьих ножек войны
штыками наперевес
пением в церкви
рассветом и сумерками
грязью из-под колес
вплоть до второго звонка
Трое в штатском
и уже облегчение

Подслушанное

Ты сдал свой лом
ну сдал
я не сдал
надо было сдать
зачем сдавать чтобы снова брать
сдавать и брать

Безопасность

Тебе показалось Спи Никто не звонил
Это не твой дом никто в него не ворвется
Двери закрыты снаружи никто их не станет взламывать
Человек в коридоре не за тобой пришел
он тебя охраняет

© Wiktor Woroszylski, 1984.

Подпишите это

Вы меня не знаете но я вас знаю
Вы меня интересуете
Если вы не хотите такими словами то можно своими
Жаль что вы как-то так
Если вы против то я
Вы сами выбрали
Ничего теперь не обещаю

Не нервничаю

Не нервничаю Принимаю это
со спокойствием даже безмятежно
Только мой сон загоняет меня в угол ночи
и гневно берет за горло
Только задыхается
кровяное давленье
толкая
свой камень в гору

Громкоговоритель

Они готовили переворот
говорят совершившие переворот
Готовили кровопролитие
говорят отирая пятерни о мундиры
У них были готовы
проскрипционные листы говорят
Трещат в уши камер
где мы съежились
арестованные в полночь
отмеченные галочками в проскрипциях

Воспитатели

Старые мальчики
снова есть у нас воспитатели
начищенные отутюженные
в лучшем виде
Сейчас начнут нас воспитывать
За вежливость поощрят
за непослушанье дадут нагоняй
Уже нам преподан первый урок
К воспитателю следует обращаться:
Пан воспитатель

Бром

Это булькающее в котлах и ведрах
называется кофе
Это растворенные в кофе
твои счастье покой и сон
Это добрый бром
Переплывешь этот бурый океан
выползешь на берег
отряхнешься
и затоскуешь
об успокоении
и о забытьи
о днях и ночах легкого сна

С глубоким уважением

Господа вы не заключенные говорит комендант
это совершенно не так
не чувствуйте себя заключенными господа
Мы выходим дежурная кричит нам
быстрее ровней все вместе господа
С длинными ресницами
в мундире
поправляя кобуру на тугой ягодице
предупреждает что попытка к бегству
в общем вы себе это представляете господа

Опытный заключенный советует не устанавливать дат

Не определяй дату выхода на свободу
Она минует а ты будешь здесь
Несбывшаяся надежда хуже отравы
Этот день наступит но не думай о нем
как о смерти не думаешь Позволь
ему прийти незаметно незванно
как смерть

Встреча

Мужчины с заросшими лицами
друг друга хлопают по плечу
Как там наша камера
Кто спит на моих нарах
Разорванная тюремная биография
срастается на минуту
Твоя первая камера становится
покинутою отчизной
сентиментальным детством
заключенного

Прогулка заключенных

Белая неровность
опоясанная цепью
движимой
разрывами и смыканиями
замедлением и ускорением
индивидуальным путешествием
каждого звена цепи
шарканьем ног прихрамыванием
пробежками
отклонением и возвращением
упорным стремлением
к одному и тому же месту
в замкнутом круге
никуда

Тайные записки

Меловой круг Охраняемая граница
между твоим и моим уделом
черта отделяющая
нищету и идиотизм моего хожденья по кругу
от нищеты и идиотизма твоей давки в автобусе
продиранья к прилавку
невозможности места найти в этой толкучке
недобрых минут в смертельных объятиях жизни
По обеим
сторонам границы
неуклюже подпрыгивают взлетают на слабых крыльях
ищут щели
попадают в сети
сизые голуби наших записок
сообщающие так живу так живешь

Картинка

Маленький надутый
блинчик
с погонами капитана
сидит и отчитывает
стоящего перед ним
профессора философии
с печальным узким лицом
который не выключил свет
в двадцать три ноль ноль
Капитан недоволен профессором
и ему объявляет взыскание
с занесением в дело

Сон и действительность

В действительности я здесь
в колючих потрохах этой зимы Во сне
я навещаю другие времена года
и пейзажи
Но все чаще когда засыпаю
я неотлучно здесь
между остриженным белизной озером
и неподвижным лесом
И сон мой заметается метелью
и расставляет караулы
в покрытых снегом шлемах

Польский день

В нашем большом ящике
сидим прижимая уши
к маленькому ящику Там
хрипит и свистит
пробиваясь сквозь насилье глушилок
выныривает из водоворота
обломком слова свобода
мокрой щепкой слова Польша
солеными осколками еще двух-трех
искалеченных слов
желанный голос
всего бессилия мира

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Дневник интернированного II

(Дарлувка, весна — лето — осень 1982)

Интернированные женщины

Итак это преступницы
медсестры ткачихи
доктора философии и химии
телефонные и телефаксные барышни
небезопасные для государства
выволоченные из постелей
в ночных рубашках Распятые на крестах
окаменевших позвоночников Задавленные
жестокой крышей черного ворона С желчью
во рту с кровью стекающей по ногам
с криком в ушах (ребенок в дебрях квартиры)
с сердцем обрывающимся как обвал в темноте

Наши близкие незнакомые
Эва Эльжбета Эмилия
Бронислава Галина Хелена
Зенобия Данута Габриэла Мария
Урсула Рената Кристина
Анна Розалия Ирена Барбара
Гражина Иоланта Иоанна
Каждое имя как трепет крыла
за высоким окном

Рыдающие окаменевшие
униженные ожесточенные смеющиеся
кокетливые никого не замечающие
развешивающие свои вечные постирушки
как флаги над крепостью

Загорающиеся
зажигающие сигарету за сигаретой
загорающие на подоконнике
и при этом всегда сгорающие

Ковыляющие на допросы строптиво отказывающиеся идти
вышивающие салфетки райскими цветами
записывающие адреса в молитвенниках
поющие в сумерках. *Стены рухнут рухнут рухнут*
и *Сердце Иисуса*

И та студентка краснеющая и бледнеющая
ведомая ночным конвоем под топор
суда и приговора

И та сумасбродка

Героини великого голода
великого голоса
великого молчания
великой усталости
и наших запрещенных встреч
при свете дня
засаженные за решетку громыхающим словом

Раз в месяц стоящие напротив
растерянного мужнего лица
напротив ускользающих черт
той жизни что принадлежала им
и сейчас посылает им то весть то знак
которые отбирает у них
раздевши донага
та что на вид как будто тоже женщина

Мы никогда к ним не прикасались
но любим их
юных и зрелых
красивых и не очень
и кусаем губы
от бессилия и стыда
что мы не можем их защитить

от того
к чему мы сами
как-то уже притерпелись

Перевод МАРИАННЫ РОГОВСКОЙ

Море

Море как Бог

Я слышу его
но не вижу за туманом за лесом

Так близко
а не дойдешь

Думаю что оно там
но не уверен
Хочу чтобы там оно было

Речь висячего замка

Проснись я твоя утренняя птица
мой нежный скрежет протирает тебе глаза
ржавый луч освещает твою молитву

Ты хорошо себя вел можешь сделать шаг
но смотри я каждый миг могу заклиниться
не усугубляй земного тяготенья
я всего лишь железный и с трудом поспеваю

Я сегодня должен услышать твою исповедь
продиктовать тебе письмо домой
пересчитать твои движения и взгляды
доглядеть не спрятал ли ты что-нибудь

Ученый научись меня читать
это тебе поможет день прожить

И пусть твой сон не помышляет о побеге

Прощание Гжегожа Б.

Уходит Гжегож
такой маленький на этой бетонке
под этим светом
под этим рюкзаком

Провожаем Гжегожа до желтой таблички
обнимаем его
человек в мундире стоит в стороне
не препятствует

Ну держись Гжегож мы говорим
вылечи глаза
допиши диссертацию
поцелуй жену и детей
моей купи цветы

Гжегож Б.
минует ворота
оборачивается к нам напоследок
поднимает руку
и уходит
еще раз попробовать свободы

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Живот Барбары Н.

В темной и теплой западне
заботливо возведенной
из плоти и крови этой юной женщины
укрывается
от хриплой облавы замков
от желтого шлагбаума
от волчьей долины сомненья
от пылающих гор вражды
еще не родившийся заключенный
зачатый между освобожденьем отца
и арестом матери
не отмеченный в списке задержанных
будущий гражданин и солдат этой страны

Перевод БОРИСА РАЕВСКОГО

Смирение

Я не ценил смирения
не признавал его

А здесь
вот этот
неуклюжий и нескладный
стыдящийся: я мало книг прочел
нам служит со смирением
ради нас
таскает топчется стучится в двери
подставляет щеку

Орудие Господа Бога —
ключ колотушка кружка
обувь на усталых ногах
шнур для пояса
дорожная сумка
Ищет покрасневшими глазами
путает фамилии
забыв про елей говорит с глуховатыми

Он торопится Господь ждет

Перепрыгивая через лужи и колдобины
подтягивает заляпанный краешек святости

Лишь бы до весны

Земля —
серый заключенный на дворике тюрьмы космической —
снова протоптала свой круг
и возвратилась
в ту грусть в ту осень
где желтые дни опадают
где мокрое белье тумана треплет ветер
и только журавлиный ключ
открывает небесный зазор

18 октября 1982

Старший капрал Ян Мацеевский
держась за землю раскоряченными ногами
в последний раз несет свою службу при моем теле

Сосредоточенно
перетряхивает белье и бумаги
и ощупывает меня лопатами рук
как бы сгребая невидимые крошки моего бытия

Есть в этом что-то от очищения
и освящения

В столь торжественную минуту
я всматриваюсь в этого жреца и думаю
чего бы стоили мои скитания
месяцы в отсветах этого Элизиума
если б под конец я упустил возможность
запечатлеть в своих глазах
старшего капрала Яна Мацеевского
его русые усы и ласточкино гнездо над затылком
розовые щеки
обтянутые икры
и проворные толстые пальцы
прикосновенье которых навсегда
выжгло на мне свой знак

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Здесь

(Осень 1982 — зима 1984)

Здесь

Патетичны только деревья
в золотых кольчугах
бегущие вдогонку поезду

Все остальное повседневно
топчет опавшие листья
стряхивает изморось
чокается со мной торчит бормочет
приходит и уходит
и говорит со мной сотней человеческих голосов

слава Богу ты возвратился
спрашивает как там было
любезно но равнодушно
ибо всё для него повседневно
и судьба и сума
и тюрьма и дальняя дорога
и ни от чего не зарекаясь
старенькая повседневность
топчется пляшет касается меня
и к сердцу неторопливому
прижимает меня
со снисходительной улыбкой

Перевод БОРИСА РАЕВСКОГО

Доктор и Бог

Когда умирают больные Доктор прижимается лбом
к временам года к хрипящему городу
и говорит Бог так хотел

Но в то утро
Доктор бунтует и плачет Ты обещал он кричит
она должна была жить хотя б до его возвращенья
и хотя бы чуть-чуть в обретенном доме любви
почему поскупился ты на одно подаянье чуда
на глоток воздуха для ее бедных легких

Там наверху Бог не сердится
на взбунтовавшегося Доктора
Только через тебя внушает он Доктору
через твое прикосновение и твою бессонную ночь
я могу творить чудеса
Мы ведь вдвоем старались
Два ее последних месяца это пожалуй мы

И оба Доктор и Бог
плачут над молодой женщиной
для которой они исчерпали
все возможности чуда

Погребальное шествие

За гробом мертвого Гжеся
идет живой Гжесь
поддерживает мать

Не горюй говорит
уже не будут бить
ни в живот ни по голове
уже за мной не придут

Идет мать Гжеся
ей семнадцать лет
сколько еще смехом смеяться
сколько плачем плакать

Идет нареченная
ей двести лет
Сколько снегов под ногами
зноя с высоты

Идет Гжесь
на губах у него
первая капля молока
первое слово
первый поцелуй
первая капля крови

Идет город Гжеся
его улицы и облака
матери и братья
воробьи и колокола

Идет Гжесь
в гипсовом мундире
не поспевает сам за собой
остается
в своей единичной муке и смерти

Идет народ Гжеся
со своими священниками и поэтами
со своим тяжелым молчанием

Как жить

Рядом со мной — говорит — ну да на́смерть
Я не поднял головы
Никто не пошевелился
Потом настал день
Кладовщик выдал хлеб
и вот живу я
уже столько лет

Он глядит на меня спокойным взглядом
Как прижать его к груди прошептать Брат
Но он и не ищет моего сочувствия
Он просто меня учит жить

Церковь

Кшиштофу

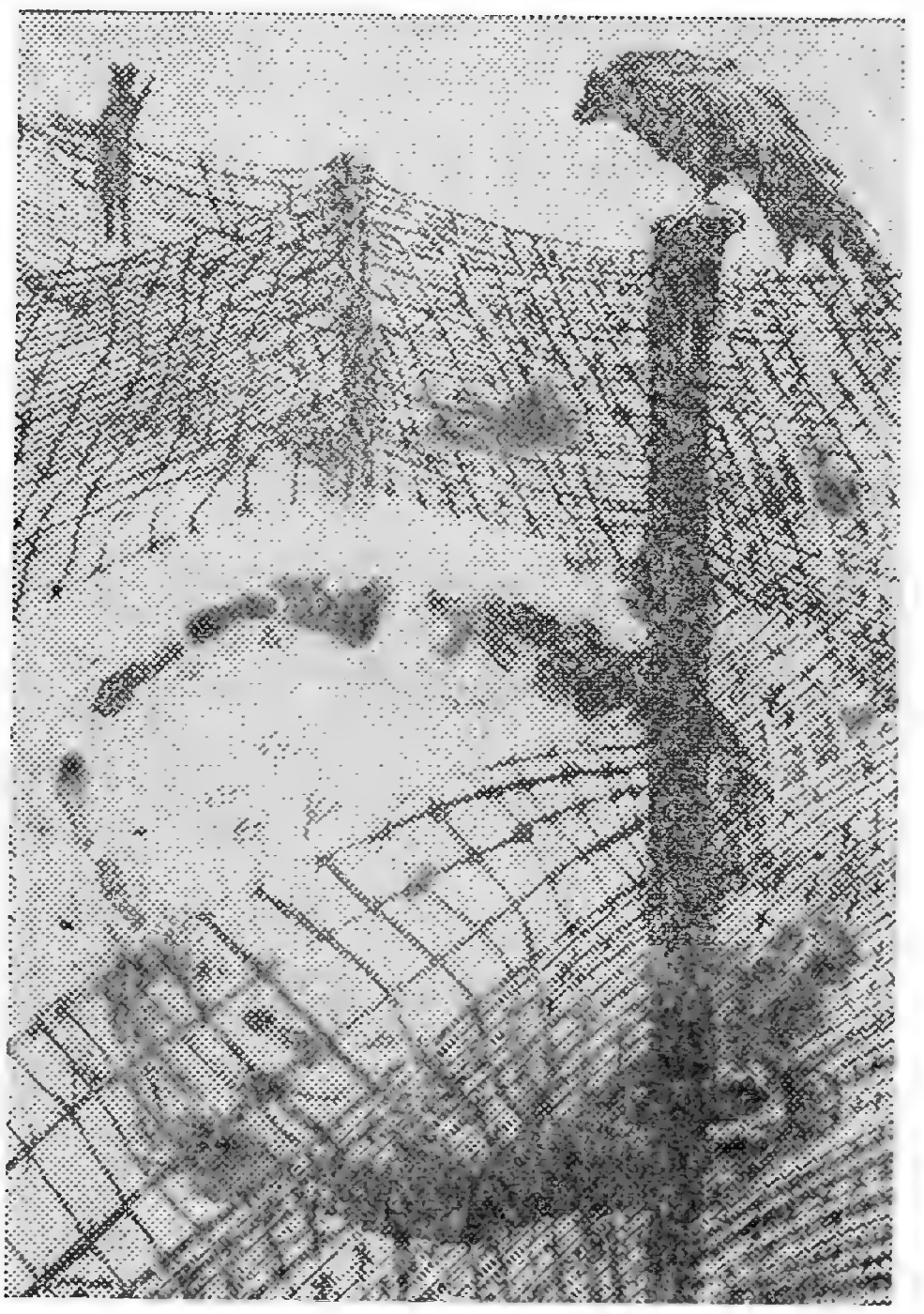
Что я здесь делаю в этом храме
от чего скрываюсь я в этой чаще
в этом доме в сводчатом пенье
в плаче и свете в пепле и прахе

Откуда прихожу куда возвращаюсь
как я дышу в этом тесном камне
в этой тайне в муке и облегченье
как я умираю и как рождаюсь

Что слышу я в этом слове звучащем
и что бормочу сухими губами
чему молюсь что прошу богохульно
и что за мысли во мне молчащем

Что я здесь делаю на этом свете
как выпрямляюсь и чем живу я
что во мне держится что во мне бродит
когда ветер колышет колокола и свечи

Перевод ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА



Э. Л. ДОКТОРОУ

Билли Батгейт

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗДОРОВОВА

Тут я должен сказать, что, кроме той жизни, которую я описываю, продолжалась и другая, с которой я не был связан. Мистер Шульц по-прежнему собирал ставки подпольной лотереи, торговал пивом, руководил профсоюзами мойщиков окон и официантов, пару раз он ездил в Нью-Йорк, но большей частью вел дела на расстоянии, что не очень удобно для человека по природе своей подозрительного, не доверяющего никому, кроме ближайших сообщников, да и то если с них не спускать глаз. Я часто слышал, как он кричит в специальный телефон мистера Бермана, толстые стены не позволяли разобрать слов, но я легко различал тембр, высоту и силу голоса, и как человек, который просыпается, если нет привычного шума поездов под окнами, я бы крайне удивился, если хотя бы один день не услышал его крика по телефону.

Микки часто ездил в Нью-Йорк, то днем, то ночью; в Онондагу приезжали на машинах люди, которых, кажется, знали все, кроме меня, они ужинали с Лулу и Ирвингом за другим столом; как мне помнится, каждую неделю я видел два-три новых лица. Все это давало мне представление о широте операций банды, о величине недельной выручки; с моей теперешней позиции я вижу, что мистер Шульц изо всех сил пытался сохранить свое положение после потерь, вызванных неприятностями с налоговым ведомством. Но тогда об этом мне трудно было судить, он изображал из себя человека обиженного, обманутого, которого принимают за идиота. Мистер Берман весь день корпел над бухгалтерскими книгами, иногда к нему присоединялся мистер Шульц, обычно они уединялись поздно вечером; как-то, проходя мимо открытой двери номера мистера Бермана, я заметил в комнате сейф, рядом с ним валялись пустые парусиновые почтовые сумки, и тут я понял, что все деньги хранятся здесь, через коридор от моей комнаты, и от этого мне стало не по себе. Если не считать мелких сумм на чисто политические цели, мистер Шульц не держал денег в банке, потому что банковские счета можно арестовать, вклады конфисковать, а его самого привлечь к суду за неуплату налогов; с него было вполне достаточно дела, которое возбудили агенты ФБР, найдя в конторе на 149-й улице платежные ведомости и записи выигрышей подпольной лотереи. Так что все расчеты проводились наличными; вклады, выплаты, зарплата, прибыль мистера Шульца — все была чистая наличность; и однажды ночью мне приснилась громадная приливная волна денег, мистер Шульц бегал по берегу и, словно картошку, собирал лопатой в джутовые мешки то, что оставил на песке прибой, во сне я понимал, что вижу сон, потому что наш горо-

---

Окончание. Начало см. в № 6, 1991 г.

дишко оказался на берегу моря, но как бы то ни было мистер Шульц долго сгребал деньги и наполнил банкнотами очень много джутовых мешков, банкноты потом превратились в золото, но во сне я не знал, куда он его спрятал, а когда проснулся, загадка не стала яснее.

Приблизительно в это время из Нью-Йорка на седане «нэш», за рулем которого сидел кто-то из членов банды, в Онондагу приехал адвокат мистера Шульца Дикси Дейвис, которого я не видел с той памятной встречи в лотерейной конторе. Дикси Дейвис был для меня образцом модника, свои нарядные ботинки я купил, подражая ему; теперь на нем были летние туфли с сеточкой, коричневые туфли с кремовой сеточкой, идущей от шнурков до носка, на меня они не произвели впечатления, хотя в них, похоже, было не так жарко. Дикси Дейвис был одет в легкий желтый двубортный костюм, который мне понравился, и полотняный полосатый галстук, полосы были светло-голубые, серые и розовые,— красивый галстук, но самой потрясающей деталью его туалета оказалась соломенная широкополая шляпа, которую он водрузил на голову, едва выбравшись из машины. Я спускался по лестнице, когда увидел, как мистер Берман, сам не чуравшийся модных сочетаний цветов, приветствует у вращающейся двери адвоката. Дикси Дейвис держал в руках портфель, который, казалось, лопался от таинственных юридических проблем. Адвокат был мало похож на того человека, которым я его помнил; возможно, на него так подействовало ожидание встречи с мистером Шульцем; войдя в холл, он снял шляпу и нервно огляделся, портфель он держал двумя руками и, несмотря на улыбку, выглядел бледным, некрасивым, озабоченным, в манере его было что-то елейное, а в улыбке — кисловатое, в Бронксе мы называли такую улыбку говноедской, она осталась на его лице и когда он шел за мистером Берманом в лифт.

Мистер Шульц собирался работать весь день, поэтому попросил Дрю Престон на это время побыть в роли моей гувернантки. Мы стояли с ней у лестницы, ведущей к индейскому музейчику, который помещался в полуподвальном помещении краснокирпичного здания суда.

— Послушай,— сказала она,— там всего несколько скальпов, боевых копий и прочей ерунды, и кто там оценит, какая у тебя прекрасная гувернантка? Давай устроим пикник, если ты не против.

Я сказал, что все готов делать, только бы не учиться. В моем любимом кафе мы запаслись сандвичами с куриным салатом, фруктами и пирожными, потом в винной лавке она купила бутылку вина, и мы отправились на восток, в горы. Прогулка получилась намного продолжительнее, чем представлялось вначале, большинство моих предыдущих вылазок я совершал на запад и на север, в поля, а горы всегда кажутся ближе, чем они есть на самом деле; и мы уже давно миновали мощеные городские улицы и прошли порядочно по широкому серпантину проселочной дороги вверх по холму, а гора, возвышающаяся над отелем «Онондага», осталась на том же расстоянии, на каком была видна из моей комнаты,— с одной стороны, протяни руку — и дотронешься, а с другой, когда я повернулся и увидел весь немалый пройденный путь, она не стала хоть на йоту ближе.

Дрю Престон шла впереди, но у меня не возникало желания догнать и перегнать ее, мне нравилось наблюдать, как сокращаются мышцы ее стройных белых икр. Как только мы очутились за городом, она сняла с себя гувернантскую юбку и перебросила ее через плечо, отчего сердце мое на миг остановилось, но под юбкой у нее обнаружились шорты, какие носят самые смелые модницы, походка ее пленяла — длинные стройные ноги ступают ловко и красиво, голова опущена, свободная рука мерно покачивается, ягодицы попеременно опускаются и поднимаются, к чему я вскоре привык; она быстро идет в гору, ее маленькие ножки в остроносых туфлях на низком каблучке и белых носочках мель-

кают у меня перед глазами; и вдруг дорога выровнялась и перешла в тропу, солнечное пекло сменилось сосновой тенью, и мы попали в совершенно другой мир, под ногами стлался мягкий ковер из толстого слоя коричневых сосновых иголок, сухие сучки трещали в тишине, солнце едва проникало в этот коричневатый мир под вечнозеленым пологом, оставляя на земле лишь крапинки или небольшие заплаты света. Раньше мне не доводилось бывать в таком большом лесу, в Бронксе встречались грязные рощи громадных, похожих на деревья сорняков, запутанные и непроходимые, но в них нельзя было затеряться; даже в самых диких углах зоопарка в Бронксе я не испытывал чувства, которое возникает у тебя в пещере или подземелье, я раньше и представить не мог, что человек ходит по дну лесов.

Дрю Престон шла так, будто знала куда идет, мы гуляем по старым тропинкам лесорубов, сказала она, я доверчиво шел следом, нам встречались маленькие солнечные поляны, которые, на мой взгляд, прекрасно подходили для пикника, но она не останавливалась, а продолжала идти вверх, и вдруг я понял, что мы уже в горах, послышался шум воды, мы вышли к реке Онондага, она была здесь очень мелкой, не шире ручья, который легко перейти по торчащим камням, что мы и сделали; я снова подумал, что Дрю Престон, наконец, остановится, но она продолжала взбираться вверх к темному лесу, и я уже решил заныть: новые кеды натерли мне мозоли, а комары искусали голые ноги; на мне были полотняные шорты маленького лорда Фаунтлероя и бело-голубая полосатая футболка с короткими рукавами, которые она сама выбрала для меня, но тут мы вошли в большой естественный парк, заросший могучими сосновыми деревьями, шум воды заметно усилился; Дрю Престон остановилась в нескольких ярдах надо мной в короне ослепительного света, подойдя к ней, я обнаружил, что мы находимся на обрыве узкого, залитого солнцем ущелья с водопадом, плотный поток белопенной воды с грохотом падал на громадные валуны. Именно здесь она решила устроить пикник, будто и раньше знала это место и стремилась сюда, мы сели на землю, свесив ноги с изрытого корнями влажного берега.

Развернув бутерброды, мы разложили их на ее юбке, которую она расстелила на земле; открыв бутылку нью-йоркского красного вина, она из тактичности или по рассеянности позволила и мне время от времени отхлебывать из нее, правда, мне пришлось ради этого снять очки; мы молча ели, пили и любовались восхитительным видом ревущего ущелья и добела вымытых, облитых солнечным светом валунов. На самом дне ущелья мерцала радуга, словно не вода, а свет падал и разбивался на отдельные цвета. Место было самое потаенное. У меня возникло чувство, что, захоти мы остаться здесь, мистер Шульц никогда нас не найдет: как он может догадаться, что такое место вообще существует? Что рождалось во мне в той романтической обстановке? Что я хотел объявить ей, прежде чем убедился, что ничего похожего на мое состояние она не испытывает? Она сидела, опустив плечи, полностью отдавшись каким-то своим мыслям, она забыла обо мне, о еде, о бутылке с вином, которую, обхватив двумя руками, опустила между ног. Теперь я мог разглядывать ее, не привлекая к себе внимания, и сначала я рассмотрел ее бедра; когда человек сидит, бедра становятся толще, особенно если они не очень мускулистые, под этим безжалостным солнцем они были мягкими, молочно-белыми, с едва заметными, тончайшими, голубыми венами; я с удивлением обнаружил, что она очень молодая, гораздо моложе, чем я считал раньше; я не знал, сколько ей лет, но ее замужество и люди, которые ее окружали, заставляли меня думать о ней как о взрослой женщине, мне и в голову не приходило, что она, как и я, может быть, не по годам развита, что она еще девчонка, разумеется, старше меня, но девчонка, может, ей двадцать или двадцать один этой миссис Престон с золотым кольцом на пальце. И все это было видно при одном взгляде на ее кожу в ярком солнечном свете. И все же ее жизнь

была настолько не похожей на мою, что я казался ребенком рядом с ней. Я имею в виду не только то, что она имела свободный доступ в самые высокие сферы власти и безвластия; она сама выбрала себе эту жизнь, а могла бы выбрать для своих медитаций и постриг в монахини или карьеру актрисы. Я скорее имею в виду ее практические знания, то, что она догадалась вот об этом месте в горах. То, что она знала лес. Понимала толк в лошадях. Я вспомнил, как ее муж-извращенец Харви пробормотал что-то о регате. Видимо, она была знакома и с парусными гонками, и с океаном, и с пляжами, на которых можно купаться в одиночестве, и с катанием на лыжах где-нибудь в Альпах, и со всеми удовольствиями земли, если ты, конечно, знаешь, где они находятся, и умеешь ими пользоваться. Вот в чем истинное богатство — в практическом знании таких вещей, в умении приспособить их для себя. Глядя на нее сейчас, я впервые осознал, на что замахиваюсь, я впервые почувствовал острую боль от понимания того, как много я потерял в жизни, как много потеряла моя мать, и потеряла навсегда, и как много обречена была потерять маленькая темноглазая Бекки, если бы я не любил ее и не собирался взять с собой и провести через все препятствия, которые ждали меня на пути.

Мне было не по себе от молчаливого присутствия Дрю Престон, меня бесило созданное ею одиночество, я ощущал его оскорблением. Я ждал ее внимания, нуждался в нем, но не мог унизиться до просьбы. Я бросил взгляд на ее профиль. Жара спутала ее волосы, сдвинула их со лба, и мне открылась его белая изящная скульптурная линия. Солнечные лучи, отражающиеся от валунов, высветили в прозрачности ее глаза зеленый овал зрачка с золотыми искрами; глаз, казалось, увеличился, и я понял, что она плачет. Она плакала молча, не закрывая глаз, слизывая слезы с уголков губ. Я отвернулся,— а что еще делать, если ты вдруг стал невольным свидетелем чужого горя? И только тут я услышал, как она всхлипывает и сглатывает слезы, сдавленным голосом она попросила рассказать, как умер Бо Уайнберг.

Рассказывать мне не хотелось ни тогда, ни сейчас, но раз я тогда рассказал ей, то расскажу и сейчас.

— Он пел «Прощай, черный дрозд».

Водопад грохотал, радуга сияла, она смотрела на меня и, кажется, не понимала.

— «Я уношу заботы и печали, я ухожу, прощай, черный дрозд»,— произнес я.— Это очень известная песня.

А потом, словно поясняя свои слова, пропел:

Постели постель
И зажги свечу,
Я приду к тебе
Поздним вечером.
Прощай, черный дрозд.

Глава одиннадцатая

Он начинает напевать ее, пока мистер Шульц еще с ней внизу, а я стою между палубами, впиваясь пятками и локтями в заклепки железного трапа, который взмывает вверх и падает вниз вместе с буксиром и волнами. Казалось, что Бо услышал эту мелодию в тарахтении буксирного движка или в дуновении ветра, порой механические или природные ритмы принимают в нашем сознании образ популярной песни. Он поднимает голову и пытается распрямить плечи, он, кажется, обрел самообладание, песня помогает ему взять себя в руки; когда человек чем-то увлечен, такое пение не мешает концентрировать внимание; откашлявшись, он запел чуть громче, хотя по-прежнему без слов, остановился он, только чтобы оглянуться, насколько позволяли веревки, меня он не увидел, но, видимо, почувствовал и позвал, эй, малыш, иди сюда, поговори со стариной Бо, потом снова замурлыкал себе под нос,

доверчиво ожидая моего появления. А мне совсем не хотелось влезать в его шкуру, мне хватало уже того, что я был в одной рубке с умирающим, его состояние казалось мне заразным, мне не нужно было ни его опыта, ни его мольбы, ни его жалоб или последних просьб; я не испытывал желания мозолить ему глаза в его последний час, словно с ним на дно могла уйти часть меня самого, признаваться в этом не очень приятно, но именно так я себя и чувствовал, совершенно посторонним, не желающим исполнять ни роль священника, отпускающего грехи, ни роль утешителя, ни роль сестры милосердия; я не хотел участвовать ни в чем, что предстояло испить ему, даже как наблюдатель. И, разумеется, у меня не было другого выхода, как спуститься с лестницы и встать на уходящей из-под ног палубе в таком месте, где бы он мог видеть меня.

Он кивнул, с трудом подняв на меня взгляд, вид его был странно неопрятен, одежда скособочилась, сорочка наполовину вылезла из брюк, фрак задрался так, словно у Бо вырос горб, черные густые волосы растрепались, он кивнул, улыбнулся и сказал, о тебе идет добрая слава, малыш, они на тебя надеются, ты ведь знаешь об этом? Ты маленький задира, верно? и толстым вряд ли станешь, подрастешь еще на пару дюймов и сможешь драться на ринге в весе «пера». Он улыбнулся, на его смуглом лице блеснули ровные белые зубы, чуть поднявшиеся высокие скулы удлинили его миндалевидные глаза. По моему опыту, из низеньких парней обычно получаются хорошие убийцы; они начинают снизу, понимаешь, нож идет вверх, при этом он резко вскинул голову, обозначая движение ножа, при выстреле пистолет тоже вскидывает вверх, так что это тоже к твоей выгоде, но если ты действительно такой способный, как они говорят, то быть тебе там, где молодые красивые девицы каждый день будут делать тебе маникюр и чистить ногти. Во мне шесть футов и один дюйм, но я всегда убивал красиво, не мучил, не промахивался, парня надо пришить? бум, и его нет, кого надо убрать, Немец? бум, и готово, вот и все. Я никогда не любил тех, кому нравится такая работа, хотя законно гордиться выполнением чего-то, очень трудного и опасного, конечно, никому не возбраняется. Подонков я не любил никогда, послушай, старина Бо даст тебе один совет. Ваш шеф долго не протянет. Ты посмотри, как он себя ведет, он же истеричка, маньяк, которому нельзя доверять, он же плюет на чувства других людей, я имею в виду, нормальных людей, таких же крепких, как и он сам, но у которых и организация получше, и, между нами говоря, идеи посвежее, чем у этого гада. Он из вчерашнего дня, понимаешь? Он конченый человек, и если ты действительно такой смышленый, как они про тебя говорят, то ты послушаешь меня и сделаешь выводы. Это тебе Бо Уайнберг говорит. Ирвинг наверху знает меня, он сам недоволен, но никогда ничего не скажет, он слишком долго с ним, ему уже пора на отдых и поздно менять хозяина. Но я уважаю его, и он уважает меня. Ирвинг уважает все, что я сделал в этой жизни, чего достиг, крепость моего слова, я не держу зла на него. Но он запомнит, и ты запомнишь, малыш, вы все запомните, я хочу, чтобы ты посмотрел на Бо Уайнберга и понял, что за человек твой шеф, посмотри в глаза Бо, если можешь, и ты никогда не забудешь его, потому что через несколько минут, всего через несколько минут он успокоится, все будет кончено; веревки не будут врезаться в его тело, он не будет испытывать ни жары, ни холода, ни страха, ни унижения, ни радости, ни горя и вообще никакой нужды; так Бог вознаграждает за ужасную смерть, она приходит в свой час, а время продолжает свой бег, но смерть уже состоялась, и наши души обрели мир. Ты, малыш, свидетель, и хотя это паршиво, но тут уже ничего не поделаешь, ты все запомнишь, и Немец знает, что ты запомнишь, и ты уже никогда ни в чем не можешь быть уверен, потому что обречен жить, помня о подлости, сотворенной с человеком по имени Бо Уайнберг.

Он отвернулся. Я испугался, услышав песню, которую он пел силь-

ным баритоном с непокорными хрипами: забудь заботы и печали, я ухожу, прощай, дрозд. Дам-ди-дам ди-дам я-а-а да-ди, прощай, дрозд. Никто меня не любит, я здесь совсем один, дрозд. Дам-ди-дам, зажги свечу, не жди меня, прощай, дрозд, про...— он закрыл глаза и затряс головой, чтобы взять высокую ноту,— ...щай.

Потом уронил голову на грудь и стал напевать потише, словно задумавшись, почти не слыша своей песни, а затем перестал петь и снова заговорил, но теперь уже не со мной, а с еще одним Бо, сидящим рядом, возможно, в роскошном Эмбасси-клубе, перед ними стоят напитки, и они вспоминают: Ты помнишь того парня, наверху, в запертом кабинете в здании центрального вокзала, кажется, на двенадцатом этаже? Вокруг куча людей, ты ведь понимаешь, что у него тьма охранников, за кабинетом есть еще одна комната, и все это находится в респектабельном, вполне официальном здании, стоящем на углу Парк авеню и 46-й улицы. Таковы условия. Они все понимают, понимают трудность дела, этот Маранцано всю жизнь в мафии, дело это не для сопляков, и банда «Юнионе» знает, что для выполнения задачи требуется ас. И Немец подходит ко мне и говорит: послушай, Бо, тебя никто не заставляет, это их внутреннее итальянское дело, им время от времени требуется пускать друг другу кровь, но в качестве услуги они попросили твоей помощи, и я решил, что нам не помешает оказать им услугу, за которую они нам будут сильно обязаны; и я сказал, конечно, сочту за честь, из всех пушек им нужна именно моя, и я чувствовал себя, как человек, который выполнил поручение и прославил себя на всю жизнь, как сержант Йорк. Ты знаешь, я человек надежный и дорожу этим. Я, конечно, люблю выпить, вкусно поесть, переспать с красивой бабой, люблю молоденьких балерин и азартные игры, люблю войти в комнату и пустить пыль в глаза, но больше всего я люблю быть надежным,— это самое чистое наслаждение; когда кто-то говорит, мне нужен не этот и не тот, а Бо Уайнберг, когда кто-то просит меня и я киваю: все будет сделано,— это как дважды два; и они это знают, и считают дело сделанным, и когда они читают об этом в газете через день или неделю, то это для них еще одна неразгаданная тайна загадочного мира. Поэтому я еду на встречу с ним, имени его я не назову, а он уже ждет меня и голосом человека, которому когда-то перерезали горло, спрашивает, что вам требуется, а я отвечаю, мне нужны четыре полицейских жетона, и все. Брови его удивленно ползут вверх, но он больше ни слова не произносит, а на следующий день жетоны уже у меня в руках; я беру своих парней, мы идем в магазин и одеваемся, как детективы, в плащи и шляпы, а потом направляемся прямехонько в контору и, вынимая жетоны, объявляем: полиция, вы арестованы, и все становятся лицом к стене, а я открываю дверь; Маранцано медленно поднимается со своего стула, ему семьдесят пять лет, и движения его не очень быстры; я подхожу прямо к столу и стреляю ему точнехонько в глаз. Но самое забавное то, что залы здания облицованы мрамором, и эхо выстрела разносится через открытые двери по коридорам, лестничным и лифтовым шахтам, все слышат его и пускаются наутек, гангстеры стоят лицом к стене, мои парни бросаются к лифтам, бегут по лестницам, перепрыгивая через три ступеньки. Когда я выбираюсь оттуда с пистолетом в кармане, везде уже хлопают двери, и возникает паника, какая бывает, если люди узнают, что произошло непоправимое, поднимается крик, и я теряю самообладание, принимаюсь носиться вверх и вниз по лестницам; я заблудился в этом говенном здании, я мечусь по коридорам в поисках выхода, тычусь в туалеты, я не понимаю, что заблудился, и когда я все-таки попадаю вниз, то оказываюсь не на улице, а на Центральном вокзале, время около пяти часов вечера, на вокзале суматоха, люди бегут на свои поезда или ждут, пока откроются ворота, объявления о поездах перекрывают общий шум, я пристраиваюсь к толпе, ждущей посадки на поезд пять тридцать две, и опускаю свою пушку в карман какого-то типа, клянусь, так оно и

было, в карман плаща, в левой руке он держит портфель, а в правой — газету «Уорлд телеграф», и, как только ворота открывают и все двигаются с места, я опускаю его осторожненько, так что тип ничего не замечает, а потом я — в сторону, а он проходит через контроль и бежит по перрону, чтобы быстрей занять место, и представляешь, привет, дорогая, вот и я, Боже, Альфред, что это у тебя в кармане, это же пистолет!

И вот он смеется, до слез, его развеселило мимолетное воспоминание, и я смеюсь вместе с ним, думая, как же быстро разум переносит нас из одного места в другое, каким мостом света над пространством может служить обычный рассказ. Я знаю, в тот момент он наверняка увлек меня прочь с буксира, который вздымал и бросал нас вниз в удушливой атмосфере, пропитанной запахами дизельного топлива, и перенес на Центральный вокзал, где я опускал пистолет в карман Альфредова плаща, но одновременно я сидел в Эмбасси-клубе, за столом, накрытым белой накрахмаленной скатертью, и играл со спичечным коробком; худощавая певица пела «Прощай, черный дрозд», а на улицах Манхэттена ожидающие хозяев лимузины пускали в морозный воздух тонкие струйки выхлопных газов.

Но вот он мрачно уставился на меня. А над чем ты смеешься, что здесь смешного, умник? Рассказ, ясное дело, закончился, так бывает при жонглировании, когда брошенный вверх мячик достигает верхней точки и будто бы раздумывает, опускаться или нет, а потом падает с прежней скоростью с небесных высот. И жизнь уже не так прекрасна, и приходится довольствоваться тем, что держишь в руках.

Тебе смешно, умник? В свое время он распорядился жизнью очень многих людей. Ты сначала проживи семьдесят лет, а потом и смейся. Маранцано был жертвой обстоятельств, а не жидким дерьмом, как Колл, которому и ста пуль мало. Это был не жалкий детоубийца Колл, которому и одной смерти мало. Но я убил Колла! — закричал он. Он у меня и облевался, и обгадился, и кровью обхаркался в этой телефонной будке. Бац! И я влез в одно окно. Бац! И выпрыгнул в другое. Я убил его! Это факт, жалкий ты сопляк, а ты знаешь, что значит убить, что значит решиться на это? Это значит попасть в Зал Славы! Я убил Сальваторе Маранцано! Я убил Винсента Колла Бешеного Пса! Я убил Джека Даймонда! Я убил Доупи Бенни! Я убил Макси Штирмана и Большого Гарри Шонхауса, я убил Джонни Куни! Я убил Лулу Розенкранца! Я убил водителя Микки, и Ирвинга, и Аббадаббу Бермана, я убил Немца, Артура.— Он смотрел на меня с налитыми кровью глазами, будто пытался порвать связывающие его веревки. Затем он отвел взгляд. Я их всех убил, сказал он, опуская голову и закрывая глаза.

Потом он прошептал, чтобы я присматривал за его девчонкой, чтобы не позволял ему разделаться с ней, спрятал бы ее подальше, обещаешь? Я пообещал, это был первый милосердный поступок в моей жизни. Теперь движок работал на холостом ходу, и буксир сильнее бросало на океанских волнах, я и не догадывался, что здесь, на свободе, сами по себе, они еще больше и свирепее, чем в борении с буксиром. Ирвинг спустился по трапу, и мы с Бо наблюдали за его экономными движениями; он открыл двойные двери в дальнем конце рубки, вышел наружу и споро закрепил их. Неожиданно порыв свежего воздуха выдул из рубки запах солярки и сигар; мы словно бы оказались на открытой палубе, в тусклом свете я вижу перед собой громадные волны — множество распахнутых гигантских черных глоток, Ирвинг отстегивает кормовой леер и аккуратно привязывает его к стойке. Буксир так качает, что я возвращаюсь на свое прежнее место на боковой скамье и стараюсь удержаться там, вдавив пятки в сталь палубы и вцепившись в переборки обеими руками. Ирвинг — настоящий моряк,

он не обращает внимания ни на качку, ни на свои забрызганные штанины. Он возвращается в рубку, его тонкое костлявое лицо заляпано клочьями соленой пены, на сияющем черепе поблескивают редкие волосы; методично, не обращаясь ко мне за помощью, он коротким ломиком приподнимает один конец оцинкованного корыта и начинает подсовывать под него тележку на колесиках; он ее заталкивает и запихивает все дальше и дальше, потом наступает на нее ногой и, придавив всем весом, затаскивает на нее корыто, сухой скребущий звук напоминает мне, что, если бы вынуть Бо из корыта и корыто наполнить морским песком, а потом перевернуть и постучать сверху, то получился бы прекрасный песчаный слепок, даже с фабричным клеймом. Колени Бо задрались, он теперь сложился почти пополам, но Ирвинг сначала подсовывает деревяшки под резиновые колесики и только потом открывает металлический ящик с инструментами, берет оттуда рыбацкий нож, перерезает веревки, которыми связан Бо, отбрасывает их в сторону и помогает Бо встать с кухонной табуретки и обрести равновесие, тележка с корытом находится на палубе буксира, а сам буксир раскачивают волны Атлантического океана. Бо едва не падает, он стонет, его затекшие ноги дрожат, Ирвинг зовет меня поддержать Бо вместе с ним; черт, это мне совсем ни к чему, мне не нужна беспомощно подрагивающая рука Бо на плече; его горячее дыхание, запах пота из-под мышек, пот стекает мне на шею даже сквозь его фрак; Бо, словно клешней, хватает меня рукой за голову, за волосы, впивается локтем в плечо — потерявший голову человек стонет над моей головой, дрожа всем телом. Я поддерживаю его, по существу, помогаю убивать, мы его единственная опора; он цепляется за драгоценную жизнь, а Ирвинг говорит, все нормально, Бо, все в порядке; говорит он это спокойно и ободряюще, как медсестра, потом выбивает деревяшку из-под правого колеса (мы стоим лицом к открытой палубе) и велит мне сделать то же самое с левой деревяшкой, я исполняю приказ быстро и аккуратно, не без помощи волн, мы вывозим Бо на тележке на открытую палубу, Бо отрывает свои руки от нас и хватается за борт, теперь он стоит один в своем забетонированном корыте — корыто ездит туда-сюда, будто на роликовых коньках,— и кричит о-го-го-го-о-о, тело его извивается, сохраняя равновесие; мы с Ирвингом становимся поодаль, вдруг Бо неожиданно справляется с качкой, ему удается уменьшить ход колесиков, встать вертикально, осторожно балансируя замурованными ногами, и взглянуть вверх; он видит открытую палубу и море, которое то выше, то ниже его в этой черной ветреной ночи, его судорожно напрягшиеся руки чуть не вырывает из плеч; он глубоко вдыхает в себя и этот страшный ветер, и эту ночь, я смотрю сзади на его плечи и голову; он вглядывается в мир невыразимого ужаса, и, хотя из-за ветра ничего не слышно, я знаю, что он поет, и я знаю, что это за песня; эту песню души уносит морским ветром, Бо Уайнберг остается наедине со своей бедой, капитан прибавляет оборотов, буксир бросается вперед, появляется мистер Шульц в сорочке и подтяжках, он подходит к Бо сзади, поднимает ногу в носке и бьет Бо в самый зад, руки Бо разжимаются, тело, накреняясь, ищет и не может найти опоры, а потом он падает в море и последнее, что я вижу,— это взметнувшиеся вверх руки, белые шелковые манжеты и бледные пальцы, которые тянутся к небу.

Глава двенадцатая

Когда я закончил свой рассказ, она не проронила ни слова, а лишь протянула мне бутылку вина. Я запрокинул голову, чтобы сделать глоток, а когда снова посмотрел перед собой, ее уже не было рядом, она скользила вниз по влажному склону, цепляясь за выступы скал и маленькие сосенки, росшие в расщелинах. Я лег на живот и стал наблюдать. Проделав две трети пути, она исчезла в тумане.

А вдруг она сотворит какую-нибудь глупость? Вдруг на нее мой рассказ так подействовал? Я ведь еще не все рассказал, например, я умолчал о том, что, когда Ирвинг говорил с капитаном буксира наверху, Бо Уайнберг упросил меня спуститься вниз и посмотреть, что там с ней. Я выполнил просьбу, но услышал немного, внизу шум от двигателя был сильнее. Несколько минут я простоял у каюты, куда мистер Шульц отвел ее, а потом возвратился в рубку и сказал Бо, что все в порядке, что мистер Шульц ходит взад-вперед по каюте и убеждает ее в своей правоте. Я, конечно, сказал ему неправду.

— Хочешь жить? — орал мистер Шульц.— Так вот, мисс Дебютантка, смотри, как выглядит эта жизнь!

А потом какое-то время я ничего не слышал. Я сел на корточки в проходе и хотел было уже уходить, но тут мне пришло в голову приложить ухо к двери, и я вновь услышал его голос.

— Тебе ведь плевать на труп, верно? Если не считать кое-каких мелких деталей, говорю тебе, он умер. Понимаешь? Забудь мертвеца, слышишь? Ты, наверное, уже и забыла, а? Я жду, да или нет? Что? Не слышу!

— Да,— должно быть, ответила она, потому что потом мистер Шульц сказал:

— О-о, это скверно. Очень скверно для Бо.— И он засмеялся.— Вот если бы я был уверен, что ты любишь Бо, я бы мог еще и помиловать его.

Я схватил ее юбку, встряхнул, швырнул в ущелье и смотрел, как она опускается и исчезает в тумане. Чего я ожидал? Что она найдет ее, наденет и заберется наверх? Смысла в моем поступке не было. Я встал и начал спускаться спиной к ущелью. Это оказалось труднее, чем представлялось вначале; едва голова моя скрылась за кромкой обрыва, первый же корень, на который я поставил ногу, сломался, и я чуть не свалился вниз. Мне не нравилось глазеть на скалистую поверхность всего в каких-нибудь трех дюймах от моего носа. Локти и коленки я изодрал в кровь. Я спускался в какой-то панике, не знаю, чего я боялся,— то ли того, что она убежит от меня, то ли того, что кто-то найдет ее, схватит и сделает ей плохо. Вдруг где-то поблизости караулит лесной маньяк? Более того, мне казалось, что она сама отыщет его и, несмотря на его очевидно гнусные намерения, начнет жаловаться ему на свою жизнь прямо в грязной дыре, которая служит для него обиталищем. Руки мои измазались в сосновой смоле, и мне стало легче держаться за скалы. Солнце жгло спину, и, чем ниже я опускался, тем жарче становилось. Добравшись до широкого уступа, я решил передохнуть, шум воды напоминал грохот ссыпаемого по желобу угля. Слезть с уступа оказалось труднее, чем забраться на него. Ниже сосенки встречались пореже и были поменьше. А вскоре они и вовсе исчезли, и я держался, только цепляясь пальцами за выступы в скале и нащупывая трещины кедами. Вдруг потемнело, стало прохладно, и под ногами у меня оказался валун, по валунам я спустился на самое дно ущелья и стоял там в белом тумане, а над моей головой едва пробивалось сквозь толщу тумана размытое бледное солнце.

Водопад шумел в двадцати — тридцати ярдах справа от меня, это был последний, не видимый сверху и самый высокий водопад из целого каскада. Тут меня осенило, что ущелья создаются падающей водой, открытие не ахти какое, но ведь для меня это была, по существу, первая встреча с девственной природой. О динозаврах я тоже раньше читал, но ведь одно дело — читать, и совсем другое — найти кости вымершего животного. Вода неслась под крутым берегом, сложенным природой из песка и валунов, ширина потока не превышала здесь шести — восьми футов, а справа и слева от меня была и того меньше Юбка ее лежала на земле в том месте, куда я ее бросил. Сунув ее под мышку, я пошел влево, удаляясь от водопада, и вскоре снова прыгал с валуна на валун над кипящей водой; у меня возникло чувство, будто

я спускаюсь в глубины земли, за поворотом внизу открылся скалистый уступ в форме наконечника огромной стрелы, а на этом уступе кучкой лежали ее одежда, туфли и носки. Я спрыгнул вниз и, подбежав к краю, увидел затон чистой темной воды; если не считать серебряной ряби потока в дальнем конце, вода была совершенно спокойной.

Мне казалось, я смотрел на эту воду так долго, что, если там кто-то и был, то он должен был или уже показаться на поверхности, или утонуть. Я в ужасе скинул кеды, рубашку и приготовился прыгнуть в воду, плаваю я паршиво, но чувствовал, что прыгну, если потребуется, только в этот момент она показалась на поверхности и закричала или набрала воздух с шумом, который походил на крик, а потом раскинула руки и легла на воду, груди ее вздымались над водой, а ноги опускались в темную воду, становясь все тоньше и тоньше.

Вскоре ноги ее совсем исчезли, она потрясла головой и пригладила волосы. Потом поплыла на боку, скрылась из виду и минуту спустя появилась там, где я ее не ожидал,— она карабкалась на уступ, бледная, мокрая, дрожащая, с посиневшими губами. На меня она посмотрела так, словно не узнала. Я скатал свою рубашку и принялся растирать Дрю Престон, она стояла, сжав колени и прикрыв груди руками; я растер ей плечи и спину, ноги, а, поколебавшись, и ягодицы, потом ноги спереди, а она все дрожала от холода. А затем во второй раз в жизни я наблюдал, как одевается миссис Престон.

На обратном пути она почти все время молчала. Мы шли по дну ущелья, ручей постепенно сошел на нет, ущелье раздвинулось и, наконец, вовсе исчезло, слившись с окружающим лесом. Потрясенный, я не мог начать разговор сам, я ждал, что это сделает она, мы стали кем-то вроде сообщников, правда, условно, будто мне еще надо было сначала подрасти, потому что пока я глупый, маленький несмышленыш. Мы снова углубились в коричневый сосновый лес, нашли просеку и вышли к опушке. Она сказала:

— Он вправду попросил, чтобы ты защищал меня?

— Да.

— Как странно,— сказала она.

Я не ответил.

— Я хочу сказать, странно, что он думал, будто я не могу позаботиться о себе сама,— уточнила она. Нагнувшись, она сорвала маленький голубой цветок, похожий на колокольчик.— И ты обещал ему?

— Да.

Она подошла ко мне и повесила цветок мне на ухо. Я не дышал, пока она не отняла руку. Казалось, она постоянно, независимо от вашего присутствия излучала неизъяснимое очарование, эта миссис Престон.

— Замри,— сказала она.— Ты прелестный чертенок, неужели тебе никто об этом не говорил?

— Говорили,— ответил я. Несколько минут спустя мы съехали на пятках по лесистому склону и оказались на грунтовой дороге, а затем и на мощеной, которая вела вниз по холму в Онондагу. Я шел сзади, так мне было легче разглядывать ее в солнечном свете. Волосы ее утратили волнистость, они ссохлись, сохранив бороздки от пальцев. На лице ее совсем не осталось косметики, полные губы обрели свой естественный цвет, а кожа — обычную розоватость. Она по-прежнему не улыбалась, глаза у нее от воды покраснели. Когда мы подходили к отелю, она спросила, есть ли у меня девушка, я ответил, что есть, она сказала, что, хотя она и не знает мою избранницу, девушка эта — счастливый человек; правда, когда она спрашивала, я чувствовал вину, потому что думал не о маленькой Бекки, которая казалась мне невзрачным ребенком, а только о самой миссис Престон. Я боялся ее, мою лесную проводницу, как же много она открыла мне, мой вожатый со свистком на

веревочке; я впервые понял, какая они с мистером Шульцем пара, она обнажалась ради профессиональных убийц, воды, солнца, ее раздевала сама жизнь, я понял, почему она пошла с ним, тут не было ничего общего с обычной жизнью отцов и матерей, никакой любви, они трахались и убивали, но жили они не во вселенной любви, а в громадном, пустом, гулком, гудевшем от ужаса взрослом мире.

Я начал думать о ней сразу же, как только мы разошлись по своим комнатам и я лег на кровать; в это скучное предвечернее время тяжелая духота окутала отель «Онондагу», белые тюлевые занавески недвижно висели на окнах. Занавески посерели, потемнели, потом осветились далекой вспышкой, спустя какое-то время раздался приглушенный раскат грома. Она мне нравилась намного больше, чем раньше, я понимал, что могу и втюриться в нее, да и как бедному мальчишке не влюбиться после всего, что она со мной проделала. Я, конечно, голову не совсем потерял, я знал, что какие бы чувства я к ней ни испытывал, я должен держать их при себе, если еще хочу пожить на этом свете. Закрыв глаза, я снова начал наблюдать, как на дне ущелья она вылезает из воды с посиневшими и сморщенными сосками и свалявшимися светлыми волосами на лобке. Мне думалось, что в тот миг я был свидетелем попытки убить себя, хотя, конечно, полной уверенности не было, ведь она жила большой жизнью, ее натура не умещалась в простые суждения. А вдруг отношения с мистером Шульцем окажутся для нее важнее моей доверчивости, и она расскажет ему все, что услышала от меня? Нет, она этого не сделает, слишком уж независимый у нее характер, слишком загадочен собственный мир, слушает она и слушала по-настоящему только себя, как бы чарующе близко ни приближалась она к кому-нибудь в тот или иной момент. Я объяснил себе, что она наконец-то дала выход своему горю, и решил, что, видимо, этим и объясняется во многом моя новая симпатия к ней, или, во всяком случае, так я себя убеждал, но как все это сочеталось с оказавшимся у меня в руках тяжелым инструментом, существующим по собственному разумению? Я уже не в первый раз ошибался насчет нее. Приняв холодный душ в своей большой белой ванной и надев костюм, галстук и очки, я окончательно решил: какие бы чувства меня ни обуревали, я все равно выполню обещание. Ведь я действительно обещал Бо Уайнбергу заботиться о ней и защищать ее, и теперь, когда она все знает, обратного пути нет, хотя, как я надеялся, до необходимости защищать ее дело не дойдет.

Глава тринадцатая

Как и на любом продолжительном постое, войскам в отеле «Онондага» теперь предоставили дополнительный провиант более привычного свойства. Мистер Шульц организовал регулярное снабжение из Нью-Йорка, и раз в неделю к нам приезжал грузовик с бифштексами, отбивными, со свежей бараниной, рыбой на льду, деликатесами, хорошей выпивкой и пивом, и через день кто-нибудь ездил в Олбани к нью-йоркскому самолету получить свежие булочки, пирожные, пирожки и газеты. Повара на кухне отеля сбились с ног, но никто, казалось, не возражал, хотя такое развитие событий должно было бы обижать их. Однако местная обслуга не обнаруживала ни чрезмерной гордости, ни обиды или особой чувствительности, они с удовольствием готовили для мистера Шульца из всего, что бы он им ни поставлял, и даже, чтобы соответствовать масштабу происходящего, кажется, прибавили в своей квалификации.

Ужин превратился в ежедневный ритуал, мы собирались вместе, по-семейному, в один и тот же вечерний час, хотя и за разными столами. Ужин обычно шел неспешно, мистер Шульц пускался в долгие воспоминания. Как правило, он в такие моменты расслаблялся, если, конечно, не напивался; напившись, он становился хмурым, мрачным и сверлил злым взглядом каждого, кто, по его мнению, слишком весе-

лился или же ел, как ему казалось, свой ужин с непомерным аппетитом; он мог ни с того ни с сего попросить передать ему тарелку любого из нас, чтобы, дескать, попробовать кусочек, и, только поковырявшись в ней, возвратить; со мной он проделал это несколько раз, и не было случая, чтобы я не вскипел внутренне и не потерял после этого аппетит; однажды он даже пошел к другому столу и взял отбивную с их блюда, он вроде как не мог быть великодушным и гостеприимным без того, чтобы не показать людям, будто они вырывают у него кусок изо рта; особенно неприятными были вечера без мисс Дрю; если ей не нравилось происходящее, она, извинившись, покидала нас, и у тебя кусок в горле застревал, когда ты видел, что ему жалко с ним расставаться, такой ужин никакого удовольствия не доставлял.

Но, как я уже говорил, чаще всего, если он не напивался, то весь вечер вел себя ровно, будто дни, которые он прожил, демонстрируя городу Онондага, штат Нью-Йорк, прекрасное расположение духа и свою альтруистическую натуру, помирили его с миром. А за ужином после прогулки в горы я точно знал: что бы мне ни положили на тарелку, у меня этого никто не отнимет, потому как за столом в тот день сидело двое гостей — Дикси Дейвис, отложивший свое возвращение в Нью-Йорк, и отец Монтень, священник католической церкви Святого Варнавы. Мне понравилось, что святой отец, прежде чем сесть за наш стол, подошел к другому столу около двери, поздоровался с Микки, Ирвингом, Лулу и водителем Дикси Дейвиса и поболтал с ними в радушной священнической манере. Для священнослужителя он вел себя чересчур оживленно, выразительно потирал руки и говорил так, словно в жизни не могло произойти ничего неприятного; его распирало от гордости за свой маленький и не очень богатый приход; церковь Святого Варнавы была весьма скромным заведением на берегу реки в бедном районе узких улиц и маленьких скученных домишек, деревянная, а не каменная, как церковь Святого Духа на холме, впрочем, внутри она была не меньше, а убранством даже побогаче, чего только стоили фрески Христа и свита его учеников, развешенных по стенам.

На ужин подали ростбиф, приготовленный, как я люблю, свежую спаржу, которую я не очень люблю, домашнее жаркое большими кусками, зеленый салат, к нему я не притронулся из принципа; было и настоящее французское вино, у меня начал появляться к нему вкус, но я им не увлекался по той же причине, по которой Дрю Престон сидела как можно дальше от мистера Шульца. Мое место было слева от мистера Шульца, а отца Монтеня — справа. За мной сидел Дикси Дейвис, а Дрю Престон расположилась между ним и мистером Берманом. Дикси Дейвис болтал без умолку, может, он днем перетрудился, может, привез неверные сведения, а может, пренебрегли его юридическими советами; как бы то ни было, остановиться он не мог, впрочем, не исключено, что все объяснялось его соседством с самой красивой и аристократической женщиной, какую ему только доводилось видеть в жизни; она была в строгом черном платье, открывавшем точеную шейку, которую украшала простая нитка жемчуга, в каждой жемчужине точкой отражалась люстра; он рассказывал миссис Престон, как начинал свою адвокатскую карьеру, вспоминая с истерическим удовлетворением жалкое начало, а она кивала прекрасной головкой, подбадривая его, и решительно сметала все подряд со своей тарелки, запивая вином, которое он не уставал подливать; он купался в лучах ее красоты и силился очаровать ее фактами своей трусливой жизни. Я бы ни за что не хвастался тем, что ошивался с грязными студентами около суда и подлизывался к поручителям, чтобы те, в свою очередь, отблагодарили меня, порекомендовав привлеченным к суду недотепам, нуждающимся в адвокате. Так он и начинал, с защиты подпольных лотерейщиков, получая по двадцать пять долларов за спасение от тюрьмы. «Остальное — история»,— произнес он, обнажив зубы в кривой улыбке. Я заметил,

что сидел он, сгорбившись и вытянув голову вперед, эта поза совсем не вязалась ни с его холеностью, ни с прекрасным гардеробом. Сам удивляюсь, почему я так невзлюбил этого человека, я ведь почти не знал его, но наблюдая, как он пытается заглянуть в вырез платья Дрю Престон, я сожалел, что сижу за столом не с Ирвингом, Лулу и другими ребятами, а с интеллектуалом, который не обратился ко мне даже с самым пустячным вопросом и вообще, кажется, не замечал моего присутствия.

И тут он вынул из бумажника фотокарточку, на фотографии была женщина в лифе от купальника и шортах, она щурилась на солнце, уперев руки в бока, на ней были туфли на высоком каблуке, носки которых смотрели в разные стороны, одну ногу она демонстративно выставила вперед; он положил снимок перед Дрю Престон, она наклонилась посмотреть, не трогая фотографию руками, словно это была какая-то живая тварь типа кузнечика или богомола.

— Это моя невеста,— сказал он,— актриса Фон Блисс. Вы слышали о ней?

— Что? — спросила Дрю Престон.— Неужели... Фон Блисс? — Она произнесла имя с таким искренним удивлением, что адвокат решил, будто она не может поверить в счастье, которое ей привалило.

— Именно она,— сказал с ухмылкой Дикси Дейвис, рассматривая снимок с идиотским восхищением. Дрю Престон поймала мой взгляд, потом вытаращила глаза и свела зрачки у переносицы, я засмеялся от неожиданности, не думал, что она способна на такое, и в этот момент я почувствовал на себе внимательный взгляд поверх очков мистера Бермана, ему не требовалось ни слов, ни даже простого наклона головы, чтобы мне стало ясно — я прислушивался не к той беседе. Несмотря на решимость быть начеку, я не мог оторвать глаз от миссис Престон; когда я против воли повернул голову к отцу Монтеню и мистеру Шульцу, у меня даже шейные позвонки хрустнули.

— О, тогда вы должны совершить паломничество,— говорил святой отец в своей энергичной манере, не прекращая есть и пить, отчего все слова становились жеваными.— Вам следует обратиться к катехизису, послушать Евангелие, вы должны очиститься, подготовиться к избранничеству и тщательно изучить обряды. И только после этого вы можете принять крещение и конфирмацию, а затем уже получить и причастие.

— Сколько времени на это потребуется, святой отец?

— О, это зависит от обстоятельств. Год, пять лет, десять? Как только вы сможете открыть свою душу христианским таинствам.

— Я могу действовать и побыстрее, отец,— сказал мистер Шульц.

Я не решался поднять глаз на мистера Бермана, он бы немедленно понял, что я растерян. После знакомства со святым отцом мы в среду приходили на вечер, организованный церковью Святого Варнавы, и мистер Шульц даже сыграл несколько конов в бинго [1], выкрикивая магические числа, нарисованные на шарах, и радуясь, когда кто-то выигрывал доллар или два. А потом он прошептал несколько слов на ухо святому отцу, и тот с большим воодушевлением объявил о благословенной щедрости мистера Шульца, установившего специальный приз в двадцать пять долларов, который будет разыгрываться в конце вечера; это сообщение было встречено аплодисментами, мистер Шульц смущенно поднял руку и заулыбался, а мы с мистером Берманом, сидя в это время сзади, говорили о бинго; мистер Берман взял одну карточку, присвоил каждой букве численное значение и показал мне, как уравнивать шансы каждого ряда после выкрикивания числа, а потом описал мне несколько способов, какими можно мошенничать в честной игре. Но тогда я еще не догадывался, что игра в бинго была первым шагом на пути обращения в другую веру.

---

[1] Бинго — игра, похожая на лото.

Святой отец положил на стол нож и вилку и, жуя, откинулся на стуле. Подняв свои густые брови, он бросил на мистера Шульца взгляд, полный сочувственного священнического скепсиса.

— От еврея до Святой Церкви очень длинный путь.

— Не очень длинный, отец, не очень. Мы в одной лодке. Иначе бы зачем ваши самые большие шишки носили ермолки? Я, кроме того, заметил, что вы все время говорите о наших парнях и читаете нашу Библию. Не очень длинный путь.

— Да, но самое главное, как мы читаем и что из прочитанного принимаем, разве не так?

— Я знаю ребят, католиков, с которыми вырос, моих деловых партнеров, верно, Отто? — сказал мистер Шульц, глядя на мистера Бермана,— Дэнни Ямашиа, Джои Рао и еще кое-кого. Они думают точно так же, как и я, у них те же представления о добре и зле, они точно так же уважают своих матерей, я всю жизнь полагался на бизнесменов-католиков, святой отец, а они на меня, а как такое возможно, если мы не понимаем друг друга лучше, чем кровные братья?!

С задумчивостью, подобающей столь торжественным переживаниям, он вновь наполнил вином стакан священника. Все притихли.

Отец Монтень одарил мистера Шульца укоризненным галльским взглядом, поднял стакан и выпил его. Потом промокнул салфеткой губы.

— Конечно,— сказал он очень мягко, словно говорил о предмете, о котором лучше было бы промолчать,— бывают и другие пути религиозного возмужания.

— Ну вот, теперь совсем другое дело. Есть и более короткие пути,— сказал мистер Шульц.

— В этом случае у нас должна быть уверенность, что мы имеем дело с истинным подчинением воле Господа нашего Иисуса Христа.

— Честное слово, святой отец, я с вами совершенно искреннен. Я же сам начал этот разговор, верно? У меня тяжелая жизнь. Мне все время приходится принимать важные решения. Мне нужна сила. Я вижу, что мои знакомые обретают силу в вере, и я тоже нуждаюсь в такой силе. Я обычный человек. Я боюсь за свою жизнь, как любой другой. Я хочу понять, зачем она. Я стараюсь быть великодушным, добрым. Но мне по душе мысль о дополнительной помощи.

— Понимаю, сын мой.

— Ну, как насчет воскресенья? — спросил мистер Шульц.

После кофе Дрю Престон, извинившись, ушла, спустя несколько минут ужин расстроился, и мистер Шульц пригласил отца Монтеня на шестой этаж, где, удобно устроившись в его номере, они пили канадский виски, курили сигары и беседовали, как закадычные друзья. Глядя на них, я обратил внимание, что они похожи,— оба плотные, почти без шеи, пепел сбрасывают куда попало. С ними сидел и Дикси Дейвис. Остальная часть банды устроилась в кабинете мистера Бермана, все были угрюмы, говорили мало. Наконец, святой отец отправился домой, и мы двинулись в номер мистера Шульца, собрания никто не назначал, мы просто вошли и сели; никто не произнес ни слова, пока наш босс ходил по комнате взад-вперед и делился с нами своими мыслями.

— Микки, ты ведь понимаешь, а не понимаешь, так обязательно поймешь, что я должен приготовиться, никаких случайностей я допустить не могу, мне любая помощь может потребоваться. Как знать? Как знать? Помню, много лет назад меня поразил Патрик Девлин, вы должны помнить братьев Девлин, которым тогда принадлежал почти весь пивной бизнес в Бронксе, а мы в то время только начали, и я хотел немного проучить его, парень он был крепкий, и мы подвесили его за большие пальцы рук, помнишь, Лулу? но он-то не знал, что у нас на уме, он решил, что мы его убиваем, и закричал, чтобы привели свя-

щенника. И это меня поразило. В минуту смерти он звал не мать, не жену, а именно священника. И тут я задумался. Я хочу сказать, что в такие моменты человек обращается к своей силе, ведь так? Мы тогда только выдавили ему на глаза кишки и дерьмо из дохлой крысы и заклеили их пластырем, оставив его висеть в собственном подвале, мы-то знали, что его найдут там, правда, к тому времени, когда эти вонючие идиоты его обнаружили, зрение он уже потерял. Но я так и не могу забыть, что он звал священника. Такие вещи не забываются. Мне нравится этот маленький канадский французишка, мне нравится его церковь, я им крышу новую сделаю, чтобы не текло в сокровенные моменты, это мне настроение поднимает, понимаете? Каждый раз, когда я вхожу к ним, у меня настроение поднимается, правда, я не знаю латыни, но я ведь иврита тоже не знаю, так что почему бы не соединить одно с другим? Христос был одновременно и тем и другим, черт возьми, разве не так? Они требуют исповеди, не хочу притворяться, будто я без ума от этого, но опять-таки никаких обид; когда придет время, как-нибудь справимся. Моя мать ничего не должна знать... Ирвинг, и твоя мать тоже, им это не надо, они не поймут. Никогда не любил, как старики молятся в синагоге, раскачиваются взад-вперед, каждый что-то бормочет себе под нос, голова болтается, плечи ходят туда-сюда, я люблю, когда человек ведет себя с достоинством, когда люди вместе поют, делают одно и то же одновременно; мне нравится сам порядок, это ведь что-то значит, когда все опускаются на колени, это радует Бога, может, слишком сложно для тебя, а, Лулу? Вы только посмотрите на него, какой несчастный, посмотри на выражение его лица, Отто, он же сейчас заплачет, скажи ему, что я все тот же прежний Немец, что ничего не изменилось, ничего не изменилось, слышишь ты, дубина? — И он обнял бандита, смеясь и похлопывая его по спине.— Ты же знаешь, как обстоит дело с судом, ты же знаешь, что мы начинаем немного нервничать, когда нас ждет судебный процесс. Вот и все. Вот и все. Не мы первые, не мы последние.

Никто ничего не сказал, только Дикси Дейвис все время кивал и одобрительно хмыкал свое бессмысленное «угу», мы все обалдели, поразительный получился денек. Мистер Шульц продолжал говорить, но, улучив момент, я незаметно выскользнул из комнаты и ушел к себе. Мы все знали, что мистер Шульц — человек необузданный, он ни в чем не мог остановиться, он все доводил до крайности, преувеличивал до невозможности, в этом, как и в своем гневе, он был неудержим. Я нисколько не сомневался, что истинным католиком он не станет, он просто хотел, если можно так сказать, дополнительно подстраховаться, он почти этого не скрывал, и если только вы сами не религиозный человек, который верит в единственного истинного Бога, вы бы с уважением отнеслись к его ненасытности, ему всегда всего было мало, и, если бы нам пришлось пробыть здесь подольше, он, возможно, стал бы еще и членом протестантской церкви Святого Духа; Бог знает, он был вполне способен и на такое, страсть приобретения была в мистере Шульце сильнее осторожности, эта страсть снедала его всегда и везде, он приобрел питейные притоны, пивные компании, трейд-юнионы, подпольные лотереи, ночные клубы, меня, мисс Дрю, а вот теперь приобретал католицизм. Вот и все.

Глава четырнадцатая

В первых числах сентября должен был начаться судебный процесс над мистером Шульцем, а перед этим он еще собирался принять католичество, так что одним махом он удвоил наши трудности. Последние дни были очень суетливые, появился еще один адвокат, которого я раньше не видел; это был величественный дородный седовласый джентльмен, с гангстерами или их советниками его ничего не связывало — это становилось очевидно, стоило только посмотреть на его важные манеры

и старомодные очки, державшиеся на одной переносице и привязанные к черному шнурку, на котором они и болтались, когда он ими не пользовался; к тому же он привез с собой молодого помощника, тоже адвоката, который носил оба их портфеля. Приезд новых людей повлек за собой закрытое совещание на целый день в номере мистера Шульца, а на следующий день — визит в здание суда. Подготовка мистера Шульца к религиозному возрождению требовала бесед с отцом Монтенем в церкви. Сверх того, продолжались и обычные дела, ради которых все, кроме Дрю Престон и меня, носились как угорелые.

Вот почему однажды утром я и оказался верхом на живой деревенской лошади, я сидел, крепко вцепившись в поводья, казавшиеся мне все же недостаточной опорой, и пытался наладить хоть какой-то контакт с высоким широкозадым зверем, который притворялся, что не понимает меня. Я раньше думал, что лошади тупые. Когда я говорил ей, чтобы она шла помедленнее, она пускалась в галоп, а когда понукал ее не отставать от серой кобылки мисс Дрю, она останавливалась, опускала голову и принималась щипать вкусную густую траву на лугу. Я восседал на ее спине, как хозяин, но это все же была ее спина. Я либо подпрыгивал на ее крупе, согнувшись в три погибели, чтобы не упасть, а Дрю Престон в это время советовала мне, что я должен делать со своими коленками и как упираться пятками в стремена (выполнить эти прекрасные советы я в то время был не в состоянии), или же сидел неподвижно под палящим солнцем и смотрел, как наклоняется голова этой обжоры, а потом и вовсе исчезает из вида, и слушал, как она рвет своими большими зубами траву и жует ее, постепенно проталкивая все глубже в рот, а тем временем расстояние между мной и второй живой душой в этом мире все больше увеличивалось. Лошадь моя была весьма заурядной гнедой масти с черными подпалинами на морде и на крестце, но по вредности ей равных не было. Я считал, что миссис Престон поступила жестоко, позволив лошади так издеваться надо мной. Я проникся дополнительным уважением к Джину Отри[1], который не только прекрасно скакал на лошади, но и умудрялся при этом еще чисто петь. Единственным моим утешением было то, что никто из банды не видел меня в тот момент, а когда мы поставили лошадей в фермерскую конюшню и пошли в город пешком, я с удовольствием ощутил под ногами твердую землю и поблагодарил Бога и Его солнечный мир, что остался жив, хотя чуть охромел и натер задницу.

Завтракали мы в моем любимом кафе. Других посетителей не было, хозяйка ушла на кухню, так что мы, миссис Престон и я, могли говорить совершенно свободно. Я был счастлив снова оказаться с ней наедине. Она подтрунивала над моими мучениями, но всерьез сказала, что после нескольких уроков я стану хорошим наездником. Я не возражал. В своей бледно-серой блузе с большим воротником и глубоким вырезом и в голубом бархатном жакете с кожаными заплатками на локтях она выглядела замечательно; мы не спеша съели кашу, яичницу и тосты, выпили по две чашки кофе и выкурили по сигарете «Уингс», а она тем временем расспрашивала меня о моей жизни, глядя мне в глаза не отрываясь и слушая мои ответы так, будто никто другой в мире ее не интересовал и не интересует. Я знал, что точно так же она слушает мистера Шульца, но мне все равно было приятно. По-моему, привлечь ее внимание было и почетно, и волнующе, она по-дружески доверяла мне; что могло быть лучше этого завтрака наедине с ней в провинциальном кафе, этого простого естественного разговора, хотя положение мое было не из простых, потому что обстоятельства заставляли меня проявлять максимум способностей.

Я сказал ей, что живу в бандитском районе.

— Это значит, что твой отец гангстер?

---

[1] Джин Отри (р. 1907) — американский певец и киноактер, снимавшийся в ковбойских фильмах.

— Мой отец давно бросил нас. Я имею в виду сам район.

— А где это?

— В Бронксе, между Третьей и Батгейт авеню. К северу от Клермонт авеню. Я из того же района, что и мистер Шульц.

— Я никогда не была в Бронксе.

— Я так и думал,— сказал я.— Мы там снимаем квартиру. Ванная стоит на кухне.

— Кто это — мы?

— Моя мать и я. Мать работает в прачечной. У нее длинные седые волосы. Мне кажется, она женщина интересная или, во всяком случае, могла бы такой быть, если бы следила за собой. Она очень чистоплотная и опрятная, я не то говорю, она просто немного чокнутая. Зачем я вам все это рассказываю? Я о ней никогда ни с кем не откровенничал и сейчас чувствую себя паршиво, потому что так говорю о собственной матери. Она очень добрая. Любит меня.

— Как же иначе.

— Но все же она не совсем нормальная. Косметикой она не пользуется, друзей у нее нет, что-нибудь купить себе или завести любовника она не хочет. Ей все равно, что о ней думают соседи. Она больше в фантазиях живет. Все ее считают ку-ку.

— Наверное, у нее была очень тяжелая жизнь. Давно твой отец сбежал?

— Я был очень маленький. Совсем не помню его. Знаю только, что он был еврей.

— А разве твоя мать не еврейка?

— Она ирландка, католичка. Ее зовут Мэри Бихан. Но она чаще ходит в синагогу, а не в церковь. Она ж у меня ненормальная. В синагоге она поднимается на галерею к женщинам и сидит там. Ей там нравится.

— А как ваша фамилия? Не Батгейт же?

— Вы и об этом слышали?

— Да, когда ты записывался в воскресную школу церкви Святого Духа. Теперь все понятно.— Она, улыбаясь, смотрела на меня. Мне сначала показалось, будто она намекала на то, что я взял свою фамилию от Батгейт авеню, изобильной улицы, улицы земных даров. Но она имела в виду семейную привычку становиться прихожанином чужой конфессии. Я не сразу сообразил. Она пыталась сдержать смех над собственной шуткой, поглядывая на меня искоса и надеясь, что я не обижусь.

— Вы знаете, мне как-то в голову не приходило,— сказал я.— Что я иду по стопам своей сумасшедшей семьи.— Я засмеялся, а за мной и она. Мы долго смеялись, мне нравился ее смех, низкий и мелодичный, словно бы из-под воды.

Потом, уже на пустой улице, не обращая внимания на палящее солнце, мы, не сговариваясь, пошли не к отелю, а в противоположном направлении. Она сняла жакет и перебросила его через плечо. Я смотрел на наши отражения в пустых витринах магазинов с вывесками СДАЕТСЯ ВНАЕМ. Отражения наши были бесцветными, почти черными. А улицы заливал свет. Я чувствовал в то утро, что понимаю Дрю Престон, понимаю ее желание быть самой собой, не притворяться, не впадать в свойственное ей пьяное самокопание; мне казалось, что я вижу ее под покровом ее разящей красоты, о которой я почти забыл, да и она сама, видимо, за ней не пряталась, я понимал ее так, как она, должно быть, понимала себя сама,— как человека, сохраняющего свое лицо, даже если он находится во власти других людей. Такое поведение банда наверняка воспринимала как вызов, вот почему они так обижались, хотя, как мне кажется, они даже недооценивали ее опасность для себя; по-моему, интерес Дрю Престон ко мне объяснялся тем, что в этом отношении мы были очень похожи.

Мы прошли несколько кварталов. Она молчала. Время от времени искоса поглядывала на меня. Вдруг ни с того ни с сего взяла меня за руку. Все-таки в главном она была человеком благоразумным — сейчас, среди бела дня, она взяла меня за руку как подружка. Я разволновался, но не мог же я вырвать свою руку и обидеть ее. Я, правда, оглянулся, нет ли на улице знакомых. Потом откашлялся.

— Может, вы не совсем понимаете свое положение? — спросил я.

— А что у меня за положение?

— Ну, вы же моя воспитательница.

— Я тоже так считала, но ты, оказывается, сам присматриваешь за мной.

— Присматриваю,— сказал я,— но, честно говоря, вы сами со всем прекрасно справляетесь.— Не успел я закончить эту фразу, как понял, что она звучит фальшиво.— Но я сдержу свое слово, если вы попадете в переделку,— добавил я, заглаживая вину.

— В какую переделку?

— Например, вам может повредить, если вы что-то видели или знаете,— сказал я.— Они не любят свидетелей. Они не любят тех, кто может на них накапать.

— Я могу на них накапать,— повторила она в недоумении, будто мысль эта была трудна для понимания.

— Можете,— сказал я.— С другой стороны, только банда знает, где вы были и что видели,— это улучшает положение, ну, скажем, было бы гораздо хуже, если бы окружной прокурор знал, что вы были на буксире и хотел бы выяснить, что же там произошло. Вот тогда вам бы пришлось круто.

Она задумалась.

— Ты говоришь так, будто ты не член банды,— сказала она.

— Пока нет. Я только стараюсь попасть к ним.

— Он очень тебя ценит, говорит о тебе только хорошее.

— Что же, например?

— О, что ты очень сообразительный. И что ты сорвиголова. Я сама этого слова не люблю. Он мог бы сказать, что ты смелый, дерзкий или бесстрашный, он мог бы сказать, что ты безрассудный. Ничего, если я спрошу, сколько тебе лет?

— Шестнадцать,— ответил я, слегка приврав.

— Надо же. Надо же,— сказала она, искоса взглянув на меня и потупившись. Она немного помолчала. Потом отпустила мою руку, я почувствовал облегчение и сожаление одновременно.— Ты, должно быть, что-то сделал для них, раз они узнали о тебе и выбрали изо всех других.

— Каких других? Это же не Гарвардский университет, миссис Престон. Они случайно обратили на меня внимание, вот и все. Так и возникла связь. Это банда, они принимают решения по ходу дел. Используют то, что подвернулось под руку.

— Ясно.

— Я попал к ним тем же путем, что и вы.

— Я не знала. Я даже думала, что ты чей-нибудь родственник.

Мы спустились с холма к реке, дошли до середины моста, остановились у деревянных перил и стали смотреть на воду, падающую с широкой отмели на скалы и валуны.

— Если я могу на них накапать,— наконец сказала миссис Престон,— то и ты ведь тоже?

— Если они не возьмут меня к себе,— сказал я,— то кое-что о них я смогу рассказать. Если они почему-то решат, что я им не нужен. Да. От мистера Шульца все что угодно можно ждать. Покажется ему, что я опасен для них, и этого будет достаточно.

Она повернулась и посмотрела на меня. Выражение ее лица стало озабоченным, может, даже испуганным, хотя, вглядываясь в волны света, которые излучали ее бледно-зеленые глаза, ничего определенного

сказать было нельзя. Если она испугалась за меня, мне этого не надо, это унизительно, раз уж она так уверена в своей распрекрасной жизни, то почему она отказывает в точно такой же уверенности мне?! Это был очень опасный момент наших отношений, когда стало ясно, что мы заботимся друг о друге, мысль о том, что она смотрит на меня снисходительно, как на ягненка в стае волков, была мне невыносима, я хотел с ней равенства во всем. Я притворился, будто считаю, что она боится за себя.

— Я думаю, вам не о чем беспокоиться,— сказал я голосом, не допускающим возражений.— Насколько я знаю, у мистера Шульца нет оснований не доверять вам. И даже если бы у него такие основания были, он бы все сделал, чтобы убедить себя в обратном.

— В обратном? Почему?

— Потому, мисс Лола, я хотел сказать, мисс Дрю, вернее, миссис Престон. Потому.— Мне показалось, что я обидел ее, и мне стало не по себе. Я старался показать ей, что уже стал мужчиной, которому подобают грубые манеры и резкие суждения. И тут я отстранился от нее, и она догадалась, что я имею в виду, и заулыбалась, а я начал смеяться, и она шагнула вперед, пытаясь схватить меня за руку, и, поскольку я сопротивлялся, она, не переставая, словно маленькая девочка, повторять «Почему, скажи почему», притянула меня к себе.

Мы стояли на деревянном мосту, я ощущал на своем лице тепло ее дыхания.

— Потому что, как знают все, кроме вас, мистер Шульц очень падок на блондинок.

— А откуда они знают?

— Знают,— сказал я.— Об этом даже в газетах писали.

— Я не читаю газет,— прошептала она.

В горле у меня пересохло.

— Как же вы узнаете новости, если не читаете газет? — сказал я.

— А зачем мне новости? — спросила она, глядя мне прямо в глаза.

— Ну конечно, если вы не работаете, то и знать вам ничего не надо. Но когда осваиваешь профессию, должен быть в курсе новостей.

Колени мои подгибались, от жары меня подташнивало, мне казалось, что я тону в ее глазах. Я желал ее с такой неодолимой силой, что желание, словно кровь, растеклось по всему телу, причиняя мне чисто физическую боль; я желал ее кончиками пальцев, коленями, мозгом, маленькими косточками ног. Только член мой в тот момент оставался спокойным. Я желал ее тем местом за нёбом, где начинаются слезы, тем кусочком горла, где ломающийся голос раскалывает слова.

— А вот тебе и последняя новость,— сказала она. И поцеловала меня в губы.

В воскресенье утром мы все, чистые и сияющие, стояли перед церковью Святого Варнавы, даже Лулу оделся в темно-синий двубортный костюм, который был сшит так, чтобы как можно лучше скрывать кобуру и пистолет, висевшие слева под мышкой. Должно быть, шла последняя неделя августа, погода постепенно менялась, свет становился другим, на холмах за моим окном появились побледневшие деревья с маленькими желтеющими пятнышками, а здесь, перед церковью, с реки дул свежий ветер, женщины прихода, поднимавшиеся по ступеням крыльца, прижимали к ногам подолы платьев. Пока мы стояли в ожидании, мой летний костюм приятно продувало ветром, правда, прическа взлохматилась, а бриолиновая корочка кое-где нарушилась.

Дрю Престон держала поле большой шляпы, под которой прятала от меня глаза. На ее руках были белые кружевные перчатки, доходившие ей только до запястий. Она надела темное строгое платье, чулки, швы которых лежали ровно на икрах, и черные туфли-лодочки — не-

броский наряд. Стоявший рядом мистер Шульц заметно нервничал, он беспрестанно теребил гвоздику, воткнутую в петлицу, потом расстегнул пиджак своего серого в полоску костюма, чтобы подтянуть брюки, но заметил, что пуговицы его жилета застегнуты неправильно, рывком расстегнул жилет и застегнул его заново, затем дернул плечами, смахнул с рукава несуществующую ниточку, увидел, что развязался шнурок, и собрался уже наклониться и завязать его, но в это время мистер Берман постучал его по плечу и указал на машину, выехавшую из-за угла и остановившуюся у обочины с работающим мотором. «Приехал»,— сказал мистер Шульц, и тут из-за угла выехала еще одна машина, универсал, и, миновав нас, затормозила в конце квартала; потом показалась и третья машина, она медленно проехала по улице и стала рядом с нами — черный «крайслер» с полностью закрытыми колесами, мне такого еще видеть не приходилось, должно быть, он был сделан на заказ. Мистер Шульц шагнул вперед, мы стояли в ряд за его спиной, из машины вышли двое суровых мужчин и посмотрели на нас так, как смотрят только полицейские и гангстеры, внимательным, но быстрым, оценивающим взглядом, кивнув мистеру Шульцу, Лулу и Ирвингу; один из них поднялся по ступеням и заглянул в церковь, другой, держа руку на задней дверце машины, оглядел улицу, потом тот, что стоял наверху, кивнул, и другой открыл дверцу; из машины вышел худой, одетый с иголочки невысокий человек, терпеливо ожидавший рядом мистер Шульц радостно обнял его, я не назову имени приехавшего даже сейчас, много лет спустя, я узнал его тотчас же по снимкам из «Миррор», узнал шрам под подбородком, нависающее веко, волнистые волосы; чтобы не попасться ему на глаза, я инстинктивно спрятался за чью-то спину. У него был смугло-желтый, даже, скорее, бледно-лиловый болезненный цвет кожи, он оказался ниже и тоньше, чем я его представлял, одет он был в хорошо сшитый жемчужно-серый однобортный костюм; вежливо поздоровавшись за руку с Аббадаббой Берманом, Лулу и Микки, он тепло обнял Ирвинга, и тут его представили Дрю Престон; он сказал своим тихим хрипловатым голосом, что рад ее видеть, и, взглянув на небо, заметил: «Какой прекрасный день, Немец, ты, должно быть, уже обо всем договорился с Отцом Небесным»; все засмеялись, и особенно мистер Шульц, который был счастлив и польщен, что человек такого высокого положения согласился приехать из Нью-Йорка, чтобы стать его крестным отцом и официально просить священника принять его в лоно Церкви.

Таков порядок, уважаемый католик должен засвидетельствовать перед церковью добрый характер обращаемого, я, правда, думал, что это будет кто-нибудь из банды,— Джон Куни или даже Микки, если никого более подходящего не найдется, потому что банда была самодостаточной, и что бы ей ни требовалось, она всегда обходилась наличными ресурсами, у меня не было оснований считать, что на этот раз что-либо изменится. Лулу, стоявший за спиной мистера Шульца, как я заметил, буквально сиял от счастья, да и вся банда выглядела умиротворенно, все им теперь стало ясно, их раньше тревожило и это обращение, и девчонка, они начали думать, что Немец сбрендил, но он снова удивил всех; о чем говорить, участие в церемонии такой знаменитости не только гарантировало успех операции, но и означало политическое признание. С одной стороны, мистер Шульц оказывал гостю почтение, а с другой, получал от человека своего круга поддержку, я был доволен, мне казалось, что мистер Берман имел в виду именно это, когда говорил о грядущем времени, в котором будут больше цениться разум и дружелюбие. Мне это казалось своего рода провозвестием в величественной тени церкви, то были первые признаки новой грядущей жизни, гангстеры думали, что мистер Шульц окунулся в религию, а он продолжал заниматься все тем же криминальным бизнесом, он это здорово придумал, видимо, с помощью мистера Бермана,— надо же, так умело гасить приступы ярости и даже непривычное для

него свободное время использовать со свойственной ему эффективностью — брать уроки верховой езды у человека голубых кровей.

В то утро я страстно хотел верить в могущество мистера Шульца. Я хотел порядка, хотел, чтобы все оставалось на своих местах, раз тираном он должен быть ради дела, то пусть тиранит нас, но пусть действует решительно и безошибочно. Я боялся лишиться слаженности бандитской жизни, империи мистера Шульца угрожала не только его необузданность, но и мой страшный грех мышления. Я мысленно искал у себя слабости, безотчетные откровения, огрехи в поведении и не находил. Мой бдительный разум видел только покой и мир неведения.

Словно подтверждая мои надежды, зазвонили колокола церкви Святого Варнавы. Сердце мое екнуло, на меня нахлынула волна бурной радости. Церковных органов я очень не люблю, а вот колокольный звон, плывущий над улицами, всегда был мне приятен, пусть он подчас не очень строен, но именно поэтому он и напоминает древнюю музыку, этот громкий и радостный перезвон вызывает в памяти примитивные крестьянские празднества типа свального греха в стогах сена. Обычно, как только сосредоточишься на каком-либо чувстве, оно тут же исчезает, а вот стоя там среди колокольного звона, я размышлял над своим положением и чувствовал уверенность, что оно теперь лучше, чем в начале, что в банде я укрепился и добился уважения, а если и не уважения, то хотя бы признания. У меня есть дар общения со взрослыми, я знаю, с кем и как говорить, кому продемонстрировать ум, при ком лучше помолчать, и я сам себе удивлялся, я ведь все это делал без напряжения, не зная наперед, как поступлю в следующий миг, и почти не ошибался. Я мог и Библию изучать, а мог и стрелять из пистолета. Я выполнял любое поручение. Но что важнее всего, я теперь понимал загадочный гений мистера Шульца и, следовательно, мог избежать его гнева. Проницательность Аббадаббы Бермана поражала, он удивил меня и когда нашел мой пистолет, и когда догадался, где я живу, и послал за мной полицейского из местного участка. Но страха перед ним я более не испытывал. И, видимо, он меня все же недооценивал, я бы не достиг своего нынешнего положения, если бы он мог читать мои мысли и знал мое тайное предназначение. Но даже если он знал мою тайну, а я по-прежнему оставался здесь, и не только оставался, но рос и исполнял его надежды, то, значит, у него были свои виды на меня. И все же я не верил, что он знал о моей тайне, я верил, что в самом важном знании я опережал его и что его неполноценность состояла как раз в том, что он понимал все, кроме самого важного.

Так что я чувствовал себя превосходно и приподнято среди этих людей, нет предела моим возможностям, Дрю права, я симпатичный маленький чертенок; когда знаменитый гость поднимался с мистером Шульцем по ступеням, мне хотелось, чтобы кто-нибудь представил меня ему или чтобы он заметил меня, хотя я сам же от него и спрятался; но это все мелочи, я знал, что в суете исторических моментов деталями пренебрегают; глядя снизу на этих великих людей, я понимал, что раньше не мог о таком и мечтать; меня обуревало великодушное желание верить всем, даже стоящим на нижних ступенях, последними в процессии; все ждали теперь, когда закончится служба, отец Монтень спустится с алтаря, поздоровается с мистером Шульцем и введет его в здание церкви, что будет символизировать обращение в католичество.

Все это заняло больше времени, чем предполагалось. Аббадабба Берман вышел покурить, я зажег для него спичку, прикрыв ее от ветра, к нам присоединился Ирвинг, и мы втроем, прислонившись к роскошному обтекаемому «крайслеру», припаркованному у тротуара, и не обращая внимания на другие машины гостей, стоящие поодаль, смотрели на обшитый досками дом Святого Варнавы с деревянной кровлей. Колокола теперь звучали все мягче и тише, и я уже мог различить слабые звуки органа, доносящиеся из церкви. И тут Ирвинг позволил себе

суждение о Немце Шульце, которое можно было бы счесть и за критику, ничего подобного я раньше от него не слышал:

— Конечно,— сказал он, будто продолжая прерванную мысль,— Немец ошибается, он понятия не имеет, почему старые евреи молятся таким манером. Если бы он знал, то, наверное, не говорил бы таких вещей. Малыш, ты знаешь, о чем я?

— Я не силен в религии,— ответил я.

— Я сам человек неверующий,— сказал Ирвинг,— но то, что они кивают и кланяются все время, это же имеет объяснение. Вспомни свечи; старики, которые молятся в синагоге,— это горящие свечи, они клонятся вперед и назад, влево и вправо, каждый кивает и кланяется, словно дрожащий огонек свечи. Этот огонек души может, конечно, в любой момент погаснуть. Вот в чем тут дело,— сказал Ирвинг.

— Это очень интересно, Ирвинг,— сказал мистер Берман.

— Но Немец этого не знает. Его старики раздражают,— произнес Ирвинг своим тихим голосом.

Мистер Берман поднял локоть так, чтобы рука с сигаретой была как раз над ухом, это была его любимая поза для размышлений.

— Но он прав, когда говорит, что христиане все делают в унисон. У них есть верховная власть. Они вместе поют, молятся, садятся, встают, преклоняют колена, все под контролем. Так что в этом он прав,— сказал мистер Берман.

Когда, наконец, все началось, я оказался на одной из передних скамей рядом с Дрю Престон, где, собственно, и хотел оказаться. Я напомнил себе, что все в порядке, что еще ничего не произошло, если не считать того, что меня допустили в святая святых ее горестей. И все. Она меня словно не замечала, чем вызывала во мне одновременно и признательность, и жестокие страдания. Я тупо листал молитвенник. Лицо ее под широкополой шляпой горело в мягком свете, падавшем от церковных витражей, такой ее вид делал мою роль мальчишки-защитника более естественной и благородной. Боже, как мне хотелось ее трахнуть! Я едва терпел это мучение. Боялся, что не доживу до конца службы. Мистер Шульц говорил, что это укороченная служба, и я подумал, какова же тогда служба длинная, так до меня дошло значение слова «вечность».

Я помню лишь несколько деталей из всей этой мучительно бесконечной службы. Во-первых, то, что мистер Шульц всю ее — именование, крещение, конфирмацию, принятие причастия — провел с развязанным шнурком. Во-вторых, когда стоявший за ним его крестный отец по указанию отца Монтеня положил ему на плечо руку, мистер Шульц чуть из шкуры своей не выпрыгнул. Может, все эти странные вещи я помню просто потому, что все остальное действо велось на латыни и мое внимание привлекали только реальные происшествия. Отец Монтень, видимо, был единственным человеком в мире, которому сошло с рук то, что он вылил на голову Немца Шульца кувшин воды, причем трижды. Он делал это, по моим впечатлениям, ревностно, с истинным литургическим энтузиазмом, а мистер Шульц каждый раз отплевывался с налитыми кровью глазами и пытался незаметно прилизать свои волосы.

Но последнее, что я помню об этом утре,— это чарующее присутствие рядом моей прекрасной и несравненной Дрю, и, чем разнузданнее я о ней думал, тем невиннее она становилась в моем воображении. Она, казалось, пила церковную музыку, обретая святость, становясь похожей на монашек, нарисованных в нише на стене. Каким-то образом мой мир перевернулся, словно брошенный Богом мячик, ее нежелание замечать меня лишь подтверждало в моей душе наш заговор. В тот момент, когда орга́н заревел во всю мощь, паства в экстазе взяла самую

высокую ноту, а она поднесла свою руку в белой перчатке к губам и зевнула, я уже больше не мог скрывать от себя, что обожаю ее и умру, если только она этого пожелает.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава пятнадцатая

Время суда приближалось. Я перестал упражняться в стрельбе и стал выполнять поручения Дикси Дейвиса, который теперь жил вместе с нами на шестом этаже. Как-то утром я пришел в суд передать от него письмо какому-то судебному чиновнику, а потом через маленькие дверные окошки принялся рассматривать судебные комнаты. Там не было ни души. Никто мне ничего не запрещал, поэтому я вошел в зал № 1 и сел на лавку. По сравнению, скажем, с полицейским участком это было большое незахламленное помещение: обшитые деревом стены, большие открытые окна и круглые светильники, свисающие на цепях с потолка. Для всех участников процесса были предусмотрены свои места — для судьи, для жюри присяжных, прокурора, защиты и публики. В полнейшей тишине я слышал, как тикали за спиной стенные часы. Зал суда ждал, каким же будет мое впечатление. А впечатление мое было вот каким: ожидание таит в себе безграничное терпение. Я понял, что закон обладает пророческой практичностью.

Я представил себе, что жюри вынесло обвинительное заключение. Охранники выводят мистера Шульца, а все мы, остальные участники банды, стоим поодаль и ничего не предпринимаем. В моем воображении он испытывал в тот момент нечеловеческую ярость, в последний раз его лицо мелькнуло передо мной в зарешеченном окошке «черного ворона». Паршивое ощущение.

Здесь я должен сказать, что, куда бы ни шел мистер Шульц, он везде создавал предателей, он порождал их в любое время, он вызывал их к жизни самой своей натурой, и каждый из нас был на свой манер, вид и обычай, но лик был общий — предателя, и тогда он начинал уничтожать нас. И не то чтобы я не знал этого, не то чтобы не знал. Каждый вечер я поднимался на лифте, чтобы присоединиться к семейному ужину мистера Шульца и сидел там, замирая от любви или ужаса, трудно сказать, от чего именно.

За пару дней до суда появился человек по имени Джули Мартин, его знали все члены банды, кроме меня. Это был такой толстый тип, что у него щеки тряслись, когда он говорил; он был намного выше мистера Шульца или Дикси Дейвиса, но ходил с тростью и носил на одной ноге шлепанец. Малюсенькие глаза имели неопределенный цвет, щеки были не бриты, вид неотесан и неприятен, темные волосы свисали на воротник, ногти на большущих руках были грязные, как у автослесаря.

К моему великому облегчению, Дрю Престон почти сразу же ушла. Гость оказался занудой. Мистер Шульц обращался к нему с сардоническим почтением и называл его господин Президент. Я понял смысл этого обращения, только когда вспомнил о ресторанном рэкете мистера Шульца в Манхэттене и Ассоциации владельцев кафе и ресторанов. Джули Мартин управлял всем этим, вот чего он был президентом, и поскольку большинство фешенебельных ресторанов центра — включая «Линдиз», «Брасс Рейл», «Штьюбенз Таверн» и даже «Джек Демсиз» — вошло в ассоциацию, он был в городе достаточно влиятельным человеком. Ему, конечно, не приходилось собственноручно бросать в окна ресторана химические гранаты, если хозяин оного отказывался вступать в ассоциацию, так что я не мог объяснить себе, почему у него грязные ногти, почему он не стрижется и почему вообще не производит впечатления преуспевающего подпольного бизнесмена.

Если не считать химических гранат, ресторанное вымогательство было незаметным бизнесом, даже более незаметным, чем политика, и почти столь же выгодным. Пока посетители обедали в шикарных ресторанах Бродвея, пока старики сидели в кафе за кофе или несли к своим столикам подносы с дымящейся вареной морковкой и цветной капустой, в тихих беседах людей, которые всегда приходили в эти заведения сытыми, неспешно решались большие дела.

Мистер Шульц рассказывал Джули Мартину о своем обращении в католичество и хвастался тем, кто почтил его при этом вниманием. Особого впечатления на Джули Мартина это не произвело. Человек он был грубый и вел себя так, словно где-то его ждали более важные дела. На столе, как и во все предыдущие вечера, стояла бутылка виски, гость все наливал и наливал себе по полстакана неразбавленного напитка и выпивал его так, будто это была вода. Уронив вилку на пол, он позвал официантку, проходящую мимо с подносом грязной посуды: «Эй, ты!» Девушка едва не выпустила из рук поднос. Мистеру Шульцу нравилась эта девушка, она была из тех местных жительниц, которых ни самые щедрые чаевые, ни дружелюбная болтовня не могли разубедить в том, что каждый вечер ее жизнь подвергается смертельной опасности. Мистер Шульц говорил мне, что собирается уломать ее переехать в Нью-Йорк на работу в Эмбасси-клубе, ничего себе желаньице, если учесть, что она смертельно его боялась.

— Стыдно, господин Президент,— сказал он сейчас.— Она помощью вашего союза не пользуется. Вы теперь в деревне, следите за своими манерами.

— В деревне, в деревне,— подтвердил толстяк басом. А потом чудовищно рыгнул. Некоторые ребята умеют по желанию делать такие вещи, правда, сам я никогда не пытался, это было оружие людей неотесанных, и оно предполагало похожее умение, связанное с другим концом пищеварительного тракта.— Если я, наконец, доем этот дерьмовый ужин и ты объяснишь, зачем мне потребовалось тащиться в такую даль, тогда я насру на твою деревню с превеликим удовольствием.

Дикси Дейвис бросил испуганный взгляд в сторону мистера Шульца.

— Джули — настоящий нью-йоркец,— сказал адвокат со своей кривой ухмылкой.— Как только они покидают Манхэттен, тотчас начинают нести чушь.

— А вы наглец, господин Президент,— сказал мистер Шульц, глядя на гостя поверх своего бокала.

Я не стал ждать десерта, хотя это был яблочный пирог, а поднялся в свою комнату, запер дверь на замок и включил радио. Вскоре я услышал, как они все вышли из лифта и проследовали в номер мистера Шульца. Какое-то время их голоса звучали одновременно, будто разные партии в хоровой песне. Потом дверь захлопнулась. В том удивительном умонастроении мне в голову пришла мысль, показавшаяся весьма правдоподобной, будто это я каким-то образом вызвал спор, будто мой тайный грех вызвал у Немца метафизический гнев и случилось так, что гнев этот оказался направлен на другого человека его окружения, и человека весьма ценного, не менее ценного, чем Бо. Это не значит, что я испытывал хоть малейшую симпатию к громадному мужлану с больной ногой. Я не знаю, о чем они спорили, но то, что спор был серьезный, я понял по громким голосам, которые слышал, когда выходил в коридор и стоял под дверью мистера Шульца. Гневная перепалка ужасала меня тем, что была так близко, словно сильный раскат грома надвигающейся грозы, и я продолжал ходить из комнаты в коридор, проверяя, закрыта ли дверь Дрю, в безопасности ли она, и каждый раз, когда в радиоприемнике трещал разряд статического электричества, мне казалось, что это пистолетный выстрел, и я снова выбегал из номера.

Так продолжалось с час или чуть больше, и вдруг — должно быть, около одиннадцати — я услышал настоящий пистолетний выстрел; когда на самом деле стреляют, сомнений не возникает, такой выстрел бьет прямо в барабанные перепонки, и, как только его эхо замерло, воцарилось молчание — кого-то вычли из жизни; страшная реальность случившегося парализовала меня, я сидел на постели не в силах встать и запереть дверь. Я сидел, сжимая в руке заряженный пистолет, который держал на коленях, прикрыв его сверху подушкой.

Зачем я езжу с этими людьми по провинциальным отелям, где они творят свои зверские дела? Неужели чтобы понять, только понять? Еще несколько месяцев назад я ничего не знал о них. Я старался убедить себя, что они делали бы то же самое и без меня. Но это уже не помогало, до чего же они странные, очень странные. Похоже, они все руководствовались одной и той же идеей, хорошо понимали друг друга и действовали слаженно, но идея эта все время ускользала от меня, мне еще предстояло ее усвоить.

Не знаю точно, сколько минут прошло. Дверь распахнулась, в проеме стоял Лулу и манил меня пальцем. Я отложил пистолет и поспешил за Лулу в номер мистера Шульца. Мебель была сдвинута, стулья перевернуты, этот Джули Мартин лежал на животе поперек кофейного столика в гостиной; он еще был жив, судорожно хватал воздух ртом; голова его смотрела вбок, под щекой было подоткнуто полотенце, еще одно полотенце аккуратно свернули за головой, оба, впитывая кровь, быстро краснели, а он все судорожно хватал воздух разинутым ртом, и кровь все текла тонкой струйкой изо рта и носа; руки его свисали со стола и искали, за что бы ухватиться; а колени лежали на полу, и он отталкивался ими и ступнями, одна из которых была в ботинке, а другая без, он словно бы старался встать, наверное, считал, что еще может уйти, уплыть, движения были похожи на медленный брасс, а на самом деле он лишь приподнимал свой толстый зад, который потом снова плюхался вниз под собственной тяжестью; а Ирвинг приносил все новые полотенца из ванной и складывал их у кофейного столика, куда на пол капала кровь; мистер Шульц стоял и глядел на это громадное черепахообразное тело с машущими руками и остекленевшими слепыми рыбьими глазами; заметив меня, он тихо и спокойно сказал:

— Малыш, у тебя острые глаза, мы гильзу найти не можем, будь добр, поищи.

Я пополз по полу и нашел под кушеткой еще теплую бронзовую гильзу тридцать восьмого калибра, которая только что вылетела из его пистолета, заткнутого теперь за пояс; пиджак его был расстегнут, галстук ослаблен, но сам он в этой мешанине крови и незавершенной смерти проявлял спокойную деловитость; вежливо поблагодарив меня за гильзу, он опустил ее в карман брюк.

Дикси Дейвис сидел в углу, обхватив себя руками, и стонал так, будто стреляли не в Джули Мартина, а в него самого. Раздался тихий стук в дверь, Лулу открыл ее и впустил мистера Бермана. Вскочив на ноги, Дикси Дейвис запричитал:

— Отто! Посмотри, что он сделал, посмотри, что он сделал со мной!

Мистер Шульц обменялся взглядами с мистером Берманом.

— Дик,— сказал мистер Шульц своему адвокату,— прошу прощения.

— Теперь еще и это! — стонал Дикси Дейвис, заламывая руки. Он побледнел и дрожал.

— Прошу прощения,— сказал мистер Шульц.— Эта сука украла у меня пятьдесят тысяч долларов.

— Я член коллегии адвокатов! — говорил Дикси Дейвис мистеру Берману, который смотрел теперь на агонию бессмысленных движений распростертого тела.— И он делает это в моем присутствии! Вынимает пистолет и, не дожидаясь конца фразы, стреляет ему прямо в рот!

— Успокойтесь,— сказал мистер Берман.— Прошу вас, успокойтесь. Никто ничего не слышал. Все спят. В Онондаге рано ложатся спать. Мы обо всем позаботимся. А вам надо пойти к себе, закрыть дверь и забыть об этом.

— Меня видели вместе с ним за ужином!

— Он уехал сразу после ужина,— сказал мистер Берман, глядя на умирающего человека.— Он уехал. Его повез Микки. Микки возвратится только завтра утром. У нас есть свидетели.

Мистер Берман подошел к окну, выглянул из-за занавесей и закрыл жалюзи. Потом перешел к другому окну и сделал то же самое.

— Артур,— сказал Дикси Дейвис,— ты хотя бы понимаешь, что через несколько часов сюда из Нью-Йорка должны приехать федеральные юристы? Ты понимаешь, что через два дня начинается суд? Через два дня?

Мистер Шульц налил себе воды из графина, стоящего на серванте.

— Малыш, проводи мистера Дейвиса в его комнату. Уложи его спать. Дай ему стакан молока или чего-нибудь еще.

Комната Дикси Дейвиса была в дальнем конце коридора, около окна. Мне пришлось буквально тащить его, он не мог унять дрожь, я поддерживал его за руку, как немощного старика, который не в состоянии ходить без посторонней помощи. Он посерел от страха. «Боже мой, Боже мой»,— бормотал он безостановочно. Его шикарная прическа растрепалась, и волосы налипли на лоб. Он обливался потом, от него разило луком. Я усадил его в кресло у кровати. Стол был завален папками с юридическими документами. Бросив на них взгляд, он принялся кусать ногти.

— Член Нью-Йоркской коллегии адвокатов, участник судебного заседания,— бормотал он.— У меня на глазах. У меня на глазах.

Я подумал, что мистер Берман, видимо, прав, в отеле стояла тишина, а если бы кто-нибудь услышал выстрел на других этажах, то шум бы наверняка поднялся. Я посмотрел на улицу из коридорного окна — ни души, уличные фонари освещали полнейший покой. Обернувшись на звук открываемой двери, я увидел, что в дальнем конце коридора в снопе света стоит босоногая Дрю Престон в шелковой белой ночной сорочке, с полусонной улыбкой на губах она чесала голову; я не буду здесь распространяться о расстройстве своих чувств; я затолкал ее в комнату, закрыл дверь за нами, торопливым шепотом попросил ее не шуметь, идти спать и отвел в спальню. Без обуви она была примерно моего роста. «Что случилось, случилось что-нибудь?» — спросила она своим сонным хрипловатым голосом. Я ответил, что ничего, сказал, чтобы утром она не задавала вопросов ни мистеру Шульцу, ни кому-либо еще, а просто забыла обо всем, скрепил свои слова поцелуем в ее пухлые ото сна губы, уложил ее в постель, вдыхая чудесный дух ее естества, разлитый на простынях и подушке, как на лужайках, по которым мы гуляли; потом, пока она потягивалась и улыбалась своей, такой своей, улыбкой, я сжал ее маленькие упругие груди и тут же вышел из номера; когда на другом конце коридора открылась дверь лифта, я тихо закрывал ее дверь.

Микки, стараясь не шуметь, вышел, пятясь, из лифта, за собой он тащил тяжелую тележку, сделанную из металлических труб и досок; я решил, что сейчас появится лифтер, и спрятался за оконную портьеру; но Микки был один; вытащив тележку в коридор, он погасил свет в лифте и не до конца прикрыл бронзовую дверцу.

Банда была в своей стихии, если ты гангстер, то чужая насильственная смерть заставляет тебя действовать быстро и эффективно, как обычный человек не смог бы никогда; даже я, ученик, еле живой от страха и перевозбуждения, выполнял поручения, думал и двигался так, как того требовали чрезвычайные обстоятельства. Я не знаю, что они сотворили с телом, но теперь оно лежало совершенно мертвым и недвижным на кофейном столике; Ирвинг расстилал нью-йоркские газе-

ты и номера «Онондага сигнэл» на тележке; кто-то скомандовал «раз, два, три», и мужчины стащили гигантский труп Джули Мартина с кофейного столика на газеты; смерть — это грязь; смерть — это отбросы; и именно так они с трупом и обращались; Лулу сморщил нос, а Микки даже отвернул голову, когда они возились с этим мешком человеческой падали. Мистер Шульц сидел в кресле, как Наполеон, опустив руки на подлокотники, он даже не удосужился бросить взгляд в ту сторону; он думал о будущем — что, интересно, он замышлял? Гениальный инстинкт подсказывал ему, что, каким бы резким и неожиданным ни был смертельный удар, он нанесен вовремя; вот почему великих гангстеров, если и ловят, то только на расчетах, копиях финансовых документов, нарушениях налоговых законов, чековых книжках и других подобных абстракциях, а вот убийства к ним почти не пристают. Заметанием следов руководил Аббадабба Берман; он ходил взад-вперед своей переваливающейся походкой, шляпа заломлена на затылок, сигарета торчит во рту; именно мистер Берман догадался взять трость убитого и положить рядом с телом. Он сказал мне:

— Спустись вниз, малыш, и прикрой перевозку на лифте.

Я бежал вниз, перепрыгивая через три ступеньки, кружась вокруг стояков на лестничных площадках, и стрелой домчался до холла, где на стуле у лифта, под ветками большого змеиного дерева дремал, уронив голову на грудь, лифтер. Дежурный был чем-то занят у своего стола рядом с почтовыми ящиками. Холл был пуст, улица тоже. Я следил за указателем этажей, стрелка дрогнула, поползла вниз, дошла до первого этажа и нырнула еще ниже, на цокольный этаж.

Я был уверен, что на улице за отелем уже стоит машина и что они продумали все до мелочей; это успокаивало, я ведь тоже был соучастником; и, когда лифт снова вернулся в холл и дверь открылась, Микки поднес палец к губам, вышел из лифта, оставив в нем все как было раньше — свет горит, но бронзовые воротца полностью закрыты,— и проскользнул к черной лестнице, я, выждав минуту, громко кашлянул и разбудил лифтера, седовласого негра, он поднял меня на шестой этаж и пожелал спокойной ночи. Я мог бы поздравить себя с тем, что в сложной ситуации проявил хладнокровие и осмотрительность, если бы не последующие события. В номере мистера Шульца Лулу расставлял по местам мебель; мистер Берман принес от горничной кипу чистых полотенец; я с удовольствием наблюдал за их четкими действиями; мне пришло в голову, что преступление — это детский рисунок на специальной дощечке, который исчезает, когда поднимаешь верхнюю пленку. Наконец, словно встряхнувшись ото сна, мистер Шульц встал и прошелся по комнате, проверяя, все ли в порядке, а затем уставился на ковер около кофейного столика, где расплылось большое темное пятно с несколькими каплями рядом — луна и планеты, кровь бывшего президента Ассоциации владельцев ресторанов и кафе; подойдя к телефону, он разбудил дежурного внизу и сказал:

— Это мистер Шульц. У нас тут несчастный случай произошел, надо вызвать врача. Да,— сказал он.— Как можно быстрее. Спасибо.

Я был озадачен, обеспокоен и силился разгадать загадку, которая ничего хорошего мне не сулила. Все остальные в комнате были поглощены исключительно своими делами. Мистер Шульц смотрел из окна на улицу, потом я услышал, что к дому подъезжает машина, он повернулся и попросил меня встать у кофейного столика. Мистер Берман сел и прикурил новую сигарету от старой. Лулу подошел ко мне, чтобы показать, где точно мне надо стоять,— я, видимо, не так исполнил просьбу — и продолжал держать меня за плечи; именно в тот момент, когда я догадался, что сейчас произойдет, а может, чуточку позднее, мне показалось, что я увидел его ухмылку, в которой блеснул золотой зуб, хотя, возможно, мое тугодумие сослужило мне тогда добрую службу, ведь когда он замахнулся, мне осталось только одно — проявить полную жертвенную лояльность; в этой строго иерархической компании

мужчин не пристало спрашивать — а почему я? почему я? — и тут меня настигла ослепляющая боль, колени подогнулись, из глаз посыпались искры, именно так это состояние и описывают боксеры; миг спустя я уже был на коленях, стеная и пуская слюни от шока; обе руки я прижимал к моему бедному носу, моей гордости, из которого сейчас обильно текла кровь на уже залитый ковер; вот так, смешав свою кровь с кровью мертвого гангстера и задыхаясь от ярости, я взял заключительный аккорд в прекрасном произведении банды Шульца на тему неожиданной смерти; в дверь тихо постучали — пришел деревенский доктор.

Я помню, как тот страшный удар в лицо изменил временные ориентиры: миг спустя я уже ощущал его старой раной, а вызванная им ярость превратилась в давнишнее решение отплатить им, расквитаться — и все это буквально за какое-то мгновение умопомрачительной боли. Услышав выстрел, я был внутренне готов к тому, что он мог предназначаться и мне, а вот разбитый нос простить не хотел. Огорчению моему не было предела, я почувствовал себя обманутым, вместе с яростью возвращалось и мое мужество, а вместе с ним — и мои безрассудные желания. Всю ночь я прижимал к лицу пакет со льдом, я очень боялся, что лицо мое распухнет и Дрю Престон перестанет считать меня симпатичным. Утром все оказалось не так плохо, как я ожидал, небольшую припухлость носа и синеву под глазами можно было объяснить не только побоями, но и доброй гулянкой.

Утром я, как обычно, пошел завтракать, жевать было больно, губа саднила, но я поклялся вести себя так, будто прошедшей ужасной ночи не было. Я заставил себя не думать о пытающемся встать на ноги и падающем покойнике. Когда я возвращался, дверь в кабинет мистера Бермана оказалась открытой, он заметил меня и позвал кивком головы. Под подбородком он держал трубку телефона и считывал что-то с ленты арифмометра собеседнику на другом конце провода. Закончив разговор, он указал мне на место у своего стола, где обычно сидели посетители его конторы.

— Мы переезжаем,— сказал он.— Сегодня вечером, остаются только мистер Шульц и адвокаты. Послезавтра начнут формировать состав присяжных. Ребятам нечего здесь ошиваться во время суда, когда понаедут тучи репортеров.

— Здесь будут журналисты?

— А ты что думал? Поналетят, как комары летом. Они тут все облепят.

— И из «Миррор» тоже?

— Конечно. Все, все будут. Газетчики — это же мразь, у них нет ни чести, ни совести, они совершенно не умеют себя вести. Ты думаешь, они обратили бы на него внимание, если бы он был просто Артуром Флегенхаймером? А вот Немец Шульц имя для заголовка вполне подходящее.

Мистер Берман покачал головой и горестно всплеснул руками. Мне еще не приходилось видеть его таким расстроенным. Он был не похож на себя, передо мной сидел не одетый с иголочки денди, а небритый мужчина в пижамных штанах, рубашке, помочах и шлепанцах.

— Так о чем я говорил? — спросил он.

— О том, что мы уезжаем.

Он внимательно осмотрел мое лицо.

— Могло быть и хуже. Синяки укрепляют характер. Больно? — Я покачал головой.— Лулу увлекся. Он должен был только расквасить тебе нос, а не ломать его. Все сейчас нервничают.

— Ничего страшного,— сказал я.

— Да и вся история вышла некрасивой, это уж само собой.— Он поискал глазами сигареты на столе, нашел пачку с одной сигаретой, прикурил и откинулся в своем вращающемся кресле, положив ногу на ногу, сигарета застыла возле уха.— Иногда жизнь так закручивается, что за всем не уследить, и сейчас как раз такой период, мы здесь живем

ненормально, нам надо как можно скорее разделаться с судом и возвратиться домой. Вот сейчас я и подхожу к тому, что собирался сказать. Мистер Шульц будет очень занят, как на суде, так и потом, я бы хотел, чтобы сейчас его ничего не отвлекало от дела. Тебе ясно?

Я кивнул.

— Тогда почему она этого не хочет понять? Дело серьезное, ошибок мы больше допускать не вправе, головы наши должны быть ясными. Я прошу только, чтобы она отдохнула несколько дней. Поехала бы в Саратогу, посмотрела бега, неужели так трудно?

— Вы имеете в виду миссис Престон?

— Она хочет присутствовать на суде. Тебе не надо объяснять, что произойдет, стоит ей только появиться в зале суда? Неужели ей безразлично, что ее сфотографируют и обзовут загадочной женщиной или еще что-нибудь смехотворное придумают? Что ее муж все узнает? Да и мистер Шульц человек семейный.

— Мистер Шульц женат?

— На очаровательной женщине, которая с тревогой ждет его в Нью-Йорке. Да. И что это за вопросы? Мы все, малыш, женатые люди, у каждого есть семья, которую надо кормить. Онондага стала тяжелым испытанием для каждого, и все может пойти прахом из-за этой проклятой любви.— Он смотрел на меня очень внимательно, откровенно наблюдая за моими малейшими движениями, а может, даже мыслями. Потом сказал: — Я знаю, что ты проводишь с миссис Престон больше времени, чем я или любой из наших, еще с того первого вечера, когда ты ходил в ее отель и присматривал за ней. Верно я говорю?

— Да,— сказал я с пересохшим горлом. Я боялся сглотнуть, чтобы он не заметил, как судорожно дергается мой кадык.

— Я хочу, чтобы ты поговорил с ней и объяснил — ради мистера Шульца ей необходимо уехать на несколько дней. Сделаешь?

— А мистер Шульц хочет, чтобы она уехала?

— И да, и нет. Он хочет, чтобы она сама решила. Ты знаешь, есть женщины...— Казалось, он говорит сам с собой. После паузы он продолжил: — Женщины всегда были. Но за время совместной работы я его таким еще никогда не видел. Он ведь даже себе не признается, что она вертит мужчинами как хочет.

Зазвонил телефон.

— Ты меня пока не подводил,— сказал он, наклоняясь над столом, чтобы взять трубку. Потом бросил на меня знакомый взгляд поверх очков.— Смотри, не скурвись сейчас.

Я пошел в свою комнату поразмышлять об услышанном. Чтобы укрепить меня в желании освободиться от той жизни и той цели, которые я сам выбрал для себя, лучше и придумать было нельзя, и когда он сказал, что я должен поговорить с ней, я уже в точности знал, что буду делать дальше. Причем опасности я не преуменьшал. Интересно, это были мои собственные мысли о свободе или же я действовал под его влиянием? А опасность была настоящая. Все они были люди женатые, злые, непредсказуемые, дикие и необузданные, глубины их падения даже Бог не ведал, жили они тяжело, били без предупреждения. И мистер Берман всего, конечно, мне не сказал, я не знал, говорил ли он только от своего имени или же и от имени мистера Шульца тоже. Я не знал, что мне предстояло на этот раз — работать на самого мистера Шульца или же войти в сговор, чтобы наилучшим образом послужить его же интересам.

Если мистер Берман не хитрил, я мог гордиться тем, что он оценил мои способности и дает мне поручение, которое никто, даже он сам, лучше меня выполнить не сумеет. Правда, если ему было известно, что происходит между миссис Престон и мной, он все равно мог сказать то, что и сказал мне на самом деле. Если нас хотят убить, то убивать

будут, скорее всего, не в Онондаге. А что, если мистер Шульц больше не может позволить себе держать ее рядом? Что, если я ему тоже больше не нужен? Тех, кто работал на него, он убивал издалека. Я понимал, раз я уезжаю, то, скорее всего, уезжаю умирать: либо он выведал мою сердечную тайну и, следовательно, убьет меня, либо мое отсутствие наведет его на мысль о моем предательстве, и финал будет тот же самый.

Впрочем, все эти размышления отражали лишь мое внутреннее состояние. Ничего подобного мне никогда бы не пришло в голову, имей я чистую совесть и не замышляй ничего. Тут я обнаружил, что готовлюсь к отъезду. Теперь я был обладателем большого гардероба и прекрасного чемодана из мягкой кожи с ремнями и бронзовыми застежками; я аккуратно складывал свои вещи — совершенно новая для меня привычка — и старался думать о том времени, когда смогу побеседовать с Дрю Престон. Появились первые признаки тошноты, я узнал страх, но все же я ничуть не сомневался, что воспользуюсь шансом, который предоставил мне мистер Берман. Я знал, что скажет Дрю. Она скажет, что не хочет расставаться со мной. Она скажет, что у нее большие планы, связанные с ее любимым чертенком. Она скажет, чтобы я передал Берману: она готова ехать в Саратогу, но только вместе со мной.

В один из последних летних вечеров, когда мистер Шульц вместе с Дрю устраивал в физкультурном зале окружной школы большой прием для всех жителей Онондаги, я и остальные гангстеры выехали из отеля; я даже не знал куда, мы разместились с вещами в двух легковых машинах и грузовике; в кузове грузовика сидел Лулу Розенкранц со стальным сейфом и кипой матрацев. За все время, проведенное в Онондаге, я так и не смог привыкнуть к ночи, такой черной она была; я даже не любил выглядывать из своего окна, потому что ночь стояла неумолимо черная; уличные фонари превращали магазины и дома в ночные тени; за городом и того хуже — бесконечная ночь была похожа на ужасное беспамятство; в нее нельзя было вглядеться, в ней не было объема и прозрачности нью-йоркских ночей; она не обещала грядущего дня, хотя бы вы и были готовы спокойно ждать его, и даже если светила полная луна, она только обнажала для вас черные контуры гор и молочно-черные пустоты полей. И самое страшное заключалось в том, что деревенские ночи и были настоящими ночами; и, как только вы переезжали мост через Онондагу и фары вашей автомашины выхватывали из темноты белую линию проселочной дороги, вы понимали, насколько тонка мерцающая ниточка вашего следа в этой непроницаемой черноте, как ничтожно тепло вашего сердца и вашего мотора для этой безразмерной темноты — это тепло не больше того, что еще живет в теле новопогребенного, которому уже все равно, открыты его глаза или закрыты.

Меня пугала моя собственная преданность Шульцу. Его власть надо мной ослабляла мой разум. Можно жить решениями других людей и вести терпимую собственную жизнь, но только до тех пор, пока первые проблески протеста не покажут вам суть этих людей, а суть эта — тирания. Мне совсем не нравилось, что Дрю осталась с ним, там, а меня, словно чемодан, увозят неизвестно куда. Как я с удивлением обнаружил, тайком взглянув на спидометр, когда мы приехали, расстояние оказалось не ахти какое, всего двенадцать миль или около того, но я чувствовал, что каждая миля ослабляла мою связь с Дрю Престон, а в надежности ее чувств я уверенности не испытывал.

Мы остановились около дома; кто его нашел, снял или купил, мне до сих пор неизвестно; вокруг этого фермерского дома фермы не было; это полуразвалившееся, покрытое дранкой строение с покосившимся крыльцом стояло на грязном склоне, выраставшем неожиданно над

дорогой; с крыльца открывался хороший обзор и на запад, и на восток, оно, казалось, висело над дорогой. За домом склон шел еще круче вверх, лес на нем был темнее ночи, если это вообще возможно.

Так мы прибыли в нашу новую штаб-квартиру, которую и принялись осматривать с фонариком. Внутри очень скверно пахло; вежливые люди называют такой воздух «затхлым» — пахло старым нежилым деревянным домом; от окон остались одни прогнившие ставни; помет обитавших здесь животных успел превратиться в пыль; от входа вверх вела узкая лестница; справа от входа находилась комната, видимо, гостиная, а за маленьким коридорчиком под лестницей — кухня, там была удивительная штуковина в раковине, ручной водяной насос, сначала из него слегка покапало, а потом с шумом вырвалась струя ржавчины и грязи; Лулу пришлось спасаться бегством. «Хватит болтаться под ногами, иди принеси что-нибудь»,— прикрикнул он на меня. Я вышел на улицу к грузовику и помог перетащить в дом матрасы и картонные коробки с провизией и утварью. Все делалось при свете фонарика, пока Ирвинг не растопил камин в гостиной, что, конечно, улучшило дело, но не намного; на полу лежала дохлая птица, которая влетела сюда, скорее всего, через трубу, фантастично, потрясающе, я спрашивал себя, какой дурак выбирает жизнь в роскошных отелях, когда можно пожить в историческом особняке отцов — основателей Америки.

Поздно вечером приехал мистер Шульц, в руках он держал две большие коричневые сумки, заполненные судками с китайским грибным и куриным рагу из Олбани, и, хотя это, конечно, не добрая китайская еда, которой можно полакомиться в Бронксе, все равно мы приободрились. Ирвинг нашел несколько кастрюль, в них мы и разогрели ужин; мне досталось по приличной порции всего — и куриного рагу на горке дымящегося риса, и хрустящих жареных макарон, и грибного рагу на второе, и орешков нефелиума на десерт; бумажные тарелки немного размокли, но это ничего, ужин получился сытный, только вот чая не было, я пил одну воду, а мистер Шульц и другие запивали еду виски, что их, похоже, вполне устраивало. В гостиной горел камин, мистер Шульц закурил сигару и ослабил галстук; я видел, что настроение у него поднялось, видимо, ему хорошо было здесь, в этом укромном месте, вдали от людей, от которых он вот уже несколько недель не мог скрыться нигде в Онондаге и к которым возвращался уже завтра утром; мне кажется, он находил горькое удовольствие в этом бегстве в дыру, оно напоминало ему собственное положение, которое он оценивал, как осаду.

— Вы, ребята, о Немце можете не переживать,— сказал он, когда мы расселись вдоль стен.— Немец сам о себе позаботится. Выбросьте из головы Большого Джули, он ваших забот не стоит. И Бо тоже. Они оказались не лучше Винсента Колла. Все оказались гнилушками. А вас я люблю. За вас, ребята, на все пойду. Что я раньше обещал, то выполню. Если кого ранят или посадят, или, не дай Бог, еще чего хуже, не беспокойтесь, о ваших семьях будут заботиться так же, как если бы вы нормально работали. Вы это знаете. Это касается всех, малыша тоже. Мое слово — кремень. Надежнее страховой компании «Пруденшиал». А теперь о суде. Через несколько дней все кончится. Пока фэбээровцы все лето грели жопы на пляжах, мы тут почву удобряли. Общественное мнение на нашей стороне. Видели бы вы вчерашнюю вечеринку. Это, конечно, не то, что бы вы или я устроили, да мы еще, когда вернемся, и устроим, но этой деревенщине понравилось. Все происходило в спортивном зале местной школы, украшенном гофрированной бумагой и надувными шариками. Я нанял местный оркестрик со скрипочкой и банджо, и уж они постарались отработать свои денежки. Черт возьми, я сам пустился в пляс. Я плясал со своей красоткой в толпе мытых и чистых бедняков. Я к ним очень привязался. Умников вы среди них не найдете, здесь живут только трудолюбивые недотепы, которые безропотно вкалывают до самой смерти. Но и от них кое-что зави-

сит. Закон не Бог придумал. Закон — это общественное мнение. Я вам многое о законе могу рассказать. А мистер Хайнс еще больше. Когда мы заимели важнейшие полицейские участки, когда мы заимели местный суд и окружного прокурора Манхэттена, где был закон? Мы раздобыли человека, который будет меня завтра защищать, так вот он меня к себе на обед ни за что не пригласит. Он по телефону с президентом разговаривает. Но я заплатил ему столько, что он будет при мне, сколько потребуется. Вот так-то. Закон — это деньги, которые я плачу за него, закон — это мои накладные расходы. Трепачи могут одно сделать законным, другое — незаконным, все эти судьи, адвокаты, политики — они ведь тоже по-своему мошенничают, только стараются ручки не замарать. Разве их можно уважать? Не советую. Лучше уважайте себя.

Он говорил тихо, играя своим звучным голосом даже здесь, в двенадцати милях от Онондаги, в доме, который почти не виден с дороги в дневное время. Возможно, именно интимность каминного полумрака так влияет на людей, что они начинают слышать только собственные мысли и видеть одни тени.

— Они мне ведь честь оказывают,— продолжал он.— В конце концов, многие давно списали Немца в утиль. И все же сюда толпы народа понаехали, будто Онондага стала районом Нью-Йорка. Начиная от моего нового лучшего друга из центра. Так что все должно быть в порядке. Видите? Я четки раздобыл. Всегда с собой ношу. И на суд с собой возьму. Приятный сегодня вечер, и выпивка добрая. Я хорошо себя чувствую. Спокойно.

Наверху было две маленьких спальни, и после отъезда мистера Шульца я отправился спать в одну из них: не раздеваясь, я лег на матрас, голова моя оказалась под шипцом, и я попытался убедить себя, что сквозь тусклое оконное стекло вижу ночные звезды. Я не задавал себе вопроса, почему из двух маленьких спален одна полностью отдана мне, возможно, счел, что мне она полагается как воспитаннику, имеющему гувернантку. Когда я проснулся утром, то обнаружил в комнате еще двоих гостей, которые тоже спали в одежде на голых матрасах, их пушки в кобурах висели на крючках, торчащих в деревянной двери. Я встал, дрожа от холода, спустился вниз и вышел на улицу; еще толком не рассвело; уверенности, что вчерашний мир вернется, не было; он, казалось, застыл во влажной колеблющейся нерешительности, но вот что-то отделилось от этой белесой черноты, и в двадцати ярдах у дороги на уровне моего взгляда я заметил человека, в котором узнал Ирвинга; он сидел на верхушке телеграфного столба и сращивал провод, тот самый провод, что шел вверх по грязному склону мимо моих ног к передней двери фермы. Посмотрев за дорогу, я увидел там, внизу, белый дом с зеленой окантовкой и американский флаг, свисающий с большого шеста во дворе, а в сосновой роще за домом среди деревьев пряталось несколько белых кабинок с тем же зеленым обрамлением; у одной из них стоял носом к дороге черный «паккард» с покрытым инеем ветровым стеклом.

Обойдя наш дом с тыла, я нашел на склоне идеальное место, где мог отлить в неспешной задумчивости. Я вообразил, что если бы жил здесь, то постепенно образовал бы ущелье, не менее впечатляющее, чем то, которое нашла на прогулке Дрю Престон. Если я правильно понял появление двух храпящих незнакомцев наверху, мистер Шульц усилил огневую мощь своей банды. Я заметил также, что местоположение нашей развалюхи на обрыве очень удобно для обзора дороги в обоих направлениях. Едва ли кто сможет безнаказанно промчаться мимо дома на машине и расстрелять обитателей из автомата. Все это интересовало меня с технической точки зрения.

Но уже несколько часов спустя я уезжал, хотя не знал, надолго ли и куда. Моя жизнь перестала зависеть от меня, я уже был достаточно большой, чтобы понимать — далеко не все определяется моими решениями. Накануне вечером, когда мы сидели при свете камина, я почувствовал себя членом банды, причем за тем ужином в пустом укромном доме, ужином взрослых людей, гангстеров, которым уже нет пути назад, чувство это, видимо, было всеобщим, для меня такой внутренний звонок был громче колокольного звона, он возвещал конец юношеской самоуверенности, бессознательного убеждения, будто я могу убежать от мистера Шульца когда захочу. Я понял, что здешняя обстановка гангстерам ближе любой другой, что им здесь лучше, чем где бы то ни было еще. Я с нетерпением ждал, когда проснутся остальные члены банды. Я слонялся без дела, страдая от голода, и с тоской вспоминал мой завтрак в кафе, «Онондага Сигнэл», которую любил читать за завтраком, я тосковал по моей большой белой ванне с горячим душем. Можно было подумать, что я всю жизнь прожил в отелях. С крыльца я заглянул в окно гостиной. На столе стоял арифмометр мистера Бермана и телефонный аппарат, над которым колдовал Ирвинг; был там и кухонный стул с высокой спинкой; а посередине комнаты на полу торжественно покоился сейф компании Шульца. Сейф виделся мне неоспоримой причиной переполоха в последние сутки. Я смотрел на него не только как на вместилище наличности мистера Шульца, но и как на средоточие числового мира Аббадаббы.

Ирвинг заметил меня и приспособил к работе, мне пришлось подмести полы и протереть оконные стекла, чтобы в них хоть что-то было видно, потом я колол дрова для печи, отчего в носу засвербило, затем сходил в местный магазин, который находился в миле от дома, и купил бумажные тарелки и минеральной воды на завтрак — сущий бойскаут на загородном слете. Ирвинг вместе с Микки уехали на «паккарде», старшим остался Лулу, который заставил меня рыть яму для отхожего места, во дворе была уборная, по-моему, вполне пригодная, она, правда, чуть покосилась, но Лулу посчитал ниже своего достоинства пользоваться таким туалетом, так что мне пришлось взять лопату и рыть яму на ровном месте в лесу, над домом, все глубже вгрызаясь в мягкую почву; руки мои заныли и покрылись мозолями; наконец, меня сменил кто-то из мужчин; мне казалось, я знал все опасности, связанные с преступной жизнью, а вот смерти от устройства отхожего места я, как выяснилось, не учел. И только когда возвратился Ирвинг и решительно соорудил небольшой деревянный трон из сосновых досок над ямой, я вновь обрел уважение к достоинству труда, Ирвинг все делал классно, он во всем был для нас примером.

Приведя себя в приличный вид, насколько это было возможно в тех условиях, я вместе с Ирвингом и Микки уехал в Онондагу; мы остановились на площади против здания суда, но не вышли из машины. Почти все места для парковки на площади были заняты, а фермерские колымаги все подъезжали; из них выходили мужчины в чистых и глаженых комбинезонах и их жены в старомодных цветастых платьях и широкополых шляпках; они поднимались по ступеням и входили в двери, чтобы зарегистрироваться в качестве членов жюри присяжных. Я видел, как вверх по холму шли правительственные юристы с портфелями, видел и Дикси Дейвиса, очень серьезного рядом с немолодым дородным адвокатом, пенсне которого болталось на черной ленте; вдруг по двое, по трое стали появляться парни, у которых из карманов пиджаков торчали блокноты, под мышкой они держали свернутые газеты, а свои аккредитационные карточки заткнули, словно перья, за ленты шляп. Я очень внимательно разглядывал репортеров, пытаясь угадать, кто из них работает на «Миррор»; может, человек в роговых очках, который бежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки; или, другой, ослабивший узел галстука и расстегнувший ворот рубашки; о репортерах никогда ничего точно неизвестно, о себе они не пишут,

они для тебя просто бесплотные существа, навязывающие слова, из которых складываются представления и мнения, себя они не выдают, совсем как фокусники, только жонглирующие словами.

На площадке перед входом стояла группа репортеров с большими камерами «Спид Грэфикс», но входящих в здание людей не снимала.

— Где мистер Шульц? — спросил я.

— Он прошел туда еще полчаса назад, когда эти задрыги только завтракали.

— Его все знают,— сказал я.

— В том-то и трагедия,— сказал мистер Берман. Он вынул пачку стодолларовых банкнот и отсчитал десять бумажек.— В Саратоге не выпускай ее из виду. Плати за все, чего она пожелает. Она женщина своенравная, с ней могут возникнуть проблемы. Там есть заведение, которое называется Брук-клуб. Оно наше. Если у тебя появятся трудности, обратись к человеку, который там работает. Понял?

— Да,— сказал я.

Он протянул мне деньги.

— Сам на них не играй,— сказал он.— Если хочешь заработать несколько долларов, то... ты ведь все равно будешь мне звонить каждое утро. Я кое-что знаю. И подскажу. Понял?

— Да.

Он отдал мне клочок бумаги с секретным телефонным номером.

— Женщины и бега опасны даже в отдельности. Вместе они просто гибельны. Если ты справишься с Саратогой, малыш, тогда тебе все по плечу.— Он откинулся на спинку сиденья и закурил. Я вышел из машины, взял из багажника чемодан и махнул рукой на прощанье. Мне казалось в тот момент, что я знаю пределы возможностей мистера Бермана; он сидел в машине просто потому, что ближе к зданию суда приблизиться не смел; он не мог пойти туда, куда хотел, жалкий горбатый человечек, который любил очень ярко одеваться и курить сигареты «Олд Голд», только две эти слабости он и мог себе позволить в своей строго расчисленной жизни; оглянувшись, я увидел, что он смотрит мне вслед, бедный придаток Немца Шульца, его яркое отражение, зависимое и необходимое. В каком-то смысле именно он и управлял поразительным гением сокрушающей силы, который, оступившись, уже не поднимется никогда.

Глава шестнадцатая

Мгновение спустя на площади появился красивый темно-зеленый автомобиль с четырьмя дверцами и откидывающимся верхом, я не сразу понял, что за рулем Дрю, машину она не остановила, а лишь притормозила; я закинул чемодан на заднее сиденье, вскочил на подножку и, пока она переключала скорость, перевалился через дверцу на переднее сиденье, и мы уехали.

Я не оглядывался. Миновав на главной улице отель, с которым я мысленно попрощался, мы направились к реке. Я понятия не имел, где она раздобыла такую игрушку. Она себе, конечно, ни в чем не отказывала. Сиденья были покрыты светло-коричневой кожей. Желтовато-коричневый брезентовый верх был откинут и свернут на хромированных стояках, бóльшая его часть тонула в специальной нише. Приборная доска была облицована хорошим деревом. Я сидел, положив руку на дверцу и откинувшись на сиденье, и наслаждался теплом; она повернулась ко мне с улыбкой.

Здесь я расскажу, как Дрю Престон водила машину; она делала это как-то по-девчоночьи; переключая скорость, она вся наклонялась вперед, ее стройная ножка, закрытая платьем, нажимала резко на сцепление, плечи она опускала, губу закусывала, а руку, лежащую на набалдашнике переключателя скоростей, начинала двигать прямо от плеча. На шее у нее была повязана косынка, она радовалась, что я сидел

с ней рядом в ее новой машине, мы прогромыхали по деревянному мосту и выехали на развилку, от которой одна дорога уходила на восток, а другая — на запад, она свернула на восток, и от Онондаги остался только церковный шпиль да несколько крыш за деревьями; когда мы обогнули холм, исчезло и это.

Дорога шла среди гор и озер, мы мчались сквозь сосновые рощи, мимо маленьких белых деревенек, в которых единственный магазин занимал одно здание с почтой; она вела автомобиль сосредоточенно, положив обе руки на руль, и это выглядело со стороны столь заманчиво, что мне хотелось сменить ее и ощутить эту громадную восьмицилиндровую машину в своей власти. Но единственное, чему я пока не научился в своей гангстерской школе, это водить машину, а все же я убеждал себя, будто водить машину умею, хотя и не рвусь,— а вдруг она предложит мне попробовать? — я жаждал равенства, таким абсурдным желанием обернулась моя страсть; теперь-то я понимаю, каким несносным мальчишкой я был, как ненасытна была моя гордыня, но в то утро, утро нашей поездки среди дикой девственной природы, я должен был осознать, как далеки от меня нынешнего улицы Восточного Бронкса, где естественный мир явлен только в кучках конского навоза, раздавленного автомобильными шинами, из которого городские ласточки выклевывали сухие семена; я должен был почувствовать, каково дышать воздухом этих солнцем согретых гор в полном здравии, с тысячей долларов в кармане и с копошащимися в сознании видениями самых зверских убийств наших дней. Теперь я был серьезный парень, за поясом у меня торчал настоящий пистолет, и я понимал, что благодарить мне за это некого, что я должен принимать все как должное, поскольку всему этому есть цена, и цена настолько высокая, что я имею право насладиться тем, чем сейчас обладаю; я вдруг ощутил, что сержусь на Дрю; не отрывая от нее глаз, я мысленно рисовал себе все, что сделаю с ней, и, должен сознаться, мне доставляли удовольствие гадкие садистские картинки, порожденные моим горьким мальчишеским смирением.

И, разумеется, остановились мы тогда, когда этого захотелось ей; она бросила на меня взгляд, мелодично вздохнула, дескать, она сдается; мы резко свернули с дороги и запрыгали на кореньях, лавируя между деревьями; отъехав ровно настолько, чтобы нас не было видно из проезжающих мимо машин, мы остановились под высокими деревьями и сидели, молча глядя друг на друга в полном одиночестве; сквозь пятнистые кроны солнце то грело нас, то заливало ярким светом, легкая тень сменялась зеленоватым мраком.

Надо сказать, что Дрю в сексе шла окольными путями, сначала она целовала мои ребра и белую мальчишескую грудь, гладила бедра, ласкала мой анус, обсасывала мочки ушей и рот, и все это она делала так, словно ничего другого ей и не хотелось; она издавала короткие звуки от одобрения или удовольствия, будто комментируя свои действия; я слышал вздохи, бессловесные шепотки самой себе; она постепенно пожирала меня, съедала и выпивала, и совсем не для того, чтобы возбудить меня, какого мальчишку в такой ситуации требуется возбуждать? Я разбух с того самого момента, когда она остановила машину, и ждал, что она, наконец, обнаружит и эту часть моего тела, но она все медлила и медлила, и мне, в конце концов, стало нестерпимо больно; я думал, что сойду с ума, занервничал и только тут осознал ее достижимость, понял, что всем этим она лишь ждала, чтобы я сам открыл ее абсолютную готовность застыть и, для разнообразия, прислушаться ко мне. Это было по-девчоночьи, на удивление сдержанно и покорно, я не был искусен, я был просто самим собой, она заговорщицки хихикнула, испытывая удовольствие от собственного великодушия, не от возбуждения, а скорее от счастья принять в себя такого вот мальчишку; она обхватила меня ногами, и я, высунув ноги из открытой задней дверцы, раскачивал нас вверх и вниз на заднем сиденье, и, когда

я кончил, она обняла меня так, что я вздохнуть не мог; она всхлипывала и целовала мое лицо, будто со мной случилось что-то ужасное, словно меня ранили, а она в порыве безнадежного сочувствия старалась поправить непоправимое.

Потом я шел за ней, совершенно голой, сквозь кустарник в такую неистовую зелень — которую она выбрала намеренно, а может, и случайно, потому что умела превосходно концентрировать мир вокруг себя,— что она навсегда запечатлелась в моей памяти, я шел за мелькающим белым телом, огибая деревья под переплетенными кронами, уклоняясь от хлещущих веток; вокруг щебетали невидимые птицы, напоминая мне о том, как поздно я их для себя нашел. Земля становилась все болотистей, а воздух все влажнее; я начал шлепать себя по голому телу в месте укусов; мне захотелось догнать ее, схватить и трахнуть еще раз; зачем она привела меня в это комариное царство? Но тут я наткнулся на нее, она сидела на корточках, пригоршнями черпала грязь и покрывала ею свое тело; мы стали обмазывать друг друга грязью, а потом пошли, как дети, в сгущающуюся темноту леса, как попавшие в ужасную беду сказочные дети, держась за руки, а беда наша и на самом деле была нешуточной, и вдруг мы оказались у тихого пруда, такой черной воды мне в жизни видеть не приходилось, и Дрю, конечно, вошла в него и меня за собой потащила, Боже, ну и вонища там стояла, было тепло и пенно, ноги мои тонули во влажном ковре прудовой травы, мне пришлось переставлять их, чтобы не завязнуть, а они вязли, она проплыла на спине несколько ярдов, а затем поползла на четвереньках; тело ее покрылось невидимой слизью, мое тоже, мы легли в эту жижу, и я вонзился в нее и, вдавливая ее белокурую головку в грязь, я накачивал на нее слизистую муть; мы лежали, колыхаясь в этой грязной жиже; я кончил, схватил ее так, чтобы она не могла и пошевелиться, и остался в ней, слыша ее громкое дыхание прямо в мое ухо; подняв голову, я заглянул в ее обеспокоенные зеленые, с паническими искорками глаза, потом снова набух прямо в ней, и она начала двигаться, на этот раз все продолжалось долго, на третий раз всегда получается долго; и я услышал ее первобытный голос, похожий на смертельный хрип, пронзительный бесполый лай; я снова и снова вонзался в нее, хрипы перешли в дрожащий отчаянный плач, и вдруг она так пронзительно вскрикнула, что я решил, будто сделал что-то не так, поэтому я слегка отстранился, чтобы взглянуть на нее; губы ее в судороге обнажили зубы, зеленые глаза затуманились, они потеряли всякий смысл, словно она обезумела, впала в детство и беспамятство, и на какое-то мгновение они вообще потеряли все человеческое, превратившись в глаза бездуховного существа.

Но вскоре она уже улыбалась, благодарно целовала и обнимала меня, словно я сделал для нее что-то очень приятное, подарил цветок или что еще.

Когда мы поднялись, шатаясь, на ноги, с нас летели шматы грязи, она рассмеялась и повернулась, чтобы показать мне свою спину, которую в тени просто не было видно; тело ее словно раскололи надвое, грудь и лицо ее, напротив, по-скульптурному заливало светом. Даже золотая головка ее тоже казалась расколотой пополам. Пришлось возвращаться в пруд, она выплыла на середину и крикнула, чтобы я плыл за ней; вода становилась холодней, дно глубже; мы заплыли за излучину, я не отставал от нее, демонстрируя лучшие образцы кроля, которому учат в организации молодых христиан; мы вышли на берег на дальней стороне, смыли с себя всю грязь и, насколько возможно, болотную слизь.

К тому времени, что мы добрались до машины, мы уже обсохли, но одеваться было все равно неприятно, будто надеваешь одежду на сильные солнечные ожоги; от нас пахло болотной тиной и лягушками, несколько миль мы ехали, не откидываясь на спинки сидений; добравшись до мотеля, мы сняли номер и вымылись вместе под душем, намы-

ливая друг друга большим куском белого мыла, потом легли на кровать, и она свернулась калачиком около меня, положив мою руку себе на плечо, и этим уютным жестом создала, быть может, миг самой проникновенной интимности между нами, будто каким-то сказочным образом она стала моей ровесницей, подружкой, столь же страстно, как и я, мечтающей о повзрослении; нас отделяли друг от друга только телесные оболочки да длинная, полная ужасных сюрпризов жизнь впереди. Меня охватило чувство боязливой гордости. Я знал, что никогда не смогу обладать женщиной, которой обладал мистер Шульц, точно так же, как он сам не обладал женщиной Бо Уайнберга, потому что она маскировала свои следы, не оставляла после себя никакой привычки, приспосабливалась к обстановке, меняя свои настроения с каждым новым гангстером или мальчишкой; она никогда не напишет воспоминаний, даже если и доживет до глубокой старости; она никогда не расскажет о своей жизни, поскольку не нуждается ни в чьем обожании, поклонении или симпатии, поскольку все суждения, включая и суждения о любви, выражаются на языке самодовольства, который она так и не удосужилась освоить. Вот почему в том номере мотеля я чувствовал себя ее истинным защитником; она дремала на моей руке, а я следил за мухой, метавшейся под крышей нашего коттеджа; и вдруг понял, что Дрю Престон могла даровать только отпущение грехов, именно это вы получали от нее, а не совместное будущее. Было совершенно ясно, что такая проза, как спасение наших жизней, ее заинтересовать не могла, так что мне придется заниматься этим одному и за двоих.

Остальную часть дня мы ехали по Адирондакским горам; наконец, горы пошли на убыль, земля стала приобретать более обжитой вид, и ближе к вечеру мы въехали в Саратогу-Спрингс и покатили по улице, которая имела наглость называться Бродвеем. Но, присмотревшись, я заметил и кое-что утешительное, город был похож на старый Нью-Йорк, а точнее, на то, как, по моим представлениям, должен был выглядеть старый Нью-Йорк; были там приличные магазины с нью-йоркскими названиями и полосатыми тентами, закрывающими витрины от косых лучей заходящего солнца; пешеходы на улицах не чета онондагцам; фермеров среди них не было вообще, машины на дорогах тоже были классными, некоторыми управляли водители в униформах; люди, вполне определенно принадлежащие к зажиточным классам, сидели на длинных верандах отелей и читали газеты. Мне казалось ужасно странным, что никто не нашел лучшего занятия на вечер, чем читать газету, но только до тех пор, пока мы не поселились в своем отеле «Грэнд Юнион», самом красивом, с самой длинной и широкой верандой; один мальчишка-посыльный отнес в номер наши сумки, другой отогнал на стоянку машину, и тут я увидел, что все читают газету под названием «Программа скачек»; на стойке около администратора лежала целая кипа этих газет с завтрашней датой и тотализаторным бланком. И никаких новостей, кроме лошадиных, в этой газете не было,— в августе в Саратоге никто ничем, кроме лошадей, не интересуется, и газеты с этим считались, публикуя исключительно статьи о лошадях и лошадиные гороскопы, будто землю населяли только лошади да горстка эксцентричных чудаков, собравшихся вместе с единственной целью — почитать о лошадиных делах.

Оглядев холл, я обнаружил парочку человек, интерес которых к лошадям был, скорее всего, притворным; эти двое плохо одетых людей сидели на соседних креслах и лишь поглядывали в газеты. Дежурный узнал мисс Дрю и обрадовался, что она, наконец, приехала; они уже начали беспокоиться, сказал он с улыбкой, и я понял, что у нее здесь заказан номер на весь месяц лошадиных бегов, причем не важно, приезжает она на бега или нет; сюда в это время года она бы явилась и без разрешения мистера Шульца. Мы поднялись в грандиозные многокомнатные апартаменты, которые сразу показали мне, насколько

скромные и скудные услуги предоставлял нам отель «Онондага»; на кофейном столике стояла корзина фруктов с карточкой от администрации отеля, а в баре — поднос с бокалами и бутылями белого и красного вина, ведерко со льдом, четырехугольная бутылка с небольшой цепью, на этикетке которой было написано БУРБОН, еще одна такая же бутылка с надписью ШОТЛАНДСКИЙ и бутыль синего стекла с сельтерской водой; из длинных окон на пол почти отвесно падал свет, большие, медленно вращающиеся лопасти вентилятора, свисавшего с потолка, охлаждали воздух, кровати были необъятные, а ковры — толстые и мягкие. Как ни странно, но эта обстановка уронила мистера Шульца в моих глазах, потому что от него она никак не зависела.

Дрю наслаждалась, видя мой восторг, особенно когда, проверяя пружины кровати, я прыгнул спиной на постель, а она упала на меня, и мы стали кататься по кровати в шутливой борьбе, хотя и на самом деле испытывали силу друг друга. Она была достаточно ловкая, но я все равно быстро распял ее, так что ей пришлось сказать:

— Нет, нет, не сейчас, пожалуйста. На сегодняшний вечер у меня есть планы. Я покажу тебе кое-что совершенно замечательное.

Мы оделись в светлые летние наряды, я — в мой слегка измятый полотняный двубортный костюм, который она заказала для меня из своего магазина в Бостоне, она — в красивый голубой полотняный блейзер и белую плиссированную юбку. Мне нравилось, что мы одевались в своих комнатах, хотя двери между нами оставались открытыми, нравились мне и такие тщательные приготовления перед совместным появлением на людях. Мы прошли по холлу, где шаталось немало зевак, включая и пару моих обтрепанных приятелей; мостовые на улице отдавали тепло прохладному небу, и она предложила пройтись пешком.

Мы перешли улицу, я заметил, что полицейский регулировщик был в белой рубашке с короткими рукавами. К полицейскому управлению, которое столь легкомысленно одевало своих сотрудников, серьезно я отнестись не мог. Я не знал, в какое замечательное место она вела меня, но решил, что пора возвращаться из страны грез на землю. Было бы великолепно снова оказаться с ней в глухом лесу, но мы шли мимо аккуратных лужаек, в тени высоких деревьев прятались роскошные дома; это был ухоженный и солидный курорт, мне не хотелось замечать ничего, кроме нее; она была так ослепительна, что заставляла забыть обо всем; не нашлось ни одного прохожего, который не обратил бы на нее внимания; я этим по-дурацки гордился, но мы держались за руки, и тепло ее руки тревожило меня, оно напоминало о том, что она из плоти и крови, порождая в моем мозгу картины жестокого возмездия.

— Не подумайте, что я невежа,— сказал я,— но мне кажется, что мы не должны забывать, в каком положении находимся. Я сейчас отпущу вашу руку.

— А я не хочу.

— Это же только на время. Пожалуйста, отпустите. Я вам кое-что хочу сказать. На мой профессиональный взгляд, за нами следят.

— Зачем? Ты уверен? Как интересно,— сказала она, оглядываясь.— Где? Я никого не вижу.

— Не оглядывайтесь, пожалуйста. Вы ничего не увидите, поверьте мне на слово. Где находится то место, куда мы идем? Полицейским в этом городе, учитывая, что деньги они получают из Нью-Йорка, доверять нельзя.

— В чем?

— В чем?

— В том, что они сумеют защитить законопослушных граждан, которыми мы с вами хотим казаться.

— А от кого нас надо защищать?

— От таких же, как мы. От толпы.

— А я толпа? — спросила она.

— Да нет же, это я просто так говорю. Вы — любовница гангстера.

— Я твоя любовница,— сказала она, подумав.

— Вы — любовница мистера Шульца, — сказал я.

Стоял тихий вечер.

— Мистер Шульц — очень посредственный человек,— сказала она.

— Вы знаете, что ему принадлежит Брук-клуб? У него хорошие связи в этом городе. Вам не кажется, что он вам не доверяет?

— Конечно, он тебя прислал. Ты за мной следишь.

— Вы же сами об этом попросили,— сказал я.— Значит, они будут следить за нами обоими. Вы знаете, что он женат?

Немного подумав, она ответила:

— Да, пожалуй, знаю.

— Ну и что из этого следует для вас? Вы хотя бы представляете? Я считаю, он совершил смертельную ошибку, когда вытащил Бо из ресторана вместе с вами.

— Подожди,— сказала она. Дрю дотронулась до моей руки, и мы остановились, глядя друг на друга, в тени высокого кустарника.

— Вы считаете, что он посредственный? Так думали все, кто сейчас в могиле. Помните ночь, когда вы вышли из своей комнаты? А я снова уложил вас спать?

— Ну?

— Они избавлялись от трупа. От толстяка с тросточкой. Он украл какие-то деньги. Он, конечно, не вы. Я хочу сказать, мир без него ничего не потерял. Но ведь это было.

— Бедняжка ты мой. Так вот в чем дело.

— А помните, что было с моим носом? Так это мистер Шульц приказал Лулу расквасить мне его, чтобы оправдать кровь на ковре.

— Ты меня защищал.— Я почувствовал на щеке ее холодные мягкие губы.— Билли Батгейт. Мне нравится это имя, которое ты выбрал для себя. Ты знаешь, как сильно я люблю Билли Батгейта?

— Миссис Престон, я так в вас втюрился, что уже ничего вокруг не вижу. Но говорить об этом я не могу. Я даже думать об этом не решаюсь. Сюда приезжать не следовало. Может, нам уехать? Этот человек убивает постоянно.

— Мы еще поговорим об этом,— сказала она, взяв меня за руку, мы повернули за угол и, миновав высокие кусты, оказались у ярко освещенного павильона, в который стекались потоки людей, машины подъезжали, словно на концерт.

Мы стояли под тентом, освещенным голыми лампочками, и смотрели, как по грязному кругу водили лошадей, на каждой была небольшая бархатная попонка с номером, так что люди, стоявшие с напечатанными программками в руках, могли познакомиться с ее родословной и другими данными. Молодых лошадей, которые еще не участвовали в бегах, выставили на продажу. Дрю объясняла мне все это тихим голосом, как в церкви. Я был чересчур взволнован и почти ненавидел ее за то, что она привела меня сюда. Она не умела концентрировать внимание на важном. Ум ее работал ненормально. Я отметил, что шкуры лошадей лоснились, а хвосты были заплетены в косички, одни задирали головы и пытались сдернуть уздечку, или недоуздок, или как там это еще называется, другие вышагивали, опустив морду к земле, но все были невероятно тонконогие и двигались очень красиво. Их водили по кругу, кормили, тренировали и натаскивали для дела, жизнь их им не принадлежала, но они обладали природной грацией, как обладают мудростью, и я проникся к ним уважением. От них исходил приятный соломенный дух, что было под стать их величавому животному естеству. Дрю разглядывала их внимательно; когда при виде какой-нибудь лошади у нее от восторга перехватывало дыхание, она молча указывала на нее. По какой-то странной причине я начал ее ревновать.

Я заметил, что люди, рассматривающие лошадей, были одеты в аккуратные костюмы для верховой езды; мужчины носили шелковые галстуки; многие держали в руках длинные мундштуки, как у президента Рузвельта, вид у них был такой надменный, что я поневоле расправил плечи. Таких красивых, как Дрю, среди них, конечно, не было, но всех отличали длинные шеи; прямые и поджарые, они выделялись врожденной уверенностью, и я подумал, что было бы неплохо раздобыть программку с их родословной и другими данными. Как бы то ни было, но я стал понемногу расслабляться и, наконец, успокоился. Я находился в недоступном королевстве избранных. Человек из преступного мира тут сразу выдавал себя. По нескольким малозаметным взглядам, брошенным в мою сторону, я понял, что, несмотря на мой костюм, выбранный Дрю со свойственным ей большим вкусом, и фальшивые очки, которые я сподобился посадить на нос, они с трудом выдерживают меня. Мне пришло в голову, что Дрю бессознательно, но столь же уверенно, как и мистер Шульц, создавала вокруг себя свой мир.

После одного-двух кругов по рингу лошадей уводили через специальный проход в то, что с того места, где я стоял, казалось амфитеатром со зрителями и распорядителем. Дрю вывела меня на улицу и через освещенный парадный вход, где около своих машин стояли водители, мы вошли в амфитеатр и увидели сверху тех же самых лошадей под яркими светильниками аукционного ринга, распорядитель или аукционист расписывал их достоинства. А потом их брали под уздцы и подводили к возвышению, с которого аукционист руководил торгом; в торге, как я заметил, участвовали не те, кто сидел в креслах, а их агенты, они стояли там и сям в толпе и выкрикивали ставки, незаметно назначаемые их патронами. Все выглядело очень загадочно, ставки поражали воображение, поднимаясь скачками до тридцати, сорока, пятидесяти тысяч долларов. Такие суммы пугали даже лошадей, многие из них, появившись на ринге, роняли катыши дерьма. Тут же выходил негр в смокинге с граблями и совком убирал следы конфуза.

Вот такой был спектакль. Через три минуты я уже насмотрелся, а Дрю все никак не могла насытиться. Прямо над тем местом, где мы стояли, постоянно сновали люди, чем-то напоминая лошадей на ринге. Дрю встретила своих знакомых — супружескую чету. Потом к ним подошел мужчина, и вскоре она уже стояла в небольшой группе беседующих людей, не обращая на меня никакого внимания. Это настроило меня на соглядатайский лад, чего, впрочем, от меня и ожидали. Я был полон презрения, женщины здоровались, целуясь в щечку, но на самом деле они лишь слегка соприкасались щеками и целовали воздух около уха подруги. Все были рады видеть Дрю. У меня возникло ощущение какой-то органической инородности. Они захихикали, и я решил, что они смеются надо мной, совершенно невероятное предположение, что я и сам понимал, но все же отвернулся и, облокотившись на перила, начал рассматривать лошадей внизу. Я перестал понимать, что здесь делаю. Мне стало очень одиноко. Мистер Шульц смог удержать Дрю на несколько недель, меня ей хватило на пару дней. Зачем я рассказал ей о своих опасениях? Опасения ее не интересовали. Я открыл ей, как убили Джули Мартина, а она отреагировала так, словно я говорил об ушибленном пальце.

Но вот она подошла ко мне и обняла меня за плечо, и мы вместе стали смотреть вниз на новую, только что выведенную лошадь, и через тридцать секунд я уже снова любил ее без памяти. Недовольство мое рассеялось, и я уже корил себя за сомнение в ее постоянстве. Она сказала, что надо поужинать, и предложила поехать в Брук-клуб.

— Вы думаете, это хорошо? — спросил я.

— Будем играть свои роли,— сказала она.— Любовница гангстера и ее филёр, ее тень. Я умираю от голода. А ты?

До Брук-клуба мы доехали на такси; клуб оказался вполне элегантным заведением, большой навес, двери из цветного стекла, обби-

тые кожей стены, темно-зеленая мебель, маленькие затененные лампы на столах и фотографии знаменитых скачек на стенах. Он был побольше Эмбасси-клуба. Хозяин взглянул на Дрю и без лишних слов провел нас к столу рядом с небольшой танцевальной площадкой. Это был тот самый человек, к которому я в случае чего должен был обратиться, но посмотрел он так, словно меня и не было, заказ делала Дрю. Она заказала креветки, холодный ростбиф, черный хлеб и салат с анчоусами, я и не подозревал, насколько проголодался. Заказала она и бутылку красного французского вина, которую я пил вместе с ней, хотя большую часть выпила она. В клубе было так темно, что если бы даже ее друзья с бегов пришли сюда, то в этой полутьме они, скорее всего, не узнали ее. Мне снова стало хорошо. Вот она сидит за столом напротив меня, мы завернуты в свой кокон света, и мне приходится напоминать самому себе, что я был с ней, что я знаю ее физически, что она кончила, когда была со мной, потому как я хочу, чтобы это повторялось снова и снова, но с тем ощущением, будто все это в первый раз, с теми же вопросами, ожиданиями и игрой воображения, будто она была актрисой кино. В этот момент я начал понимать, что человек не способен помнить секс. Можно помнить сам факт, антураж, даже детали, но собственно секс, его субстантивную правду запомнить нельзя, он по природе своей самостирающийся; можно помнить его анатомию и суждение о том, насколько он понравился, но, что он из себя представляет как вспышка бытия, как потеря, как доказательство любви, от которой сердце останавливается, будто от казни,— этой памяти в мозгу нет, только вывод, что это произошло, да силуэт, который снова хочется наполнить деталями.

А затем на эстраде появились музыканты, это оказались мои друзья из Эмбасси-клуба, та же самая группа, с той же самой костлявой хмурой солисткой, которая поверх вечернего платья без лямочек накинула пелерину. Она сидела на стуле сбоку и кивала в такт первой инструментальной пьесы; заметив меня, она улыбнулась и махнула рукой, но кивков не прекратила; я был очень горд, что она узнала меня. Каким-то образом она сообщила обо мне другим оркестрантам; саксофонист повернулся ко мне и мотнул своей трубой; ударник рассмеялся, увидев мою спутницу, и повращал палочками; я снова почувствовал себя дома.

— Это мои старые друзья,— сказал я Дрю, перекрикивая музыку, я был рад показать себя бывалым человеком, сунув руку в карман, я убедился, что не потерял тысячу долларов мистера Бермана, и тут меня осенило, что в паузу следовало бы купить выпивку для оркестра.

К концу ужина Дрю немного окосела, она сидела, положив локти на стол и подперев щеку рукой, и глупо улыбалась мне. Я уже перестал волноваться; темнота ночного клуба успокаивала, такая темнота служит убежищем, не то что обнаженная темнота настоящей ночи с неимоверным весом непредсказуемого неба; музыка была понятной и глубокой; они исполняли свои обычные песни, одну за другой, каждая казалась значимой и своевременной; каждая сольная мелодическая линия обладала ясностью истины. И так получилось, что они спели песню «Я и моя жизнь»; услышав ее, мы рассмеялись. *Мы с те-е-енью идем по проспе-е-ек-ту вдвоем* — пелось в этой хитрой песне; мне почудилось, что в ней содержится какое-то послание о нашей общей тайне, я бы не удивился, если бы сейчас в зал просеменил Аббадабба Берман, как всегда, я не мог чувствовать себя в безопасности, находясь вдали от мистера Шульца; Дрю хорошо придумала прийти сюда; если за нами следят, то мы правильно сделали, ужиная в его клубе; как лояльные люди мы возвращаем ему деньги, это было его владение, здесь я чувствовал себя ближе к нему, потому и перестал бояться.

Я решил впредь не волноваться и препоручить нашу судьбу импульсивным желаниям Дрю, подчиниться ей как радетельнице интересов мистера Шульца; она знала больше меня — оно и понятно,— и то,

что мне представлялось ее непрактичностью, было проявлением силы ее натуры. Она на самом деле неплохо ориентировалась в этом мире и, несмотря на все свое безрассудство, была пока еще жива. И в Саратоге ей на самом деле ничего не угрожало. Да и присматриваю я за ней по заданию мистера Шульца. Я не знаю, кто предложил поездку сюда — к примеру, она могла делать вид, будто не хочет уезжать из Онондаги, а мистер Берман все же настоял на своем.

Затем около нашего столика начались танцы, и, когда она захотела потанцевать со мной, я решительно заявил, что нам пора домой. Счет я оплатил, следуя ее совету о чаевых, а уходя, оставил деньги для оркестрантов. До отеля «Грэнд юнион» мы доехали на такси и демонстративно вошли в разные двери своих сообщающихся номеров; оказавшись же внутри, с хихиканьем открыли разделявшую нас дверь.

Но спали мы каждый в своей кровати; проснувшись утром, я обнаружил на подушке записку: она уехала завтракать с друзьями. Она написала, чтобы я купил пропуск в клуб и ждал ее в полдень на ипподроме. Там же она указала номер своей ложи. Мне нравился ее почерк, она писала ровно, круглыми буквами, с почти типографской аккуратностью, точки обводила маленькими кружками.

Я принял душ, оделся и бегом спустился вниз. Два соглядатая исчезли. В гостиничном киоске я купил утренние газеты, вышел с ними на галерею, сел в плетеное кресло и прочитал их все. Жюри присяжных было уже отобрано. Защита ни разу не воспользовалась своим правом отвода. Сам суд начнется сегодня, прокурор, по свидетельствам журналистов, сказал, что суд продлится не более недели. «Дейли ньюс» опубликовала фотографию мистера Шульца и Дикси Дейвиса, беседующих голова к голове в коридоре суда. На снимке в «Миррор» мистер Шульц спускался по ступеням здания суда с широкой деланной улыбкой на лице.

Выйдя из отеля, я нашел на Бродвее аптеку с телефоном. Разменяв пригоршню мелочи, я попросил телефонистку соединить меня с номером, который я получил от мистера Бермана. До сего дня не знаю, как ему удавалось добывать телефонные номера, о которых не подозревала даже телефонная компания, но на мой звонок он ответил сразу. Я рассказал ему, что мы добрались до города в намеченное время, посетили аукцион лошадей-однолеток и что нынешний день собираемся провести на скачках. Я сказал ему, что миссис Престон встретила здесь своих друзей, глупцов, с которыми и ведет глупые разговоры. Я сказал, что накануне мы ужинали в Брук-клубе, но я решил не раскрывать себя хозяину, поскольку все шло нормально. Я говорил ему только правду, зная, что он все и так уже знает.

— Хорошо, малыш,— сказал он.— Хочешь заработать немного денег?

— Конечно,— сказал я.

— В седьмой скачке обрати внимание на лошадь под третьим номером. Выигрыш будет неплохой, и вероятность его весьма велика.

— Как ее зовут?

— Откуда я знаю? Посмотри в программку, но главное, запомни число три, ты ведь можешь запомнить три? — Он говорил раздраженно.— Весь выигрыш можешь оставить себе. Возьми его с собой в Нью-Йорк.

— В Нью-Йорк?

— Да, поезжай поездом. Ты нам потребуешься. Отправляйся домой и жди там.

— А как быть с миссис Престон? — спросил я.

В этот момент вмешалась телефонистка, попросила доплатить пятнадцать центов. Мистер Берман узнал, с какого номера я звоню, и при-

казал мне повесить трубку. Я так и сделал, и почти тотчас телефон зазвонил.

Я услышал, как он зажигает спичку, а затем выдыхает полные легкие дыма.

— Ты уже дважды назвал людей по имени.

— Виноват,— сказал я.— Но что мне с ней делать?

— Где эта птичка сейчас?

— Завтракает.

— Два твоих приятеля сейчас в дороге. Ты, возможно, увидишь их на ипподроме. Может, один из них подвезет тебя до станции, если ты хорошо его попросишь.

Вот что я думал, бродя по улицам Саратоги вокруг одного и того же квартала, но делая вид, будто куда-то иду: они дали мне все эти деньги не на один-два дня, их вполне хватит на самые щедрые недельные траты — отель, рестораны, ставки на бегах, если Дрю Престон вдруг захочет поиграть. Но что-то изменилось. Либо я им действительно нужен в Нью-Йорке как авангард, либо они усылают меня туда, где я не буду им мешать, но что-то изменилось. Может, оставшись без Дрю, мистер Шульц дал уговорить себя, что она опасна для него, а может, его охлаждение всего лишь отражало ее равнодушие; мистер Берман считал, что мистер Шульц безоглядно влюблен, но, подумав, я понял: уже через неделю, что я провел в их обществе, мистер Шульц перестал замечать Дрю; она превратилась во что-то вроде витрины, украшения; она перестала быть возлюбленной, по которой вздыхают и которой жмут ручку, с которой ведут себя трогательно и глупо, как и подобает влюбленным. Какое бы решение они ни приняли, естественно было ожидать худшее. Я горжусь тем мальчишкой, которым был, горжусь тем, что не потерял головы, несмотря на весь ужас своего положения; как известно, быстрее всего соображает тело, тело соображает уверенно, безошибочно; оно, в отличие от мозга, не зависит от характера, и счастливая догадка моего тела состояла в том, что должно случиться наихудшее; я не помню, как вошел в отель, пересек холл, но осознал себя уже в своей комнате, рука моя сжимала заряженный пистолет. Так мне стала ясна моя догадка. Наихудшее означало, что он изменил к ней отношение, что ему требовались новые смерти, он так быстро теперь насыщался очередной смертью, что следующая была ему нужна все быстрее и быстрее. Что Дрю может ему сказать или сделать, если он не способен защитить себя самого, если он не в ладах с законом, если его банда разлетается, словно осколки разорвавшейся бомбы, а он остается один, как те плачущие китайчата после бомбежки, и вокруг него все рушится?

Интересно, что мистер Шульц знал о предательстве все, кроме того, как оно творилось в той радостно-плотоядной атмосфере, в которой жил каждый из нас, иначе зачем бы его Аббадаббе было подсказывать мне номер лошади? Мистеру Шульцу не хватало воображения, ум у него был обычный; Дрю права, он посредственность. Но как бы то ни было, на мне теперь лежала невообразимая ответственность, я должен все организовать, заставить людей действовать по моему разумению, хотя способов влияния на них у меня не было никаких. Обдумывая свое положение, я вспомнил, что в кино влиятельные люди имели помощников и секретарей. Карточка, лежавшая прямо перед моим носом, предлагала список услуг отеля «Грэнд юнион», включающих массажиста, парикмахера, цветочника, представителя «Вестерн юнион» и много чего еще другого. Весь отель был в моем распоряжении. Успокоившись, я снял трубку телефона и самым своим низким и тихим голосом, чуть гнусавя на манер друзей Дрю Престон, сообщил телефонистке отеля, что хочу связаться с мистером Харви Престоном из «Савой-Плаза» в Нью-Йорке, а если он там не живет, то выяснить его новый номер телефона, возможно, в Ньюпорте. Когда я повесил трубку, у меня, непревзойденного жонглера, дрожали руки. Рассудив, что Харви найдут не сразу, а

если найдут, то непременно в постели с компаньоном по его вкусу, я позвонил в отдел обслуживаня, где мой заказ выслушали с почтением; я заказал сладкую дыню, кукурузные хлопья со сметаной, яичницу с ветчиной, колбасу, тосты, повидло, пирожки с мясом, молоко, кофе — больше в меню ничего не было. В ожидании завтрака я сел в кресло у открытых окон и сунул пистолет под подушку. Мне казалось очень важным сидеть не шевелясь, будто в очень горячей ванне. Машину, конечно, поведет Микки, а с ним, скорее всего, будет Ирвинг, ведь любое дело в Саратоге потребует точности, а возможно, и терпения, тут важнее сосредоточенное умение, а не дикая ярость. Мне они оба нравились. Тихие мужчины, которые никому не желали зла. Они не любили жаловаться. Даже внутренне противясь, задание они все равно выполнят.

Я обдумывал, что скажу элегантному Харви. Я очень надеялся, что его отыщут по телефону. Сказать ведь можно и правду. Он, конечно, выслушает меня, хотя безопасность жены, похоже, все это лето его мало занимала; наверняка неоплаченные счета и погашенные банковские чеки лились на него потоком. Я буду говорить сугубо по-деловому. В тот момент у меня никакого личного интереса к миссис Престон не было, и уж заведомо я не испытывал ничего, что бы окрасило мой голос любовью или виной. Да и вообще перед Харви я вины чувствовать не мог. Но, помимо этого, я, кажется, потерял в тот момент всякую способность к сексуальному влечению, ужас убивает его, я не только не помнил, как ласкал Дрю, но теперь и вообразить этого не смел. Она меня не интересовала. В дверь постучали, в номер въехал мой завтрак, тележку под белой скатертью превратили в обеденный стол. Все блюда были сервированы на массивном серебре. Дыня лежала в ведерке со льдом. Предыдущим вечером я узнал от Дрю, что платить большие чаевые не принято, и отослал официанта надменным жестом. Я сидел, чувствуя, как мне в зад упирается дуло пистолета, и смотрел на этот грандиозный завтрак так, словно на моей тарелке лежали все яства Батгейт авеню. Я скучал по матери. Где мой черно-белый клубный пиджак «Шэдоуз»? Как хорошо воровать продукты с тележек, слоняться около пивных складов и ждать появления великого Немца Шульца.

В полдень, уложив вещи в сумку и оставив ее внизу у портье, я выяснил, где находится ипподром, и отправился туда пешком. До него было около мили пути по широкому бульвару, застроенному темными трехэтажными зданиями, каждое из которых имело большое крыльцо, здания стояли впритык друг к другу. В передних двориках висели объявления ПАРКУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ, обитатели домов стояли на обочине и взмахом руки зазывали проходящие машины к себе. В Саратоге каждый пытался заработать, даже владельцы таких больших островерхих домов. Большинство водителей направлялось к стоянке ипподрома, на перекрестках полицейские в рубашках с короткими рукавами жестами подгоняли машины. Никто, казалось, не спешил, черные автомобили двигались с респектабельной медлительностью, никто не сигналил и не пытался обогнать друг друга, такой чопорной автомобильной кавалькады мне еще видеть не приходилось. Я высматривал «паккард», хотя и знал, что его здесь быть не может. Если они выехали рано утром, то даже с Микки за рулем раньше, чем к трем часам дня им все равно сюда не добраться. Неожиданно, будто башня замка с вымпелом, среди деревьев появилась зеленая крыша трибун, и вот я на ипподроме; множество людей в панамах и под зонтами придают дню праздничность; они идут через ворота, в руках у них бинокли, мужчины набрасываются на программки, ипподром поменьше стадиона «Янки», но все равно значителен; в этом деревянном строении, выкрашенном в белые и зеленые цвета, было что-то от старого заслуженного парка с клумбами

вдоль дороги. Я встал в очередь за билетами, но выяснилось, что мне, несовершеннолетнему, без взрослых билет не продадут, парню, который сообщил мне об этом, я хотел сунуть в рожу дуло пистолета, но сдержался и попросил пожилую чету купить для меня билет и провести меня на ипподром, что они любезно и сделали, как это унизительно для близкого сообщника одного из самых жестоких гангстеров страны.

Потом, когда я поднялся по лестнице на трибуны и впервые увидел большой зеленый овал внизу, я тотчас же успокоился; приятно было смотреть из глубокой тени на зеленое, залитое солнцем поле, мне было знакомо это чувство, оно возникало и на бейсболе, и на футболе, а теперь я убедился, что его может вызвать и дорожка ипподрома — чувство радостного ожидания предстоящего спортивного поединка, будущей борьбы, призрачных лошадей, несущихся к финишной черте в первобытном великолепии воздуха и света. Это место по мне, я упивался неожиданной уверенностью, которую рождает узнавание.

Вот в такой прекрасный день я взвалил на себя бремя серьезнейшей ответственности; казалось, что весь мир пришел играть на бегах, простые люди будут делать ставки на трибунах и стоять под солнцем у поручня, вглядываясь в дорожку, от которой им видна только финишная часть, более зажиточные сидят повыше под деревянными навесами, так что им видно побольше, у переднего края трибун разместились ложи, которые на весь сезон закупают политики, богатеи и знаменитости, но если в какой-то день ложи свободны, то их можно занять, подкупив служителя, и, наконец, на специальном основании над трибунами возвышался дорогой клубный домик, где в ожидании начала скачек за столиками завтракали настоящие ценители. Я нашел Дрю именно там, за столиком на двоих, перед ней стоял бокал белого вина.

Я, разумеется, знал, что, говори ей, не говори, она все равно не уйдет, не сделав ставок. Я также знал, что если я расскажу ей об опасности или каким-то образом выдам свой страх, то глаза ее затуманятся, ум отключится, душой и разумом она замкнется в себе и тот свет, что горит сейчас в ее глазах, померкнет. Ей нравилась моя зрелость. Она любила мою уличную бесшабашность, ей нравилось, чтобы ее мальчишки были услужливыми и смелыми. Поэтому я сказал ей, что точно знаю, какая лошадь придет первой в седьмом забеге, и что собираюсь поставить всю свою наличность на эту лошадь и заработаю много денег,— ей хватит на конфеты и шелковое белье на всю оставшуюся жизнь. Хотя говорилось это в шутку, но слова звучали сдавленно, с большей выразительностью, чем мне хотелось, они будто провозглашали мою детскую любовь, и бездонные зеленые глаза ее заискрились. А потом мы оба сидели в молчании и великой грусти, казалось, каким-то своим особым чутьем она поняла все, что я не решился сказать. Я не мог смотреть на нее и, отвернувшись, разглядывал облитый солнцем ипподром, длинную, широкую, тщательно ухоженную и взрыхленную овальную дорожку с белым забором, внутри которого находился еще один, травяной, овал с препятствиями для стипль-чейза, а внутри него виднелись куртины белых и красных цветов и пруд с настоящими лебедями, которые скользили по воде, и все это располагалось в большой цветущей долине, простиравшейся до далеких Беркширских холмов на востоке, но я видел один только овал и обегал взглядом замкнутую дорожку, будто это была бесконечная переборка, будто дышал я не прекрасным воздухом, а удушающими выхлопами дизеля в кубрике буксира, будто каждое мгновение, прожитое нами с тех пор, существовало лишь в моем воображении и служило отсрочкой того момента, когда огромное вздымающееся море разверзнется и проглотит ночную жертву, будто малознакомые мне, уже мертвые люди пока еще не умирали.

Домик потихоньку заполнялся людьми, и хотя ни она, ни я есть не хотели, мы жевали холодную лососину и картофельный салат; наконец, на дорожке появились верховые в красных камзолах, пропела труба, и лошади со своими жокеями медленно прошли мимо нас к дале-

кому вираж у, где находились стартовые ворота, и первая из дневных скачек началась; лошади будут стартовать каждые полчаса, каждые тридцать минут они будут мчаться по широкой взрыхленной дорожке милю, больше, а иногда меньше, вы видите сначала, как они вырываются из стартовых ворот, а потом, если у вас нет бинокля, они превращаются в катящееся облако, будто по дальней стороне дорожки катится одно животное, причем катится не так уж и быстро, и только когда оно снова становится исхлестанными и иссеченными перенапрягшимися лошадьми, ты понимаешь, какую длинную дистанцию и за какое короткое время они проскакали, ты понимаешь, что за стремительные бестии эти лошади, которые несутся вскачь мимо тебя и пересекают финишную черту перед трибунами, под привставшими в стременах жокеями. Во время скачки много шума, гама, криков и возгласов, но это совсем не тот шум и не те крики, которые звучат на бейсбольном стадионе, когда Лу Джериг добегает до своего города; это не звуки счастливой жизни, и они прекращаются сразу после финиша первой лошади; они умирают мгновенно, словно от удара плеткой; и все возвращаются к своим программкам, чтобы потратить следующие полчаса на новые ставки, и только победители гудят от радости или галдят, переживая выигрыш; сами лошади здесь никого не интересуют, разве что владельца, стоящего в круге победителя перед трибунами и позирующего перед фотографами вместе с жокеем и самой лошадью в венке из гвоздик.

И я понял, что имел в виду мистер Берман, когда говорил о значении номеров, которые несут на себе лошади по дорожке; эти номера появляются на больших стендах перед трибунами и обозначают очередность прихода на финиш. Даже для самых зажиточных фермеров, которые покупают на торгах однолеток, тренируют их, посылают участвовать в скачках и зарабатывают на них состояния, лошади всего лишь бегущие числа, живые номера.

Но все эти впечатления я впитывал лишь, фигурально выражаясь, уголками глаз, периферией моего внимания; я то покидал Дрю, то возвращался к ней, а потом проводил ее в ложу и оставил там, а сам отправился высматривать повсюду знакомых гангстеров и гангстеров мне не знакомых, поскольку сегодня были не лошадиные смотрины для избранных, как предыдущим вечером, а большой сбор всех бездельников мира; я видел людей, которые совали свои два доллара в окошечко кассы — совершенно конченые типы, видел мужчин в майках, стоящих на солнце у перил и сжимающих билеты, которые были их единственным шансом выбраться, из чего угодно, но выбраться, мне еще не доводилось видеть в яркий солнечный день столь бледных людей; на каждой трибуне в каждом ряду встречались такие, кто знал больше других; они цедили слова сквозь зубы и кивали с умным видом, то была ветхая трибуна жизни, прибежище нечистых занятий; любители разбавленного виски со льдом хотели от жизни слишком многого и теряли не меньше; они стояли в очередях к кассам, исполняя на этих скрипучих, старых деревянных трибунах демократические ритуалы азартной игры.

Единственное, о чем я попросил Дрю, это не спускаться в загон, где знатоки осматривают лошадей, еще до того как их выводят на дорожку, а сидеть в своей номерной ложе, расположенной рядом с губернаторской около финиша, и наблюдать за всем через бинокль.

— Ты не хочешь, чтобы я играла?

— Играйте, если хотите. Но я сам схожу в кассу.

— Впрочем, это не важно.

Своей задумчивостью и спокойствием она создавала вокруг себя тишину, которую я принимал за какой-то вид скорби. Она спросила:

— Ты помнишь того человека?

— Какого человека?

— С больной кожей. Которого он так уважает.

— С больной кожей?

— Да, того в машине, с телохранителями. Который приезжал в церковь.

— Конечно. Человека с такой кожей забыть невозможно.

— Он посмотрел на меня. Не хочу сказать, что в этом взгляде был вызов или что-то вроде этого. Просто он посмотрел на меня, и я поняла, что он знал, кто я такая. Так что, должно быть, я встречала его раньше.— Она сжала губы и покачала головой, не поднимая глаз.

— Вы не помните?

— Нет. Это, видимо, было ночью.

— Почему ночью?

— Потому что каждую ночь я чертовски напиваюсь.

Я размышлял.

— Вы были с Бо?

— Думаю, да.

— Мистеру Шульцу вы об этом никогда не говорили?

— Нет. Ты думаешь, что стоило?

— Мне кажется, это важно.

— Да? Ты думаешь, важно?

— Да, может быть.

— Ты сам скажи ему. Ладно? — И она поднесла бинокль к глазам, к старту уже готовился следующий забег.

Через несколько минут в ложе появился посыльный в униформе, он принес огромный букет цветов для Дрю, целую охапку цветов на длинных стеблях; она взяла их и зарделась, потом взглянула на карточку, там, как я и продиктовал, значилось: «От обожателя»; Дрю засмеялась и огляделась вокруг; а потом взглянула и наверх, за спину, на трибуны, будто выискивая того, кто бы мог их прислать. Я подозвал к себе посыльного, сунул ему в руку сложенную пятидолларовую бумажку и попросил принести кувшин с водой, что он и сделал; Дрю цветы поставила в кувшин, а кувшин — на стул рядом с собой. Она повеселела, люди в соседних ложах заулыбались и стали делать подобающие замечания, а затем появился еще один посыльный в униформе, на этот раз с таким невероятным цветочным сооружением, которое требовало целой корзины; оно напоминало дерево с цветами типа кукурузных метелок и большими веерообразными листьями; были там еще голубые и желтые колокольчики со свисающими хвостиками и карточка «Всегда Ваш»; теперь Дрю уже смеялась так, как смеются, получив поздравление с днем святой Валентины или неожиданный подарок на день рождения. Понятия не имею, ответила она джентльмену, который перегнулся через перила и спросил, какой у нее сегодня праздник. А когда пришли еще более внушительные третья и четвертая посылки, последняя состояла из нескольких дюжин роз на очень длинных стеблях, ложа преобразилась; Дрю сидела в цветочных зарослях, в соседних заинтригованных ложах царило оживление, люди вставали со своих мест, стараясь увидеть, что происходит; трибуны зашумели, со всех сторон подходили с вопросами; некоторые решили, что она кинозвезда; молодой человек спросил, можно ли взять у нее автограф; цветов у нее было больше, чем у победителя кубковой скачки, и в руках, и вокруг нее, но, что намного важнее, вокруг нее были люди, которые пришли выяснить, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Подошли к ней и ее друзья из лошадиного клуба, они расселись в ложе и принялись отпускать шутки, одна женщина пришла с двумя детьми, двумя маленькими светленькими девочками, подстриженными «под горшок», в белых платьицах, лентах, белых носочках и белых начищенных туфельках, милыми стеснительными девчушками; Дрю сплела для них из цветов пояски, которые девчушки держали в руках, прибежал фотокорреспондент из местной газеты и начал щелкать вспышкой; все шло хорошо, мне хотелось оставить детей в ее ложе, я спросил у матери, не хотят ли они мороже-

ного и со всех ног бросился за ним, а по пути успел заказать в баре клубного домика пару бутылок шампанского и несколько бокалов; во избежание затруднений мне пришлось помахать перед носом бармена своим билетом и упомянуть имя Дрю, и вскоре она уже угощала прямо в ложе своих гостей, а я стоял чуть поодаль и наблюдал, как служащие ипподрома, гарцующие верхом на лошадях, бросали с дорожки взгляды в ее сторону, точь-в-точь королева в украшенной цветами ложе с девочками-фрейлинами, в честь которой гости поднимают бокалы.

Все складывалось как нельзя лучше, впереди еще было вручение коробок конфет от гостиничного кондитера; я, понятно, не хотел оставлять ее одну, и в запасе у меня еще имелись кое-какие хитрости; отступив назад, я полюбовался своей работой, она мне понравилась; все, что требовалось,— это продолжать в том же духе, как долго еще, я не знал, может, еще одну скачку, может, две, маловероятно, чтобы гангстеры-профессионалы решили исполнить приказ на переполненном ипподроме и добавить в историю великих бегов главу о необъяснимом покушении, и если они уже проверили отель, то наверняка увидели незапакованные вещи и убедились, что убегать она не собирается, но я ни в чем не мог быть уверен до конца, потому-то мне и потребовалось создать вокруг нее подвижный щит типа купола из летящих по жонглерским орбитам мячей, тысячи вращающихся скакалок, фейерверка цветов или жизней богатых малюток.

Таково было положение, и, видимо, во время пятой скачки, когда лошади неслись вдалеке и все зрители прильнули к биноклям, я почувствовал, что один бинокль из тысяч направлен не на лошадей, а в другую сторону — обладатель этого бинокля стоял внизу, на солнце, у перил,— да разве можно не почувствовать в мгновенно блеснувшем луче туннеля, сквозь который вы смотрите в глаза человека, следящего за вами, не догадаться, что, отделенные от него великим противостоянием света и тени, а также орущими толпами, вы находитесь под самым непосредственным наблюдением? Отвернувшись, я помчался по деревянной лестнице вниз, пробежал мимо кабин комментаторов, рядом с которыми стояло, на удивление, много людей и слушало дикторский отчет о скачке, хотя, чтобы увидеть все собственными глазами, им было достаточно подняться всего на несколько ступеней. На земле валялись выброшенные билеты тотализатора, и, будь я на несколько лет моложе, я бы, наверное, бросился поднимать их; как откажешь себе в таком удовольствии, когда вокруг валяется множество одинаковых листков, которые не запрещают собирать; но люди, там и сям сидевшие на корточках, переворачивавшие, поднимавшие и снова выбрасывавшие билеты, были взрослые несчастные сентиментальные неудачники, которые надеялись на чудо, на выброшенный по ошибке счастливый билет.

На солнцепеке перед трибунами я тотчас же окунулся в жару, свет слепил глаза; из-за голов орущих болельщиков я видел, как проскакали размытым комом стремительные лошади. Их было не только видно, но и слышно, слышен был топот копыт и свист плеток. Что хотели лошади в скачке — победить или убежать? Ирвинга и Микки я нашел около перил, выглядели они как заправские игроки — в клетчатых куртках, на плече у каждого футляр для бинокля, лысину Микки прикрывала панама, глаза защищали темные очки.

— Сдохла на прямой,— сказал Ирвинг.— Работает одними ногами, без сердца. Если у тебя есть сострадание, всю дистанцию ты такую скаковую лошадь гнать не будешь,— сказал он, порвав несколько билетов и бросив их в ближайшую урну.

Микки направил свой бинокль на трибуны.

— Ее ложа рядом с финишной чертой,— сказал я.

— Мы знаем. Не хватает только американского флага,— сказал Ирвинг своим свистящим голосом.— Что там происходит?

— Он счастлив видеть ее.

— Кто это?

— Мистер Престон. Мистер Харви Престон, ее муж.

Ирвинг навел свой бинокль на ее ложу.

— Как он выглядит?

— Высокий. Старше ее.

— Не вижу. Во что он одет?

— Дай-ка я взгляну,— сказал я, постучав Микки по плечу. Он отдал мне свой бинокль, и, когда я навел на резкость, Дрю обернулась с беспокойным взглядом, такая близкая, что мне захотелось крикнуть «Я здесь, внизу», но радость моей жизни смотрела в другую сторону, а там действительно появился Харви; он спускался по лестнице и махал ей рукой, через миг он уже обнимал ее в ложе, она прижалась к нему, потом они стояли, держа друг друга за руки и улыбались; он говорил что-то, она искренне радовалась его приезду, потом сказала что-то, а затем они оба огляделись вокруг, он покачал головой и развел руками; она засмеялась, вокруг них толпились люди, один мужчина зааплодировал, как бы одобряя широкий жест.

— Любовь зла,— сказал я.— Он в летней куртке с шелковым бордовым фуляром.

— Чем-чем?

— Так называются носовые платки, которые повязывают вместо галстуков.

— Теперь вижу,— сказал Ирвинг.— Почему ты нам ничего не сказал?

— Я и сам ничего не знал,— ответил я.— Он появился в полдень за завтраком. Оказывается, они всегда проводят это время здесь. Откуда мне было знать, что почти весь этот проклятый город им принадлежит?

Через несколько минут вся ложа встала, одновременно воспарили и люди, и цветы; Дрю и Харви направились к выходу. Он помахивал окружающим рукой, как это делают политики, служители угодливо мозолили ему глаза. Я не отрывал взгляда от Дрю с цветами в руках; не знаю почему, но она шла через толпу с такой осторожностью, словно на руках у нее был ребенок, так мне эта сцена виделась издалека и без бинокля, вся картинка расплылась и смазалась. Как только они исчезли в проходе, мы с Ирвингом и Микки двинулись сквозь толпу под трибуны и, миновав кассы, остановились у дальнего края сосисочного ларька и наблюдали оттуда, как супруги спускаются по лестнице, у основания которой стояла машина Харви; машины через ворота не пропускали, но Харви это, видимо, не касалось; Дрю остановилась и, став на носочки, попыталась отыскать меня взглядом, только этого мне не хватало, но Харви быстро запихнул ее в машину и прыгнул следом; я предупредил его, чтобы полицейских не было, но там стояла пара кавалеристов в бриджах, портупеях, которые перехватывали грудь крест-накрест, и красивых оливково-коричневых фетровых шляпах, кожаные ремешки которых застегивались под подбородком; эти парни дежурили главным образом для церемониальных целей, на случай появления губернатора или какой-либо другой шишки, и отличались ростом и неподкупностью — что они могли вам дать взамен, дорогу? — положение становилось двусмысленным; мне не нравилось, как нахмурилось лицо Ирвинга; если они решат, что она испугалась и уносит ноги, несдобровать и ей, и мне.

— Что все это значит? — спросил Ирвинг.

— Шишек ожидают,— сказал я.— Этим парням больше делать нечего.

Двигаясь быстро, но не бегом, Ирвинг и Микки вышли из парка через боковую калитку и направились к своей машине. Они настояли, чтобы я поехал вместе с ними, возразить мне было нечего. Когда мы подошли к «паккарду» и я открыл заднюю дверцу, к своему крайнему удивлению, я увидел там мистера Бермана. Он не мог без трюков. Я не сказал ни слова, он тоже, и так было ясно, что теперь я всецело в его власти.

— Муж объявился,— сказал Ирвинг.

Микки вырулил на улицу и, проехав квартал, догнал их машину, мы держались за ней на почтительном расстоянии. Я не меньше других удивился, когда машина супружеской четы резко увеличила скорость и помчалась на юг из города. Они даже не заехали в отель за вещами.

Неожиданно Саратога кончилась, мы оказались за городом. Минут десять — пятнадцать мы держались за ними; бросив взгляд в боковое стекло, я понял, что рядом аэродром, самолеты с обычными и сдвоенными крыльями выстроились на стоянке, словно автомобили. Машина Харви свернула к аэродрому, мы тоже въехали в ворота и остановились под деревьями, откуда был виден ангар и взлетно-посадочная полоса за ним. «Колбаса» в конце полосы висела тряпкой, сам я тоже был как в воду опущенный.

В машине стало ужасно тихо; даже сквозь шум работающего мотора я, казалось, слышал, как мистер Берман высчитывает шансы. Супруги подъехали к одномоторному самолету, дверь под крылом была открыта. Кто-то оттуда уже протягивал им руки, чтобы помочь взобраться. Дрю снова обернулась, и Харви снова загородил собой обзор. Цветы она все еще держала в руках.

— Похоже, маленькая леди улепетывает,— сказал мистер Берман.— Ты ничего не подозревал?

— Подозревал,— сказал я.— Как и тогда, когда Лулу мне нос расквасил.

— Что, интересно, у нее на уме?

— Не думайте, она не от страха бежит,— сказал я.— У них все так путешествуют. Она уже давно собиралась сменить обстановку.

— Откуда ты знаешь? Она что, сама тебе сказала?

— Прямо не сказала. Но я знаю.

— Так, интересно.— Он немного подумал.— Если ты прав, то это меняет ситуацию. Она говорила с тобой о Немце, о том, что она сердита на него или что-нибудь в этом роде?

— Нет.

— Тогда откуда ты знаешь?

— Знаю, и все. Ей плевать, ей все до лампочки.

— Что это значит?

— Ничего. Вот смотрите, она оставила совершенно новенький автомобиль в отеле. Мы можем забрать его, ей плевать. Она ни к чему не привязана, она никого не боится, не то что большинство девушек, не ревнует и ничего такого. Она делает, что ей хочется, потом ей надоедает, и она начинает делать что-то другое. Вот и все.

— Надоедает?

Я кивнул.

Он откашлялся.

— Ясно,— сказал он,— об этом мы говорили с тобой в последний раз.— Дверь кабины самолета закрылась.— А кто такой ее муж? От него можно ожидать неприятностей?

— Слюнтяй,— сказал я.— Из-за них я пропустил седьмой забег и прохлопал верняк, который получил от вас. Пропала моя премия, мой шанс разбогатеть.

Из ангара вышел человек, схватился двумя руками за лопасть пропеллера, крутанул ее и, как только мотор заработал, отскочил в сторону. Потом нырнул под крыло, вытащил башмаки из-под колес, и самолет вырулил на полосу. Это был красивый серебристый самолет. Постояв минутку, самолет выпустил элероны, поворочал рулем из стороны в сторону, а потом начал разбег. В воздух он поднялся очень быстро. На фоне бездонного неба было видно, насколько он, скользящий и дрожащий, мал и хрупок. Он лег на крыло, сверкнул на солнце, взял новый курс, и вдруг его стало почти не видно. Очертания его размылись

и расплылись. Он стал похож на соринку в глазу. Когда он скрылся в облаках, ощущение соринки в глазу осталось.

— Это не последний забег в нашей жизни,— сказал мистер Берман.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава семнадцатая

Вернувшись домой, я сразу понял, что с моими органами чувств что-то не то, из запахов я ощущаю только угольную гарь, глаза мои резало от боли, от грохота я почти оглох. Все вокруг сыпалось и разваливалось, дома обветшали, на пустырях громоздились кучи мусора, но самое страшное — и это неопровержимо доказывало мне самому, что у меня не все дома — то, что моя улица выглядела маленькой, жалкой и совершенно потерявшейся среди других. Я шел в своем мятом белом полотняном костюме, уголки воротника моей рубашки загнулись на жаре, узел галстука я ослабил; а ведь мне хотелось не ударить лицом в грязь при встрече с матерью, мне хотелось, чтобы она видела, насколько я преуспел за лето, но за долгую поездку я измотался; суббота в Нью-Йорке выдалась жаркой, я чувствовал себя слабым и измочаленным, тяжелый кожаный чемодан оттягивал руку, но по тому, как смотрели на меня люди, я понял, что реальность восприятия меня тоже покинула, я выглядел слишком хорошо, я не домой возвратился, а был здесь совершенным чужаком, такой одежды в Восточном Бронксе никто не носил, никто не имел кожаного чемодана с двумя плотными лямками; все уставились на меня, дети перестали играть в скелли и в мяч; взрослые на крылечках отвлеклись от разговоров; я шел мимо них, со слухом продолжали происходить странные вещи, все теперь стало приглушенным, будто горькая духота и спертый воздух погрузили меня в тишину.

Но все это забылось, когда я начал подниматься по своей темной лестнице. Из-за сломанного замка дверь нашей квартиры была прикрыта неплотно — первое из бесконечного числа мельчайших изменений к худшему, которые вселенная претерпела за время моего отсутствия; толкнув дверь, я вошел в жалкую квартирку с низкими потолками, знакомую и одновременно нелепую со своим вздувшимся линолеумом, с покореженной мебелью и засохшим цветком на пожарной лестнице; одна стена и потолок на кухне почернели от огоньков моей матери, которые, должно быть, пылали слишком сильно. Стаканы на кухонном столе сейчас, похоже, больше не горели, столешницу покрывали застывшие белые восковые шпили, шарики и озерца с маленькими черными кратерами и колодцами, что напомнило мне макет луны в планетарии. Матери не было, хотя, очевидно, она по-прежнему жила здесь; ее кружка с длинными шпильками осталась на прежнем месте; фотография ее стояла рядом с отцовской, тело его было перечеркнуто карандашом крест-накрест, а лицо аккуратно вырезано; несколько материнских вещей висело в спальне на тыльной стороне двери, а на полке лежала шляпная коробка, которую я послал ей из Онондаги, шляпу она так и не распаковала.

В холодильнике я нашел несколько яиц, полбуханки черствого ржаного хлеба в бумажной обертке и бутылку загустевшего сверху молока.

Включив свет, я сел на пол посреди этого убежища потерянной женщины и ее потерянного сына и изо всех карманов извлек смятые банкноты, составлявшие наше богатство; я расправил каждую бумажку, сложил их в пачку, упорядочив по достоинству, и подровнял одеревеневшими ладонями; в город из Саратоги я вернулся с суммой чуть больше шестисот пятидесяти долларов, которые мистер Берман разрешил мне оставить у себя. Это была громадная сумма денег, но ее было

недостаточно, нет такой суммы, чтобы оплатить счет за эту подвижническую святую жизнь, за праведность, веру и купание в кухонной раковине. Я положил деньги в мою сумку, сумку засунул в шкаф, потом нашел старые штаны с дырками на коленях, полосатую майку и мои рваные кеды со стоптанными пятками; переодевшись, я почувствовал себя лучше, сел на пожарную лестницу, закурил сигарету и начал припоминать, кто я такой и чей я сын, правда, кирпично-известняковый сиротский приют Макса и Доры Даймонд я сначала увидел глазами, а лишь потом ощутил сердцем; сдвинув сигарету в угол рта, я спустился по лестнице, повис на нижней перекладине и, отпустив руки, последние десять футов до тротуара пролетел по воздуху, только после приземления до меня дошло, что я уже не тот ловкий прыгучий мальчишка, каким был; колени и ступни почувствовали удар сильнее и больнее прежнего; я хорошо ел все это время и, видимо, возмужал; посмотрев по сторонам на любопытствующих, я пересек улицу с той медлительностью, которая требовалась мне, чтобы скрыть желание бежать вприпрыжку, и спустился по ступеням в подвал сиротского приюта Даймонд, где мой друг Арнольд Помойка, который продал мне пистолет, сидел в своем пыльном царстве и перебирал то, что пришло к нему из высших сфер целесообразности.

О, мой немногословный друг! «Где ты был»,— сказал он так, будто я все эти годы считал его немым; красноречивый мой друг, он тоже вырос, из него, наверное, получится громадный толстый мужчина типа Джули Мартина; он встал поздороваться со мной, с него на бетонный пол со звяканьем посыпались жестяные банки, он встал во весь свой рост, наш массивный гений, и улыбнулся.

Хорошо было снова оказаться в подвале, сидеть, курить, рассказывать небылицы Арнольду Помойке, пока он внимательно рассматривал один загадочный неорганический предмет неопределенного назначения за другим, пытаясь решить, в какую из корзин его бросить; наверху топот ног играющих приютских сирот потрясал дом до основания и навевал мне сравнение милого детского гама с журчанием родника. Я подумал, что если бы мне пришлось возвращаться в школу, то я должен был идти в десятый класс, десятка была любимым числом мистера Бермана; она содержала единицу и ноль и замыкала все числа, которые нужны для составления любого другого числа; эта мысль прошла, не задерживаясь, так бывает, когда человек обижен или болен.

Но когда я поднялся наверх в старый гимнастический зал посмотреть, не встречу ли кого из старых знакомых, к примеру черноволосую девчушку-акробатку, мое появление вызвало оцепенение детей, игры их нарушились и в зале повисла та же тишина, какой встретила меня моя улица; дети, показавшиеся мне очень маленькими, глазели на меня в неожиданно наступившей тишине; волейбольный мяч катился по натертому деревянному полу, и незнакомая воспитательница со свистком на вязаном шнурке подошла ко мне и сказала, что это не место для прогулок и что посетители сюда не допускаются.

Это был первый признак того, что мои прошлые связи прервались, что я не могу вновь войти сюда; будто бы существовало два вида путешествий, и, пока я ездил по горным дорогам в глубине штата, жители моей улицы двигались в ограниченном времени собственного существования. Я выяснил, что Бекки уехала, ее удочерила семья из Нью-Джерси, это мне рассказала одна из девчонок на ее этаже, какая теперь Бекки счастливая, у нее есть своя комната, а потом она сказала, чтобы я уходил, чтобы больше не появлялся на девчоночьем этаже; это, мол, нехорошо, и я поднялся на крышу, где, еще не зная, что люблю ее, платил моей дорогой малышке за поцелуй, и управляющий, который размечал там зеленой краской поле для игры в шафлборд, распрямился, отер пот с лица тыльной стороной руки, в которой держал кисть, и сказал мне, что я уличное дерьмо и что он считает до трех, если я не убе-

русь, он все говно из меня выбьет, а потом вызовет полицейских и те добавят еще.

Все это вместе, как вы понимаете, сделало мое возвращение домой малоприятным, но больше всего меня взбесила собственная уязвимость и глупость; надо же, я еще надеялся на что-то, не знаю на что, сам виноват, не сумел вовремя уехать из этого района. В последующие дни стало ясно — где бы я ни был, что бы ни делал, все знали, что я связан с преступным миром, причем знание это было не конкретным, а каким-то мифологическим. Моя известность возросла. В кондитерской, где я утром и вечером покупал газеты, на крыльце в теплые сумерки, на всей Батгейт авеню меня знали в лицо, знали, кто я такой и чем занимаюсь, и это создавало мне ореол, пусть и зловещий, но ореол, поскольку я был *один из них*. Мне самому были раньше знакомы такие настроения, всегда находился кто-то вроде меня, не похожий на других детей, про кого говорили, только когда он скрывался за углом, кого боялись, с кем запрещали водиться. В такой ситуации было достаточно глупо ходить в старье, которое носил когда-то мальчишка-жонглер, пора было возвращаться к гардеробу последней поры. А кроме того, я никого не хотел разочаровывать. Раз уж попал в преступный мир, выхода оттуда нет, сказал мне как-то мистер Шульц, и говорил он это без угрозы, а с жалостью в голосе к самому себе, так что, по размышлении, в этом можно было и усомниться. Но не сейчас, не сейчас.

Здесь я, конечно, суммирую горькие выводы сразу нескольких дней, сначала же я был просто ошарашен, самым страшным потрясением была встреча с матерью, которую я увидел несколько часов спустя после приезда; она шла по улице, толкая перед собой коричневую плетеную детскую коляску, и я тотчас же, еще издалека, понял, что ее прежняя милая рассеянность приобрела зловещий характер. Ее седые нечесаные волосы развевались на ветру, и, чем ближе она подходила, тем сильнее крепла во мне уверенность, что, не прегради я ей путь и не заговори с ней, она пройдет мимо, не узнав меня. Даже когда я встал у нее на пути, она сначала разозлилась, что коляска уперлась в какое-то препятствие, затем подняла на миг глаза, я чувствовал, что она почти не видит меня, что в первые секунды поняла только необходимость всмотреться, и только потом, после бесконечной паузы в биении моего сердца, я снова вернулся в сознание статной, сумасшедшей Мэри Бихан.

— Это ты, Билли?

— Да, ма.

— Какой ты большой.

— Да, ма.

— Какой большой парень,— повторила она тем, кто мог нас слышать. Теперь она так впилась в меня взглядом, что мне пришлось сделать шаг вперед, я обнял ее и поцеловал в щеку, щека ее потеряла знакомую свежесть и чистоту, она приобрела горьковатый, угольный привкус улицы. Бросив взгляд в коляску, я увидел там засыхающие листья салата, которыми она выложила, как лепестками лилии, всю внутренюю поверхность, а также зерна кукурузы и сушеные зерна дыни. Я не пытался выяснить, что, как ей казалось, лежало у нее в коляске. Она была грустна и безутешна.

Ах, мама, мама, как только коляска оказалась в квартире, она перевернула ее, сложила мусор на газету, газету свернула и выбросила в помойное ведро на кухне, ведро, как обычно, будет ждать звонка управляющего, который означает, что мусорщик приехал и пора спускаться вниз. Это вселяло надежду. Потом я узнал, что состояние ее менялось, как погода; всякий раз, когда ее разум прояснялся, я решал, что теперь уж навсегда, что все трудности позади. Но вдруг небо снова заволакивало тучами. В воскресенье я показал ей все свои деньги, что, кажется, ей понравилось, потом я пошел в магазин и купил продукты, она приготовила хороший завтрак, как в былые времена, когда нам вы-

падала удача; затем помылась, нарядно оделась, причесала и заколола волосы, после чего мы пошли прогуляться до Дэлрмонт авеню, потом по крутой лестнице поднялись в Клэрмонт-парк, посидели там на скамейке под раскидистым деревом и почитали воскресные газеты. Вопросов о лете, где я был и что делал, она не задавала, и не потому, что ей было неинтересно, а по какому-то молчаливому уговору, словно я ей не мог рассказать ничего такого, что бы она сама уже не знала.

Теперь меня стали мучить угрызения совести, что я забросил ее, она, похоже, с большим удовольствием ушла из своего района и сидела в мирном покое зеленого парка, и мне хотелось плакать от мысли, что она, возможно, пострадала из-за меня, что, как и я, почувствовала себя чужой в атмосфере всеобщего осуждения, в положении безумной женщины, которая, разумеется, не могла воспитать хорошего сына.

— Ма,— сказал я.— У нас хватит денег, чтобы переехать. Давай снимем квартиру где-нибудь в этом районе, рядом с парком, может, найдем дом с лифтом и будем любоваться парком из окна. Вон как из тех домов.

Она посмотрела туда, куда я показывал, и покачала головой, потом еще и еще, а затем впилась взглядом в свои руки, сложенные на дамской сумочке, которая лежала у нее на коленях, и снова покачала головой, словно ей пришлось вновь обдумать вопрос и снова ответить на него, будто он возникал вновь и вновь, а ответа не находилось.

Мне было очень грустно, я настоял, чтобы мы поели где-нибудь в городе, я был готов делать что угодно, ну хотя бы пойти с ней в кино, лишь бы не возвращаться на нашу улицу; в таком состоянии мне необходимо было находиться среди людей, где что-то происходит, где я мог вдохнуть жизнь в свою мать, вернуть ей улыбку, разговорить ее. На выходе из парка я остановил такси, мы поехали в кафе Шрафта на Фордэм-роуд, где пили чай в тот день, когда купили мне новую одежду. Нам пришлось подождать, пока освободится столик, но, когда мы сели, я заметил, что ей приятно вновь возвратиться сюда, что она помнит это кафе и получает удовольствие от его аккуратной претенциозности, от чувства достоинства, которое оно сообщало завсегдатаям; теперь я, конечно, видел, что это заведение скучное, с очень постной пищей и крохотными порциями; усмехнувшись про себя, я вспомнил обильные ужины со своей бандой в отеле «Онондага» и подумал, как бы выглядели гангстеры сейчас здесь, в кафе Шрафта, в окружении прихожан с Ист-Фордэм-роуд, с каким выражением лица Лулу Розенкранц встретил бы официантку и ее крохотный бутербродик с маслом и долькой огурца на куске хлеба без корки и бокал холодного чая с редкими кубиками льда. И тут я совершил ошибку — вспомнил ужин в Брук-клубе с Дрю Престон и то, как она, подперев голову рукой, смотрела на меня через стол и с улыбчивой пьяной задумчивостью впитывала меня взглядом; уши мои тотчас же зарделись, подняв голову, я увидел свою мать, которая улыбалась мне точно такой же улыбкой, ужасающее сходство, я на миг даже забыл, где нахожусь и с кем, и мне почудилось, что они знают друг друга, Дрю и моя мать; каким-то странным наложением они превратились в моих старых подруг, совпали их пухлые рты, совпали глаза, и я понял, что обречен безраздельно любить их обеих. Все это заняло буквально миг, но я не могу вспомнить, чтобы когда-либо так пугающе ясно видел себя насквозь; я пронзал внутренним взором свою плоть и свой мозг, но не сердце, только не сердце. Меня охватила ярость, на что, на кого не знаю, может, на Бога, раз он не умеет двигаться с моей быстротой и ловкостью, на еду, что лежала на моей тарелке, мне надоела моя мать; я ненавидел сентиментальное прозябание, на которое она себя обрекла, не позволю вернуть себя в бессмысленную скукотищу семейной жизни, не хочу возврата к прежнему после всей этой тяжелейшей работы в преступном промысле, ни за что не брошу свою нынешнюю жизнь, неужели ей непонятно? И пусть она только попробует меня удержать. Пусть хоть кто-нибудь попробует.

Но тут подходит официантка, спрашивает, будете ли еще чего заказывать, а я прошу счет и расплачиваюсь.

В первый понедельник после моего возвращения мать, как ни в чем не бывало, пошла на работу в свою прачечную, значит, решил я, ее сумасшествие самоуправляемо; иначе говоря, что оно и не сумасшествие вовсе, а преходящая форма хорошо известной мне рассеянности. Потом, случайно заглянув в коляску, я увидел там гнездо, выложенное скорлупой яиц, которые мы с ней съели в воскресенье за завтраком. Так в первый, но не в последний раз я в долю секунды с высот надежды рухнул в отчаяние. Меня мучили сомнения, я постоянно возвращался к мысли, что, может, пора перестать обманывать себя и признаться, что необходимо хоть что-нибудь предпринять; отвести ее к врачу, пусть они посмотрят и начнут лечить, иначе болезнь может зайти так далеко, что ее придется отправить в сумасшедший дом. Что делать и с кем советоваться, я не знал, но вдруг вспомнил, что у мистера Шульца есть овдовевшая мать, о которой он заботится, может, он мне поможет, может, у банды есть не только свои адвокаты, но и свои врачи. А к кому еще я мог обратиться? Здесь я уже был чужой, чужой и для сирот из приюта, и для соседей, у меня оставалась одна только банда; какими бы ни были мои будущие устремления или нынешние прегрешения, я принадлежал ей, а она — мне. Какими бы ни были мои намерения — бросить мать, спасти ее,— все они сходились на мистере Шульце.

Но ни от него, ни от других вестей не было, и все, что я знал, я знал из газет. Я выходил из дома, только чтобы купить газеты или мои любимые сигареты «Уингс», я прочитывал каждую газету, которая попадалась мне в руки. Я покупал их все, все дневные и все вечерние, начинал поздно вечером, когда приходил в киоск под надземкой на Третьей авеню и покупал ранние издания завтрашних утренних газет, потом утром я шел в кондитерскую лавку на углу, чтобы купить поздние утренние выпуски, а в полдень ходил снова в киоск за ранними изданиями вечерних газет, а уж вечером покупал последние выпуски за день. Позиция правительства в деле Шульца казалась мне неоспоримой. Оно располагало письменными свидетельскими показаниями, его поддерживали бухгалтеры из Бюро внутренних доходов, на его стороне был закон о налогообложении,— ясно как дважды два. Я очень нервничал. Доводы мистера Шульца в суде показались мне совсем неубедительными. Он объяснил, что последовал дурному совету своего адвоката, что его адвокат ошибся, и, как только другой адвокат растолковал ему эту ошибку, он, мистер Шульц, гражданин и патриот, вознамерился заплатить все до последнего пенни, но правительство это не устроило, и оно решило привлечь его к суду. Я сомневался, что такая хлипкая версия могла убедить даже фермера.

В ожидании новостей я пытался найти крупицу пользы для себя в любом из возможных вердиктов и тем самым приготовиться к любому исходу. Если мистера Шульца посадят в тюрьму, то, пока он сидит, мы можем его не бояться. Это было неоспоримое благо. Боже, какое счастье освободиться от него! Но как тогда быть с верой в размеренный ход моей судьбы? Если что-то, столь обычное и земное, как правительственное правосудие, способно пустить мою жизнь под откос, тогда мои тайные связи с истинным правосудием великой вселенной жалкая выдумка. Если преступления мистера Шульца всего лишь земные преступления с земными наказаниями, значит, в этом мире существует только то, что я вижу, и все мои представления о невидимых силах есть плод моей фантазии. Как такое вынести? Но если он выкарабкается, если только он выкарабкается, я снова буду в опасности, но зато буду по-мальчишески чисто и тревожно верить в счастливое завершение моих избраннических злоключений. Так чего же я хотел? Какого вердикта, какого будущего?

Ответ содержался в том, как я ждал; каждое утро я заглядывал в конец «Таймс», где печатали расписание отплытия пассажирских пароходов, мне хотелось знать, чьи это корабли и куда направляются, нравилось, что их много. Я верил, что Харви Престон все устроил как надо, он хорошо вышел из затруднений в Саратоге, так что почему бы ему не справиться с задачей и сейчас?! В своем воображении я видел, как она, опираясь на леер, стоит, смотрит на серебристый океан и думает обо мне. Я воображал, как она играет в шафлборд в шортах и короткой рубашке на залитой солнцем кормовой палубе, так играли дети на крыше сиротского дома. Если я ошибся, если мистер Берман, Ирвинг и Микки приехали в Саратогу, чтобы забрать ее в Онондагу или поговорить с ней от имени мистера Шульца, тогда что ж, если кто чего и потерял, то это только я. Я потерял мою Дрю.

В среду в вечерних газетах сообщили, что стороны произнесли свои заключительные речи на процессе, в четверг судья напутствовал жюри, в четверг вечером жюри все еще совещалось, а поздно вечером в тот же день, когда я пришел на Третью авеню, мистер Шульц оказался основной новостью в специальных выпусках и вечерних, и утренних газет: его признали невиновным по всем пунктам обвинения.

Я прыгал, скакал и танцевал вокруг киоска, а вверху громыхал поезд. Глядя на меня, нельзя было предположить, что я радовался освобождению человека, который, как я тогда считал, неделю назад собирался убить меня. На снимках он был показан крупным планом, в «Миррор» он широко улыбался прямо в объектив камеры, в «Американ» — целовал свои четки, в «Ивнинг пост» — обнимал рукой голову Дикси Дейвиса и целовал его в макушку. «Ньюс» и «Телеграм» поместили снимок, на котором он положил руку на плечо председателя жюри присяжных, мужчины в комбинезоне. И во всех газетах было напечатано заявление судьи после оглашения вердикта жюри присяжных: «Леди и джентльмены, за все время работы в суде я еще не сталкивался с таким поруганием истины и свидетельских показаний, которое вы продемонстрировали сегодня. То, что, выслушав дело, тщательнейшим образом обоснованное правительством Соединенных Штатов, вы нашли ответчика невиновным по всем предъявленным ему обвинениям, настолько подрывает мою веру в сам юридический процесс, что я начинаю сомневаться в будущем этой республики. Вы свободны, но без благодарности от суда за свою работу. Ваше решение позорно».

Моя мать сохранила первую полосу «Миррор» с улыбающимся лицом мистера Шульца и сложила ее так, чтобы была видна одна только его фотография, она положила ее в коляску и закрыла до подбородка дырявым одеялом.

А сейчас я расскажу вам о празднествах, которые шли три ночи и два дня в вест-сайдском борделе на 76-й улице между Колумбус и Амстердам авеню. Впрочем, не хочу делать вид, будто отличал день от ночи, красные плюшевые занавеси плотно закрывали окна, свет вообще не тушили, горели и лампы под абажурами с кисточками, и хрустальные люстры, точное время вообще никого не интересовало. В памяти осталась одна из сценок, разыгравшаяся в этом особняке. Немолодая шлюха визжит от притворного страха, а преследующий ее гангстер, пытаясь схватить ее, падает навзничь и едет вниз по лестнице ногами вперед. Женщины в основном были молодые, симпатичные и стройные; одни, устав, уходили, их заменяли другие. Многих мужчин я не узнавал, празднество предназначалось для «высших чинов», но слух о нем распространился, и небритые личности постоянно появлялись в борделе, а на второй день или вторую ночь я даже видел полицейского в нижней рубашке и подтяжках, шлюха со сбившимся пучком целовала его голые ноги палец за пальцем.

Женщины смеялись, несмотря на грозный вид щипавших и щеко-

тавших их мужчин, и бесстрашно вели их с собой в верхние комнаты; как и Дрю, они нисколько не боялись принимать у себя убийц. Я был подавлен этим преображением чувств в числа; в углу комнаты сквозь клубы сигаретного дыма я различал хитрое смеющееся лицо мистера Бермана; в большой нижней гостиной три или четыре женщины осаждали мистера Шульца; расположившись на его коленях, на подлокотниках кресла, они покусывали ему уши, наперебой приглашали танцевать, он смеялся, ласкал, дергал, тормошил их, это было какое-то буйство плоти, причем не разделенной на отдельных людей, а сцепленной воедино — изобилие грудей и созвездие сосков, неистовство животов и ягодиц, переплетение длинных ног. Заметив меня, мистер Шульц назначил женщину, которая должна была взять меня к себе в постель; она неохотно высвободилась и отвела меня наверх, насмешек со стороны моих коллег неслось предостаточно, что было одинаково неприятно и для меня, и для женщины, которая клокотала от гнева, считая себя униженной моим возрастом и незначительностью. Мы оба с трудом дождались конца, у нас праздника не было, праздник шел рядом, меня пугало, каким несексуальным может быть секс, когда он сдобрен презрением и отправляется столь поспешно, потом мне пришлось выпить бокал «Манхэттена», коктейль, по крайней мере, был сладкий, с хрустящей вишенкой на дне.

Мадам, управлявшая заведением, проводила время на кухне в задней части первого этажа; я немного поговорил с этой нервной особой; мне стало жалко ее — за какую-то воображаемую провинность напившийся мистер Шульц заехал ей в лицо и поставил синяк под глазом. Потом он извинился и дал ей новенькую стодолларовую банкноту. Магси — так он звал хозяйку,— худая миниатюрная женщина, чем-то напоминала японского терьера, сидевшего у нее на коленях,— курносая, глаза пуговками, голова в редких рыжих кудряшках; одета она была в черное платье и черные чулки, чуть пузырившиеся на коленках. Говорила низким, почти мужским голосом и все время прижимала к глазу кусок сырого мяса. В духовке ее печи лежали пистолеты пришедших мужчин. По-моему, она не уходила из кухни, опасаясь, чтобы кто-нибудь не забрал свое оружие и не открыл в ее доме пальбу; впрочем, я не представляю, как бы она, крохотная женщина, могла это предотвратить. У нее работали черные служанки, которые меняли белье, выбрасывали мусор, собирали пустые бутылки, и черные же посыльные, приносившие через задние двери воду, пиво и крепкую выпивку, блоки сигарет, горячие обеды в металлических контейнерах из близлежащих закусочных и горячие завтраки в картонных коробках из соседней столовой; женщина она была нервная, но дело вела хорошо, словно все спланировавший и удачно расположивший войска генерал, который только принимает донесения о ходе боя. Я пожонглировал сваренными вкрутую неочищенными яйцами; она была уверена, что я обязательно уроню их, когда же все закончилось благополучно, она одобрительно рассмеялась; я ей понравился, она начала расспрашивать, как меня зовут, где я живу и как такой прекрасный мальчик занялся столь низким делом, и смеялась над моими ответами; щипнув меня за щеку, она протянула мне смешно разрисованную металлическую коробку с шоколадом, которую держала рядом с собой; рисунки изображали мужчин в бриджах и белых париках, которые кланялись леди в больших широких юбках.

Мадам Магси правильно поняла мое желание слоняться по кухне и с громадным тактом сказала, что у нее есть для меня нечто особенное, самое желанное, свежая девушка, молодая новобранка; она позвонила, и через час я уже был в небольшой тихой верхней комнатке с действительно молодой девушкой, светленькой, круглолицей, с тонкой талией, застенчивой и неподатливой; она пролежала со мной всю ночь или, точнее, те тихие часы, которые считались ночью, и, к счастью, по своей молодости нуждалась во сне не меньше меня.

Я был слишком сосредоточен на себе и подавлен, чтобы по-настоящему насладиться праздником. Дома, в Бронксе, пока я ждал окончания суда, мне хотелось как можно быстрее воссоединиться с бандой; я любил каждого из них, их постоянство вызывало уважение и благодарность, но теперь, когда я снова был с ними, меня снедала оборотная сторона благодарности — чувство вины; я пытливо смотрел на лица мистера Шульца и других и видел в золотозубых улыбках то прощение, то возмездие.

Но затем, видимо, на второй день я заметил, что и кроме меня есть люди, которые не отдаются всей душой празднику; мистер Берман обосновался в нижней гостиной, он читал газеты, покуривая и попивая коньяк, и часто выходил, чтобы позвонить из автомата; Лулу продолжал грубо третировать избранных дам, которые время от времени жаловались своей управляющей; Ирвинг почти не покидал своего поста, ради праздника он позволил себе только снять пиджак, чуть ослабить галстук и закатать рукава рубашки, он большей частью играл роль бармена для всех близких и далеких представителей преступного мира. Я, наконец, осознал, что ближайшие помощники мистера Шульца только ждали, больше они ничем не занимались, и что празднество ко второму дню стало не радостной встречей людей, что-то вместе переживших, а данью профессии, деловым объявлением, что Немец вернулся; истинное веселье, радость и облегчение уступили место бездушной веселости официального сборища.

Даже мистер Шульц искал теперь в доме тихие и уединенные места, способствующие размышлениям. Проходя мимо одной из ванных комнат, я увидел его сидящим в мыльной пене и попыхивающим сигарой, рядом с ним на деревянной табуретке сидела Магси и терла ему спину — будто он и не врезал ей накануне.

Подняв голову, он заметил меня.

— Входи, малыш, не стесняйся,— сказал он. Я сел на крышку унитаза.— Магси, это мой воспитанник, вы еще не знакомы? — Мы признались, что уже познакомились.— Ты знаешь, кто такая Магси, малыш? Ты знаешь, сколько мы с ней уже знакомы? Я тебе скажу. Как ты думаешь, где я был, когда Винс Колл взбесился, с ума спятил, бегал с пистолетом по всему Бронксу, пытаясь найти меня?

— Здесь?

— Только тогда мое заведение находилось на Риверсайд-драйв,— сказала мадам.

— Колл был тупица,— сказал мистер Шульц,— ничего не смыслил в тонких вещах, понятия не имел о том, как выглядит первоклассный бордель, и пока он метался, стреляя во все, что шевелится, дерьмо проклятое, я забрался, как клоп, в дом моей Магси и хорошо проводил время. Я сидел в ванне, а она терла мне спину.

— Точно,— сказала женщина.

— Магси — мировая баба.

— Скажешь тоже,— вспыхнула Магси.

— Принеси мне пива, ладно? — попросил мистер Шульц, снова ложась в ванну.

— Я сейчас вернусь,— сказала она, вытерев руки, и ушла, закрыв за собой дверь.

— Ты хорошо веселишься, малыш?

— Да, сэр.

— Важно выветрить свежий деревенский воздух из легких,— сказал он с ухмылкой. Потом закрыл глаза.— И возвратить душу в яйца, где ей и место. Где она в безопасности. Она ничего не говорила?

— Кто?

— Кто, кто,— сказал он.

— Миссис Престон?

— Кажется, именно так звали леди.

— Она сказала, что вы ей очень нравились.

— Так и сказала?

— Что в вас есть класс.

— Да? Она такое сказала? — Его лицо расплылось в улыбке. Глаз он не открывал.— Если бы мы жили среди порядочных людей.— Он помолчал.— Мне нравятся женщины, мне нравится, что их можно собирать, как ракушки на пляже, они там везде валяются, маленькие, розовые и с завитушками, в которых море шумит. Беда в том, беда в том...— Он покачал головой.

Горячая вода и кафельная плитка так изменили его голос, что, хотя он и говорил тихо, слышимость была как в пещере. Теперь мистер Шульц вперился в потолок.

— Я думаю, влюбляются всего один раз, когда это еще возможно, когда ты еще мальчишка, малыш, когда еще не знаешь, что мир — это бордель. Ты вбиваешь себе в голову эту мысль — и привет. И всю свою остальную жизнь ты повязан с этой женщиной, каждый раз ты думаешь, вот, вот она, ведь она и ходит, и улыбается похоже, и ты берешь ее. Ту, первую, мы получаем еще несмышленышами, когда ничего не соображаем. И мы уходим, а потом ищем ее всю жизнь, понимаешь?

— Да,— сказал я.

— Черт, а она очень гордая девчонка, эта Дрю. Не чета обычным потаскухам, дешевкам. Рот у нее красивый,— сказал он, затягиваясь сигарой.— Ты знаешь выражение «летний роман»? Грустно говорить, но это так. У каждого из нас своя жизнь.— Он пытливо взглянул на меня.— У меня большое дело,— сказал он.— И оно крутится только потому, что я никогда не спускаю с него глаз.

Он сел в ванне, мыльные пузыри застряли в черных волосах, на плечах и груди.

— Если бы ты только знал, кого я пережил, с кем мне приходится иметь дело! Каждый божий день. С ворами, негодяями. Все, что ты построил, заработал,— они все пытаются стянуть. Большой Джули. Мой дорогой Бо, мой любимый Бо. Или Колл, которого я уже упоминал. Ты знаешь, сколько стоит лояльность? Ты знаешь, сколько нынче стоит лояльный человек? Он нынче на вес золота. Чем заплатил мне за добро Винсент Колл? Он улизнул от полиции и погубил залог, который я внес за него. Ты это знаешь? Первым я никогда не начинаю. Из-за моего добродушия люди думают, что об меня можно ноги вытирать. И не успел я и глазом моргнуть, как оказался на ножах с этим чокнутым, и мне пришлось прятаться в борделе. Честно говоря, я чувствовал себя паршиво, не по-мужски это. Но где-то ведь я должен был переждать. Как-то в разгар заварушки Винсента замели и посадили на маленький срок за какой-то пустяк, и я понял, что настал мой час, мы затаились и ждали, но он тоже знал, что мы не дремлем, поэтому у тюрьмы его встречает сестренка, и он идет, держа ее чадо на руках. Понимаешь, о чем я говорю? Мы отходим, мы не варвары, его взяла, так что схлестнемся в другой раз. Чтобы ты знал. Но эта сволочь не признает никаких цивилизованных правил, и недели не прошло, как он выкатывает из-за угла на Батгейт авеню с опущенными стеклами и высматривает меня, а я в это время иду навестить свою старую маму с букетом цветов. К маме я всегда хожу один, может, это глупо, наверняка глупо, но она живет другой жизнью, и я не хочу обижать ее, значит, иду я один с букетом цветов по этой многолюдной улице, здороваюсь со знакомыми и — у меня есть шестое чувство, понимаешь? а может, я что заметил в глазах идущего навстречу человека или тот посмотрел мне вслед? — я вдруг ныряю за фруктовый киоск, пули свистят, разлетаются апельсины и персики, дыни трещат, как расколотые черепа, а я лежу под падающими корзинами грейпфрутов, слив и персиков, льется фруктовый сок, я думаю, что ранен, под руками липкая мокрота, было бы даже забавно лежать там и лизать сладкий сок, если бы не крики женщин и детей, это же семейная улица, черт возьми, ты же знаешь, там полно тележек и покупателей, и когда машина уехала, я встал и увидел бегущих людей,

мать, кричащую по-итальянски, и перевернутую детскую коляску; ребенок распластался на тротуаре в окровавленной рубашоночке, чепчик его тоже весь в крови, говноеды застрелили ребеночка в коляске, да простит нас Господь! И тут кто-то начинает тыкать в меня пальцем и ругаться, понимаешь, будто это я застрелил ребеночка, и мне пришлось улепетывать под вопли и проклятия людей! После этого я уже твердо знал, что убью Винсента Колла, чего бы мне это ни стоило, дело чести, я себе в этом поклялся. Но пресса все валит на меня, на меня, Немца, поскольку я воюю с чокнутым маньяком, представляешь, какая штука, на меня возлагают вину за делишки Винсента Колла, а я ведь всех предупреждал, я каждого просил его остерегаться, я был виноват в том, что в меня промахнулись, что меня не прошили пулями вместо убитого ребеночка, а на самом деле во всем был виноват тот ублюдок, это он убежал, лишив меня десяти тысяч, что я внес за него, десять тысяч, а потом начал нападать на мои грузовики и склады, моя самая большая и непростительная ошибка — то, что я когда-то взял его к себе, но теперь я должен был достать его, я поклялся, что прикончу его, для меня это было вопросом восстановления морального порядка в мире. И ты знаешь, как я это сделал?

В дверь постучали, вошла маленькая мадам с подносом, на котором стояли две бутылки пива и пара высоких стаканов.

— Я рассказываю о Винсе,— сказал он ей.— Все было просто, простые идеи обычно самые лучшие. Я вспомнил, что он подолгу говорил с Оуни Мэдденом по телефону, и этого хватило.

— С джентльменом Оуни,— вставила мадам, прикуривая сигарету.

— Точно так,— сказал мистер Шульц.— Верно подмечено, так что я не знаю, может, у него и было что на Оуни, иначе бы зачем такой классный парень, как Оуни, связался с ним? Поэтому дело оказалось несложным. Я посылаю Эйба Ландау в контору к Оуни, и тот сидит с ним весь вечер, пока, наконец, не звонит телефон; Эйб сует дуло в бок Оуни и говорит, вы просто беседуйте, мистер Мэдден, чтобы он только не вешал трубку, а снаружи у нас был свой полицейский, который и засек этот звонок; так мы узнали, что говноед звонит из телефонной будки у аптеки «Эксельсиор» на углу 23-й улицы и Восьмой авеню. Через пять минут машина уже была там, у фонтана сидело двое его парней, но, увидев Томсона, они тут же смылись, они убежали так далеко, что с тех пор их никто не видел, а мой парень положил стежки снизу вверх с одной стороны будки и сверху вниз — с другой, Винсент даже дверь не смог открыть, он выпал из будки, только когда дверь с петель сорвалась, а Эйб в это время слышит все по телефону в конторе Оуни; как только выстрелы стихли, он вешает трубку и говорит, благодарю вас, мистер Мэдден, извините за беспокойство, вот так мы разделались с говноедом, пусть его потроха вечно кипят в аду.

Мистер Шульц замолчал, тяжело дыша от пережитых воспоминаний. Потом взял пиво с подноса и выпил его залпом. Мысль о том, что люди могут пережить любую потерю, пока остаются сами собой, несколько успокоила меня.

Когда я на следующее утро спустился вниз, мне сразу стало ясно: что-то случилось. Женщин и след простыл, все двери в комнаты были настежь. Шумел пылесос, на кухне Ирвинг разливал кофе по кружкам, я пошел за ним в переднюю гостиную и, прежде чем он захлопнул дверь перед моим носом, разглядел, что там идет совещание, вокруг стола сидит дюжина или более одетых и трезвых мужчин.

Меня отослали погулять, что я и сделал; я ходил взад-вперед по боковым улочкам в районе Семидесятых от Колумбус авеню до Бродвея; улочки были застроены домами из красного кирпича и известянка с обязательным высоким крыльцом и дверью под лестницей; дома стояли впритык по всей длине квартала, ни проулочка, ни щели, ни видов, ни

ландшафтов, ни пустых пространств; одна только непрерывная стена жилых домов. Меня зажали эти каменные фасады и затененные окна, было холодно, я не выходил на улицу два дня и три ночи, и мне показалось, что пришла настоящая осень; свежий ветерок гонял мусор по улицам, деревья на тротуаре начинали желтеть за своими небольшими круглыми заборчиками, будто за мной по пятам шла порча деревьев, будто холод преследовал меня, куда бы я ни шел.

Лучше бы я вообще не уезжал из города, я уже больше не чувствовал себя дома, из каждой трещины тротуара рос сорняк; на каждом углу ворковали голуби; между телефонными столбами по проволоке бегали белки; все это были символы затаившейся природы, маленькие соглядатаи грядущего нашествия.

Было, конечно, обидно, что меня не пустили на серьезное совещание; интересно, что я должен был сделать, чтобы меня признали,— что бы и сколь бы хорошо я ни исполнял, всегда возникали такие вот ситуации. Я сказал «черт с ними» и вернулся назад, совещание уже закончилось, гости ушли, в передней гостиной оставались только мистер Шульц и мистер Берман, оба одеты официально, в рубашках и галстуках. Мистер Шульц ходил по комнате, вращая четки на руке,— дурной знак. Когда зазвонил телефон, он сам подбежал к нему, а миг спустя, надев пиджак и шляпу, уже стоял посреди гостиной белый от ярости. Я застыл в дверях.

— Что должен сделать человек? — спросил он, обращаясь ко мне.— Скажи. Чтобы заслужить отдых, чтобы начать собирать плоды своего труда? Когда это будет?

Мистер Берман, стоявший у окна гостиной, произнес «О'кей», а мистер Шульц открыл входную дверь и вышел. Я подбежал к окну и, раздвинув занавеси, увидел, как он садится в машину; Лулу Розенкранц посмотрел по сторонам, а потом нырнул на сиденье рядом с водителем, машина плавно тронулась и уехала, оставив после себя поднимающееся облачко выхлопного газа.

Вошла маленькая мадам Магси, держа под мышкой коробку от туфель, и поставила ее на кофейный столик. В ней лежали счета и накладные; она и мистер Берман принялись просматривать их, словно сказочная чета гномов или старый лесник и его жена; попыхивая белым дымком, они вели беседу на загадочном языке чисел. Я поднял с пола несколько газет: Мэр Ла Гардиа предупредил Немца Шульца, что если его увидят в каком-нибудь из пяти районов Нью-Йорка, то немедленно арестуют, а прокурор по особым делам Томас Дьюи заявил, что готовит обвинительное заключение на Немца Шульца за нарушение налогового законодательства штата. Вот, значит, в чем дело. Все это было связано с вердиктом в глубинке штата; авторы передовиц кипели от ярости; передовиц я никогда не читаю, но в нынешних имя мистера Шульца мелькало уже очень часто; все требовали его скальпа; каждый политик, кого журналистам удалось найти и процитировать, тоже кипел от ярости: районные прокуроры кипели от ярости; налоговые инспекторы, члены Коммерческого Совета, генеральные атторнеи, рядовые полицейские чины, комиссары и их заместители, даже исполняющий обязанности управляющего Санитарным отделом кипел от ярости, чего уж говорить о человеке с улицы из раздела «Человек с улицы» газеты «Ньюс». Интересно, как в контексте всей этой ярости счастливое улыбающееся лицо мистера Шульца приобретало наглый, надменный и зловещий вид.

— Это за убытки,— сказала мадам, имея в виду листок, который мистер Берман держал в руках.— Ваши парни разбили дюжину прекрасных обеденных тарелок, ты, видимо, не слышал, как они бросали друг в друга мой веджвудский фарфор.

— А это? — спросил мистер Берман.

— Накладные расходы.

— Я не люблю приблизительных оценок. Я люблю точные числа.

— Эти накладные расходы связаны с общим ущербом. Посмотри на кушетку, на которой мы сидим. Видишь пятна? Они не выводятся, винные пятна не выводятся, мне потребуются новые чехлы, и это всего лишь один пример. Видишь ли, Отто, тут у меня побывала не делегация молодых христиан.

— Ты, надеюсь, не собираешься на нас нажиться, Магси.

— Мне крайне неприятно это предположение. Ты знаешь, почему Немец приходит ко мне? Потому что я лучше других. У меня первоклассное заведение, которое стоит недешево. Тебе понравились девочки? Должны были понравиться, это отборные девочки, а не шлюхи с панели. Тебе понравилась прислуга и обстановка? Каким образом, по-твоему, я всего этого добилась? Нарисовала? Нет, я за все плачу, как и ты. Мне потребуется неделя, чтобы привести это заведение в порядок. Это потерянное время, но я все равно плачу за помещение, врачей и прочее. Как же вы дом-то, поганцы, отделали.

Мистер Берман вынул из кармана толстую пачку денег и снял с нее резинку. Потом начал отсчитывать стодолларовые банкноты.

— Вот это, и ни пенни больше,— сказал он, бросая деньги через стол.

Когда мы уходили, женщина, закрыв голову руками, плакала на кушетке. У двери ждала машина. Мистер Берман приказал мне садиться и сел в машину сам. Водителя я не узнал.

— Поезжай тихо и спокойно,— сказал ему мистер Берман. Мы проехали по Бродвею, по Восьмой авеню мимо «Мэдисон-Сквер-Гарден», а затем на запад, к реке, мимо доков, что на какой-то миг испугало меня, пока я не понял, в чем дело; мы миновали пристань на Гудзоне, где на колесный пароход садились экскурсанты, а затем направились по 42-й улице снова к Восьмой авеню и так далее, делая большой прямоугольник вокруг района, который называется Дьявольской Кухней — вверх-вниз, с востока на запад — три или четыре раза; наконец, мы остановились в Ист-сайде на одной из 40-х улиц неподалеку от пакгаузов. Через несколько домов впереди, на южной стороне улицы, напротив кирпичной церкви, соединенной со школой и школьным двором, стояла машина мистера Шульца.

Водитель не выключил мотора. Мистер Берман закурил сигарету и сказал мне следующее:

— Мы не можем позвонить Председателю по телефону. Не будет он говорить ни с кем из нас и лично, даже с Дикси Дейвисом, который все равно сейчас в Ютике, там расследуют прискорбную смерть нашего дорогого коллеги. По-моему, ты единственный, кто способен проникнуть к нему. Но ты должен хорошо одеться. Умойся и надень чистую рубашку. Ты навестишь его для нас.

Я тут же утешился. Дескать, и я принимаю участие в кризисе.

— Это мистер Хайнс? — спросил я.

Он вынул блокнот, написал адрес, вырвал листок и протянул его мне.

— Подожди до воскресенья. По воскресеньям он принимает людей у себя дома. Можешь сказать ему, где мы находимся, если у него будут новости для нас.

— Где?

— Насколько я могу судить, мы будем жить в отеле «Саундвью» в Бриджпорте, штат Коннектикут.

— Что я должен сказать ему?

— С ним очень легко и приятно говорить. Но говорить тебе ничего не придется.— Мистер Берман снова вынул пачку денег. На сей раз, сняв резинку, он начал отсчитывать банкноты с той стороны, где у него лежали тысячедолларовые бумажки, и, отсчитав десять, отдал их мне.— Прежде чем пойдешь к нему, положи их в белый конверт. Он любит белые конверты.

Я сложил десять тысяч долларов и сунул их в нагрудный карман. Но они выпирали, и я все время приглаживал карман. Мы молча сидели, глядя на черный «паккард». Я сказал:

— Наверное, сейчас не время обсуждать личные дела.

— Нет, не время,— согласился мистер Берман.— Может, тебе стоит поговорить с падре, когда он закончит беседу с мистером Шульцем. Может, тебе больше повезет.

— А что там делает мистер Шульц?

— Он просит безопасного убежища. Он хочет, чтобы его оставили в покое. Но, насколько я могу судить, хотя сам и не верю в Бога, они могут дать ему причастие, благословение и прочее, но предоставление убежища — это не церковное таинство.

Мы смотрели через лобовое стекло на пустую улицу.

— Что у тебя стряслось? — спросил он.

— Мать моя болеет, и я не знаю, что с ней делать,— ответил я.

— Что с ней?

— Разум помутился, ведет себя как сумасшедшая,— сказал я.

— В чем это выражается?

— В безумных поступках.

— Она причесывается?

— Что?

— Я спрашиваю, волосы она причесывает? Пока женщина причесывает волосы, можно не беспокоиться.

— С тех пор как я вернулся, она причесывается,— сказал я.

— Тогда, похоже, дела ее не так уж плохи,— сказал он.

Глава восемнадцатая

Я бы солгал, если бы стал утверждать, что не думал о десяти тысячах долларах, лежащих у меня в кармане, о том, что мог сделать, если бы просто улизнул с ними — собрал сумки, привел мать на вокзал, сел на поезд и уехал бы очень далеко, боже мой, десять тысяч долларов! Я помнил рубрику «Деловые возможности» в «Онондага сигнэл» — за треть такой суммы можно купить ферму в сотни акров, а раз это так в одной части страны, то почему должно быть иначе в другой? А еще мы могли бы купить магазинчик или кафе, что-нибудь надежное, работать, прилично жить, а в часы отдыха мечтать о будущем. Десять тысяч долларов — это целое состояние. Даже если просто положить их в сберегательный банк ради процентов.

Но я знал, что не сделаю ничего подобного; я, конечно, не знал, что меня ждет, но чувствовал, что природа моего делового призвания еще не определилась; заурядный вор — незавидная перспектива, я до такого еще не опустился, и кто бы ни осенил мою жизнь, он выбрал меня не для трусливого предательства. Я попытался представить, что бы подумала Дрю Престон. Она бы даже не поняла такую мелочность, и совсем не по моральным соображениям, просто столь извилистый путь не мог идти в верном направлении. А где это верное направление и куда оно ведет? К трудностям. К агонии. Именно в этом направлении я продвигаюсь с той самой первой поездки на трамвае в контору мистера Шульца на 149-й улице.

Так что, лелея воровские мысли, я не придавал им особого значения; мне важно было сберечь невероятную сумму денег, мои честно заработанные шестьсот долларов я положил в свой чемодан, который поставил на шкаф в спальне, но в данном случае такой способ хранения явно не годился, я лег на пол и сунул руку в дырку с тыльной стороны дивана, из которой вываливалась труха; сделав в вате небольшое углубление, я свернул деньги трубочкой, закрепил трубочку резинкой и засунул ее в дыру. И следующие три дня я почти не отлучался из дома; мне казалось, что одним выражением лица я могу ненароком выдать свой секрет, что

люди увидят деньги в моих глазах, но, главным образом, я не хотел оставлять дом без присмотра; купив еду, я тут же мчался домой; если мне хотелось подышать свежим воздухом, я усаживался на пожарной лестнице; а вечером, после ужина, я внимательно наблюдал за тем, как мать зажигала один из своих памятных стаканов; после моего возвращения она снова вернулась к этому занятию и зажигала по одному огоньку каждый вечер; раз она зажигала свои огоньки, значит, в этом, видимо, был для нее какой-то смысл.

На второй день я купил за пенни в кондитерской белый конверт, а утром следующего дня помылся, причесался, надел чистую рубашку, но, не рискуя ехать в Манхэттен разодетым и с деньгами в кармане, я надел брюки от моего полотняного костюма, а сверху — пиджак «Шэдоуз» темной стороной наружу и отправился в центр надземкой по Третьей авеню. Я бы голову дал на отсеченье, что, кроме меня, в поезде никто не вез десять тысяч долларов в кармане брюк,— ни солидные рабочие, которые одновременно покачивались на плетеных сиденьях, ни открывающий двери кондуктор, ни водитель в передней кабине; не было никого,— разве что там мог случайно оказаться чересчур любознательный школьник,— кто бы знал, чья рожа изображена на тысячедолларовой банкноте. Если бы я встал и объявил, что везу такую сумму, люди бы отодвинулись от меня, как от чокнутого. Эти досужие размышления, в конце концов, так подействовали на мои нервы, что я вышел на остановке «116-я улица» и на свои собственные деньги проехал в такси через весь город до Восьмой авеню, где находился дом Председателя Джеймса Дж. Хайнса.

Интересно, что весь район, прилегающий к Морнингсайтским высотам, был жалкий, полуразрушенный и грязный, с переполненными мусорными баками и слоняющимися без дела неграми, но его дом по ухоженности не уступал домам на Парк авеню. Портье в ливрее вежливо ответил на мои вопросы, а современный, отделанный блестящей медью лифт поднял меня на третий этаж. Но нищенская жизнь и здесь не отпускала меня: я оказался в конце длинной очереди ждущих людей, они стояли в тусклом свете, как за хлебом. В очереди за хлебом люди стоят плотно, расставив ноги, сосредоточенно наблюдая за началом очереди, словно только абсолютная концентрация их внимания может продвинуть ее. Но эта очередь двигалась медленно, и когда кто-то, закончив дело, выходил, все смотрели на него, словно пытались выяснить, добился он своего или нет. До открытой двери квартиры великого человека я добрался минут через тридцать — сорок. Все это время я воображал, будто живу в нищете. Будто год за годом, стоя в очередях и ожидая подаяния, я усыхал — так я постепенно вживался в психологию нищего. Я нес человеку деньги, я пришел дать, а вынужден был стоять в душном коридоре и ждать своей нищенской очереди.

Но вот я оказался в фойе, прихожей, где, словно пациенты у врача, сидели несколько безутешных мужчин, держа шляпы на коленях; я вслед за ними передвигался со стула на стул, постепенно приближаясь к внутреннему святилищу, пока, наконец, не был допущен сквозь двойные двери в новый коридор, в котором мужчина за конторкой и еще один, стоявший за ним, внимательно оглядели меня, я узнал повадку своих новых товарищей — они точно вслух думают. Мистер Берман не счел нужным инструктировать меня. Я решил, что слишком молод, чтобы разыгрывать из себя избирателя, ищущего работу, я был просто бедный мальчишка из чужого района, который старался выглядеть как можно лучше.

— Я сын Мэри Кэтрин Бихан,— сказал я правдиво.— Когда отец бросил нас, настали тяжелые времена. Моя мать работает в прачечной, но она заболела и больше не может ходить туда. Она говорит, я должен сказать мистеру Хайнсу, что она всегда голосовала за демократов.— Церберы обменялись взглядами, тот, который стоял, ушел по коридору. Примерно через минуту он возвратился и повел меня туда, откуда толь-

ко что вернулся, мимо столовой с буфетами, где за стеклянными створками стояла фарфоровая посуда, гостиной с массивной мебелью и игровой комнаты с цитатами в рамках и биллиардным столом; и вот меня ввели в завешенную коврами и портьерами спальню, в которой пахло яблоками, вином и лосьоном для бритья, такой терпкий запах бывает только в непроветриваемых помещениях. И там на покрывалах, обложенный подушками, в темно-красном шелковом халате полулежал, вытянув безволосые старые ноги, сам Джеймс Дж. Хайнс, окружной шеф общества «Таммани».

— Доброе утро, парень,— сказал он, отрывая взгляд от утренней газеты. Ноги у него были большие, узловатые, с толстыми мозолями на подошвах, но в остальном он был красивый мужчина, седовласый, румяный, с небольшими правильными чертами лица и очень ясными голубыми глазами, которые смотрели на меня достаточно добродушно, словно он не возражал выслушать мою историю, сравнив ее, естественно, с теми историями, что он уже выслушал в это утро, и теми, что еще ждали его в коридоре и до самого лифта. Я молчал. Он озадаченно подождал.— Ну, что скажешь? — спросил он.

— Сэр,— сказал я,— я не могу говорить, когда этот джентльмен дышит мне в затылок. Он напоминает мне школьного инспектора.

Он улыбнулся, я продолжал смотреть на него совершенно серьезно. Человек он был неглупый. Взмахом руки он отослал телохранителя, я услышал, как за ним закрылась дверь. Я смело шагнул к кровати и, вытащив конверт из кармана, положил его на покрывало рядом с его мясистой рукой. Его голубые глаза с беспокойством застыли на мне. Я сделал шаг назад, не отрывая взгляда от его руки. Сначала он в задумчивости постучал по незапечатанному конверту указательным пальцем. Потом вся рука залезла туда и неуклюжие с виду пальцы ловко вытащили хрустящие банкноты и помахали ими, как картами, что свидетельствовало о гибкости старческих членов.

Когда я поднял глаза, мистер Хайнс откинулся на подушки с таким тяжким вздохом, будто жизнь ему стала совершенно невыносима.

— Значит, у этого грязного ублюдка по-прежнему хватает хитрости, чтобы с помощью мальчишки проникнуть ко мне?

— Да, сэр.

— Где он нашел такого надежного ребенка?

Я пожал плечами.

— Так получается, что нет никакой Мэри Бихан?

— Есть, это моя мать.

— Какое облегчение слышать это. Много лет назад я устроил на работу красивую молодую ирландку, которая приехала в Америку под этим именем. Она была ровесницей моей младшей дочери. Где вы живете?

— В Клэрмонтском секторе Бронкса.

— Ясно. Интересно, та ли это женщина. Она была высокой, стройной, тихой и скромной, таких монашенки любят, я знал, что мужа эта Мэри Бихан найдет в два счета. И кто же этот негодяй, который бросил такую женщину?

Я не ответил.

— Как зовут твоего отца, парень?

— Я не знаю, сэр.

— О, понимаю. Понимаю. Прости.— Кивнув несколько раз, он сжал губы. Затем лицо его просветлело.— Но у нее есть ты, разве не так? Она вырастила способного сына, отважного духом, и с явным намерением вести опасный образ жизни.

— У нее действительно есть я,— отозвался я, почти непроизвольно перенимая присущий ему мягкий речевой ритм, он был первым политиком, которого я видел, и, судя по тому, как он умел заставить человека принять свой язык, политиком он был хорошим.

— В твоем возрасте я тоже был смышленый парнишка. Возможно, немного покрупнее в кости, поскольку в нашем роду было много кузнецов. Но с тем же даром искать трудности.— Он помолчал.— Ты ведь на самом деле не нуждаешься в моей помощи, чтобы избавить свою мать от работы в прачечной и позаботиться о ее удобствах?

— Нет, сэр.

— Я так и думал, только хотел удостовериться. Ты умный парень. Возможно, в тебе говорит что-то опасное, ирландское. Или еврейское. Наверное, это и объясняет, почему ты выбрал такую компанию.— Он замолчал и уставился на меня.

— Если это все, сэр...— сказал я.— Я знаю, что вас ждут люди.

Будто не слыша, он указал на стул рядом с кроватью. Я смотрел, как его рука собрала в пачку веер банкнот и вложила его в конверт.

— Ничто так не печалит меня, как необходимость вернуть такое великодушное свидетельство сердечных чувств,— сказал он и толкнул конверт ко мне.— Это прекрасные хрустящие купюры самого благородного достоинства. Ты понимаешь, я могу взять их, но он от этого мудрее не станет. Понимаешь? Только я этого не сделаю. Объясни ему. Объясни ему, что Джеймс Дж. Хайнс чудес не совершает. Слишком далеко дело зашло, господин Бихан. Есть еще маленький республиканец с усами. И в нем нет ничего поэтического.

Голубые глаза смотрели на меня до тех пор, пока я не понял, что надо взять конверт. Я засунул его в карман.

— Где он нашел сына Мэри Бихан, на улице?

— Да.

— Скажи ему, что я впечатлен, по крайней мере, этим. А тебе я желаю долгой и счастливой жизни. Но с ним у меня все кончено. К дьяволу. Я думал, он все понял после той неприятности в захолустье. Мне кажется, я выразился ясно. Ты знаешь, что я имею в виду?

— Нет, сэр.

— Не важно, я не должен ему все разжевывать. Просто скажи ему, что я не хочу иметь с ним ничего общего. Дела между нами закончились. Скажешь?

— Скажу.

Я встал и пошел к двери.

— Крайне опасно, когда деньги перестают обращаться,— сказал мистер Хайнс.— Я надеялся, что не доживу до этого дня.— Он взял в руки газету.— Не хочу делать вид, что меня очень заботит наш общий друг, но он имел в высшей степени достойного соратника в лице мистера Уайнберга. Кто знает, может, это было началом. Кто знает, может, началом стал тот день, когда он нашел тебя.

— Началом чего?

Он поднял руку.

— Передай мой самый теплый привет твоей дорогой матери и расскажи, что я ею интересовался,— сказал он и возвратился к чтению еще до того, как я успел закрыть дверь.

Вернувшись в Бронкс, я отправился в табачный магазин на Третьей авеню под надземкой, купил пачку «Уингс», наменял жменю монет и заказал междугородный разговор с отелем «Саундвью» в Бриджпорте, штат Коннектикут. В отеле ни мистер Шульц, ни мистер Флегенхаймер, ни мистер Берман не проживали. Когда я вернулся домой, дверь в квартиру была открыта, и там работал телефонист, на нем был обычный для их профессии пояс с висящими на нем инструментами, он устанавливал телефон в гостиной около дивана. Я выглянул в окно и, как и ожидал, зеленого грузовика телефонной компании не обнаружил, не видел я его и когда шел домой. Он удалился сосредоточенно и молча, как и работал, дверь прикрыл не до конца. Белый круг телефона, на котором обычно нарисованы цифры, был девственно пуст.

Конверт с деньгами Хайнса я положил на старое место в обшивке дивана, потом сел на диван и стал ждать. Мне казалось, что со времени знакомства с мистером Шульцем меня одолевают высшие существа, которые пришли в мир раньше меня и знают больше; это они изобрели телефоны, такси, надземные поезда, ночные клубы и церкви, суды, газеты и банки; поразительно, родившись, войти в их мир, проскользнуть живым через родительный канал и креститься хлопком по голове, точно тебя прибило пробкой из бутылки шампанского, так что жизнь после этого навеки удивительна и непонятна. Что мне теперь делать со всеми с ними и их тайными делами, что мне делать?

Не прошло и четверти часа, как телефон зазвонил. Это был непривычный звук в нашей маленькой квартирке, громкий, как школьный звонок, я слышал, как он звенел по всей лестнице.

— Карандаш взял? — спросил мистер Берман.— Запиши свой номер. Теперь ты можешь звонить своей маме из любого места Соединенных Штатов.

— Спасибо.

Он продиктовал мне номер. Говорил он чуть ли не весело.

— Ты, конечно, сам звонить не можешь, но, с другой стороны, ты ведь ничего и не платишь. Ну? Как все прошло?

Я рассказал ему о результатах моей встречи с мистером Хайнсом.

— Я старался дозвониться,— сказал я.— Но вас там не было.

— Мы в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, напротив, через реку,— сказал он.— Я вижу отсюда Эмпайр стейт билдинг. Повтори снова, но с подробностями.

— Он говорит, что это выше его сил. Он говорит, что вам надо винить усатого человека. Он говорит, чтобы вы больше к нему не обращались.

— Какого усатого человека? — Это уже был голос мистера Шульца. Он слушал по параллельному телефону.

— Республиканца.

— Дьюи? Прокурора?

— Думаю, что да.

— Сукин сын! — сказал он. Голоса большинства людей искажаются телефоном, а вот мистера Шульца я слышал во всем богатстве его обертонов.— Я и без него знаю, что Томас Э. сраный Дьюи наступает мне на пятки. Сукин сын. Говноед проклятый. Денег не берет? После всех этих лет деньги ему мои не нравятся! Я поймаю эту сволочь и запихну эти деньги ему в глотку, он ими подавится, я ему брюхо вспорю и набью ими его утробу, он срать будет моими деньгами.

— Прошу тебя, Артур. Подожди минутку.

Мистер Шульц бросил трубку, в ухе у меня звенело.

— Ты слушаешь, малыш? — спросил мистер Берман.

— Мистер Берман, у меня остался конверт, он действует мне на нервы.

— Спрячь его пока где-нибудь в безопасном месте,— сказал он.

Я слышал, как где-то неподалеку бесновался мистер Шульц.

— Через пару дней мы все организуем,— сказал мистер Берман.— Никуда не отлучайся. Ты нам потребуешься, я не хочу терять время на поиски.

Вот так обстояли дела в эти жаркие дни бабьего лета в Бронксе, поливалка сиротского дома каждое утро устраивала над улицей радугу, похожую на нимб, под ней с криками бегали дети. Я грустил. Мать каждое утро тихо уходила на работу, но покой наш был нестоек, матери не нравился телефон на углу стола около дивана, она приладила перед ним свою фотографию в рамочке и искалеченный портрет отца. Я купил электрический вентилятор, который ходил из стороны в сторону по дуге в сто восемьдесят градусов, он не только раздувал пламя свечей в стаканах на кухне, но и время от времени обдувал прохладой мою голую спину, когда я сидел и читал газеты в гостиной. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать слова мистера Хайнса. Это был мудрый чело-

век, действительно крайне опасно, когда деньги перестают обращаться. Я вел отсчет времени, проведенного с мистером Шульцем, по убийствам, перестрелкам, истерикам, звукам раскалывающихся черепов, отзывающихся в моей памяти колокольным звоном; но ведь происходило и другое, например, денежный оборот, деньги приходили и уходили с постоянством приливов и отливов, с постоянством небесных светил. Я, естественно, фокусировал свое внимание на получении денег, именно оно было предметом самой крикливой заботы мистера Шульца, несмотря на юридические проблемы и преследование закона, несмотря на трудности управления делами на расстоянии, вороватость исполнителей и предательство соратников; но потраченные деньги имели не меньшее значение, на них покупались оружие и пища, адвокаты, полицейские и добрая воля бедняков, ими платили за недвижимость, выплачивали зарплату, оплачивали празднества, которые убеждали влиятельных людей в том, что они имеют дело со звездой первой величины. Насколько я знал, мистер Шульц не тратил состояние, которое он, без сомнения, накопил за годы, он владел им, но на его жизнь это никак не влияло; я предполагал, что у него есть собственный дом или хорошая квартира, где живет его жена, где пользуются хорошими вещами, но он не щеголял богатством, не подражал посетителям лож в Саратоге. Он жил небогато, выглядеть богатым не пытался, в Онондаге он сорил деньгами напоказ, но сам же следил за ежедневными расходами, он иногда выезжал на прогулку верхом и швырялся деньгами,— но все это как-то натужно, исключительно ради выживания, со времени нашего знакомства он постоянно был в бегах, жил бродягой, в отелях и укрытиях, он тратил деньги, только чтобы умножать их, он должен был делать деньги, чтобы продолжать их делать, потому что только деньги позволяли ему жить, чтобы дальше делать деньги.

Вот почему отказ мистера Хайнса взять десять тысяч долларов был таким зловещим признаком: не важно, в какую сторону перестали течь деньги — в банду или вовне, результат оставался равным образом разрушительным, вся система была в опасности; однажды в планетарии учитель объяснил нам, что, если бы земля вдруг перестала вращаться, она бы развалилась на куски.

Теперь я взволнованно ходил из угла в угол комнаты, совсем как мистер Шульц, я теперь знал, что имел в виду Хайнс, когда говорил о начале, он имел в виду конец; мне не довелось видеть мистера Шульца на вершине его могущества, я не знал его, когда он справлялся с любыми обстоятельствами и управлял ими; я вошел в его жизнь, когда уже не все подчинялось его желанию, когда он только защищался, я не помнил случая, чтобы он не сражался, все наши действия были связаны с его желанием выжить, все мои поручения — тоже, и лотерея, и посещение воскресной школы, даже то, что мне расквасили нос, что я спал с Дрю Престон, увез ее в Саратогу и вырвал из его лап — все это, в конце концов, служило одной цели — его выживанию.

Я не мог еще знать этого на булыжной мостовой перед пивным складом, когда у обочины остановилась третья из трех тихих машин и все мальчишки в благоговении вскочили на ноги, а я жонглировал двумя мячиками, апельсином, яйцом и камнем, изнемогая от преклонения перед великим гангстером; он высоко поднялся, и он падал. Вся жизнь Немца со мной была падением.

После пары дней молчания телефон начал звонить весьма регулярно. Звонили и мистер Берман, и мистер Шульц, и я бежал выполнять поручения, природа которых мне обычно была неясна. Газеты продолжали следить за делом Немца, так что во время каждодневных поездок на метро я старался понять, чем занимаюсь я и что предпринимает прокуратура по особым делам. Однажды утром я поехал в Эмбасси-клуб, который при дневном освещении выглядел не лучшим образом: чехлы выцвели, медь потускнела; незнакомый человек вручил мне коробку из-под

виски «Уайт Лейбл» и сказал, чтобы я пошевеливался. В коробке лежали бухгалтерские книги, ленты арифмометра, деловые письма, накладные и тому подобное. Как мне и было велено, я поехал на Пенсильванский вокзал и положил коробку в автоматическую камеру хранения, а ключ отослал на имя мистера Эндрю Фейгена в какой-то отель в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Потом я прочитал в «Миррор», что прокурор по особым делам наложил арест на всю деловую документацию ресторана «Метрополитен» и Ассоциации владельцев кафе в связи с загадочной смертью ее президента Джулиуса Моголовски, известного больше как Джули Мартин.

В другой раз я бегу вверх по мокрым скрипучим ступеням на Восьмой авеню в поисках боксерской школы Стилмэна. Это знаменитое спортивное заведение, и я спешу сделать вступительный взнос, хотя понятия не имею, чем мне там предстоит заниматься, кроме того, что я должен отдать одну из тысячедолларовых банкнот человеку, ни имени которого, ни как он выглядит я не знаю. В квадрате ринга я заметил негра с лоснящейся кожей и прекрасной мускулатурой, на голове у него был кожаный шлем, он наносил удар за ударом, а пять или шесть человек, стоящих вокруг, выкрикивали свои советы — ни дать ни взять портовые грузчики: так ему, так ему, Нэт, наддай, левой, правой, окучивай. К этой расе принадлежал и водитель Микки, у него тоже были оттопыренные уши, расплющенный нос, водянистые глаза, и он когда-то кружил по рингу, прыгал, совершал нырки и сплевывал в ведра; качаются мешки с песком, скрипят резиновые кеды; я понимаю, в чем сладость этой жизни; она проходит в ограниченном пространстве, как и религиозная, она пропитана густым запахом мужского пота, который является ее сутью, как и праведность; эти люди дышат верой друг в друга, этой верой насыщена старая кожа, стены; я не выдерживаю, хватаю скакалку и делаю с полсотни прыжков. И, оказывается, мне не надо искать нужного человека, все очень просто, он сам замечает, что я уже здесь. Один из секундантов боксера на ринге подходит ко мне в своей короткой потной майке, из-под которой торчит волосатый белый живот, он обнимает меня своей вонючей рукой за плечо с таким видом, словно мы давние приятели и долго не виделись, прижимает меня к себе так, что его открытая ладонь оказывается у меня под носом, и ведет к выходу.

В газетах по этому поводу я ничего не вычитал, правда, у меня появилось чувство, что все, чем я занимаюсь, пропахло потом убийц.

Еще одна тысяча ушла судебному чиновнику в суде низшей инстанции — там начал дело Дикси Дейвис; пока я вынимал банкноту из бумажника, этот маленький лысый человечек гонял сигарный окурок из одного угла рта в другой. Насколько я помню, Джон Д. Рокфеллер отдавал только десятицентовики. На углу Бродвея и 49-й улицы в конторе Третьего отделения профсоюза мойщиков окон и уборщиков зданий мне пришлось ждать получателя очередной тысячи долларов на деревянном стуле около барьера, за которым находилась женщина с черной родинкой над верхней губой; она хмурилась, возможно, ее смущало мое присутствие, я ведь видел, что делать ей почти нечего, за ее спиной было очень широкое и высокое, но совершенно грязное окно, сквозь грязь на противоположной крыше видны были ноги рекламного любителя виски Джонни Уокера с моноклем и в цилиндре, его громадные ботинки шагали по воздуху над Бродвеем.

По правде говоря, мне нравилась эта пора, я чувствовал, что наступает мое время, и оно было как-то связано с осенью, с городом на последнем серьезном повороте к зиме, свет стал другим, ярким, холодным, он сковал воздух, отполировал верх двухэтажного автобуса № 6, на котором я совершал путешествие в предчувствии смерти; на углах под бронзовыми фонарями, увенчанными маленькими Меркуриями, собирались толпы людей, свистели полицейские, гудели машины; высокий автобус качался из стороны в сторону; над магазинами и отелями развевались флаги; и все это для меня, в честь моего триумфального продвиже-

ния, я наслаждался городом, куда Немцу не было доступа, на какое-то время город стал моим, и я мог делать все, что мне придет на ум.

Интересно, сколько он выдержит, как долго сможет держать себя в руках, не пытаясь испытать их решимость, ведь они знали все его убежища, они знали, где живет его жена, знали его машины, его людей, а теперь, без Хайнса, у него не осталось лапы ни в полиции, ни в суде, он мог сесть на уихокенский паром, он мог приехать по Голландскому тунелю, он мог пересечь мост Джорджа Вашингтона, он много чего мог, но они уже знали, где он находится, а потому знали бы и время отъезда, что для него превращало Нью-Йорк в крепость, обнесенный стеной город с запертыми воротами.

Приблизительно за неделю я раздал половину из десяти тысячедолларовых банкнот. Насколько я мог судить, это были не взятки, а текущие выплаты и небольшие организационные вливания.

Томас Э. Дьюи пил-таки кровь, он обнаружил несколько банковских счетов Немца Шульца на вымышленные имена и заморозил их, он наложил арест на финансовую документацию принадлежащего Немцу пивного завода, его помощники допрашивали полицейских и других людей, имена которых прессе не раскрывали. Но если находились деньги на подобные вещи, то должны были найтись средства и на постепенную перестройку всего дела, кто-то наверняка этим занимался, может, вы думаете, Микки ни на что не годился? Или Ирвинг не мог стать невидимкой? На совещании в гостиной борделя присутствовало человек двадцать — двадцать пять, и не все они убежали в Джерси, организация действовала, двадцать пять — это, конечно, не сто и не двести, но дело делалось — пусть хуже, в более сложных условиях, с меньшей эффективностью — подлое, убийственное и достаточно прибыльное, чтобы нанять юристов, дело.

Вот как я себе это представлял, точнее, вот как было бы, если бы делом управлял я — я бы терпеливо пережидал время и не рисковал пару недель, а может, и до первых чисел октября. Но я не мистер Шульц, а мистер Шульц умел поразить и других, и себя; я имею в виду сообщение в газете о том, что разгромлен целый этаж в отеле «Савой-Плаза»; неизвестный вор или воры вломились в жилые помещения и нанесли ущерб, измеряемый в десятки тысяч долларов; он или они изрезали картины, изорвали гобелены, разбили посуду, изгадили книги и, возможно, украли вещи на неустановленную сумму, поскольку проживающие в этих апартаментах мистер и миссис Престон — он является наследником крупного железнодорожного состояния — находятся в зарубежной поездке и связаться с ними не удалось.

Как-то вечером, выполняя поручение, я сел на поезд надземки на Третьей авеню и через весь город доехал до паромного причала на 23-й улице в Вест-сайде, а затем перебрался на палубу самого длинного и широкого судна в мире, перевозящего каждый день тысячи людей с такой неморской плавностью, что, казалось, находишься в плавучем доме или же на острове Нью-Йорк, отколотом для удобства жителей от материка и пущенном по реке; я плыл на судне, которое пахло, как автобус или вагон метро, в доски палубы были вдавлены обертки от жевательной резинки, под плетеными креслами валялись конфетные фантики, над головой висели кожаные петли, за которые держались пассажиры, вокруг стояли те же самые проволочные корзины для мусора, что и на улицах города, под ногами я чувствовал дрожь темной воды, легкую зыбь живого и голодного океана; я смотрел на удаляющийся Нью-Йорк и думал, что отправляюсь в траурное путешествие.

Я скажу здесь, даже рискуя кое-кого обидеть, что прибытие в промышленный порт на Джерсийском берегу, где на якоре стояли ряды угольных барж, небо коптили кирпичные заводы, а западный горизонт закрывали трубы, газгольдеры и адская паутина коммуникаций нефтеперегонных заводов, не прибавило мне уверенности, хотя под ногами я и

почувствовал твердую землю. У здания порта меня ждало желтое такси, таксист махнул рукой, и, когда я подошел к машине, он, перегнувшись, открыл мне заднюю дверь; уже в машине я увидел, что на месте таксиста сидит Микки, который приветствовал меня не свойственным ему глубоким кивком, а потом так резко взял с места, что меня вдавило в сиденье.

До Ньюарка можно добраться только через Джерси-Сити, между этими городами, видимо, существует какая-то официальная граница, но я их отличить никак не мог, для меня оба они являлись всего лишь скучными отголосками Нью-Йорка, своего рода тенью на другом берегу реки; вы скажете, что это были обычные районы Нью-Йорка типа Бронкса или Бруклина с барами, трамваями, мастерскими и складами, но воздух пахнул здесь по-другому, магазины были старомодные, улицы узкие, а люди все какие-то неприкаянные; они то и дело задирали головы на перекрестках, пытаясь вспомнить, где они находятся; более удручающего места я еще не видел, это был какой-то монумент неприкаянности, и представляю, как выходил из себя мистер Шульц, когда метался по Юнион-Сити, Джерси-Сити и Ньюарку в поисках окна, из которого был бы виден Эмпайр стейт билдинг.

Сомнений не было, я приехал на кладбище, такое уродливое место для житья совершенно не годилось. Микки остановился около бара, на улице, покрытой не асфальтом, а беловатым бетоном, над ней висела сеть из телефонных и электропроводов; высадив меня, Микки уехал. Заведение называлось «Мясные лакомства». Теперь я признаюсь, что тогда меня посетила вот какая мысль: раз мистер Шульц, несмотря на все свои старания и нужды, отрезан от своего бизнеса в Нью-Йорке и никто из его доверенных людей не может появиться там на сколько-нибудь продолжительное время, я хочу сказать, раз я остался единственным, кто имел свободу действий, моя ценность для банды возросла и меня пора было сделать ее полноправным членом. Я выполнял все более ответственную работу, недоумевая, почему по-прежнему должен зависеть от подачек, пусть даже и щедрых. Они столько мне доверяют, так смело на меня рассчитывают, но, подумать только! денег не платят. Мне хотелось получать настоящую зарплату, и я решил, что, если мистер Шульц невзначай не убьет меня, я попрошу назначить мне ее. Однако, пройдя бар, завернув за угол, миновав короткий коридор и попав в комнату без окон, где за столом у стены сидели мистер Шульц и мистер Берман, Ирвинг и Лулу Розенкранц, я понял, что не заикнусь об этом, причем не от страха, а от неверия в них; не знаю почему, но, взглянув на этих людей, я понял, что их уже поздно о чем-либо просить.

Стены комнаты были выкрашены бледно-зеленой краской и увешаны декоративными зеркалами из травленого металла, верхний свет придавал всему какой-то блеклый вид. Они ели жареное мясо, на столе стояло красное вино, которое при таком освещении казалось черным.

— Бери стул, малыш,— сказал мистер Шульц.— Есть хочешь?

Я сказал, что нет. Он выглядел похудевшим, черты лица его заострились, губы сложились в горькую ухмылку, он был совершенно подавлен и небрит, углы на воротничке рубашки загнулись.

Не доев, он отодвинул тарелку и закурил сигарету; это был еще один недобрый знак, в хорошем расположении духа он курил сигары. Остальные ели до тех пор, пока не поняли, что терпение его иссякает. Один за другим они положили на стол свои вилки и ножи.

— Эй, Сэм,— позвал мистер Шульц. Появившийся из кухни китаец убрал тарелки, принес кофе и пинтовую бутылку сливок. Обернувшись, мистер Шульц подождал, пока китаец уйдет на кухню. Потом сказал:

— Малыш, ты знаешь сукиного сына, которого зовут Томас Дьюи?

— Да, сэр.

— Значит, видел его рожу,— сказал мистер Шульц, вынул из бумажника вырванную из газеты фотографию и шлепнул ее на стол. У про-

курора по особым делам Дьюи были красивые черные волосы с проб-ром посередине, курносый нос и усы, которые упоминал мистер Хайнс, маленькие глаза мистера Дьюи смотрели на меня с решительностью человека, знающего, как управлять миром.

— Запомнил? — спросил мистер Шульц.

Я кивнул.

— Мистер Дьюи живет на Пятой авеню, рядом с парком, понял?

Я кивнул.

— Я скажу тебе номер его дома. Я хочу, чтобы ты выяснил, когда он утром выходит оттуда, куда идет и с кем, а также когда и с кем возвращается с работы. Своим поганым делом он руководит из Дома Вулворта на Бродвее. Но это тебя не касается. Твоя задача — это следить, когда он уходит из дома на службу и когда возвращается. Меня интересует только это. Справишься?

Я оглядел стол. Все, включая мистера Бермана, опустили головы. Руки они, как школьники, держали на столе. Никто из них со времени моего прихода не произнес ни слова.

— Наверное.

— Наверное! Ничего себе отношение. «Наверное». Ты что, говорил с ними? — спросил он, указывая большим пальцем на стол.

— Я? Нет.

— А я-то думал, что хоть один человек в организации не наложил в штаны. Что я могу хоть на кого-то рассчитывать.

— О, босс,— вставил Лулу Розенкранц.

— Захлопни хлебало, Лулу. Ты урод тупой. Вот ты кто.

— Ты не прав, Артур,— сказал мистер Берман.

— Заткнись, Отто. Меня вышвыривают из бизнеса, а ты лопочешь, что я не прав. Может, ты хочешь, чтобы они мне голову оторвали?

— Речь шла совсем о другом.

— Откуда ты знаешь? Откуда?

— Мы же договорились все обсудить, пока они обдумывают решение.

— Я сам обдумаю его, и не только обдумаю, но и исполню.

— У нас же договор с этими людьми.

— В жопу договоры.

— Ты забыл, как он проехал сотни миль, чтобы стать в церкви с тобою рядом?

— Как же, забыл! Он приехал, чтобы показать, будто они с папой делают мне это говенное одолжение. Потом он садится, ест мою еду, пьет мое вино и не говорит ничего. Ничего! Я все прекрасно помню.

— Так уж и ничего,— возразил мистер Берман.— Разве само его присутствие не красноречивее слов?!

— Его почти совсем не слышно, будто у него лопнули голосовые связки. Надо наклониться и сунуть лицо в эту чесночную пасть и все равно ничего не поймешь, нравится ему, не нравится — все одно, никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Он берет дело под наблюдение! Откуда ты знаешь? Разве можно верить этому сукину сыну? Если мне что-то нравится, я так и говорю, если не нравится, я тоже говорю напрямик, уж если я кого-то не люблю, он это прекрасно понимает, я такой, и тут ничего не поделашь, к черту всю его скрытность, когда каждую минуту надо гадать, что он на самом деле думает.

Мистер Берман прикурил сигарету и, держа ее большим и указательным пальцами, спрятал в ладони.

— Это вопрос стиля, Артур. Надо видеть за этим философию. А философия в том, что их организация сохранилась в неприкосновенности. Она в нашем распоряжении. Мы можем ею воспользоваться, мы можем рассчитывать на ее защиту. Мы объединяемся с ней и создаем совет, мы заседаем в совете, имея свои голоса. Вот в чем философия.

— Да, с философией все в порядке, но ты заметил? Эта собака

Дьюи охотится только за мной. Кто, по-твоему, натравил федеральных ищеек, которые меня уже за ноги кусают?

— Да пойми ты, у нас с ними общие проблемы. Они понимают, как только доберутся до Шульца, наступит их черед. Прошу тебя, Артур, успокойся. Они бизнесмены. Может, ты и прав, может, надо поступить по-твоему. Он сказал, они подумают, поищут решение, но им требуется время. Ты не хуже их знаешь, что город начинает сходить с ума, даже когда речь идет о вшивом патрульном полицейском. А тут крупный прокурор, о котором каждый день пишут газеты. Народный герой. Ты выиграешь битву, но проиграешь войну.

Мистер Берман продолжал говорить, пытаясь успокоить мистера Шульца. Каждый его новый аргумент Лулу сопровождал кивком с таким выражением лица, будто он сам только что хотел сказать то же самое. Ирвинг сидел, сложив руки и опустив голову, он выполнит любое принятое решение, так было всегда, так будет до его смерти.

— Современный бизнесмен стремится к оптимальному сочетанию силы и гибкости,— сказал мистер Берман.— Он вступает в ассоциацию. Присоединяясь к большой организации, он обретает силу. Методы согласованы, территории, цены, рынки контролируются. Он достигает гибкости. И тем самым доходы от лотереи растут. Никто ни с кем не воюет. И его нынешняя доля больше, чем вся прежняя выручка.

Я видел, что мистер Шульц постепенно расслабляется, он сначала сидел, наклонившись и держась за край стола, будто собирался перевернуть его, но теперь он сел поглубже и положил руку себе на лоб, будто у него болела голова, этот жест придал мне уверенности, и я вмешался:

— Прошу прощения. Человек, о котором вы говорите, ну, тот, который в церковь приезжал... миссис Престон мне о нем кое-что сказала.

Я сейчас расскажу об этом моменте, расскажу, что я думал о своем поступке, или точнее о том, что я думаю сейчас о том, что я думал о своем поступке, именно в этот миг все решилось, я думаю об их смерти, о том, как они умирали, но больше всего об этом решающем миге, о том, откуда все пошло, не из сердца или головы, но изо рта, словородителя, инструмента хмыканья и стона, крика и визга.

— Она знала его. Не то чтобы знала, но встречала раньше. И не то чтобы она помнила, как встречалась с ним,— говорил я,— и могла наверняка это сказать. Но она пила,— тут я взглянул на Ирвинга,— она сама мне об этом сказала, а когда пьешь, многого ведь не помнишь? Но вот около церкви Святого Варнавы,— говорил я, обращаясь уже к мистеру Шульцу,— она чувствовала, когда вы знакомили их, что он смотрит на нее так, будто узнал ее. Она считает, что раньше они, должно быть, встречались.

В «Мясных лакомствах» стало так тихо, что я слышал, как дышит мистер Шульц, его манеру дышать я знал не хуже его голоса, мыслей, характера, вдыхал он медленно, а выдыхал быстро, в ритме «раз, два», причем между вздохами оставалась пауза, словно он размышлял, стоит ли дышать дальше.

— Где она его видела? — спросил он очень спокойно.

— Она думает, что где-то с Бо.

Он повернулся к мистеру Берману, откинулся на стуле и сунул большие пальцы рук в кармашки жилета.

— Ты слышишь, Отто? Ты ищешь, ищешь, а ребенок приходит и, как всегда, ведет тебя за руку.

В следующий миг он вскочил со стула и врезал мне по голове; мне показалось, что он бил не ладонью, а предплечьем, не знаю, что случилось, но комната закружилась; мне почудилось, что произошел взрыв, комната падала на меня; я видел, как опустился потолок и подпрыгнул пол; я летел назад через стул, падал спиной; шлепнувшись на пол, я стал шарить вокруг, стараясь зацепиться за что-либо, поскольку мне казалось, что пол двигался. Затем я почувствовал ужасную пульсирующую боль в боку, раз за разом, это он бил меня ногой; я попытался уползти

прочь, кричал, стулья скрипели, все одновременно заговорили, его оттаскивали; Ирвинг и Лулу буквально оторвали его от меня, я понял это позднее, когда до моего сознания стали доходить их торопливые, сдавленные от напряжения слова, *это ребенок, босс, ради Бога, оставь его, оставь его в покое.*

Затем, повернувшись на спину, я увидел, как он стряхнул их с себя и поднял руки.

— Все нормально,— сказал он.— О'кей. Со мной все в порядке.

Он дернул воротник, поправил жилет и сел на стул. Ирвинг и Лулу взяли меня под руки и рывком поставили на ноги. Мне было скверно. Они подняли мой стул и посадили меня на него, а мистер Берман дал мне бокал вина, я взял его двумя руками и сумел сделать несколько глотков. В ушах звенело, и при каждом вздохе в боку возникала резкая боль. Я выпрямился, тело раньше головы смиряется с тем, что случилось, я знал, что, если сяду прямо и буду дышать неглубоко и через нос, боль немного отпустит.

Мистер Шульц сказал:

— Слушай, малыш, это за то, что ты мне раньше не сказал. Услышав такое от этой шлюхи, ты должен был сразу ко мне прийти.

Я закашлялся осторожным лающим кашлем, который доставлял неимоверную боль. Потом отпил еще немного вина.

— Это была первая возможность,— солгал я. Чтобы прорезался голос, мне пришлось покашлять, я хотел выглядеть обиженным, а не испуганным.— Я все это время выполнял ваши поручения.

— Извини, я закончу. Сколько у тебя осталось от тех десяти тысяч?

Дрожащими руками я вынул из бумажника пять тысячедолларовых банкнот и положил их на белую скатерть.

— Ладно,— сказал он и взял четыре бумажки из пяти.— Это тебе.— Он пихнул пятую банкноту ко мне.— Месячный аванс. Теперь ты будешь получать двести пятьдесят долларов в неделю. Такова справедливость, понятно? За одно и то же ты заслужил и головомойку, и деньги.— Он оглядел сидящих за столом.— Больше никто ничего не хочет сказать о наших делах в городе?

Никто не произнес ни слова. Мистер Шульц разлил вино по бокалам и выпил свой, громко причмокивая.

— Теперь я чувствую себя лучше. Мне сразу не понравилось то совещание. Мне было не по себе. Я не умею входить в долю. Я не знал, с чего начать. Я индивидуалист, Отто. Я никогда никого ни о чем не просил. Все, что я имею, я добился собственным трудом. Я много трудился. И теперь я там, куда сам пришел, и желания у меня свои, а не чужие. А вы толкаете меня в компанию идиотов и говорите, что я должен заботиться об их интересах. А мне насрать на их интересы. Вот и все. Мне плевать, сколько прокуроров за мной охотятся. Именно это я и пытаюсь внушить вам. У меня просто слов не хватало. А теперь я их нашел.

— Это еще ни о чем не говорит, Артур. Бо любил развлечения. Это могло быть на скачках. Или в клубе. Это ни о чем не говорит.

Мистер Шульц покачал головой и улыбнулся.

— Мой дорогой Аббадабба, я и не знал, что числа — пища для мечтателей. Человек клянется мне в верности, а его клятва пшик, человек работает на меня все эти годы, а стоит мне отвернуться, как он тотчас же предает меня. Я не знаю, кто подкупил его. Кому в Кливленде пришла в голову такая идея?

Мистер Берман говорил очень взволнованно:

— Артур, он не дурак, он бизнесмен, он рассматривает возможности и выбирает самый легкий путь, вот в чем философия всей комбинации. Ему не обязательно было видеть девчонку, чтобы подобраться к Бо. И ведь он оказал тебе уважение.

Мистер Шульц отодвинулся от стола. Он вынул четки из кармана и начал крутить их, они хрустнули, а потом закрутились в обратном направлении, перехлестнувшись, они, наконец, остановились.

— Кто скурвил Бо? Я вижу твою комбинацию насквозь, Отто. Я вижу, что весь говенный мир против меня. Я насквозь вижу мерзавца, который идет со мной в церковь, клянется в братской любви, обнимает и целует в щеку. И это любовь? Эти выродки любят меня так же, как я их. Это что, смертельный сицилийский поцелуй? Ну, говори.

Глава девятнадцатая

Вот так я стал пасти Томаса Э. Дьюи, прокурора по особым делам, ответственного за борьбу с бандитизмом, будущего окружного атторнея, губернатора Нью-Йорка и кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Он жил на Пятой авеню в одном из тех каменных домов, которые соседствовали с Центральным парком, это было чуть севернее «Савой-Плаза»; через неделю я уже хорошо знал район, обычно я слонялся на парковой стороне улицы или прогуливался вдоль парковой стены, в тени платанов, иногда развлекался тем, что пытался ходить, не наступая на линии шестиугольных плит тротуара. Солнце приходило ранним утром из боковых улочек, заполняя их одну за другой светом и стреляя на перекрестках, словно из лучевых пушек Бака Роджерса; я все время думал о выстрелах, я слышал их в чихании моторов грузовиков, видел в лучах света, читал в меловых линиях детских рисунков на тротуарах; когда я следил за прокурором, готовя на него покушение, все в моем мозгу было связано с выстрелами. Вечером солнце опускалось за Вест-сайд, и каменные дома Пятой авеню светились золотом окон и белизной известняковых фасадов, на всех этажах горничные в формах задергивали шторы и опускали жалюзи.

В те дни мистер Шульц был мне особенно близок; я остался единственным верным ему по духу человеком, его ближайший советник осудил его намерения, двое его самых надежных помощников и телохранителей потеряли уверенность; я один понимал его сердцем, вот что я тогда чувствовал; должен признаться, мне льстило быть с ним рядом в его глубочайшем падении; пусть он треснул меня по голове, колотил ногами по ребрам, но теперь я его искренне любил; я простил его, я хотел, чтобы и он любил меня, я знал, что стерплю от него унижения, какие от других терпеть ни за что не буду; например, я все еще не простил Лулу Розенкранца за мой сломанный нос и до сих пор ежился от воспоминания, как в самом начале моего знакомства с бандой в лотерейной конторе на 149-й улице мистер Берман с помощью одного из самых дешевых своих математических трюков умыкнул у меня двадцать семь центов, мистер Берман с тех пор стал моим наставником, великодушно делился знаниями, воспитывал меня, и тем не менее я не смог простить ему потерю нескольких мальчишеских пенни.

Нельзя сколько-нибудь успешно следить за человеком, если ты не сумел стать незаметным, хорошо вписаться в ландшафт. Я купил самокат, надел хорошие брюки и водолазку и так провел день или два, потом в магазине домашних животных купил щенка и начал водить его на поводке, правда, люди, которые рано по утрам прогуливают своих собак, все время останавливались, чтобы сказать, какая прелесть мой малыш, а их собаки в это время обнюхивали его маленький вихляющий зад; это мне не нравилось, так что я отнес щенка обратно в магазин, и только когда я взял у матери на несколько дней ее плетеную коляску и отвез ее на такси в центр города, чтобы возить ее с видом старшего брата, вышедшего погулять с младенцем, я понял, что наконец-таки нашел нужную маскировку. У Арнольда Помойки я купил за два доллара куклу в чепчике, который закрывал ей лицо, люди любят прогуливать своих детей рано утром, иногда няньки в белых чулках и голубых плащах толкали перед собой богато отделанные подпружиненные лакированные коляски с сетками от насекомых, поэтому и я купил сетку и набросил ее на свою коляску; даже если бы какая-нибудь пожилая дама действительно сунула туда свой нос, то вряд ли бы что увидела; я то прогули-

вался, то сидел на скамейке прямо напротив его дома и качал коляску или же осторожно тряс ее на сломанных пружинах; так я выяснил, что ранним утром меньше всего людей и неожиданностей и что раннее утро — лучшее время, чтобы разделаться с мистером Дьюи.

Кукла понравилась матери, ее радовало мое участие в ее воображаемой жизни, она покопалась в старом кедровом комоде, нашла мои старые детские вещи и принялась наряжать куклу в затхлые одежки и чепчики, в которые одевала меня пятнадцать лет назад. То было неведение убийства, я любил свою мать за то, что она не замечала убийств, совершавшихся вокруг нее, пожалуй, такими, как она, были грозные библейские пророки, я очень любил ее за величественное безумие, которое она выбрала, чтобы справляться с убийствами в своей наполненной любовью жизни, и если меня когда и грызли сомнения, то достаточно было подумать о матери, чтобы понять, как я близок к исполнению своего предназначения — все получится, все закончится нормально.

А теперь я хочу заявить, что твердо знал: пока кое-какие нити находятся в моих руках, кровопролития я не допущу. Понимаю, что это звучит самонадеянно, и поэтому приношу свои извинения всем родственникам мистера Дьюи, его наследникам и соратникам, понимаю их чувство отвращения, но не вижу причин скрывать правду о своем неустроенном и одиноком детстве.

Странно, но хуже всего я чувствовал себя с мистером Берманом, мой рассказ о признании Дрю Престон именно в тот момент он, видимо, воспринял как предательство, как свой крах, это был конец его планам, его воспитанник не попадет в новое, придуманное им царство, где правят числа, где они заменили язык, где переписана книга. Он сказал мне однажды, этот аккуратный маленький горбатый человечек: «В книге говорится, нет, я скажу это по-иному, возьми числа, смешай их и разбросай, а потом собери и вновь сделай из них буквы, и тогда ты получишь совершенно новую книгу, новые слова, новые идеи, новый язык, который тебе предстоит усвоить, с новыми значениями и новыми событиями». Опасное высказывание, если его обдумать, высказывание об X, неизвестном числе, значение которого он терпеть не мог.

Но в его последнем взгляде на меня поверх очков — карие глаза его расширились до голубого окоема — я заметил отчаянный упрек и мгновенное понимание. Какой крохотный у нас ум, как он оскорблен внешним хаосом; этот маленький человечек, калека, прожил яркую жизнь, пользуясь всего одним своим талантом, со мной он всегда был добр и осторожно назидателен. Сейчас я спрашиваю себя, неужели единственное слово могло столь многое изменить, неужели он был против того, чтобы Шульц ушел, зная свое истинное положение, как и Бо Уайнберг; его, конечно, можно было лишить этой чести, он мог и не узнать, что его погубило. И все же я сейчас думаю, мистер Шульц все понимал, может, поэтому он так и афишировал свое желание покончить с прокурором, самоубийственный шаг при любом исходе, как он это сам признал, я просто подсказал ему слова, которые он давно подыскивал для выражения снедавшего его чувства; в свои тридцать три, тридцать пять он уже миновал возможность помилования, миновал ту точку, в которой встретились все элементы его погибели, жизнь его была отсрочена на длину горящего бикфордова шнура.

Тогда мне казалось, будто я передаю сообщение от одного близкого человека другому, сообщение, которое нельзя не передать, хотя я и пытался его утаить, что он и понял, а потому избил меня. Я прекрасно знал их обоих. Она снова превратила меня в мальчишку, живущего в гудящем пространстве между ними: Ты скажешь ему, ладно, произнесла она, поднося к глазам бинокль, и в линзах отразились стремительно скачущие маленькие лошади.

А теперь настал черед моего отчета, поздний вечер все в той же задней комнате «Лакомств» с бледно-зелеными стенами и развешанными через равные промежутки тусклыми зеркалами в рамах; линии рам напоминают лаконичные контуры современного небоскреба; иерархия дуг вызывает в памяти хор симпатичных девушек, стоящих на разноуровневых станках; мы все сидим хмурые за тем же самым дальним столом с безупречно чистой скатертью; добрался я туда уже очень поздно, ужин кончился, перед ними теперь не тарелки, чашки и блюдца, а вожделенные тонюсенькие ленты арифмометров — полночь; я заметил это по синим неоновым часам над баром, когда входил, полночь, момент истины сошелся с моментом милосердия. Полночь, самое подходящее имя для Бога.

И этот миг оказался мигом моего окончательного единения с ними, я один из них, их доверенное лицо, их коллега. Прежде всего меня захлестывает чувство творческой полноценности, сладость знания своего дела. Во-вторых, злое удовлетворение заговорщичеством, ты начинаешь чувствовать его силу, уже просто планируя убить человека, который в это время может целовать свою жену, чистить зубы или читать на ночь. Ты — посланник из вечного мрака, ты выведешь его из неведения, он заплатит жизнью, чтобы узнать то, что знаешь ты.

Каждое утро он выходит из дома в одно и то же время.

Когда именно?

Без десяти восемь. У подъезда стоит машина, двое людей в штатском встречают его у дверей и идут с ним, а машина едет следом. Они прогуливаются вместе до 72-й улицы, где он заходит в аптеку «Клэридж» и звонит там из автомата.

Каждый день?

Каждый день.

Там два телефона-автомата, слева, сразу за дверью. Пока он звонит, машина ждет у тротуара, а телохранители стоят у двери снаружи.

Они ждут снаружи? Это мистер Шульц хочет знать.

Да.

А что внутри?

Справа, как входишь, фонтанчик. У стойки можно позавтракать. Каждый день у них есть что-то новенькое.

Народу много?

Никогда не видел больше одного-двух человек в этот час.

А что он потом делает?

Он выходит из будки, машет рукой человеку за стойкой и уходит.

И сколько времени он проводит внутри?

Не больше трех-четырех минут. Он звонит всего один раз, причем в свою контору.

Откуда знаешь, что в контору?

Слышал. Я зашел вслед за ним посмотреть журналы. Он говорит им, что надо сделать. То, что он придумал за ночь; у него есть маленький блокнот, и он читает оттуда. И задает вопросы.

Почему он звонит не из дома? Это говорит мистер Берман. Да еще по дороге на работу, когда он и так увидит своих подчиненных через пятнадцать — двадцать минут?

Не знаю. Может, чтобы работали получше.

А что, если он боится подслушивания? Это уже Лулу Розенкранц.

Окружной прокурор?

О подслушивании он все знает, просто хочет исключить даже маленький риск и поэтому не звонит из дома.

Он все время встречается со свидетелями, говорит мистер Шульц. Он очень осторожен, прячет их, чтобы никто не догадался, откуда писк идет. Знаю я этого сукина сына. Лулу прав. Он риска избегает.

А как он возвращается? — спрашивает мистер Берман.

Он работает допоздна. Возвращается когда угодно, иногда даже в

десять. Подъезжает машина, он выходит и через секунду уже в подъезде.

Нет, малыш все верно высчитал, говорит мистер Шульц, выбираем утро. Надо поставить пару людей с бесшумными пушками у стойки, пусть пьют кофе. Оттуда есть выход?

Есть задняя дверь, которая ведет в подъезд здания. Можно спуститься в подвал и выйти на 73-ю улицу.

Ладно, говорит он и кладет руку мне на плечо. Ладно. И я чувствую ее тепло и ее тяжесть; она похожа на отцовскую руку, знакомую, такую тяжелую, такую уверенную; он буквально излучает признательность; я вижу, как он усмехается, обнажая крупные зубы. Мы им покажем, что значит нельзя, верно? Мы им покажем, что для нас нет невозможного. А сам я буду безвылазно сидеть в Джерси и сделаю вид, будто удивлен, хотя и не испытываю огорчений по поводу смерти этого ублюдка. Верно я говорю? Он сжимает мое плечо и поднимается на ноги. Они еще скажут мне спасибо, говорит он мистеру Берману, они еще будут благодарить Немца за предусмотрительность, попомни мои слова. Вот что значит гибкость, Отто. Вот что это значит.

Он одергивает жилет и идет в сортир. Наш стол стоит в правом бледно-зеленом углу. Я сижу лицом к стене, спиной к двери, ведущей в бар, но у меня есть то преимущество, что травленое зеркало позволяет мне видеть коридорчик, прилегающий к бару, лучше, чем если бы я сидел лицом к двери. В этом странная сила зеркал, которые способны показать вам то, что по-другому и не увидишь. Я наблюдаю за отражением голубого неона часов, ползущим по полу в темную таверну,— оно чем-то напоминает лунный свет на черной воде. И вдруг вода словно покрывается рябью. В тот же миг я слышу, как тряпка бармена шлепается на цинковую стойку под пивными кранами. И вот я слышу, как входную дверь открыли, а потом закрыли с неправдоподобным тактом.

Как я узнал? Как? Как почуял первые взмахи серпа, которые открывают убийственную жатву? Может, я верил, что наш заговор, точно дьявольское наваждение, вызвал к жизни зловещие призраки, и они обрушились на нас, готовые разнести всех на куски? Есть первый миг предчувствия, его ощущаешь спиной, чуть наклоняешься на стуле вперед и ждешь, весь напрягшись.

Бесшумные пистолеты, говорит Лулу, размышляя о будущем деле. Мистер Берман поворачивается на стуле, чтобы посмотреть на дверь, Ирвинг следит взглядом, как я встаю. Я обратил внимание, что редкие волосы Ирвинга тщательно причесаны, волосок к волоску. Затем я уже в коротком коридоре, который ведет на кухню. Я нахожу дверь в мужской туалет. В нос мне ударяет соленая вонь общественной уборной. Мистер Шульц стоит у писсуара, широко расставив ноги и уперев руки в бока, так что полы пиджака топорщатся, и его моча дугой падает в сосуд, слышен громкий пенный звук истомившейся плоти. Я пытаюсь сказать ему, что такой фокус ужасно устарел. А когда я слышу выстрелы, то мне вдруг кажется, что его убило электрическим током через пенис, что он совершил ошибку, о которой я читал в книге — если человек мочится в грозу, молния золотой змейкой может ужалить его и взорвать, как бомба.

Но он не убит электротоком, он втиснулся вместе со мной в тесную кабинку, я стою на крышке унитаза, он упирается в меня плечом, суетливо вынимает пистолет из-за пояса; я даже не уверен, что он знает о моем присутствии, он держит пистолет дулом вверх, а другой рукой — потрясающе! — пытается застегнуть ширинку; мы не вслушиваемся в выстрелы, нас качает от них, они звенят в ушах, они звучат в них рвущим душу несчастьем; я запускаю руку в карман своего пиджака «Шэдоуз», мой пистолет застрял в подкладке, и мне приходится с силой вырывать его оттуда, я безжалостен, как мистер Шульц, теперь я чувствую запах пороха, горький сернистый дух выползает из-под двери, будто ядовитый газ; и в этот момент до мистера Шульца, должно быть, доходит, что за-

щиты ему здесь никакой, что его убьют в кабинке туалета, ударом запястья он вышибает дверцу и рывком открывает туалетную дверь; я вижу, что он кричит, из него исторгается великий бессловесный крик ярости, он выпрыгивает в коридор и поднимает руки для стрельбы; через две двери, открытых ветром выстрелов, я вижу черные овалы пота у него под мышками; я вижу, как он наклонился вперед и исчез; я вижу бледно-зеленую стену коридора; я слышу глубокий рев нового калибра; и тут он снова появляется и, шатаясь, исчезает опять, оставляя на стене потрясающую карту проделанных в нем дырок, двери медленно закрываются.

Вы не знаете настоящей жизни, если у вас в ушах не звучали выстрелы, в таком состоянии вы способны на все, для вас нет законов; в кабинке почти под потолком прорублено крошечное оконце; ухватившись за цепь бачка, я добираюсь до оконца; оно открывается вовнутрь, оконце слишком маленькое, чтобы пролезть в него, поэтому, подтянувшись, я просовываю в оконце ноги, сначала одну, потом другую, а затем, извиваясь, бедра и чувствительные после побоев ребра; вытянув, как тонущий в пучине Бо, руки над головой, я отталкиваюсь, скольжу вниз и падаю на землю, покрытую угольным шлаком, вот я касаюсь ногами земли, меня пронзает острая боль, я вывихнул лодыжку, угольная крошка впилась мне в ладони. Сердце, кажется, сошло с ума, оно бешено бьется, меняет ритм, бродит по груди и останавливается в горле. Больше я ничего не слышу. Хромая, я бегу по переулку, сжимая, как настоящий гангстер, в кармане пистолет, выглядываю из-за угла; от «Мясных лакомств» отъезжает машина с выключенными огнями; проехав квартал, она как бы в раздумье останавливается, а потом исчезает во мраке улицы; я жду, но она больше не появляется. Мне не видно, свернула ли она на другую улицу; я схожу с тротуара в канаву, длинная окраинная улица под трамвайными проводами, насколько хватает глаз, пустынна.

А теперь я слышу только собственные беспрерывные рыдания. Открываю дверь бара и заглядываю внутрь. В голубых отблесках бутылок плывет дым. Голова бармена появляется над стойкой, он замечает меня и будто бы сам себя обезглавливает, это смешно, страх смешон; я прохожу мимо бара внутрь, поворачиваю, позади небольшой коридорчик, мне не хочется заглядывать в комнату — о, какой скверный воздух, пропахший гарью и пропитанный кровью,— я не хочу видеть это кровавое месиво, я не хочу заразиться этой невесть откуда взявшейся чумой. Как же я в них разочарован, я заглядываю внутрь, чуть не наступаю на Ирвинга, который лежит лицом вниз, так и не выпустив пистолет из рук, одна нога согнута, словно он все еще преследует врагов, я переступаю через него; Лулу Розенкранц сидит пригвожденный к стене, он так и не сумел встать со стула, стул наклонен назад, как в парикмахерской, голова Лулу опирается о стену, волосы торчат в разные стороны, он готов стричься, его сорок пятый калибр покоится в открытой ладони на коленях, будто пенис; Лулу уставился в потолок в слепом напряженном усилии мастурбации; разочарование мое нестерпимо, горя нет, а лишь досада, что их убили так просто, будто они своей жизнью и не дорожили вовсе; мистер Берман лежит на столе, горбатая спина натягивает клетчатую материю пиджака, на котором расползается пятно крови, руки его раскинуты, щека прижалась к столешнице и придавила очки, одна дужка торчит из-за виска; мистер Берман меня тоже предал; мне скверно, я снова чувствую себя безотцовщиной, новая волна безотцовщины накатывает на меня, их не стало так быстро, словно и не было никогда нашей совместной бандитской жизни, словно общение лишь иллюзия, случилось одно, потом другое, я сказал, он сказал, а на самом деле то была мимолетная ухмылка Смерти, ее мгновенный расчет с нашей гордыней, с нашей верой в то, будто мы существуем во времени, будто мы что-то большее, чем задутое пламя, тонкий дымок или многозначительное молчание в конце песни.

Мистер Шульц, лежавший на спине, был еще жив, глаза его смотрели на меня спокойно. Серьезное лицо блестело от пота, одну руку он засунул за жилет, как Наполеон на знаменитом портрете; он столь величественно владел собой, что я сел на корточки и заговорил с ним, считая, что он в ясном сознании, но я ошибся. Я спросил его, что я должен сделать, может, вызвать полицию или отвезти его в больницу, я был готов исполнить любой приказ; понимая серьезность его состояния, я все же в глубине души надеялся, что он попросит меня помочь ему встать на ноги или же вывести его отсюда, во всяком случае, решать что и как должен он. Он смотрел на меня по-прежнему спокойно, но не отвечал, он так глубоко переживал случившееся, что даже не испытывал боли.

Вдруг послышался голос, что-то вроде шипения горького дыма, шепота, слишком слабого, чтобы его разобрать, но губы мистера Шульца не двигались, он только безучастно смотрел на меня, будто — понимая мое состояние — приказывал прислушаться; я судорожно искал, откуда доносится звук — пугающий, прерывистый; сначала я решил, что это мое собственное шмыгание носом; вытерев нос и глаза рукавом, я затаил дыхание, но голос зазвучал вновь, от ужаса колени мои подогнулись; повернувшись, я понял, что это со стола говорит гримаса Аббадаббы; я закричал, мне показалось, что со мной беседует мертвец.

А потом я подумал, что ничего странного нет, что это обычное распределение ролей между ними, я имею в виду роли мозга и тела, и пока мистер Шульц жив, мистер Берман будет думать за него и говорить то, что мистер Шульц от него ожидает, и тут уже не важно, жив мистер Берман или умер. Мистер Берман, конечно, был жив, но именно эта мысль пришла мне тогда в голову. Правда, похоже, я сам это их двуединство и разрушил. Я положил голову на стол рядом с головой мистера Бермана и сейчас расскажу, что он сказал; трудно даже предположить, сколько времени у него заняло, чтобы округлить свой голос для каждого слова, произнести его, а потом отдохнуть, тщательно выискивая остатки дыхания,— так человек ищет в кармане деньги, которые куда-то запропастились. Ожидая, я изучал расплывшиеся колонки чисел на разбросанных по столу лентах арифмометра. Там было очень много чисел. Я читал слова по его губам еще прежде, чем слышал их. Мне очень трудно передать, какая немыслимая доверчивость заключалась в тех словах. Он еще говорил, когда раздались далекие завывания полицейских сирен. Мистер Берман потратил столько усилий на произнесенные слова, что, закончив говорить, тут же умер.

— Направо,— сказал он.— Три три. Дважды налево. Два семь. Дважды направо. Три три.

Когда я понял, что мистер Берман умер или снова умер, я подошел к мистеру Шульцу. Он лежал с закрытыми глазами и стонал, словно начинал понимать, что произошло; мне не хотелось дотрагиваться до него, мокрого, слишком живого, чтобы прикасаться к нему, но я заставил себя сунуть пальцы в кармашек его жилета, нащупал ключ и вытащил его, а потом вытер окровавленную руку о жилет; в кармане его брюк я нашел четки и вложил их ему в руку; полицейские машины одна за другой подъезжали к дому; я снова добрался до туалета и через оконце снова вылез наружу, острая боль опять полоснула по ребрам и лодыжке; из переулка мне было видно, что улица заполняется светом и бегущими людьми, прибывали все новые машины, подождав пару минут, я шмыгнул в толпу и постоял немного в портале радиомагазина на противоположной стороне улицы, наблюдая, как выносят на носилках их тела, накрытые простынями; из двери вышел бармен, который говорил что-то полицейским детективам, а потом они вынесли на носилках опутанного трубками мистера Шульца; санитар держал над ним бутылку с кровяной плазмой; ярко полыхали фотовспышки, фотографы выбрасывали использованные лампы, лампы разбивались с треском, похожим на выстрелы; люди, вышедшие поглазеть на случившееся в пижамах и халатах, нервно вздрагивали и смеялись; «скорая помощь» с мистером Шульцем

медленно отъехала, завывая сиреной; люди бежали за ней, заглядывая в заднее стекло; убийства возбуждают людей, приводят их в благоговейное волнение, сродни религиозному; увидев убитых на улице, молодые люди возвратятся в постель и займутся любовью; некоторые перекрестятся и поблагодарят Бога за то, что он даровал им эту оцепенелую жизнь; старики начнут беседу за чашкой горячей воды с лимоном, поскольку убийства — это иллюстрации к проповедям, которые надлежит анализировать, обсуждать и смаковать; они говорят робкому об опасностях бунта, на убийства смотрят, как на кратковременные явления Бога, поэтому прихожанам они доставляют и радость, и надежду, и праведное удовлетворение, впоследствии об убийствах говорят годами с каждым, кто готов слушать. Я пробрался на угол, а потом по боковой улице быстро пошел прочь; обыскав ближайшие пару кварталов и не найдя ничего, я отошел еще на пару кварталов дальше и таким образом на Трентон-стрит обнаружил «Роберт Адамс» — четырехэтажный отель из светлого кирпича с ржавыми пожарными лестницами. Я легко проскочил мимо спящего за конторкой дежурного и дохромал до четвертого этажа; найдя по бирке ключа, взятого из кармана мистера Шульца, нужный номер, я открыл его комнату.

Свет горел. В гардеробе за одеждой стоял маленький сейф, меньше того, который я видел в убежище под Онондагой. Сразу открыть его не удалось. В комнате витал запах его одежды, его сигар, его ярости; руки у меня дрожали, от боли к горлу подступала тошнота, потребовалось несколько минут, чтобы выполнить комбинацию: направо до тридцати трех, дважды вокруг налево до двадцати семи и два вращения обратно направо до тридцати трех. Внутри маленького сейфа лежали пачки денег, перетянутые резинками,— осязаемые воплощения всех тех чисел на лентах. Я выгреб их оттуда и сложил в элегантный чемоданчик из крокодиловой кожи, который Дрю Престон выбрала для мистера Шульца в первые дни их счастливой жизни на севере штата. Банкноты заполнили его до верха, я получал громадное удовольствие от этой воплощенной геометрии чисел. Великая спокойная радость распирала мне грудь, меня переполняла благодарность Богу, я понял, что не совершил ошибок и не прогневал Его. Защелкнув замки, я услышал шаги людей, бегущих по лестнице старого отеля. Я запер сейф, завесил его одеждой мистера Шульца, вылез из окна и поднялся вверх по пожарной лестнице; ночь 23 октября 1935 года я провел на крыше отеля «Роберт Адамс» в Ньюарке, штат Нью-Джерси; я то рыдал, то всхлипывал, как несчастный сирота, и, наконец, когда в предрассветных сумерках вдалеке на востоке стали различимы ободряющие очертания Эмпайр стейт билдинг, я заснул.

Глава двадцатая

Смертельно раненный мистер Шульц умер в городской больнице Ньюарка в начале седьмого вечера на следующий день. Незадолго до его смерти нянечка внесла в палату поднос с ужином и, не зная, что делать, оставила его там. Я вышел из-за ширмы, за которой прятался, и съел все — консоме, жареную свинину, вареную морковь, кусочек белого хлеба, чай и дрожащий кубик лимонного желе. Потом я взял его руку в свои. Он уже был в коме и лежал тихо, вздымая и опуская свою широкую, голую и плохо зашитую грудь, но до этого весь день он бредил и говорил безостановочно; он кричал, плакал, отдавал приказания и пел песни, а поскольку полицейские пытались выяснить, кто стрелял в него, они прислали стенографа, который и записал весь его бред.

За ширмой я обнаружил сестринский блокнот с несколькими незаполненными страницами, а в верхнем ящике белого металлического стола, который я очень осторожно вытащил,— огрызок карандаша. И я тоже записал то, что он говорил. Полицию интересовало, кто его убил. Я знал, кто его убил, поэтому искал настоящих откровений. Я считал,

что в конце жизни человек делает самые серьезные заявления, в ясной он памяти или нет. По моему мнению, бред — это своеобразный код. Моя запись не всегда совпадает с официальной стенограммой, кое-что я пропустил, не всегда поспевая за мистером Шульцем, кое-что не расслышал, кое-что из-за волнения перепутал, к тому же я был вынужден прятаться, потому что в палату входило много людей — стенограф, полицейские, врач, священник, настоящая жена мистера Шульца и его родственники.

Стенограмма была опубликована в газетах, так что сегодня Немца Шульца помнят за то, что умирал он долго и очень болтливо, а ведь он представлял культуру, где принято говорить мало и умирать внезапно. Но он всю свою жизнь предпочитал монолог, Немец порой сам не догадывался, как многословен и смел он был в речах. Как человек, связавший с ним жизнь, я теперь думаю, что все его деяния были органичны, убийство требовало своего языка, а за словом в карман он никогда не лез, хотя порой и притворялся косноязычным. И пусть монолог, посвященный его собственному убийству, загадочен и совсем не поэтичен, он жил как гангстер и говорил как гангстер, и, умерев от ран в груди, он на самом деле умер от гангстеризма своего ума, он умер, израсходовав себя в речи, словно смерть — болтливая баба, а мы все сделаны из одних только слов, и, когда умираем, душа речи истекает во вселенную.

Чего же удивляться, что я захотел есть. Он говорил больше двух часов. Я сидел, глядя на ширму; она, по-моему, была из муслина, плотно натянутого на зеленый металлический каркас, который передвигался на четырех резиновых колесиках; слова его ложились на полупрозрачную ткань, а может, и на мой собственный разум, и я записывал их, прерываясь только затем, чтобы отковырять в деревяшке ногтями истершийся грифель карандаша. Как бы то ни было, я привожу здесь все, что слышал между четырьмя и шестью часами пополудни 24 октября, пока Немец не замолк окончательно, хотя и не навсегда.

«О, мама, мама,— говорил он.— Прекрати, прекрати, прекрати. Прошу тебя, сделай это быстро, уверенно и безжалостно. Прошу тебя, быстро и безжалостно. Я снова на коне. С азбукой Морзе все гораздо лучше. Что это за число у тебя в записной книжке, Отто: 13780? О, о, собачья галета. А уж если красив, то не плаксив. Ты даже не встретил меня. Все, что я говорю, сбудется. Ой-ой-ой, о'кей, ой-ой. Кто стрелял в меня? Сам босс. Кто стрелял в меня? Никто. Ладно, Лулу, а потом его только и видели. Я не кричу, я очень послушный гражданин. Спросите у Уинефреда из Министерства юстиции. Я не знаю, почему в меня стреляли, честное слово, не знаю. Честно. Я честный человек. Я пошел в туалет. И вдруг в туалете на меня напал мальчишка. Да, он. Представляете, он убил меня, мой выкормыш, это разве справедливо? Мой выкормыш? Прошу, вытяни за меня. Вытянешь? Есть и хорошие, есть и плохие. У меня с ним ничего не было. Обычный задира, который в каждую драку лез. Ни дела своего, ни дома, ни друзей, ничего, живет только одним днем. Застрели меня, пожалуйста. Это из депо. Не хочу никакого согласия. Хочу согласия. Нет никого прекрасней Марии. Я женюсь на тебе в церкви, только подожди немного. Пустите меня в пожарное депо. Нет, нет, нас только десять человек, а вас десять миллионов, так что выше голову, скоро мы запросим перемирия. Прошу, поднимите меня, пододвиньте, полиция — это чушь, враки коммунистов-забастовщиков! Пусть он уйдет с дороги, нет смысла затевать бучу. И с толпой, и со спекулянтами что-то стряслось, я их всех разогнал. Только дайте мне встать на ноги, я его в окно выброшу, я ему глаза повыдавливаю. У меня первоклассные люди, а эти грязные свиньи просочились и к ним! Прошу тебя, мама, не рви, не вырывай. Есть вещи, о которых не следует говорить. Поднимите меня, пожалуйста, друзья. Осторожно, пальба идет нешуточная, но именно такая пальба и спасла жизнь человеку. Простите, я забыл, что я истец, а не ответчик. Почему он не может просто уйти и оставить дело мне? Пожалуйста, мама, подними меня. Не бросай. Скоро тут будут полицейские. Это англичане, причем такие, что я не знаю, кто лучше — они или мы. О, сэр, дайте

крошке приют. Играй, если хочешь, в камешки, но девушки это делают лучше. Она мне показала это, когда мы были еще детьми. Нет, нет и еще раз нет. Все пошло прахом, и это означает нет. Мальчишка никогда не плакал и с деньгами обращается аккуратно. Ты слышишь меня? Возьми денег из сейфа, они нам потребуются. Посмотри на результаты последних скачек, это совсем не то, что в твоих записях ставок. Люблю коробки свежих овощей. Пожалуйста, охранник, подними меня тотчас же на ноги. Ты слышишь меня? Нажми на друзей китайцев и гитлеровского командующего. Мать — самая лучшая ставка, не позволяй Сатане расправиться с тобой слишком быстро. За что в меня стрелял главный? Пожалуйста, поднимите меня. Если ты это сделаешь, то лучше сразу иди на озеро и утопись. Я знаю, кто они такие, это люди Френчи, смотри в оба, смотри в оба. Память совсем никуда стала. Удача мне изменила, то приходит, то уходит. Голова кружится. У нас против него ничего нет, он ничего плохого нам не сделал. Умираю. Идите сюда, Мисси, я с ума по вас схожу. Где она, где она? Они мне вставать не дают, покрасили мои ботинки. Развяжи шнурки. Мне плохо, дайте воды. Откройте это и разбейте, чтобы я мог дотронуться до вас. Микки, отнеси меня в машину. Я не знаю, кто мог это сделать. Кто угодно. Сними с меня ботинки, осторожно, на них наручники. Папа проповедует это, и я верю ему. Я знаю, что делаю здесь со своими бумагами. Для двоих таких парней, как ты и я, это гроши, а для сборщика ставок — целое состояние. Ему цены нет. Деньги — тоже бумага, в дерьмо их, в дерьмо. Посмотри, какой темный лес. Я собираюсь повернуть... повернись ко мне спиной, Билли, мне очень плохо. Присмотри за Джимми Валентайном, это мой приятель. Позаботься о своей матери, позаботься о ней. Я же говорю тебе, ты с ним не справишься. Полиция, выведите меня отсюда. Я разберусь с обвинением. Давайте открывайте заглушки. Трубочисты. Если ты такой разговорчивый, то поговори с мечом. Вот на алтаре гороховый суп из французской Канады. Я готов платить. Я готов. Я ждал всю жизнь. Ты слышишь меня? Пусть они оставят меня в покое».

Одновременно со стрельбой в «Мясных лакомствах» в Манхэттене и Бронксе были совершены нападения на других известных членов банды Шульца; двоих убили, включая водителя Микки, настоящее имя которого было Майкл О'Ханли; троих серьезно ранили, а остальная часть банды, судя по всему, рассеялась. Я прочитал об этом в утренних газетах, пока на Ньюаркском вокзале Пенсильванской дороги ждал манхэттенский поезд. Ни в одном из отчетов обо мне не упоминали, в показаниях бармена ничего не говорилось о мальчишке в клубном пиджаке «Шэдоуз», это, конечно, хорошо, но я оставил чемодан в камере хранения, свернул пиджак и выбросил его в мусорную корзину, считая, что не все показания бармена должны быть обязательно напечатаны в газетах, а затем, убедив себя, что палата мистера Шульца в тот момент была самым безопасным местом, взял такси и поехал в ньюаркскую больницу.

Но теперь, когда он умер, я стал сам себе хозяин. Я смотрел на его багрово-красное лицо и слегка приоткрытый рот, глаза уставились в потолок, словно он еще не все сказал. На какой-то миг мне показалось, что он снова заговорил. Вскоре я заметил, что и мой рот открыт, будто я сам собираюсь что-то сказать, наша беседа мне припомнилась — запоздалая беседа, его признания и мое прощение или наоборот, но, в любом случае, беседа с мертвым.

Я, хромая, ушел прочь, пока не пришли сестры и не обнаружили труп. Взяв чемоданчик из камеры хранения, я сел на манхэттенский поезд. Для мальчишки без пиджака ночь была слишком прохладной. Я доехал на трамвае до надземки и вернулся в Бронкс около девяти часов вечера, но сразу домой не пошел, а пробрался во двор сиротского приюта Даймондов, а оттуда — в подвал, где Арнольд Помойка слушал детскую радиопередачу и листал журналы «Коллье». Не входя в детали, я

сказал ему, что мне надо кое-что спрятать, и он нашел для меня местечко в своем самом глубоком и темном ящике. Я дал ему доллар. Выбравшись тем же путем, я покружил около Третьей авеню и пошел домой через парадный вход.

Потом я неделями сидел дома, я почти потерял способность двигаться, и не из-за болезни или боли, тут я мог бы аспирин принять, а потому, что будто весил тысячу фунтов, все давалось с невероятными усилиями, я с трудом сидел на стуле, с трудом дышал. Я ловил себя на том, что, не отрываясь, смотрю на черный телефонный аппарат и жду, когда он зазвонит, иногда я даже поднимал трубку и слушал, не заговорит ли кто со мной. Я сидел, заткнув свой пистолет за пояс, совсем как мистер Шульц. Я боялся ночных кошмаров, но спал сном невинного ребенка. Тем временем в Бронкс пришла осень, задребезжали от ветра окна, и листья с Бог знает каких далеких деревьев покатились по нашей улице на своих зазубренных кромках. А он был по-прежнему мертв, они все были по-прежнему мертвы.

Я все время думал о последних словах мистера Бермана, был ли в них какой-либо другой смысл, кроме шифра секретного замка. Эти слова были обращены к жизни, тут у меня сомнений не было, он что-то попытался сохранить, передать дальше. Им можно верить. Но доверие подразумевает либо недостаточное, либо исчерпывающее знание; поглядывая на меня поверх очков своим учительским взглядом, он, кажется, с самого начала все знал и ничему не препятствовал.

Призрак мертвой банды преследовал меня. Что происходит с умениями человека, когда он умирает, что, например, происходит с умением играть на пианино или, как в случае с Ирвингом, с умением вязать узлы, закатывать штанины и прочно стоять на уходящей из-под ног палубе? Что произошло с великим даром Ирвинга, с его точностью и компетентностью, которые я так любил? Куда это все ушло? Какова судьба этой абстракции?

Мать моя, казалось, не замечала моего состояния, но начала готовить мои любимые блюда и стала как следует убирать квартиру. Она затушила свечи и выбросила все свои огненные стаканчики; забавно, но теперь, когда пришла настоящая смерть, ее траур закончился. Но я всего этого почти не замечал. Я напряженно думал о том, что мне делать с самим собой. Уж не пойти ли мне в школу, не посидеть ли в классе и не поучить ли то, чему там учат? Но потом я решил, что сама мысль о школе неопровержимо свидетельствует о помрачении моего рассудка.

Время от времени я вынимал из кармана мои записи, разворачивал страницы и перечитывал предсмертные слова мистера Шульца. Угнетающая болтовня. Ни правды, ни наказа себе я там не находил.

На Батгейт авеню мать нашла магазинчик, в котором продавались морские ракушки; придя однажды домой с коричневым бумажным пакетом этих маленьких ребристых штуковинок, некоторые из них были не больше розового ногтя, она приступила к очередному своему безумному проекту — начала оклеивать ими телефонный аппарат, делала она это с помощью авиационного клея, который откопала в моем старом конструкторе — собрать самолет я когда-то так и не сумел. Опустив зубочистку в бутылочку с клеем, она размазывала блестящую каплю по неровному краю малюсенькой раковины и прижимала ее к телефону. Со временем она покрыла ракушками весь аппарат — и трубку, и корпус. Получилось достаточно красиво — белые, розовые и коричневатые тона, волнистая, неровная поверхность причудливой формы, может, это наше внимание лишает вещи формы? Она сумела оклеить ракушками даже шнур, который стал похож на гирлянду подводных огней. Я плакал, думая о том, какой молодой, красивой, умной и храброй помнил ее Джеймс Дж. Хайнс. Она облагораживала моего отца, а он наверняка вдохновлял ее, когда они любили друг друга, до того, как он убежал. Теперь у меня

были деньги, чтобы никогда не расставаться с ней. Я поклялся, что она останется со мной, что я буду заботиться о ней до конца ее жизни. Но пока я не мог для нее ничего сделать, не мог даже убедить ее бросить работу. Будущее наше я, скорее всего, оценивал не самым радужным образом. Мне было одиноко среди ее странных вещей — свечей и фотографий, старых тряпок, сломанных кукол и ракушек. Однажды вечером она пришла домой с очень тяжелым аквариумом, который с трудом внесла на наш этаж; когда она поставила его на стол рядом с диваном, наполнила водой, а потом осторожно опустила в него телефон, лицо ее счастливо зарделось. Как я любил свою безумную мать, какая она у меня была красивая, как паршиво я себя чувствовал, считая, что это из-за меня она такая, из-за меня она не выздоравливает, это я не сумел добиться осуществления высшей справедливости. Деньги из чемоданчика в подвале на противоположной стороне улицы не помогали, я понимал, что исполнение моего тайного предназначения еще впереди, впрочем,— пусть я и не знал, сколько их там, этих денег, даже неполного месячного дохода от предприятий мистера Шульца хватило бы нам на несколько лет жизни; Боже мой, да если бы я даже брал оттуда всего лишь двойной материнский заработок, мы имели бы все необходимое, но дело в том, что мы не могли положить деньги в банк; мне все время пришлось бы думать, как уберечь их и тратить такими малыми порциями, чтобы не привлечь к себе внимания, в этом-то и была их ужасная неполноценность. Если бы им суждено было хоть что-нибудь изменить, они бы это сделали самим фактом своего существования. Но, увы. Потом я вдруг понял, что, хотя мистер Шульц и умер, я по-прежнему считал его хозяином этих денег. Я их взял, выполняя поручение мистера Бермана, и теперь, как выяснилось, ждал дальнейших указаний. Я не ощущал того спокойствия, которое, я был уверен, должно прийти ко мне после того, как сбудется моя мечта. Мне не с кем было поговорить, посоветоваться, некому было похвалить меня, сказать, что я все сделал правильно. Только покойники могли оценить мои успехи.

Однажды поздно вечером, когда я покупал газеты в киоске на Третьей авеню, у тротуара остановилась машина марки «де сото», открылась дверца, и я оказался в окружении мужчин, двое вышли из табачного магазина напротив, а двое вылезли из машины, бесстрастные лица выдавали в них гангстеров. Один из них кивнул в направлении открытой дверцы машины, и я, засунув газеты под мышку, забрался на сиденье. Они повезли меня через весь город до Нижнего Ист-сайда. Я понимал, что нельзя паниковать, нельзя рисовать в воображении страшные картины. Вспоминая события прошедшего года, я не представлял, каким образом он мог узнать обо мне — около церкви в Онондаге он меня толком не видел. Вдруг до меня дошло, что я совершил ужасную ошибку, не написал матери письмо с указанием открыть его, если я не вернусь домой или умру от тоски по ней.

Машина остановилась на узкой жилой улочке, хотя, естественно, осмотреться они мне не дали. По лицу пробежала блеклая тень от прутьев пожарной лестницы. Мы начали подниматься вверх. Я насчитал пять пролетов.

И вот я уже стою на кухне под лампочкой без абажура, напротив, за маленьким столом, покрытым клеенкой, сидит тот, кто выиграл гангстерскую войну. Он выглядит в этой обстановке пришедшим в гости богатым родственником. Передо мной два слегка вопрошающих, не самых проницательных глаза, над одним из них нависает тяжелое веко. Кожа у него действительно нездоровая, я теперь это ясно вижу, под нижней челюстью белеет шрам. Считалось, что у него змеиный взгляд. Самым примечательным в его внешности были зачесанные назад волнистые черные волосы. Строгий костюм под хорошо сшитым плащом. Шляпа лежит на столе. Ухоженные ногти. Запах одеколона. Он и мистер Шульц воплощали совершенно разные типы порока. Я чувствовал себя, как человек, который пришел в чужой квартал, расположенный, впро-

чем, недалеко от своего, родного. Вежливым жестом руки он указал на стул против себя.

— Прежде всего, Билли,— начал он мягко, будто заводя грустную беседу,— ты должен знать, как мы все сожалеем о том, что случилось с Немцем.

— Да, сэр,— сказал я. Меня испугало то, что он знал мое имя, мне совсем не хотелось бы остаться в его памяти.

— Я глубоко их уважал. Всех. Сколько лет мы были знакомы? Таких людей, как Ирвинг, теперь уже нет.

— Нет, сэр.

— Мы пытаемся выяснить причины случившегося. Пытаемся собрать его команду и восстановить дело ради вдов и сирот.

— Да, сэр.

— Но мы столкнулись с определенными трудностями.

В маленькой комнатке было полно народу, люди толпились и за его и за моим стульями. Только теперь я заметил Дикси Дейвиса, он понуро сидел сбоку, пряча между колен дрожащие руки. Подмышки его дорогого костюма в полоску темнели от пота, лицо блестело. Я знал, что это знаки крайнего волнения. Даже самого беглого взгляда было достаточно, чтобы я понял, кто их вывел на меня, следовательно, я мог говорить только правду, которую они и так уже знали, пусть думают, что я глуп, наивен и врать или утаивать не способен.

Я снова повернулся к своему собеседнику. Мне казалось, что я должен сидеть прямо и смотреть на него ясными глазами. Нельзя, чтобы внешний вид мой выдавал мои мысли.

— Как я понимаю, они были о тебе весьма высокого мнения.

— Да, сэр.

— У нас может найтись работа для смышленого парнишки. Надеюсь, кое-что тебе от них перепадало? — спросил он как бы невзначай, словно жизнь моя и не висела на волоске.

— Я ведь только начинал серьезную работу. Мне определили постоянную зарплату всего за неделю до этого и выдали месячный аванс, потому что мама заболела. Двести долларов. С собой их у меня нет, но я могу взять их в сберегательном банке завтра утром.

Он улыбнулся и поднял руку, уголки его губ на мгновение дрогнули.

— Твоей зарплаты нам не надо, малыш. Я говорю о бизнесе. Дела свои они не всегда вели как полагается. Я спрашиваю, не можешь ли ты помочь нам оценить их активы.

— Ни фига себе! — сказал я, почесывая голову.— Это по части мистера Дейвиса. Мое дело было сбегать за чашкой кофе или пачкой сигарет. Они меня на совещания или какие важные собрания не пускали.

Он слушал, кивая. Я чувствовал на себе взгляд Дикси Дейвиса, который буквально ел меня глазами.

— Ты денег никогда не видел?

Я на мгновение задумался.

— Один раз, на 149-й улице,— сказал я.— Я видел, как они считали дневную выручку, когда мел пол. Потрясающе.

— Ты был потрясен?

— Да. Об этом можно только мечтать.

— И ты мечтал?

— Каждую ночь,— сказал я, глядя в его глаз с опущенным веком.— Мистер Берман говорил мне, что бизнес меняется. Что им потребуются умные вежливые люди с хорошими манерами, которые закончили школу. Я хочу возвратиться в школу, а потом поступить в городской колледж. Ну, а дальше посмотрим.

Он кивнул и застыл в неподвижности, глядя мне в глаза и обдумывая свое решение.

— Школа — очень неплохая идея,— сказал он.— Мы можем время от времени справляться, как у тебя идут дела.— Он поднял руку ладо-

нью вверх, приглашая меня встать со стула. Дикси Дейвис закрыл лицо рукой.

— Благодарю вас, сэр,— сказал я человеку, по приказу которого убили мистера Шульца, мистера Бермана, Ирвинга и Лулу.— Для меня большая честь встретиться с вами.

Меня целым и невредимым довезли до Третьей авеню и высадили у табачной лавки. Только тогда я ощутил ужас. Я сел на тротуар. Ладони мои почернели от газетного шрифта, отпечатавшегося на потной коже. Я читал на ладонях фрагменты заголовков и обрывки слов. Что со мной будет, я не знал. Либо я совсем свободен, либо дни мои сочтены. Кто знает. Вскочив на ноги, я начал ходить по улицам. Потом меня забила дрожь, причем не от страха, а от гнева на себя за свой страх. Я подумал: пускай убивают. Потом прислушался, не урчит ли автомобиль с опущенными стеклами, из таких обычно убивали. А потом попытался представить себе, что, по их мнению, я сделал такого, за что бы меня можно было убить. Они не станут меня убивать, они будут за мной следить. Вот как бы я поступил, если бы не знал, где находятся деньги.

К тому времени мне был известен интереснейший факт: газеты оценивали состояние мистера Шульца в сумму от шести до девяти миллионов долларов. В банк он поместил лишь очень небольшую часть. Победители не нашли денег, они получили дело, но хотели завладеть и деньгами, иначе говоря — всем предприятием.

И как бы странно это ни звучало, но постепенно я начал испытывать радостное возбуждение — еще бы, на меня обратил внимание еще один великий человек, опасность меня больше не пугала; я допускал, что меня могут убить, но во мне снова проснулся дух соперничества, пусть я потерпел поражение, вместе с бандой, но я жил за счет их смертей. Ничего еще не кончилось, деньги бессмертны, а любовь к ним ненасытна. Выждав несколько дней, я спустился в подвал Арнольда Помойки, когда хозяин находился на промысле, и, спрятавшись в укромном, душном уголке, я под топот детских ног над головой пересчитал наличность крокодилового чемоданчика. Считал я долго, дольше, чем предполагал, у меня ушло на это несколько часов, в чемоданчике хранилось триста шестьдесят две тысячи сто двенадцать долларов, именно такую сумму я взял в качестве своей доли и спрятал под обломками колясок, старыми газетами, сломанными игрушками, кроватными пружинами, печными трубами, бумажными пакетами с обувью, узлами одежды, горшками, сковородками, кусками оконных стекол, деталями машин, ацетиленовыми светильниками, отвертками без ручек, молотками, беззубыми пилами, обувными коробками с обертками жевательной резинки, бутылками, кружками, детскими бутылочками, коробками из-под сигар, наполненными резиновыми сосками, печатными машинками, деталями саксофонов и раструбами труб, сорванной кожей барабанов, согнутыми казу, сломанными окаринами, бейсбольными битами, корабликами из битого стекла, купальными шапочками, шляпами бойскаутов, значками, форменными пуговицами, палочками для игры в чижи, погнутыми трехколесными велосипедами, заплесневелыми коллекциями марок и зубочистками с закрепленными на них малюсенькими флажками всех стран мира.

И, конечно, я снова и снова перечитывал запись его предсмертного бреда; я изучал ее до тех пор, пока мое виденье жизни не было щедро вознаграждено; я раньше был чересчур нетерпелив, великая пленительная судьба раскрывается, как цветок, раскрывается, раскрывается, раскрывается и, наконец, расцветает; я слышал голос мистера Шульца: *способный мальчишка, способный мальчишка,*— о, да еще какой способный! я нашел в его словах денежные тайники, отгадал загадку безумной страсти; я изучил записи, сделанные моим собственным почерком, и понял, что он сказал мне; он сказал мне, что позаботился о миссис Шульц

и своих детях и что они смогут обнаружить спрятанные деньги, причем прятал он их не поблизости от себя, а во времени, в разных периодах своей преступной жизни. И чтобы проверить это предположение, однажды ночью, после нескольких недель примерного посещения школы, дабы самому увериться в том, что следить за мной — пустое занятие, мы с Арнольдом Помойкой взломали замок в старом заброшенном пивном складе на Парк авеню, около которого я когда-то любил слоняться и жонглировать; под грохот проходящего поезда мы вошли в темноту, которая, наверное, наступает в аду, когда там гаснут все костры, под ногами в прогорклых остатках бывшего пивного царства шныряли крысы, и в дерьме и милом сердцу Арнольда мусоре при слабом свете его фонарика нашли бочку без затычки, до верху заполненную денежными знаками Соединенных Штатов Америки; Арнольд погрузил ее на тележку и повез по булыжным мостовым домой, а я шел впереди, ныряя в тень порталов, и с того полуночного часа мы стали партнерами в совместном деле, которое ведем до сей поры.

Но я бы не хотел, чтобы вы подумали, будто я удовлетворился одной находкой, уж я-то его знал — чем сильнее осаждали Шульца, тем свирепее он сопротивлялся. Я изучил запись его призрачного голоса и понял, что он сказал мне, он сказал мне, что чем сильнее сжимался вокруг него мир, тем крепче он цеплялся за свое состояние, чем хуже шли дела, тем больше замыкал он свое в себе, с каждым новым днем своего все более опасного пути он прибирал к рукам все больше ценных бумаг. И в конце он спрячет все там, где никто не найдет, а умри он, все умрет вместе с ним, если, конечно, не отыщется очень смышленый парнишка.

Так что теперь я знал все, а все всключало в себя и необходимую осторожность; я вернулся в школу, разве мне не говорили, что это неплохая идея? И, хотя подобное испытание могло сломить самую отчаянную волю, я не только сидел в классе, штудируя науки, но и работал еще каждый день после школы за пять долларов в неделю в рыбном магазине; я носил белый фартук, забрызганный рыбьей кровью, и терпел, все это из-за одного только предположения, что за мной следят.

Не прошло и года со дня смерти мистера Шульца, как посадили в тюрьму человека с больной кожей. Обвинение поддерживал Томас Э. Дьюи. Я достаточно хорошо знал, как устроены банды, как они приспосабливаются к переменам, как меняют цели, выдвигают новые задачи, что, естественно, порождает и новые преступные неотложности. Так у меня появился шанс без всякого риска уехать в глубинку. Но я не спешил. Только я знал то, что знал. И как-то на уроке на меня снизошло откровение: я живу в мире, где гангстеры играют бóльшую роль, чем мне казалось раньше, и гангстеризм беспределен. Подтверждение последует через несколько лет, с началом Второй мировой войны, а пока я учился с тем же успехом, с каким ранее помогал гангстерам и предавал их, а затем поступил в манхэттенскую среднюю школу «Таунсенд Хэррис» для способных учеников, к которым я без всякого смущения себя причислил, а далее и в престижный колледж «Айви Лиг», название которого я здесь благоразумно опускаю; за свою учебу я регулярно платил наличными; кончив с почетным дипломом это учебное заведение, я получил звание лейтенанта армии Соединенных Штатов Америки.

В 1942 году губернатор Томас Э. Дьюи помиловал человека с больной кожей, которого в качестве окружного прокурора сам же и посадил, и депортировал его в Италию в благодарность за помощь, которую тот якобы оказал в охране Нью-Йоркского порта от нацистских диверсантов. Но в то время я служил своей родине за океаном и по разным причинам не мог воспользоваться богатством до возвращения домой с войны в 1945 году. Я, пожалуй, больше ничего не скажу об этом, но проницательный в таких делах читатель, сопоставив простейшие факты, сам все сообразит. Я, разумеется, пошел туда и все забрал, оно было именно там, где я и ожидал, исчезнувшее состояние мистера Шульца, которое до сих пор считается не найденным. Кипы сертификатов Казначейства и

хрустящих банкнот благородного достоинства, которые любил мистер Хайнс, лежали в сейфе, упакованные в почтовые мешки. Их предвоенное количество тронуло мое ветеранское серце; я словно пиратский клад нашел, памятник пороку прежних дней; точно такое же чувство я обычно испытываю, глядя на портреты или слушая записи уже умерших, но когда-то пылких певцов. Только все это не помешало мне забрать найденное состояние.

И вот, насколько я понимаю, мы подошли к концу мальчишеских приключений. Что я из себя представляю сейчас, что делаю, занимаюсь криминальным бизнесом или нет, где и как живу, должно остаться моей тайной, поскольку человек я достаточно известный. Признаюсь, что со времени завладения состоянием мне много раз хотелось швырнуть все числа вверх и подождать, пока они упадут, образуют буквы и составят новую книгу на новом языке жизни. Об этом говорил в свое время мистер Берман; о, как ошибался наш лотерейщик, предлагая вышвырнуть все числа с их образами, всю клинопись, иероглифику, исчисления, скорость света, целые и дроби, числа рациональные и иррациональные, бесконечности и нули. И я не раз это делал, и каждый раз выпадало то же самое — Билли Батгейт, которым я сумел стать и которым, пожалуй, должен оставаться навсегда, так что я уже теряю веру в то, что фокус мистера Бермана вообще когда-нибудь удастся.

Впрочем, я нахожу утешение в том, что поведал здесь всю правду о моей жизни с Немцем Шульцем, хотя кое в каких деталях моя история отличается от того, что вы можете прочитать в старых газетах. Я рассказал правду, которую можно передать словами, и правду, которая в словах лишь подразумевается.

И осталось еще одно, что я сохранил напоследок, поскольку именно в этом источник моей памяти; событие это вовсе не оправдывает мальчишку, каким я был, а лишь задерживает на какое-то время его изгнание с небес. При одном воспоминании об этом я падаю на колени и благодарю Бога за дарованный мне разум и радость бытия, я возношу Ему хвалу за мою преступную жизнь и тяготы моего существования. Весной, на следующий год после смерти мистера Шульца, мы с матерью уже жили в пятикомнатной квартире на верхнем этаже дома, смотревшего своим южным фасадом на прекрасные деревья, тропинки, лужайки и игровые площадки Клэрмонт-парка. Майским субботним утром раздался стук в дверь, за которой оказался шофер в светло-серой униформе, он держал за ручки плетеную корзину, я даже не помню, что я подумал, белье из прачечной принесли или еще что, а вот мать вышла у меня из-за спины и взяла корзину так, словно она давно ее ждала, она действовала уверенно и даже торжественно; шофер тут же почувствовал облегчение, до этого на лице его было написано крайнее беспокойство; мать была одета в настоящее черное платье, которое шло к ее фигуре, модные туфли и чулки, подстриженные волосы красиво обрамляли ее милое, серьезное лицо; она просто взяла ребеночка, потому что это, конечно, был наш с Дрю сын (я понял это сразу, как только взглянул на него), и понесла его в нашу залитую утренним солнцем квартиру, и положила в дырявую коричневую плетеную коляску, которую она привезла сюда из старого дома. В этот момент я почувствовал некоторое сомнение в справедливом устройстве вселенной, и моя мальчишеская жизнь закончилась.

Поднялся, конечно, переполох, нам пришлось идти в город покупать бутылочки и пеленки, ведь никаких наставлений с ребеночком не прислали, а моя мать не сразу вспомнила, что надо делать, когда он начинал плакать и махать ручонками, но мы скоро приноровились к нему, и у меня сейчас перед глазами стоит сцена, как мы едем с ним в Восточный Бронкс и прогуливаемся солнечным днем с коляской по Батгейт авеню, лоточники выкрикивают цены, прилавки ломятся от апельсинов, винограда, персиков и дынь, в витринах пекарен лежит свежий хлеб; элект-

рические вентиляторы, вмонтированные во фрамуги, разгоняют горячий хлебный дух по округе; в молочных стоят бочонки масла и деревянные коробки с фермерским сыром; мясник, у которого под фартуком надет теплый свитер, выходит из холодильной камеры с отбивными, завернутыми в пергамент; цветочник на углу орошает водой срезанные цветы в вазах; бегают дети; старые женщины, бормоча под нос, несут сумки с зеленью и цыплятами; девочки-подростки примеряют белые платья: прикладывают их к плечам, не снимая с вешалок; разгоряченные водители в майках разгружают грузовики, гудят клаксоны; городская жизнь приветствует нас; так бывало в счастливые дни, еще до побега отца, когда вся семья выходила погулять по этому рынку, базару жизни, Батгейту, так бывало во времена Немца Шульца.

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН

РОССИЯ В 1839 ГОДУ

Фрагмент книги

Перевод с французского С. ЗЕНКИНА

Краткий отчет о путешествии

Что бы ни окружало вас в России, что бы ни поражало взор ваш — все имеет вид устрашающей правильности; при виде такого симметрического порядка на ум путешественнику сразу приходит мысль, что столь полной единовидности, столь противной естественным наклонностям человека регулярности нельзя было получить и нельзя поддержать без насилия. Воображение просит хоть какого-то разнообразия... вотще; так птица в клетке тщетно расправляет крылья свои. При подобном общественном устройстве человек с первого дня своей жизни может знать (и действительно знает), что будет он делать до последнего своего дня. На языке официальном этот тиранический распорядок именуется единообразным благоустроением, и для умов педантических сей горький плод деспотизма столь драгоценен, что за него, считают они, не жаль заплатить любую цену.

Во Франции я сам полагал, что согласен с этими людьми строгого рассудка; теперь же, когда пожил под грозною властью, подчиняющею население целой империи воинскому уставу,— теперь, признаться, мне милее умеренный беспорядок, выказывающий силу общества, нежели безупречный порядок, стоящий ему жизни.

В России правительство над всем господствует и ничего не оживотворяет. Народ в этой огромной империи если и не смирен, то нем; над головами всех витает здесь смерть и поражает по своей прихоти; впору усомниться в справедливости Всевышнего; человек здесь лежит в гробу дважды — в колыбели и в могиле. Матерям здесь следовало бы оплакивать рождение своих детей более, чем их смерть.

Вряд ли здесь широко распространены самоубийства: исстрадавшись сверх меры, трудно убить себя. Странно сложена душа человека: когда в жизни его царит страх, он не ищет смерти, он заранее знает, что это такое [1].

Впрочем, даже если бы число самоубийц в России было велико, оно бы никому не было известно. Знать цифры — исключительное право русской полиции, не знаю даже, доходят ли они в точности до самого императора; но знаю, что при нынешнем царствовании ничье несчастье не может быть обнародовано, не согласившись униженно признать, что случилось оно по вышней воле Провидения. Гордыня деспотизма столь велика, что он соперничает даже с могуществом Божьим. Чудовищная завистливость! В какие только заблуждения не вводила она монархов и подданных! Каким должен быть удел народа, чтобы государю его стать более чем человеком?

Попробуйте любить и защищать истину в стране, где основа государственного устройства — поклонение идолу! Ведь человек, который может все,— это ложь, увенчанная царскою короной.

Как можно понять, речь у меня сейчас не об императоре Николае, но о российском императоре вообще. У нас много толкуют о том, что власть его ограничивается обычаем; я же был поражен чрезмерностью власти и не увидел ей никакого противовеса.

Конечно, для человека государственного, для всех людей практической складки зако-

---

[1] Об этом пишет Диккенс: «Самоубийства среди заключенных здесь редки — в сущности, почти неизвестны. Но из этого отнюдь нельзя сделать логический вывод в пользу самой системы [одиночного заключения], хотя на этом часто настаивают. Все, кто посвятил себя изучению душевных болезней, прекрасно знают, что человек может впасть в такую предельную подавленность и отчаяние, которые изменят весь его характер и убьют в нем всякую душевную гибкость и способность сопротивляться,— и однако же он остановится перед самоуничтожением. Это обычная история» («Филадельфия и ее одиночная тюрьма».— «Американские заметки» Чарльза Диккенса). [Перевод Т. Кудрявцевой.]

Большой писатель, глубокий знаток нравов, христианский философ, у которого я заимствую эти строки, не только обладает даром власти над стилем, отчего мысли его запечатлеваются словно на медных скрижалях; он еще и столь тщательно изучил свой предмет, что мнение его здесь непререкаемо. *(Здесь и далее, где это не указано особо, прим. автора.)*

ны сами по себе не так важны, как думается нашим строгим логистам и политическим мыслителям; в конечном счете жизнь народов зависит от того, как эти законы применяются. Это верно, и все же у русских жизнь безотраднее, чем у любого другого народа Европы; а говоря «народ», я разумею не одних лишь крепостных крестьян, но и всех, кто населяет империю.

Так называемая сильная власть, всегда и всюду требующая неукоснительного повиновения, не может не обрекать людей на жалкую участь. Себе на службу деспотизм способен поставить любое общественное устройство, независимо от господствующих с его дозволения монархических или демократических мнимостей. Всюду, где государственный механизм действует с жестокою точностью,— есть деспотизм. Лучше всех та власть, какую мы ощущаем на себе менее других; а забыть о ярме можно лишь благодаря высшей мудрости гения или же путем некоторого ослабления общественного гнета. Государственная власть всегда благотворна в пору юности народов, когда полудикие люди чтут все удаляющее их от беззаконного состояния; она вновь делается благотворной в нациях стареющих. В эту эпоху рождаются на свет государства со смешанным строем. Но подобная власть, основанная на согласии опыта и страсти, подходит только для народностей уже утомленных, для обществ, чьи движущие пружины уже изработались в революциях. Отсюда приходится заключить, что такая власть если и не самая твердая, то самая легкая; однажды ее добившись, народы могут лишь желать, чтобы она длилась как можно дольше, подобно бодрой старости. Для государства, как и для человека, старость — самая мирная пора, когда ею увенчивается славная жизнь; средний же возраст нации всегда нелегок — а его-то и переживает Россия.

В стране этой, непохожей на все прочие, сама природа сделалась сообщницей человека, который, поклоняясь единообразию, умертвил всякую вольность. Она тоже повсюду одинакова: болотистые или песчаные равнины, заросшие, сколько хватает глаз, чахлыми и редкими деревьями двух пород, березой и сосной,— вот и вся естественная растительность северной России, то есть окрестностей Петербурга и близлежащих провинций, охватывающих огромные пространства страны.

Где укрыться от общественных невзгод, если климат позволяет жить на лоне природы только три месяца в году? Да и что это за природа! К тому же в течение шести наиболее холодных месяцев никто, кроме разве что русского крестьянина, не в состоянии пробыть на открытом воздухе больше двух часов в день. Вот какую среду сотворил для людей Бог в этих краях!

А что за среду создал себе сам человек? Санкт-Петербург, бесспорно, одно из чудес света, Москва — тоже весьма живописный город, но какой же вид имеют провинции!

В письмах моих вы увидите, сколь непомерное однообразие порождается не знающим пределов единовластием. Во всей империи один лишь человек вправе иметь желания — следовательно, только он и живет своею собственною жизнью. Ни в чем здесь не заметно душевной самобытности, на каждом шагу чувствуется, что окружающий вас народ лишен независимости. По любой дороге на протяжении двадцати — тридцати лье попадется вам один-единственный город — всякий раз одинаковый. Тирания изобретает только средства для укрепления своей власти, ее мало заботит художественный вкус.

Пристрастие русских государей и зодчих к языческой архитектуре, к прямой линии, к приземистым постройкам и широким улицам находится в противоречии с законами природы и потребностями жизни в холодной и туманной местности, беспрестанно продуваемой сильными ветрами, от которых стынет лицо. За все время путешествия так и не смог я постичь, как страсть эта обуяла жителей страны, столь отличной от тех краев, где возникла пересаждаемая в Россию архитектура. По-видимому, и самим русским это непостижимо, как и мне, ибо во вкусах своих они властны не более, чем в поступках. Так называемые изящные искусства были им вменены в обязанность приказом, словно воинские учения. Образец всего их общества — армейский полк с его мелочною дисциплиной.

Климату и обычаям России более подошли бы крепостные стены, высокие и тесно составленные здания, извилистые улицы средневековых городов, нежели карикатуры на античность; но влиятельные лица там менее всего думают о той стране, которой правят, менее всего считаются с ее духом и нуждами.

В пору, когда Петр Великий вводил по всей империи, от Татарии до Лапландии, свои цивилизаторские предписания, в Европе творения средневековья уже давно вышли из моды; русские же, даже те из них, кому присвоено прозвище *великих,* всегда умели только следовать моде.

Такая подражательность плохо согласуется с завоевательным духом, который мы в них усматриваем,— ведь над теми, кого копируешь, нельзя господствовать. Однако в характере этого поверхностно развитого народа вообще все противоречиво; более же всего он отличается неизобретательностью. Даже в честолюбивых его устремлениях есть какое-то обезьянство: он желает выйти, в свой черед, на сцену мировой политики, но не затем, чтобы дать выход своим способностям, мучающим его в бездействии, а только затем, чтобы проиграть заново историю других славных государств. Завоевательный дух его порожден не мощью, а всего лишь претензией. В нем нет творческой силы; весь его талант — мериться с другими; весь его гений — подражательство. Если все же кажется, будто есть в нем некая самобытность, то потому только, что еще ни один народ на свете не нуждался до такой степени в образцах для подражания; наблюдательный от природы, он становится самим собою, лишь перенимая чужие создания. Вся его самобытность — дар подделки, которым он обладает больше всякого другого народа. Единственная его врожденная способность — умение воспроизводить иностранные изобретения. Ему суждено остаться в истории так же точно, как остается в литературе искусный переводчик. Призвание

русских — переводить европейскую цивилизацию для азиатов.

Дар подражания, присущий той или иной нации, может приносить ей пользу и даже вызывать восхищение, но только если он развился поздно; явившись прежде всех прочих талантов, он их заглушает. Россия — общество подражателей; всякий же, кто умеет только копировать других, неизбежно впадает в карикатурность.

За четыре века колебаний между Европой и Азией Россия до сих пор так и не сумела оставить делами своими след в истории человеческого духа, ибо национальный ее характер изгладился под толщею заимствований.

Примкнув к греческой схизме и тем отделив себя от Запада, она много веков спустя, с непоследовательностью уязвленного самолюбия, вновь обратилась к нациям, сложившимся в лоне католицизма, дабы перенять у них цивилизацию, до которой не допускала ее сугубо политическая религия. Перенесенная из дворца в воинский лагерь, чтобы поддерживать там порядок, эта византийская религия не отвечает высочайшим потребностям души человеческой; она помогает полиции морочить народ — и только. Из-за нее народ этот изначально стал недостоин той степени образованности, к какой он стремится.

Чтобы в народной душе струились соки религиозного чувства, необходима независимость церкви, ибо развитие благороднейшей из способностей народа, способности верить, зависит от достоинства духовенства. Человек, призванный сообщать другому человеку божественные откровения, должен обладать свободой, которая неведома ни одному священнослужителю, восставшему против своего духовного владыки. Оттого первое наказание за ересь — унижение, переживаемое служителями культа; вот почему во всех странах, захваченных схизмой, священники презираемы народом — несмотря на монаршье покровительство или, точнее, по причине такого покровительства, которое ставит их в зависимость от государя даже в делах божественного призвания.

Народ, сознающий себя свободным, никогда не станет от чистого сердца повиноваться зависимому духовенству.

Недалеко то время, когда признают, что главное в делах религии — не добиться свободы для паствы, но обеспечить ее пастырю. Осознав это, мир сделает большой шаг вперед.

Толпа всегда будет повиноваться, всегда будут направлять ее особые люди; назовите их священнослужителями, книжниками, поэтами, учеными, тиранами — все равно сознание народа в руках его вождей. Потому свобода вероисповедания для масс — химера, и для спасения душ важно, чтоб свободен был человек, призванный творить перед людьми церковную службу; между тем на свете есть только один свободный священнослужитель — католический.

Пастыри, пребывающие в рабстве, способны руководить только нетворческими душами, православный поп может научить народ только повергаться ниц перед силой! Не спрашивайте же более у меня, отчего русские лишены воображения, отчего они умеют лишь копировать, ничего не совершенствуя...

Когда на Западе потомки варваров с поклонением, близким к обожанию, изучали древних греков и римлян, они переиначивали их, приспосабливая к своей жизни: легко ли распознать Вергилия в Данте, Гомера в Тассе или даже Юстиниана и римское право в феодальных кодексах средневековья? Подражание учителям, ничего не имевшим общего с новыми нравами, могло помочь утончению умов, развивая язык, но не могло принудить европейцев к бесплодному воспроизведению образцов. Благоговейный восторг перед прошлым не глушил, но возбуждал их гений; русские же воспользовались нами иначе.

Когда копируют форму общества, не проникаясь его животворным духом; когда за уроками цивилизации обращаются не к древним наставникам духа человеческого, но к чужеземцам, завидуя их богатствам и не считаясь с их характером; когда подражают с враждебным чувством и притом с ребяческою буквальностью, заимствуя у соседа (с деланною презрительностью) все вплоть до привычек домашнего быта, одежды, языка,— тогда нельзя самому не сделаться сколком, чужим эхом или отражением, нельзя более жить самому по себе.

Народы средневековья, воодушевленные своими обновленными верованиями, сильные своими незаемными нуждами, могли обожать античность, не рискуя впасть в пародию, ибо творческая сила, если она есть, никогда не пропадает зря, к чему бы человек ее ни применил... Как много вольного воображения в учености XV и XVI веков!

Уважение к классическим образцам — знак творческого духа.

Оттого на Западе изучение классиков в эпоху Возрождения повлияло большею частью на изящную словесность и искусства; успехи же промышленности, торговли, естественных и точных наук — дело рук исключительно новой Европы, и здесь она почти все почерпнула из себя самой. Долгое педантическое преклонение перед литературою язычников не помешало ей создать свою собственную политику, религию, философию, формы правления, военные обычаи, понятия о чести, нравы, привычки общежития.

Одна лишь Россия, поздно приобщившись к цивилизации, так и не узнала, по нетерпеливости правителей своих, как выбраживают творческие силы в душе нации, как благодетельно ее постепенное и ненасильственное развитие. В России не происходило той невидимой глазу работы, которая образует великие нации и приуготовляет один народ быть господином, то есть просветителем, прочих; не раз я замечал, что в этой стране общество, каким его создали самодержцы,— не что иное, как огромная теплица, полная прелестных диковинных растений. Каждый цветок напоминает здесь о далекой своей родине, но спрашиваешь себя — где же жизнь, где же природа, где туземные ее создания в этом собрании памятных образцов? Такое собрание выказывает более или менее удачный отбор, сделанный любознательными путешественниками, но не составляет серьезного творения свободной нации.

Русская нация вечно будет терпеть последствия этой несамобытности, которою страдала она в пору своего политического пробуждения. Для нее потерянной оказалась юность — возраст усердных трудов, когда человеческий дух принимает на себя всю ответственность за свой независимый склад. Ее правители, и прежде всего Петр Великий, насильственно исторгли ее из детства прямо в зрелость. Едва избавленной от чужеземного ига, ей казалось свободою все что угодно, кроме монгольского владычества; оттого, в своей радости и неискушенности, она даже крепостное рабство приняла как освобождение, потому только, что исходило оно от ее законных государей. Униженный завоевателями, народ этот чувствовал себя счастливым оттого, что новый его тиран носил русское имя, а не татарское.

Действие этой ошибки длится и поныне. Русскую землю покинул дух своеобычности; уроженцы ее, привычные к рабству, до сих пор по-настоящему разумеют только язык страха и честолюбия. Как понимают они моду? — как элегантную цепь, которую носят только на людях... Сколь изысканной ни казалась бы нам русская вежливость, в ней больше церемонного, чем естественного, ибо подлинная учтивость — это цвет, распускающийся лишь на вершине общественного древа. Такую ветвь нельзя привить, она питается собственными своими корнями, и ствол, ее поддерживающий, вырастает столетиями, подобно стволу алоэ; должно умереть многим поколениям полудиких обитателей страны, прежде чем из верхних слоев социальной почвы родятся люди действительно учтивые; для воспитания цивилизованного народа нужна многовековая память; только ум младенца, рожденного от учтивых родителей, способен созреть настолько быстро, чтобы понять действительную суть учтивости. Суть эта — в невидимом обмене добровольными пожертвованиями. Нет ничего более утонченного и, в сущности, ничего более нравственного, чем принципы, составляющие совершенство изящных манер. Чтобы устоять в испытании страстью, такая учтивость должна иметь нечто общее с благородством чувств, которое не приобретается в течение лишь одной человеческой жизни — ведь воспитание с самого начала воздействует на прирожденную основу души; одним словом, истинная учтивость наследственна; в глазах нашего века долгий ход времени ничего не значит, для творящей же природы он значит многое.

Жители южной Руси некогда обладали известною тонкостью вкуса, и, благодаря сношениям с Константинополем, которые издревле, даже в самые варварские века, поддерживали киевские князья, в этой части славянской империи царила любовь к искусствам; в то же время предания Востока помогали сберечь там чувство величественного и сохранить известную сноровку в среде художников и ремесленников. Однако достоинства эти — плоды старинных связей с передовыми народами, наследниками античной цивилизации,— были утрачены при нашествии монголов.

Этот кризис заставил первобытную Русь как бы забыть свою историю. Рабское состояние порождает низменность души и исключает подлинную учтивость — ведь в ней нет ничего холопского, в ней выражаются высочайшие и тончайшие чувства. Цивилизованным же народ может называться только тогда, когда учтивость становится для него всего как бы расхожею монетой. Тогда первозданная грубость и животное себялюбие, свойственные человеческой природе, уже с колыбели сглаживаются теми уроками, которые всякий получает в семье; в детстве человек, где бы он ни родился, отнюдь не склонен сострадать ближним, и никогда не станет он действительно учтивым, если еще в начале жизни его не отвлечь от жестоких наклонностей. Учтивость не что иное, как закон сострадания, примененный в повседневном общественном обиходе; он учит прежде всего сострадать больному самолюбию; и это самое универсальное, самое удобное и самое действенное из найденных до сей поры средств против эгоизма.

Как бы ни судить, но подобная утонченность, естественно вырабатывающаяся со временем, неведома ныне русским; на памяти у них не столько Византия, сколько ордынский Сарай, и за немногими исключениями они пока еще лишь прилично одетые варвары. Они походят на дурно писанные портреты, покрытые превосходным лаком. Чтобы стать подлинно учтивым, нужно долго учиться человечности, а уже потом — вежливости.

Петр Великий, с безоглядностью непросвещенного гения, с нетерпеливою дерзостью человека, почитаемого всемогущим, с настойчивостью своего железного характера, вознамерился разом похитить у Европы готовые плоды цивилизации, вместо того чтобы смиренно высевать ее зерна в свою собственную землю. Все созданное этим чрезмерно восхваляемым человеком оказалось ненатуральным; добро, сотворенное его варварским гением, было на удивление преходящим, тогда как зло — непоправимым.

Какой прок России от того, что она оказывает давление на Европу, влияет на европейскую политику? Ненатуральные интересы! суетные устремления! Для нее важно было бы в себе самой иметь и развивать жизненное начало; мертва та нация, у которой нет ничего своего, кроме покорности. Перед русским народом распахнуто окно — он смотрит, слушает, ведет себя как зритель на спектакле; когда же прекратится эта игра?

Следовало бы остановиться и начать все сызнова, но возможно ли такое усилие? Как перестроить до самого основания столь обширное здание? Недавнее и искусственное приобщение к цивилизации уже имело в Российской империи реальные последствия, которых не отменить никакой земной власти; невозможным представляется мне вершить будущее народа, не считаясь с его настоящим. Но когда настоящее насильственно оторвано от прошлого, оно предвещает лишь беду. Избавить Россию от этих бед, восстановить ее связь со своею древнею историей, обусловленною ее исконным характером,— такою будет отныне неблагодарная, сулящая более пользы, чем славы, задача тех, кто призван управлять этою страной.

Император своим царственно практическим и глубоко национальным гением постиг сию задачу; но сможет ли он решить ее? Не думаю — он слишком вмешивается во

все сам, слишком полагается на себя и слишком мало — на других. К тому же в России воли самодержца еще мало, чтобы сделать добро.

Друзьям человечности приходится здесь бороться не против тирана, но против тирании. В бедах империи и пороках правительства несправедливо было бы винить императора: не по силам человеческим задача, стоящая перед государем, который вдруг возжелал бы гуманно царствовать над негуманным народом.

Надобно побывать в России, увидать вблизи происходящее там, чтобы понять: далеко не все может сделать человек, обладающий властью сделать все,— особенно когда он хочет сделать добро.

Печальные последствия деяний Петра I еще более усугубились в великое или, точнее сказать, долгое царствование женщины, которая правила своим народом лишь ради удовольствия изумлять Европу... Европа, опять Европа! и никому нет дела до России!

Петр I и Екатерина II преподали всему свету великий и полезный урок, за который расплачивалась Россия: они показали нам, что деспотизм страшнее всего тогда, когда пытается делать добро, своими намерениями оправдывая самые возмутительные свои дела,— а если зло выдает себя за целебное средство, то оно уже не знает более удержу. Откровенное злодейство торжествует недолго, ложные же добродетели ввергают народный дух в непоправимые заблуждения. Ослепленные блестящими атрибутами преступления, размахом некоторых злодеяний, оправданных своим результатом, народы приходят к выводу, что есть два рода злодейства и две морали, что необходимость или, как говорили прежде, государственная надобность снимает вину со знатных преступников, если они сумели согласовать бесчинства свои со страстями всей страны.

Неприкрытая тирания страшила бы меня менее, чем гнет под маской благоустроения. Вся сила деспотизма заключается в личине, которую носит деспот. Стоит заставить государя отказаться от лжи — и народ его станет свободен; оттого не знаю я на свете иного зла, кроме лжи. Если вас пугает только грубый и неприкрытый произвол — побывайте в России, и вы научитесь бояться прежде всего лицемерной тирании [2].

Не могу отрицать, что вернулся из путешествия с иными воззрениями, чем предпринимал его. Не будь на то причины, я бы не поведал свету печаль, которую оно мне принесло. Свой отчет о нем я отдаю в печать именно потому, что по многим вопросам пришлось мне изменить свои взгляды; прежние мои взгляды известны всем моим читателям, но им неизвестно постигшее меня разочарование; мой долг предать его гласности.

Отправляясь в Россию, я рассчитывал на сей раз не вести записок; меня утомляет моя метода — по ночам делать для друзей заметки о том, что запомнилось за прошедший день. Во время этой работы, похожей на исповедь, в мыслях моих присутствуют и читатели, но лишь в туманной дали... настолько туманной, что я то и дело о них забываю; оттого в напечатанных моих письмах сохраняется простой и вольный тон, какой всегда присущ частной переписке.

Такая работа может вам показаться очень легкой, но я уже не так молод, чтобы выполнять ее играючи. Однажды начав дело, я стараюсь довести его до конца, не позволяя себе ни праздности, ни небрежения; труд этот тяжек. Потому и приятно мне было думать, что на сей раз смогу путешествовать только для своего удовольствия, спокойно все осматривая. Оказалось, однако, что русские, от самых высокопоставленных особ до малейших частных лиц, весьма озабочены моим приездом, и так смог я измерить то значение, которое мне придают, по крайней мере в Петербурге. «Что вы думаете о нас? вернее, что вы станете о нас рассказывать?» — таков был тайный смысл всех бесед со мною. Это заставило меня отрешиться от бездеятельности. Из равнодушия, возможно и из робости, я поначалу держался скромно; вообще, Париж учит человека смирению, если только не внушает ему, напротив, крайнего высокомерия. Итак, я имел причины не доверяться себе, но беспокойное самолюбие русских пошло на пользу моему собственному.

В новом своем решении я был укреплен все более растущим чувством обманутых ожиданий. Разочарование это имело, конечно же, глубокую и действенную причину: ведь отвращение охватывало меня среди самых блестящих празднеств, когда-либо мною виденных, и несмотря на сказочное гостеприимство русских. Я сразу заметил, что в расточаемых ими любезностях больше желания выглядеть предупредительными, чем подлинной сердечности. Сердечность незнакома русским — у немцев они этого не заимствовали. Они ни на минуту вас не оставляют, всячески развлекают, поглощая все ваше внимание, подавляя своею заботливостью; осведомляются о ваших делах, с присущею только им одним настойчивостью расспрашивают и непрестанными празднествами мешают разглядеть свою страну. Цель этого обманчиво любезного обращения с иностранцами они обозначают особым французским словом — enguirlander [3]. Увы, в настоятельных своих заботах они напали на человека, которого празднества всегда более утомляли, чем развлекали. Тогда, заметив, что впрямую подействовать на ум чужеземца не удается, они обращаются к косвенным средствам, стремясь подорвать к нему доверие среди просвещенных читателей; с поразительною ловкостью начинают они морочить ему голову. Чтобы представить вещи в превратном свете, они возводят ложные хулы на свою страну, так же как прежде, рассчитывая на благожелательную доверчивость слушателя, расточали ей ложные похвалы. Не раз я замечал, как в одной и той же беседе со мною один и тот же человек дважды или трижды менял тактику. Не льщу себя мыслью, что всегда умел распознать истину, несмотря на искусно соединенные усилия тех, чье ремесло утаивать ее; но я все-таки понимал, что меня

[2] «По-моему, персы были правы, утверждая, что второй порок — лгать, а первый — быть должным. Ведь обыкновенно долги и ложь тесно между собою связаны» (Рабле. Третья книга, гл. V). [*Перевод Н. Любимова.*]

[3] Букв. «обвесить гирляндами». *(Прим. перев.)*

обманывают. Пускай я и не вижу истину, но я вижу, что ее от меня скрывают; не умея разведывать, я умею обороняться.

Ни при одном дворе не встретишь веселости — но при дворе санкт-петербургском даже не дозволяется скучать. Всевидящий император принимает деланную оживленность приближенных как особый знак почтения; это напоминает фразу Талейрана о Наполеоне: «Император не шутит — он желает, чтобы вы были веселы».

Пускай я задену чье-то самолюбие и своею неукоснительною искренностью навлеку на себя упреки; но моя ли вина, если я отправился в страну абсолютной монархии за новыми доводами против нашего собственного деспотизма, против беззакония, именуемого свободою,— а увидел лишь поразительные злоупотребления самодержавной власти, этой тирании, которую величают законным порядком? Русский деспотизм — это лжепорядок, так же как наш республиканизм — лжесвобода. Я сражаюсь против всякой лжи, где бы ее ни встретил, а она бывает разноликой; прежде я забывал о той, что порождена абсолютною властью,— ныне я подробно о ней рассказываю, ибо, повествуя о своих путешествиях, я всегда бесхитростно излагаю то, что вижу.

Мне ненавистны фальшивые предлоги — а я увидел, что в России государственный порядок служит предлогом для угнетения, так же как во Франции свобода предлог для зависти. Мне, если быть кратким, по душе подлинная свобода — та, что возможна лишь в обществе, не чуждом изящества; итак, я не демагог и не деспот — я аристократ в самом широком смысле слова. В том изяществе, какое мне хотелось бы сохранить в обществе, нет ничего легкомысленного; в нем нет и ничего жестокого, ведь оно подчиняется вкусу, не допускающему никаких злоупотреблений,— он лучше всего предохраняет от них, ибо избегает всякой чрезмерности. Без изящества невозможны искусства, а искусства спасают собою весь мир, так как именно через их посредство народ приобщается к цивилизации, находящей в них высшее свое выражение и драгоценнейший плод. Среди всего, чем славится нация, они выделяются особенным преимуществом — успехами своими они доставляют отраду и пользу всем классам общества.

Аристократия, как я ее понимаю, не только не вступает в союз с тиранией ради государственного порядка (в чем облыжно винят ее демагоги), но и вообще не уживается с произволом. Ее миссия — защищать, с одной стороны, народ против деспота, а с другой — цивилизацию против революции, опаснейшего из тиранов. Варварство принимает разные обличья — сраженное в форме деспотизма, оно возрождается в форме анархии; подлинная же свобода, хранимая подлинною аристократией, не терпит ни насилия, ни беззакония.

К сожалению, сейчас в Европе сторонники умеренной аристократии в ослеплении дают своим противникам оружие против себя. Из ложных опасений они обращаются за помощью к врагам всякой политической и религиозной свободы, как будто угроза в наши дни может исходить от одних революционеров; между тем самовластительные государи — в прошлом сами захватчики, не менее страшные, чем нынешние якобинцы.

Феодальной аристократии больше нет, хотя вечно немеркнущим блеском будут сиять ее великие имена, прославленные историей; а в обществах, желающих жить далее, средневековую знать сменит, как это давно уже случилось у англичан, наследственное судейское сословие; эта новая аристократия, наследница всех прежних, составленная из нескольких различных элементов (так как зиждется она на должности, происхождении и богатстве), обретет к себе доверие, лишь опираясь на свободную религию. А я уже говорил и повторяю при всякой надобности: единственная свободная религия — та, которой учит католическая церковь, свободнейшая церковь на свете, ибо только она одна не зависит ни от какой светской власти, а власть папская ныне призвана лишь защищать независимость духовенства. Аристократия — образ правления духовно независимых людей, а католицизм, не устану твердить,— религия свободных священнослужителей.

Как вам известно, узревши истину, я тотчас же высказываю ее вслух, не задумываясь о последствиях, ибо зло, по убеждению моему, происходит не от тех истин, что предают гласности, а от тех, что скрывают; оттого всегда казалась мне пагубною пословица наших отцов — «не всякую истину полезно изрекать».

Когда из истины каждый отбирает себе то, что на потребу его страстям, опасениям, раболепию, корысти,— тогда-то истина и становится вреднее заблуждения; итак, путешествуя, я не делаю разбора между накопленными фактами, не отбрасываю и тех, коими оспариваются заветнейшие мои верования. Когда я веду свой рассказ, у меня одна лишь религия — культ правды; я не пытаюсь быть судьей, я даже не живописец, ведь живописцы следуют правилам композиции; я стараюсь превратиться в зеркало — то есть быть прежде всего беспристрастным, а в таком деле одного намерения уже довольно (по крайней мере, для умного читателя; не могу и не желаю признаться себе, что бывают и иные, ибо тогда писательское ремесло сделалось бы невыносимо скучным).

Всякий раз, когда случалось мне общаться с людьми, из их приемов я сразу заключал, что они умнее меня, искуснее в защите, в речах и поступках. Вот чему до сих пор учил меня опыт; итак, я ни к кому не отношусь с пренебрежением, и тем более далек я от пренебрежения к своим читателям. Именно потому я никогда им не льщу.

Если к кому-то мне и трудно быть справедливым, то разве только к тем, кто мне скучен; но с такими я почти не знаюсь, ибо избегаю людей праздных.

Как я уже говорил, в России все города одинаковы; точно так же в Петербурге одинаковы все салоны — перед вами всегда и повсюду императорский двор или отдельные его партии. Переходя из дома в дом, вы остаетесь в одном кругу людей, где запрет налагается на беседы о любых интересных предметах; я нахожу, однако, что это восполняется изощренным умом женщин, отлично умеющих намеками внушать то, чего не произносят вслух.

Во всех краях женщины — наименее покорные из рабов, так как, искусно пользуясь своею слабостью и превращая ее в силу, они лучше нас умеют не повиноваться дурным законам; поэтому всюду, где отсутствует политическая свобода, они призваны хранить свободу личную.

Свобода — это ведь не что иное, как обеспечение прав слабого, роль которого в обществе сама природа назначила играть женщинам. Во Франции ныне многие гордятся тем, что все решается мнением большинства. Экое диво! вот когда я увижу, что и требования меньшинства принимаются в расчет,— тогда и я воскликну: «Да здравствует свобода!»

Скажем прямо: те, кто сегодня слабее, были сильнее прежде, и тогда они очень часто сами являли пример тех злоупотреблений силой, на которые я теперь сетую. И все же один грех не извиняет другого.

Несмотря на тайное влияние женщин, Россия все еще отстоит дальше от свободы, нежели большинство прочих стран на свете,— не от слова «свобода», а от того, что оно значит. Клич «да здравствует свобода!» может хоть завтра раздаться даже и у границ Сибири во время кровавого бунта, при зареве пожара; слепой и жестокий народ может перерезать своих господ, возмутиться против темных самодуров, обагрить кровью воды Волги, однако свободнее он не станет — на нем ярмом тяготеет варварство.

Поэтому лучший способ освободить людей,— не провозглашать торжественно их раскрепощения, но сделать рабство невозможным, развивая в народных сердцах чувство гуманности; в России этого чувства недостает. Толковать ныне русским любого звания о свободолюбии было бы преступно; наш долг — проповедовать им всем без исключения гуманность.

Нужно прямо признать, что русский народ еще не имеет правосудия. Так, мне однажды рассказали как о заслуге императора Николая, что какой-то незнатный человек, частное лицо, выиграл тяжбу против больших господ. В рассказе этом восхищение характером государя звучало для меня сатирой на все общество. Превозносимый на все лады, казус этот положительно убедил меня, что справедливость в России — не более чем исключение из правила.

По зрелом размышлении я бы не советовал всему, как говорили у нас в старину, мелкому люду обольщаться успехом этого истца; быть может, ему оказали исключительную милость, дабы безнаказанными оставались несправедливости, творимые каждый день (нечто вроде мельницы в Сан-Суси, на которую, как на пример нелицеприятного суда, любят указывать законники, когда их обвиняют в продажности и угодливости).

Другой факт, из которого должны мы сделать вывод малоблагоприятный для русских судей,— это то, что в России почти никто и не судится. Каждый знает, к чему это ведет; будь судьи справедливее, люди чаще прибегали бы к помощи закона. По той же причине здесь и не бывает ссор, уличных драк — все боятся, что их посадят в тюрьму и закуют в кандалы, как чаще всего и поступают с правым и виноватым.

Хоть я и рисую здесь одни печальные картины, в России все же есть две вещи и один человек, ради которых ее стоит посетить. Нева в Петербурге в пору белых ночей, московский Кремль при лунном свете и император Николай — такова Россия в отношении живописном, историческом и политическом. Все прочее лишь утомляет и нагоняет скуку, которую ничто не искупает; вы убедитесь в том, читая мои письма.

Кое-кто из друзей уже писал мне, что считает за лучшее письма эти не печатать.

Когда я собирался уезжать из Петербурга, один русский спросил меня (подобно всем русским), что я стану рассказывать об их стране. «Меня слишком хорошо принимали в ней, чтоб я мог о ней говорить»,— отвечал я.

Теперь это признание обращают против меня самого, хотя думал я заключить в нем чуть прикрытую любезностью эпиграмму. «После такого приема вы уже, наверное, не сумеете быть правдивым,— пишут мне,— а поскольку иначе как правдиво вы писать не умеете, то лучше уж вам просто промолчать». Так полагают некоторые из тех, к кому я привык прислушиваться. Их мнение во всяком случае не очень лестно для русских.

Сам я все-таки полагаю возможным и благопристойным говорить об общественных делах и деятелях откровенно, с должною деликатностью и уважением к людям, его заслуживающим, и с необходимым всегда самоуважением; надеюсь, что сумел найти для этого способ. Считают, что одна лишь правда оскорбительна,— возможно, и так; но говорящему правду никто, по крайней мере во Франции, не вправе и не в силах заткнуть рот. Никто не сочтет, что в возмущенном моем голосе тайно выказывается уязвленное тщеславие. Если б я думал только о самолюбии своем, оно велело бы мне восхищаться всем увиденным; между тем сердце мое не осталось удовлетворено ничем.

Ежели любой рассказ о России и ее обитателях оказывается оскорблением личности — тем хуже для русских; это неизбежное зло, так как, сказать по правде, ничто не существует в России само по себе, но возникает и исчезает по благоусмотрению одного человека; не путешественники тому виной.

Император, сдается мне, мало склонен поступиться частью своей власти; пускай же он и ответственность несет за свое всемогущество — так начинается искупление политической лжи, объявляющей одного-единственного человека безраздельным владыкой целой страны, всесильно повелевающим мышлением целого народа.

Кощунственность подобной теории нельзя оправдать никакими послаблениями в ее применении. В России мне открылось, что принцип абсолютной монархии, будучи осуществлен неукоснительно и непреклонно, ведет к последствиям чудовищным. И на сей раз, при всем своем политическом квиетизме, не могу не признать: от некоторых форм правления народы должны быть избавлены навсегда.

Император Александр, беседуя доверительно с госпожой де Сталь о предполагавшихся им усовершенствованиях, сказал ей:

«Вы хвалите мои человеколюбивые намерения — благодарю вас, однако ж в истории России я лишь счастливая случайность». Сей монарх говорил истину: как бы ни превозносили русские мудрую попечительность тех, кто ими правит, тем не менее основу основ государства их составляет самовластие; при подобном порядке император либо сам издает, либо велит издать, либо допускает издать, либо допускает действовать таким законам (простите, что называю сим священным именем неправедные повеления, но я лишь пользуюсь тем словом, какое в ходу в России), что посредством их он может, например, объявить законных детей, рожденных в законном браке, не имеющими ни отца, ни фамилии — вообще не людьми, а цифрами. Как же мне не предать суду Европы государя, который, при всех своих достойных и превосходных качествах, соизволяет царствовать, не отменяя подобного закона?

В мстительных своих чувствах он неумолим; столь пылкий ненавистник еще может быть великим государем, но не великим человеком. Великий человек милосерд, политик же злопамятлив; возмездие принуждает покоряться, прощение побуждает уверовать.

Вот все, что хотел я вам сказать об этом государе; зная страну, где обречен он царствовать, его нелегко судить, ибо люди там настолько зависимы от обстоятельств, что ни наверху, ни внизу общества не найти такого, чтоб можно было спросить у него ответа. И в такой-то стране знатные господа полагают себя похожими на французов!..

Во времена варварства французские короли нередко рубили голову своим знатным вассалам; один из них, чья тирания всем достопамятна, в изощренной своей жестокости даже пожелал, чтобы кровь отца пролилась на детей, поставленных под эшафотом. Однако эти абсолютные властители, безжалостно убивая недруга, лишая его владений, остерегались все же неразумным приговором унизить в его лице все семейство, сословие или область; от такого бесчестия даже в средние века возмутился бы весь народ Франции. Русский же народ переносит и не такое... Вернее сказать, русского народа еще и нет — есть только императоры, имеющие рабов, и вельможи, имеющие крепостных; народа все они не образуют.

Средний класс, до сих пор малочисленный в сравнении с прочими, состоит почти исключительно из иностранцев; его лишь начинают понемногу пополнять богатые крестьяне, выкупившиеся на волю, и мелкие чиновники, поднявшиеся по службе. Будущее России зависит от этих новых буржуа, по происхождению столь различных, что им почти невозможно сойтись в своих воззрениях; для соединения их трудятся тайные общества.

Император пытается ныне создать русскую нацию, но одному человеку это нелегко. Зло быстро творится, зато медленно исправляется. Сам испытывая к деспотизму отвращение, деспот, должно быть, часто отдает себе отчет в пороках неограниченной власти. Я этому верю — но совестливость угнетателя не извиняет угнетения, которое преступностью своею хоть и внушает мне некоторую жалость (зло всегда достойно жалости), но еще большую жалость внушают мне страдания угнетенного. Какою бы ни была в России видимость, под нею всегда насилие и произвол. Устрашая подданных, тирания обрела покой — только этим власть и сумела по сей день осчастливить свой народ.

И что же, если случай сделал меня свидетелем неслыханных бедствий, переживаемых людьми в государстве, одно из начал которого непомерно преувеличено,— что же, опасение задеть чью-то чувствительность заставит меня молчать о том, что видел? Да я был бы недостоин иметь зрение, если б уступил этому лицеприятному малодушию, которое мне пытаются теперь представить как уважение к общественным приличиям; как будто совесть моя не требует к себе уважения в первую очередь! А если бы мне удалось проникнуть в тюрьму и я бы понял, что скрывается за молчанием запуганных узников,— что же, я не посмел бы поведать об их мучениях из страха быть обвиненным в неблагодарности, потому что тюремщики в своих застенках оказали мне любезный прием? Подобная сдержанность была бы вовсе не добродетельною. Итак, заявляю: я внимательно всматривался, чтобы разглядеть утаиваемое, внимательно вслушивался, чтобы услышать умалчиваемое, внимательно старался распознать все лживое в том, что мне говорили, и ныне без преувеличения уверяю вас, что Российская империя — страна, где люди несчастнее всего на свете, ибо страдают они одновременно от тягот и варварства и цивилизации. Сам я почитал бы себя вероломным подлецом, если бы, набросавши уже со всею возможною вольностью духа картину большой части Европы, отказался дополнять ее из боязни переменить некоторые прежние свои мнения и оскорбить некоторых особ правдивым образом страны, которую никогда еще не рисовали такой, как она есть. Скажите на милость, отчего должен я выказывать уважение к дурному? Разве скован я какою-либо иною цепью, кроме любви к истине?

На мой взгляд, в русских обычно очень много житейского такта и хитрости, но мало чувствительности; об этом я уже говорил. Чрезвычайно острое чутье, соединенное с изрядною долей грубости, составляет, полагаю я, основу их характера; об этом я тоже говорил. Тщеславная прозорливость, холопская проницательность, язвительное лукавство — таковы главные свойства их ума; все это я также говорил и повторяю вновь, ибо недостойною уловкой было бы щадить самолюбие тех, кто сам столь немилосерден к другим (острое чутье не есть деликатность). Пора бы этим людям, столь зорким к порокам и нелепостям нашего общества, привыкнуть к тому, что и о них говорят не обинуясь; наши правительства, храня о них молчание, тем лишь вводят их в заблуждение, расслабляют их ум; если русские хотят быть признаны народами Европы и иметь с нами дела на равных, пускай сперва научатся слушать суждения о себе. Такому суду подвергаются все народы и не придают тому особенной важности. Разве немцы принимают у себя англичан под тем лишь ус-

ловием, что те станут хорошо отзываться о Германии? У всякого народа есть причины быть таким, каков он есть; а самая веская из них та, что иным он быть не может.

По правде сказать, к русским такое оправдание не подходит, во всяком случае к тем из них, кто умеет читать. Коль скоро они все на свете перенимают, то могли бы и сделаться иными; именно потому, что это возможно, правительство их и отличается такою подозрительностью, доходящею до свирепства! Ему хорошо известно, что люди-отражения ни в чем не могут быть надежны.

Меня могло бы остановить более сильное побуждение — боязнь обвинений в отступничестве: «Он так долго ополчался против либерального витийства,— станут говорить,— ныне же уступает течению и ищет ложной популярности, которую прежде презирал».

Возможно, я и неправ, но чем более я размышляю, тем менее мне кажется, чтобы такой упрек мог меня уязвить или даже чтобы кому-то пришло в голову мне его бросить.

Уже с давних пор умами русских владеет страх, что иностранцы будут их бранить. В странном этом народе крайняя хвастливость сочетается с чрезвычайною неуверенностью в себе; наружное самодовольство и беспокойное самоуничижение внутри — такое замечал я в большинстве русских. Их тщеславие не знает ни устали, ни удовлетворения, так же как надменность англичан; оттого в русских нет простоты. «Наивность» — французское слово, точный смысл которого непередаваем ни на одном языке, кроме нашего, ибо само качество есть только у нас; наивность — это простодушие, способное сделаться и лукавым; это дар остроумия, которое рождает смех, не нанося обид; это пренебрежение ораторскими уловками, готовность даже дать собеседнику оружие против себя; это нечаянная меткость выражения, отказ от самолюбия в интересах истины; одним словом, это галльская прямота — русским же она неведома. Народ-подражатель никогда не будет наивен, искренность у него всегда будет убита расчетом.

В завещании Мономаха мне попались мудрые и примечательные поучения, обращенные к сыновьям; особенно поразило меня одно место — это признание весьма полезно запомнить: «Всего же более чтите гостя, и знаменитого и простого, и купца и посла; если не можете одарить его, то хотя брашном и питием удовольствуйте: *ибо гости распускают в чужих землях и добрую и худую об нас славу*» (из поучения Владимира Мономаха своим сыновьям в 1125 году). Князь этот назван был в крещении Василием («История Российской империи» Карамзина, перевод гг. Сен-Тома и Жоффре, том II, страница 205. Париж, 1820) [4].

Согласитесь, что такие самолюбивые исхищрения изрядно обесценивают гостеприимство. Оттого не раз во время путешествия приходило мне на память то, что называется расчетливою любовью к ближнему. Речь не о том, чтобы отнять у людей вознаграждение за добрые дела, но безнравственно, гнусно выставлять эту награду как первейшее побуждение к добродетели.

Вот еще несколько отрывков из того же автора, подкрепляющих собственные мои наблюдения.

Сам Карамзин рассказывает о пагубном влиянии монгольского нашествия на характер русского народа; тот, кто найдет мои суждения слишком суровыми, может убедиться, что они удостоверяются мнением серьезного историка, склонного притом скорее к снисходительности.

«Забыв гордость народную,— пишет он,— мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; *обманывая татар, более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов*» (из того же труда, том V, глава 4, страница 447 и след.) [5].

Несколько далее:

«*Может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством монголов...*

Но заметим, что вместе с иными благородными чувствами *ослабела в нас тогда и храбрость,* питаемая народным честолюбием...

Власть народная также благоприятствовала силе бояр, которые, действуя чрез князя на граждан, могли и чрез последних действовать на первого: сия опора исчезла. Надлежало или повиноваться государю, или быть изменником, бунтовщиком; *не оставалось средины и никакого законного способа противиться князю.— Одним словом, рождалось самодержавие*».

Закончу эти выписки двумя отрывками о царствовании Ивана III; они также взяты у Карамзина, том VI, страница 351 [6].

Рассказав о том, как царь Иван III колебался в выборе престолонаследника между сыном своим и внуком, историк продолжает так: «К сожалению, летописцы не объясняют всех обстоятельств сего любопытного происшествия (здесь говорится о раскаянии государя, возвратившего свою нежность супруге и сыну и отдалившего от себя внука, которого сам же венчал на царство), сказывая только, что Иоанн возвратил наконец свою нежность супруге и сыну, велел снова исследовать бывшие на них доносы, узнал козни друзей Елениных и, считая себя обманутым, явил ужасный пример строгости над знатнейшими вельможами, князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым, двумя его сыновьями и зятем, князем Симеоном Ряполовским, обличенными в *крамоле:* осудил их на смертную казнь...»

Этот Иван III, казнивший смертью за *крамолу,* почитается у русских как один из величайших людей.

Сходные или подобные вещи происходят в России и поныне. Из-за всевластия самодержцев здесь нет уважения к судебному приговору; император, став лучше осведомлен о деле, всегда может отменить то, что решил он, будучи осведомлен плохо.

---

[4] См.: Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. II. СПб., 1833, с. 160. *(Прим. перев.)*

[5] Указ. издание, т. IV, с. 360—364. *(Прим. перев.)*

[6] Там же, т. VI, с. 276—277. *(Прим. перев.)*

Признания Карамзина показались мне вдвойне значительны в устах столь льстивого и робкого историка, как он. Я мог бы умножить подобные выдержки, но, думается мне, привел их довольно, чтобы быть вправе высказывать прямо соображения мои, подтвержденные мнением даже такого автора, которого упрекают в пристрастном взгляде.

В стране, где умы с детских лет приучаются к скрытности и ухищрениям восточной политики, естественность попадается поневоле реже, чем где-либо; когда же ее тут встречаешь, она обладает особенным очарованием. Я видал в России нескольких людей, которые краснеют от стыда, чувствуя на себе безжалостный гнет власти, будучи принуждены под ним жить и не осмеливаясь даже жаловаться. Такие люди свободны бывают только перед лицом неприятеля, и они едут сражаться в теснинах Кавказа, ища там отдыха от ярма, которое им приходится влачить дома. От столь печальной жизни на челе их остается печать уныния, которая не вяжется с их воинскими манерами и беспечностью, присущею их возрасту; юные морщины изобличают глубокую скорбь и внушают искреннюю жалость. Эти молодые люди взяли у Востока глубокомыслие, а из мечтаний Севера — смутность духа и наклонность к грезам; в несчастье своем они очень привлекательны; ни в одной стране нет на них похожих.

Русские приятны в обхождении, а значит, должен в них быть и какой-то особый род естественности, которого я не сумел разглядеть; возможно, он и неуловим для чужеземца, проезжающего по России столь быстро, как я. Ни один народ не имеет столь трудноопределимого характера, как этот.

У русских не было средневековья, у них нет памяти о древности, нет католицизма, рыцарского прошлого, уважения к своему слову[7]; они доныне остаются византийскими греками — по-китайски церемонно вежливые, по-калмыцки грубые или, по крайней мере, нечуткие, с ангельскою красотой и диким невежеством (исключая женщин и кое-кого из дипломатов), по-жидовски хитрые, по-холопски пронырливые, по-восточному покойные и важные в манерах своих, по-варварски жестокие в своих чувствах; они презрительно насмешливы от безысходности, побуждаемые к язвительности вместе и природой, и ощущением приниженности своей; они легкомысленны, но лишь на внешний вид — по сути своей русские расположены к серьезным делам. Всем им хватает остроты ума, чтоб развить в себе необыкновенно тонкий житейский такт, но ни в ком нет довольно великодушия, чтоб подняться выше хитрости; они внушили мне отвращение к этой способности, без которой у них нельзя прожить. Следящие за каждым своим шагом, они кажутся мне самыми жалкими людьми на свете. Прискорбное это достоинство — такт житейских условностей, узда, накинутая на вольное воображение, принуждающая беспрестанно жертвовать своим чувством ради чужого; с отрицательным этим достоинством несовместны иные, положительные и высшие, достоинства; таково ремесло честолюбивого льстеца, всегда готового исполнять чужую волю, постоянно следящего и отгадывающего, к чему ведет дело хозяин,— вздумай он сам дать толчок делу, его тут же прогнали бы вон. Чтобы дать делу толчок, нужна гениальность; для сильного гениальность и есть его такт, для слабого же такт составляет всю его гениальность. У русских нет ничего кроме такта. Гений влечет к действию, а такт — лишь к наблюдению; чрезмерная же наблюдательность приводит к неуверенности, а значит к бездействию. Гений может сочетаться с большою искусностью, но не с крайнею тонкостью такта, ибо в коварной этой льстивости — высшей доблести холопа, который чтит врага-господина, не решаясь его сразить,— всегда есть доля притворства. Благодаря такой изощренности, достойной невольников сераля, русские непроницаемы для чужого взгляда; всегда, правда, заметно, что они нечто скрывают, но что именно — неизвестно, а им того и довольно. Еще хитрее и опаснее станут они тогда, когда научатся скрывать самое свою хитрость.

Некоторые из них этого уже достигли — то высшие представители нации, как по занимаемому положению, так и по могуществу ума, с каким отправляют они свою власть. Здраво судить о них я могу только издалека, при встречах же обаяние их действовало на меня завораживающе.

Но, Бог мой, зачем же нужно столько уловок? Какою целью объясняется все это притворство? Что за обязанность или корысть понуждают людей к столь долгому и утомительному ношению масок?

Быть может, все приемы эти предназначены лишь защищать действительную и законную власть? Но такая власть в них и не нуждается — истина сама обороняет себя. Или же так удовлетворяются ничтожные тщеславные притязания? Возможно. Однако ж брать на себя столько хлопот, дабы получить столь жалкие плоды,— труд недостойный тех серьезных людей, что им заняты; замыслы их представляются мне более глубокими; иная, более важная цель видится мне, объясняющая собою всю их удивительную скрытность и терпеливость.

В сердце народа русского кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям — из тех страстей, что вырастают только в душе угнетенных и питаются только всенародною бедой. Нация эта, от природы захватническая, тем более алчная, чем более испытывает лишений, унизительным покорством у себя дома заранее искупает мечту о тиранической власти над другими народами. Ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестия; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.

В лице императора Николая подданные обожают не человека, но честолюбивого вождя еще более честолюбивой, чем он, нации. В страстных своих устремлениях русские представляют сколок с народов древности; все напоминает у них о Ветхом

---

[7] Несмотря на все сказанное выше, нелишне, быть может, пояснить, что это относится лишь к народным массам, которым в России ведома только власть страха и силы.

завете; их чаяния и терзания столь же велики, как и их империя.

Ни в чем не знают они пределов — ни в муках, ни в наградах, ни в жертвах, ни в упованиях; они могут достичь огромной власти, но лишь тою ценой, какою азиатские народы покупают неизменность своих государств,— ценой счастья.

Россия видит в Европе свою добычу, которая рано или поздно ей достанется вследствие наших раздоров; она разжигает у нас анархию, надеясь воспользоваться разложением, которому сама способствовала, так как оно соответствует ее замыслам; то, что сделали с Польшей, хотят повторить вновь, в большем размере. Париж уже не первый год читает возмутительные газеты — возмутительные во всех смыслах,— оплачиваемые Россией. «Европа идет тою же дорогой, что и Польша,— говорят в Петербурге,— напрасным либерализмом она себя ослабляет, тогда как мы остаемся могущественны потому именно, что мы не свободны; потерпим же под ярмом, за свой позор мы отыграемся на других».

Рассеянному взгляду раскрытый мною здесь план может показаться химерическим; всякий же, кто посвящен в ход европейских дел и в тайны министерских кабинетов за последние двадцать лет, признает его верным. Здесь ключ ко многим загадкам, здесь простое объяснение тому, что лица, значительные по характеру своему и положению, чрезвычайно важным полагают представать перед иностранцами только с благоприятной стороны. Если бы русские были, как они утверждают, опорой порядка и законной монархии, разве стали бы они использовать людей и, что еще хуже, средства, ведущие к революции?

Одной из жертв иллюзии, против которой хотел бы я предостеречь всех нас, является Рим, оказывающий России противоестественное доверие [8]. Рим и весь католический мир не имеют большего и опаснейшего врага, нежели император российский. Рано или поздно в Константинополе, под покровительством самодержавия, единовластно воцарится греческая схизма; тогда-то христианскому миру, разделенному на два лагеря, станет ясно, сколько вреда принесла римской церкви политическая слепота ее главы.

Сей владыка [9], устрашившись расстройства, в котором очутилось наше общество в пору его восшествия на папский престол, ужасаясь нравственному ущербу, который причинили Европе наши революции, не имея поддержки, растерявшись в окружении равнодушного или насмешливого света,— всего более боялся народных восстаний, от которых уже пострадали и он сам, и его современники. Тогда, поддавшись пагубному влиянию ограниченных умов, последовал он советам житейской осмотрительности и стал действовать с мирскою мудростью, с земною ловкостью — в глазах же Бога был слеп и слаб; так дело католицизма в Польше осталось без естественного своего защитника, возглавляющего на земле правоверную церковь. Много ли сегодня наций, готовых отдать Риму своих солдат? И вот папа, будучи всеми оставлен и отыскав еще народ, готовый ради него идти на смерть... отлучает его!.. Единственный из земных владык, обязанный оставаться с народом этим до конца, он отлучает его в угоду повелителю нации схизматиков! Правоверные католики в ужасе спрашивают себя, куда делась неустанная прозорливость святейшего престола; отлученные мученики видят, как Рим жертвует католическою верой ради греческой политики; и Польша, павши духом в священной своей борьбе, принимает свой удел, не в силах его понять [10].

Ужели наместник Бога на земле еще не понял, что со времен Вестфальского мира все войны в Европе — войны религиозные [11]? Какие опасения плоти смутили взгляд его настолько, что в делах небесных обратился он к средствам, еще пригодным для земных царей, но недостойным владыки всех владык? Престолы земных царей воздвигаются и рушатся, его же престол высится вечно — да, вечно, ибо, оказавшись в катакомбах, первосвященник был бы выше и прозорливее духом, чем восседая ныне в Ватикане. Обманутый хитроумными мирянами, он не разглядел сути вещей и, сбитый с верного пути своею политикой страха, позабыл, что ему есть где черпать силу — в политике веры [12].

Но терпение — развязка назревает, скоро все вопросы будут поставлены ясно, и истина, при поддержке законных своих защитников, вновь обретет свою власть над умами народов. Быть может, протестантам близящаяся битва даст понять одну важнейшую истину, которую я уже не раз высказывал, но не перестаю на ней настаивать, так как она единственно представляется мне необходимою, дабы ускорить воссоединение всех исповеданий христианской веры,— а именно то, что во всем мире подлинно свободен только католический священник. Всюду, кроме католической религии, священнослужитель подчинен иным законам, иным понятиям, чем законы и понятия его совести и вероучения. Потрясает непоследовательность англиканской церкви, и содрогание вызывает униженность греческой церкви в Петербурге. Едва лишь в Англии прекратится власть ханжества, как бóльшая часть королевства вновь сделается католиками. Римская церковь в одинокой своей борьбе спасла чистоту веры; с возвы-

---

[8] Писано в 1839 году.

[9] Папа Григорий XVI (1765—1846, на престоле с 1831 г.). *(Прим. перев.)*

[10] Упреки эти, не выходящие, на мой взгляд, за рамки почтительности, нашли подтверждение в последних эдиктах римской курии.

[11] Вестфальским миром 1648 года завершилась Тридцатилетняя война между коалициями католических и протестантских государств. *(Прим. перев.)*

[12] Невежество в делах религии настолько велико в наши дни, что один католик, весьма умный человек, которому я читал эти строки, перебил меня: «Какой же вы после этого католик — вы браните самого папу!» Как будто папа безупречен в делах мирских, подобно тому как непогрешим он в вопросах веры! Да и то сторонники галликанства ограничивают эту непогрешимость известными оговорками, что не мешает им считать себя католиками. Разве Данте когда-нибудь обвиняли в ереси? А между тем как обходится он с теми из пап, кого поместил в свой ад! Лучшие умы нашего времени впадают в путаницу, которая в прежние века рассмешила бы любого школяра. Отвечая своему критику, я отослал его к Боссюэ, чье изложение католического учения, всегда встречавшееся поддержкой, одобрением и похвалой, принятое также и римскою курией, дает достаточное оправдание моим принципам.

шенным благородством, с героическим терпением и с несгибаемою убежденностью защищает она по всей земле независимость духовенства против посягательств всех и всяческих мирских властей. Где найти церковь, которая не позволила бы тем или иным земным правителям принизить себя до положения благочестивой полиции? Такая церковь только одна — церковь католическая; ценою крови своих мучеников она сберегла себе свободу, источник жизни и могущества. Будущее всего мира принадлежит ей, ибо она сумела остаться чистой от примесей. Пускай суетится протестантизм — такова его природа; пускай волнуются и спорят друг с другом разные секты — это их обычная забава; католическая церковь ждет своего часа!

Русское православное духовенство всегда являло и будет являть собою государственное воинство, лишь несколько отличное мундиром своим от светских войск империи. Подчиненные императору, попы и их епископы составляют особый полк клириков — только и всего.

Удивительно, насколько удаленность России от Западной Европы до сих пор помогала русским скрывать от нас все эти обстоятельства. Лукавая греческая политика потому боится правды, что обладает несравненным умением извлекать выгоду из лжи; но меня поражает, как удается ей увековечивать господство этой лжи.

Вам понятно теперь, какую важность имеет чье-то суждение, насмешливая фраза или письмо, шутка или улыбка, не говоря уже о целой книге,— в глазах этого правительства, использующего как доверчивость своего народа, так и угодливость всех иностранцев. Одно лишь слово правды, брошенное в Россию,— все равно что искра, упавшая в бочонок с порохом.

Что за дело тем, кто правит Россией, до нищеты императорских солдат, до их бескровных лиц? У этих живых призраков — самый красивый в Европе мундир; что за важность, если на зимних квартирах эти раззолоченные тени кутаются в грубошерстные балахоны? Пусть в тайне сохраняются их убожество и грязь, а виден будет один только блеск — и тогда от них ничего более не требуется и ничего им не дается. Богатство русских — покров, наброшенный на нищету; все заключается для них в видимости, и видимость у них бывает обманчива чаще, чем где-либо еще. Оттого любой приподнявший край покрова навсегда погиб во мнении Петербурга.

Общественная жизнь в этой стране — постоянные козни против истины.

Всякий, кто не поддается на обман, почитается здесь изменником; посмеяться над бахвальством, опровергнуть ложь, возразить против политической похвальбы, *мотивировать свое повиновение* — является здесь покушением на безопасность державы и государя; за это можно поплатиться участью революционера, заговорщика, врага государственного порядка, преступника, повинного в оскорблении величества... участью поляка; а вам известно, сколь жестока эта участь! *Щекотливость,* проявляющаяся таким образом, признаться, более пугает, чем смешит; столь придирчивый надзор правительства, согласный со столь ревнивым тщеславием народа,— это уже не забавно, а страшно.

Волей-неволей приходится быть осторожным, имея государем своим человека, который не милует ни одного врага, не оставляет без кары малейшего ослушания и, таким образом, долгом своим почитает возмездие. Для такого человека, воплощающего в себе государство, простить значило бы отступиться от веры своей, быть милосердным — забыть о своем достоинстве, выказать гуманность — пренебречь своим величеством... да что там, своею божественностью! Отказаться от обожания, которым он окружен, не в его власти.

Русская цивилизация еще так близка к своему истоку, что сама походит на варварство. Россия — не более чем сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в хитрости и жестокости.

Своим последним восстанием [13] Польша отсрочила взрыв уже заложенной мины, готовые к бою пушки остались в укрытии; русские никогда не простят ей необходимости таить свои планы — таить не от нее самой (ибо ее они безнаказанно умерщвляют), но от ее друзей, которых приходится и далее дурачить, чтобы не вспугнуть их человеколюбивых чувств. Соучастником этой великодушной и яростной мести (заметьте эти два обстоятельства) пытаются сделать того, кто несет передовую стражу новоявленной римской империи, которая будет именоваться греческой,— и вот самый осмотрительный, но и самый слепой из европейских монархов [14] начинает, в угоду своему соседу и повелителю, религиозную войну... Подвигнутый на сей путь, он уже не скоро остановится; а коли совратили его, то будут совращать и многих других...

Прошу вас принять в рассуждение, что если русские когда-нибудь добьются господства над Западом, они не станут управлять им, сами оставаясь дома, как в старину монголы; напротив, они поспешат покинуть свои скованные холодом равнины. Они не последуют примеру своих бывших повелителей — татар, вымогавших у славян дань издалека (ибо климат Московии страшил даже монголов); едва лишь перед московитами откроются дороги в чужие края, как они толпами устремятся вон из своей страны.

Сейчас они толкуют о своей умеренности, открещиваются от замыслов завоевания Константинополя; они якобы опасаются любого расширения империи, где и так уже большие расстояния являют собой сущее бедствие; подумать только, сколь далеко идет их осмотрительность — они даже боятся стран с жарким климатом! Но подождите, и вы увидите, чем обернутся все эти опасения.

Повстречав столько лжи и напастей, нам грозящих, как же мне не оповестить о них? Нет-нет, лучше уж обознаться, но рассказать, что видел, чем верно все разглядеть и смолчать. Пусть даже, излагая свои наблюдения, я буду непочтителен — скрывши их, я был бы преступен.

---

[13] Имеется в виду восстание 1831 года. *(Прим. перев.)*

[14] Писано при жизни покойного короля Пруссии, в 1839 году.

Русские не станут мне отвечать — они скажут: «За четыре месяца путешествия он слишком мало повидал».

Действительно, я мало повидал, но о многом догадался.

Если же меня удостоят опровержением, то отрицать будут факты — это исходный материал всякого рассказа, а в Петербурге их привыкли не ставить ни во что; прошлым, как и будущим и настоящим, распоряжается там монарх. Повторю вновь: все, что есть у русских,— это покорность и подражание, руководство же их умом, мнениями и свободною волей принадлежит государю. История составляет в России часть казенного имущества, это моральная собственность венценосца, подобно тому как земля и люди являются там его материальною собственностью; ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают лишь то, что считают нужным. Память о событиях вчерашнего дня — достояние императора; по своему благоусмотрению исправляет он летописи страны, всякий раз выдавая народу порцию исторических истин, согласных с мнимостями текущего дня. Таким образом в пору вторжения Наполеона внезапно извлечены были на свет и сделались знамениты уже два века как забытые герои Минин и Пожарский: все дело в том, что в ту минуту правительством дозволялся патриотический энтузиазм.

Однако ж столь непомерная власть вредит сама себе, и Россия не вечно будет ее терпеть — в армии теплится дух мятежа. Я согласен с императором — русские слишком много ездили по свету. Нация сделалась жадной до знаний; а против мысли бессильна таможня, ее не истребляют войска, не останавливают крепостные стены — она проходит незамеченной. Идеи носятся в воздухе, проникают повсюду, а идеями изменяется мир [15].

Из всего сказанного явствует, что будущность, которая мечтается русским столь блестящею для их страны, от них самих не зависит; у них нет своих идей, и судьба этого народа подражателей будет решаться там, где народы имеют идеи, принадлежащие собственно им; если на Западе утихнут страсти, если между правительствами и подданными установится единение, то жадные завоевательные чаяния славян сделаются химерой.

Нелишне повторить, что говорю я без всякой враждебности, что я описал положение вещей, никого не обвиняя лично, и что, делая свои заключения из некоторых пугающих меня фактов, я старался брать во внимание и силу необходимости. Я не столько обвиняю, сколько беспристрастно повествую.

Уезжая из Парижа, я полагал, что лишь тесный союз Франции и России способен произвести примирение в европейских делах; но, увидав вблизи русский народ и узнав истинный дух его правительства, ощутил я, что в политике этот народ отделен от прочего цивилизованного мира мощными корыстными притязаниями, опирающимися на религиозный фанатизм; а я убежден, что Франция должна искать себе поддержку в лице тех наций, которые согласны с нею в своих нуждах. Союз, создаваемый против корыстных притязаний, не может основываться на мнениях. У кого же в Европе согласные друг с другом нужды? У французов и немцев, а также у тех народов, которым природою суждено идти следом за двумя этими великими нациями. Судьбы нашей цивилизации, открытой, просвещенной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы; благотворно все, способствующее скорейшему согласию между немецкою и французскою политикой; пагубно все, задерживающее этот союз, пусть даже под самыми благовидными предлогами.

Вспыхнет война между философией и верой, между политикой и религией, между протестантизмом и католическою церковью — и от того, чей стяг подымет Франция в этой борьбе гигантов, зависеть будет судьба всего мира, судьба церкви, и прежде всего судьба Франции.

Правильность такой системы союзов, к которой я стремлюсь, будет доказана — наступит день, и у нас уже не окажется иного выбора.

Как иностранец, и особенно как иностранный литератор, я осыпан был изъявлениями учтивости со стороны русских; однако любезность их ограничивалась одними обещаниями — никто так и не помог мне заглянуть в существо российских дел. Многие тайны остались непроницаемы для моего разумения.

Проживи я в России целый год, я узнал бы немногим больше, тогда как суровости зимы тем более вызывали во мне опасение, чем более уверяли меня местные жители, что она не так уж страшна. Закоченелые члены и обмороженные лица для них ничто; между тем я бы мог привести вам не один пример такого рода несчастий, приключавшихся даже со светскими дамами — как иностранками, так и русскими; причем, однажды обморозившись, человек всю жизнь ощущает последствия этого. Рискуя по меньшей мере получить неизлечимые невралгические боли, я решил не подвергаться напрасно этим опасностям, а также скуке, что влекут за собою предосторожности, необходимые для их избежания. Вообще меня одолевала тоска от этой империи безмолвия, от ее бескрайних пустых пространств, от голых равнин, где одиноко возвышаются города, от замкнутых лиц жителей, чья неискренность делает бессодержательным даже светское общение; я бежал не только от мороза, но и от сплина. Что бы ни говорили, но всякий решившийся провести зиму в Петербурге должен на шесть месяцев позабыть о живой природе и оставаться взаперти среди людей, лишенных живой естественности чувств [16].

---

[15] Ныне, уже после того как я это писал, император позволяет множеству русских жить в Париже. Быть может, он думает излечить от грез сторонников реформ, показав им Францию вблизи; ему представляют ее как революционный вулкан, как страну, побывав в которой русские навсегда потеряют охоту к политическим преобразованиям; однако он ошибается.

[16] В напечатанных недавно письмах леди Монтегю я обнаружил максиму турецких царедворцев, применимую ко всем льстецам, но особенно к русским льстецам — то есть ко всем русским вообще; она помогает уяснить, что между Турцией и Московией немало сходного: «Будь ласков с фаворитами, избегай опальных и не доверяйся никому» (Lady Mary Wortley Montagu's Letters, p. 159, t. II).

Сказать откровенно, я провел в России тягостное лето, ибо лишь малую толику увиденного удалось мне по-настоящему понять. Я надеялся добраться до разгадок, привез же вам одни загадки.

Особенно жалею я, что не сумел проникнуть в одну тайну — почему в России столь малым влиянием обладает религия. Разве греческая церковь, несмотря на политическую свою порабощенность, не могла сохранить хоть какую-то моральную власть над народом? Однако она вовсе ее не имеет. Откуда столь ничтожное положение церкви, которой все, казалось бы, споспешествует в ее делах? Вот в чем вопрос. Может быть, греческой церкви вообще свойственно цепенеть в неподвижности, довольствуясь одними наружными знаками почтения? Или же такой исход неизбежен повсюду, где духовная власть безраздельно впадает в зависимость от власти светской? Сам я так и считаю, но хотел бы уметь доказать вам это посредством документов и фактов. Изложу все же в нескольких словах вывод из своих наблюдений над отношениями русского духовенства с верующими.

Я увидел в России христианскую церковь, которая не подвергается ничьим нападкам, которую всё, по крайней мере внешне, почитает; всё способствует этой церкви в отправлении ее духовной власти, и, однако ж, она не имеет никакой силы в сердцах людей, рождая одно лишь ханжество и суеверие.

В странах, где религию не уважают, она ни за что и не в ответе; здесь же, где священнослужитель в исполнении обязанностей своих поддержан всем могуществом абсолютной монархии, где вероучение никем не оспаривается ни письменно, ни устно, где церковные обряды сделались, можно сказать, государственными законами, где все обычаи подкрепляют собою веру (в то время как у нас они ей противоречат),— здесь мы вправе упрекнуть церковь в бесплодности ее усилий. Церковь эта мертва, и вместе с тем, судя по происходящему в Польше, она способна к гонениям на иноверцев, не имея притом ни настолько высоких добродетелей, ни настолько великих талантов, чтоб завоевывать умы; одним словом, в русской церкви недостает того же, чего недостает в этой стране повсюду,— свободы, без которой отлетает дух жизни и меркнет свет разума.

В Западной Европе не знают, какое место занимает в политике России религиозная нетерпимость. Только что, после долгих глухих преследований, упразднен греко-католический культ; но известно ли католической Европе, что среди русских более нет униатов? Ослепленная своею философическою просвещенностью, знает ли она вообще, кто такие униаты [17]?

Вот один факт, который покажет вам, сколь опасно в России высказывать свое мнение о греческой церкви и о недостатке у нее морального влияния.

Несколько лет назад один весьма умный человек [18], любимый в московском обществе, благородный по происхождению и по складу характера, но, на беду свою, одержимый любовью к истине (опасная повсюду, в его стране страсть эта смертельно опасна), решился заявить в печати, что католическая религия более благоприятствует развитию умов и расцвету искусств, чем русско-византийская; имея на сей счет то же мнение, что и я, он осмелился его высказать — непростительное преступление для русского. Вся жизнь католического священника, пишет он в своей книге, возвышена над земным естеством (по крайней мере, должна быть возвышена): это каждодневный добровольный отказ от грубых наклонностей человеческой природы; это вновь и вновь предъявляемое безбожному свету доказательство действием того, что дух выше материи; это непрестанно повторяемое жертвоприношение на алтаре веры, дабы убедить самых нечестивых, что человек не вполне подчинен могуществу плоти и что вышний властелин может дать ему силу не повиноваться законам материального мира. Затем он добавляет: «Благодаря преобразованиям, которые осуществило время, католическая религия способна теперь употреблять свои скрытые возможности только во благо». Словом, он утверждал, что в мировых судьбах славянской расы недостало католицизма, ибо в нем одном соединены вместе постоянство энтузиазма, совершенство любви к ближнему и ясность рассудка; мнение свое он подкреплял множеством доводов, стараясь показать преимущества независимой, то есть всемирной, религии перед религиями местными, то есть стесненными рамками политики; в общем, он держался того взгляда, какой и я сам неустанно отстаиваю изо всех моих сил.

Даже в недостатках характера русских женщин писатель этот усматривает вину греческой религии. По его словам, женщины в России оттого столь легкомысленны, оттого не сумели сохранить то влияние в семье, какое христианской супруге и матери надлежит иметь у себя дома, что они никогда не получали настоящего религиозного воспитания.

Книга эта, ускользнув благодаря какому-то чуду или чьей-то уловке от бдительности цензуры, воспламенила собою всю Россию: в Петербурге и в святой Москве раздались вопли ярости и смятения, и наконец сознание правоверных настолько помутилось, что со всех краев империи требовали покарать неосмотрительного защитника матери всех христианских церквей. (Последнее не мешало охаивать писателя за склонность к вредным новшествам; это лишь одна из непоследовательностей духа человеческого, который в комедиях света едва ли не всегда противоречит себе; действительно, боевой клич всех сектантов и раскольников — «нужно уважать веру отцов»; сию истину совершенно позабыли

---

[17] С тех пор как это было писано, несколько газет поместили обращение папы к кардиналам по вышеуказанному поводу. Обращение это, исполненное высочайшей мудрости, показывает, что святой отец был осведомлен наконец об опасностях, против которых я предостерегаю, и что теперь истинные интересы веры возобладали в Риме над соображениями светской политики.

[18] Имеется в виду П. Я. Чаадаев; ниже излагается история публикации его «Философического письма» в журнале «Телескоп» в 1836 г. (*Прим. перев.*)

Лютер и Кальвин, которые в религии произвели то, что многие герои-республиканцы желали бы произвести в политике,— добились власти себе на пользу.) Словом, ни кнут, ни Сибирь, ни галеры, ни рудники, ни крепости, ни глухие места во всех частях России — ничто не может довольно обезопасить Москву с ее византийским православием от происков Рима, коим служит нечестивое учение человека, изменившего Богу и отечеству!

Всё беспокойно ждало приговора, который решил бы участь столь великого преступника; решение дела задерживалось, и в пору было уже отчаяться в верховном правосудии, когда император, в бесстрастном милосердии своем, объявил, что нет повода для наказания, нет преступника, коего должно покарать, но есть лишь безумец, коего должно держать взаперти; больной, добавил он, *будет препоручен заботам медиков*.

Сей новый род пытки был незамедлительно применен, причем с такою суровостью, что объявленный безумцем едва не оправдал нелепого приговора, вынесенного самодержавным главою церкви и государства. Мученик истины близок был к тому, чтоб и впрямь потерять рассудок, отрицаемый в нем высочайшим повелением. *В течение трех лет* неукоснительно подвергавшийся жестокому и унизительному лечению несчастный великосветский теолог теперь лишь начинает пользоваться известною свободой; но — чудесное дело! — ныне сам он сомневается в своем разуме и, доверяясь слову императора, признает себя умалишенным! Сколь же глубоки страдания человеческие! Осуждающее слово государя равносильно сегодня в России папскому отлучению в средние века!..

Говорят, что теперь этот так называемый сумасшедший может общаться с некоторыми из друзей; во время моего пребывания в Москве мне предложили его посетить в его уединении; но я остановлен был страхом и даже отчасти жалостью, ибо любопытство мое могло показаться ему оскорбительным. Какое наказание понесли цензоры выпущенной им книги, мне не сказали.

Вот свежий пример того, как вершатся ныне в России дела совести. Спрашиваю в последний раз: вправе ли путешественник, имевший несчастье или же счастье собрать такие факты, оставить их неизвестными? В подобных обстоятельствах достоверные сведения помогают разобраться в предположениях, и из тех и других вместе образуется убежденность, которою человек обязан, если может, поделиться со светом.

Свой рассказ я вел без личной ненависти, но и никого не боясь и не сдерживая себя, будучи готов даже показаться скучным.

Страна, где побывал я ныне, настолько же мрачна и однотонна, насколько изображенная мною прежде была яркой и многообразной. Писать верную ее картину — значит отрешиться от надежды доставить удовольствие публике. Жизнь в России столь же тускла, сколь весела она в Андалузии; русский народ угрюм, испанский полон жара. В Испании политическая несвобода возмещалась чувством личной независимости, нигде еще не развитым столь сильно и поразительным по своим последствиям; в России же как политическая, так и личная свобода равно неизвестны. Испанец живет по любви, русский по расчету; испанец обо всем рассказывает, если же рассказать не о чем, то выдумывает; русский все скрывает, если же скрывать нечего, то молчит, чтобы не выглядеть болтливым, или даже молчит без всякого расчета, по одной лишь привычке; Испания кишит разбойниками, но воруют там только на большой дороге; в России дороги безопасны, но вас непременно обворуют в каждом доме; Испания полна историческими памятниками и руинами, ведущими свою историю с прошедших столетий; Россия ведет свою историю со вчерашнего дня, и история эта богата одними посулами; в Испании всюду громоздятся горы, и путешественник на каждом шагу видит новые пейзажи; в России от края до края ее равнин вид местности один и тот же; Севилья залита солнцем, светом которого все животворится на Иберийском полуострове; в петербургском пейзаже небо вдали всегда затянуто туманом и даже в ясные летние вечера остается тусклым; итак, две эти страны во всем противоположны друг другу, как день и ночь, как пламень и лед, как Юг и Север.

Только пожив в этой пустыне, где нет покоя, в этой тюрьме, где нет досуга,— имя же ей Россия,— начинаешь чувствовать, насколько свободно живется в других странах Европы, какое бы правление ни было в них принято. В России, не устану повторять, свободы нет ни в чем — разве что, как мне говорили, в одесской торговле. Оттого-то император, наделенный пророческим чутьем, недолюбливает независимый дух, что царит в этом городе, обязанном своим процветанием уму и неподкупности француза [19]; это, однако ж, единственный город во всей обширной империи, где люди могут искренне благословлять нынешнее царствование.

Когда сын ваш будет недоволен Францией, воспользуйтесь моим средством — скажите ему: «Поезжай в Россию». Такое путешествие пойдет на благо каждому европейцу; повидав своими глазами эту страну, всякий станет доволен жизнью в любом другом месте, кроме нее. Всегда полезно знать, что на свете есть государство, где нет никакого места счастью, ибо человек, по закону природы своей, не может быть счастлив без свободы.

Память о таком государстве заставляет быть не слишком взыскательным; вернувшись к своему очагу, путешественник может сказать о своей стране то, что один умный человек говорил о себе самом: «Оценивая себя, я скромен; сравнение с другими делает меня гордым».

[19] Герцог де Ришелье, ставший министром при Людовике XVIII.

ИГОРЬ ДЕДКОВ

ДОРОЖНОЕ ЗЕРКАЛО МАРКИЗА ДЕ КЮСТИНА

Лет полтораста понадобится для того, чтобы привести в соответствие нравы с современными европейскими идеями, и то лишь в том случае, если в течение этого длинного ряда лет русскими будут управлять только просвещенные монархи и друзья прогресса, как ныне принято выражаться. Теперь же глубокая рознь между сословиями делает общественную жизнь в России аморальной и невыносимо тяжелой. Будущее покажет, может ли военная слава вознаградить русский народ за все невзгоды, причиняемые ему общественным и политическим строем.

Астольф де Кюстин

Александр Иванович Герцен был прав: желательно Россию исследовать «немного глубже той мостовой, по которой катилась элегантная коляска маркиза де Кюстина».

Не менее прав был Михаил Николаевич Покровский: из окон «комфортабельной кареты», мчавшей маркиза по России «на курьерских», «настоящий народ» не рассмотреть.

Столь же уверенно можно утверждать, что самочувствие и положение народа еще хуже поддаются наблюдению из окон несущегося автомобиля, поезда и самолета.

Но — наблюдают.

Справедливости ради напомню, что нанятый маркизом тарантас доскрипел-дотрясся до последней почтовой станции перед Нижним Новгородом на трех колесах — место четвертого «заняла длинная сосновая жердь, пропущенная под осью заднего колеса и привязанная к передку повозки».

Диковинное приспособление привело маркиза «в восторг своей простотой и остроумием».

Мелкая дорожная подробность,— какого только остроумия не помнят старые российские тракты! — но она восстанавливает в нас нормальное воображение, необходимое для всякой попытки у в и д е т ь прошлое.

Временами Кюстину казалось, что его везут с невероятной скоростью, но даже на знаменитой дороге из Петербурга в Москву, чуть ли не лучшем шоссе в Европе («по словам русских и, кажется, иностранцев»), через каждые двадцать миль лопались рессоры, вылетали болты, и мир вокруг останавливался и замирал, пока разгневанный фельдъегерь тычками и руганью не приводил его снова в движение.

К несчастью, скорости были недостаточны для того, чтобы путешественник ничего по сторонам не видел, и потому образовывались впечатления, которые маркиз потаенно записывал.

Почему потаенно? Да потому,— скажу я в этом месте, чуть опережая другие поводы и возможности,— да потому, что потаенность свободной мысли в деспотическом государстве есть ее естественное состояние, условие ее существования и сохранения. Кюстин мог ничего не знать про здешние законы, но, начиная с допроса в петербургской таможне, он успел прочувствовать атмосферу их бытования и применения: она была существеннее и важнее самих законов, как бы подразумевая, что здесь все может быть даровано и все может быть отнято во имя высших и тайных соображений. Трудно было догадаться, через кого действуют эти высшие соображения в уличной толпе, в дворце или театре, на почтовой станции, и потому он счел за благо не расставаться со своим портфелем ни на минуту... Глядя, как фельдъегерь «одним мановением руки» удалял с пути все препятствия, маркиз с ужасом думал: «Люди повиновались бы ему (фельдъегерю.— *И. Д.*) так же беспрекословно, получи он приказание не охранять, но арестовать меня».

Можно посмеяться над страхами французского путешественника, но много ли — даже через 150 лет — найдется желающих?

В высших, элитарных кругах российского общества имя маркиза де Кюстина было известно. Знали судьбу его семьи — дед-генерал и отец-дипломат погибли на гильотине революции, знали и его книги — преимущественно о путешествиях, совершенных по Швейцарии, Англии, Шотландии, Испании. Повстречав Кюстина на петербургских балах или на нижегородской ярмарке, резонно было предположить, что следующая книга — о России.

Император с ним любезен и доверителен («В России существует еще деспотизм... но он вполне согласуется и с духом народа»), императрица — обворожительна («Я сократила свою прогулку, потому что узнала, что вы здесь»). Он повсюду принят и повсюду обласкан. В семье ярославского губернатора осыпали похвалами и цитировали его книги. Не очень охотно, но допустили даже в Шлиссельбургскую крепость. Никто впрямую не спрашивал, но, должно быть, держали в уме, непременно держали: писатель! что-то про нас напишет, как-то изобразит?! Хорошо ли будем выглядеть перед Европой?

Книга появилась в 1843 году, и выглядели — неважно. И — даже хуже того. Настолько хуже, что император, бросив книгу на пол, воскликнул: «Моя вина: зачем я говорил с этим негодяем!» Ввоз книги «Россия в 1839 году» и упоминание о ней в печати были тотчас запрещены, последовали пропагандистские правительственные акции в Европе, призванные доказать, что Кюстин — лгун, клеветник и ненавистник России. (Вся эта шумная разоблачительная кампания, мало чем отличающаяся от подобных же кампаний в новые, постмонархические времена, прекрасно описана во вступительной статье Сергея Гессена и

Ан. Предтеченского к наиболее полному русскому изданию книги Кюстина, вышедшему в свет в 1930 году под названием «Николаевская Россия». Эта же статья заслуженно сопровождает второе издание книги, осуществленное в минувшем году [1].)

Конечно, я знаю слово, которым — с патриотическим негодованием, превосходящим все прежние патриотические негодования,— можно было бы и сегодня припечатать этого коварного француза, и на том с ним покончить. Стоит произнести: «русофобия!» — и всякая умственная работа по поводу чьей-то мысли, стихотворения, книги должна немедленно прекращаться, настолько это волшебное слово проясняет дело, неся в себе тяжелую окончательность уничтожающего приговора. В разные времена произносились разные слова того же свойства, и суть их была одна и та же: в любой критике Российского государства и его подданных перво-наперво видеть злобный умысел, заговор против русской нации, ненависть и оскорбление. Так и повелось: чуть что не по нас — в крик: унижают, насмехаются, ни в грош не ставят, оскорбляют наши святыни, ноги об нас вытирают!.. И ведь так — до сего дня: ищут, рыщут, изобличают обидчиков, заговорщиков, злоумышленников, антипатриотов и думают, гордятся даже, что спасают достоинство народа и отечества. И, кажется, невдомек, что всем ненавистничеством своим, злобной нетерпимостью и спесью — только роняют... Впрочем, есть в истории какая-то иная мера тому достоинству — в счет идет труд и жизнь поколений, миллионов людей! — и непосильное занятие не то что уронить — поколебать то, что воплощено в живом народе, в его памяти, деяниях, культуре. Непосильное — ни для действительных недоброжелателей, ни для чересчур любвеобильных сыновей... Нет, не припечатаю я старую книгу и ее автора забористым патриотическим словцом. Если что и хотелось мне сказать, когда чтение закончилось, то совсем другое. Не знаю, как это прозвучит,— наверное, не очень-то уместно,— вдогон, через полтора столетия, но все-таки: спасибо, маркиз де Кюстин! Спасибо.

Старое-престарое, французской выделки дорожное зеркало. Потускнеть бы ему, потемнеть, чтобы всматриваться и не узнавать, вздыхая: да с нами ли это было, да наши ли там лица, города и веси, наши ли хлопоты?.. Но — удивительная ясность: наша там родина, с первого шага на петербургский причал — наша! И толща времени — не помеха или время — нематериально? Чем объяснить? Тем, что жизнь меняется не столь сильно, как кажется, а в чем-то вообще не хочет меняться? Или — качеством зеркала, то есть стиля, стиля и ума этого французского писателя, сумевшего многое увидеть, но о еще большем — догадаться. Выходит, он догадался о том, что скрывалось в глубине развертывающихся перед ним пейзажей? Всего-то два с лишним месяца на огромную, великую Россию, и — догадался! Да как смел он так думать? Даже Герцен называл его «блестящим и легковесным», если и знавшим русский народ, то по «петербургским извозчикам». А кто говорил императору, что тот более велик, чем его народ, или что-то подобное в духе той же придворной лести? Пусть так, можно еще добавить, что он изнежен, избалован, не знал русского языка, ничего не понял в Пушкине, и так далее, но *он догадался*. Он и сам это почувствовал, интуиция его не подвела («Пускай я не вижу истину, но я вижу, что ее от меня скрывают...»), а догадка выручила. Будь иначе, нам не было бы смысла вглядываться в старое дорожное зеркало маркиза де Кюстина, в его прозрачную, отчетливую глубину. Там, на дне, то, что не вполне могли оценить его современники. Нам оценивать легче: за разрозненными деревьями он увидел лес; мы же знаем, как он разросся, как крепко ухватился корнями за эту евро-азиатскую почву, лес деспотии, в котором блуждает свобода. Можно подумать, что маркиз догадался о чем-то вневременном, о том, что будет длиться долго и будет узнаваемо через века. В разговоре с Мальро генерал де Голль рассуждал чуть иначе: «Люди, почитав Кюстина, толкуют об извечной России, но Кюстин не знал русскую большевистскую партию. А это важно!» Генерал имел в виду, что время иногда ставит народы в «невиданные ситуации». Но, пережив невиданные ситуации и обратившись к тому же Кюстину, чувствуем ли мы себя отрезанными от той исторической дали какими-то неслыханными новаторами жизни? Будь так, разве казалось бы нам, что в зеркале маркиза отражается частица и сегодняшней России? Не уверен, что Лев Шестов был абсолютно точен, утверждая, что большевизм «не создает, а живет тем, что было до него создано», и, в частности, «взял готовые идеи у Аракчеева и Николая I». Но Шестов почувствовал преемственность там, где, по замыслу, ее не должно было быть. Преемственность прорывалась и лезла из всех щелей, а «идейные, голубоглазые» большевики «недоумевают и огорчаются: как это случилось, что все хамское, бесстыдное и пошлое, что было в России, пошло с ними и почему у них так мало стоящих людей?» Несчастье, по Шестову, в том, что льнущие к власти и расхватывающие власть, как бы они ни переименовывались, твердо усвоили, что Россия — «только объект для... начальнических распоряжений», и ее население «должно быть счастливо, что у него есть хозяева», а еще лучше — какой-нибудь один, высший хозяин. Почему-то Шестову казалось, что «иностранцам труднее всего понять такой порядок вещей». Тем не менее Кюстин догадал-

[1] Российская таможня в 40-е годы прошлого века была, вероятно, недостаточно бдительна, и потому Герцен мог свидетельствовать, что не знает ни одного дома, «порядочно содержимого, где бы не найти сочинения Кюстина о России». Однако в переводе на русский Кюстин появился впервые многие десятилетия спустя, да и то в изложении и фрагментах («Записки о России французского путешественника Маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым», 1910). В прошлом году «Записки» вышли вновь и, хотя они уступают изданию 1930 года, известное значение сохраняют, и, в частности, потому, что в них впервые приведены выдержки из заключительной главы Кюстина, только что прочитанной вами полностью. Оценим и содержащееся в Предисловии В. Нечаева (1910) сравнение судьбы и восприятия книги Кюстина в России с судьбой и восприятием «Философических писем» П. Я. Чаадаева.

ся, сколь велика инерция этого порядка.

В дневнике М. П. Погодина (1843) есть запись о только что прочитанной книге Кюстина: «Много есть ужасающей правды о России. Когда он дышит своим аристократизмом, я жалею, что Робеспьер не поцарствовал более; когда он играет роль простого наблюдателя, которого будто бы хотят все обмануть и никак не могут, то бывает просто смешно; когда начинает умничать, то делается скучно; но за изображение действий деспотизма, для нас часто неприметных, я готов поклониться ему в ноги».

В патриотизме Михаила Петровича Погодина сомневаться не приходится. В его приверженности основополагающей формуле «самодержавие, православие, народность» — тоже. И все-таки: «ужасающая правда», «деспотизм», «поклониться в ноги»... Правда не побивается, не перечеркивается в глазах Погодина теми или иными человеческими слабостями того, кто ее сообщает. Брезгливый, избалованный аристократ, скептический умник, да еще, вспомним, католик — из рьяных... Бог с ним, каждому свое, в русака не переделаешь, зато ведь углядел французик, приметил острым оком нами самими непримечаемое, с чем сжились, срослись, уже сроднились... Как-то там Государь, закрывали от него, что ли, «важные места»?..

Самые важные места: действия деспотизма, к которым привыкли. «Мы привыкаем жить, как поселяне возле огнедышащего кратера»,— писал Герцен. Наблюдая беспредельную власть и ничтожность личности перед нею, он, Кюстин, «проезжий, чужой, чуть не ускакал от удушья,— у нас грудь крепче организована» — тот же Герцен.

Лет через пять, когда первое впечатление от книги («чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного места») улеглось, Герцен упрекал Кюстина, что «из любви к фразам» тот «впал в огромные преувеличения, как в сторону хвалы, так и осуждения...» Но по-прежнему признавал, что он «хороший и добросовестный наблюдатель».

Другие упрекали Кюстина в чрезмерных, даже безумных обобщениях. То есть в умничанье не по рангу. С фактами можно было смириться: ну, обманули, украли, кого-то избили в кровь, ну, избы худые, запах плохой, попались колодники на дороге,— чего не бывает! Но — преувеличенные обобщения, да на недостаточных основаниях! — опасное, вредное дело. Стоило заночевать в крестьянской избе, а наутро оказаться в гостях у губернатора, как обобщение готово: «Камчатка и Версаль на расстоянии трех часов пути... кажется, крестьянин и помещик не принадлежат к одному и тому же государству». А что он понимает, этот новообращенный демократ, в родственных узах, связывающих русские души помещика и вверенных ему благодарных землепашцев? Материальные контрасты не разрушают народ, они просто расставляют всех по местам согласно заслугам...

Кажется, сколько себя помню, внушали: не обобщай, жизни не знаешь. Внушавшие — профессиональные идеологические чиновники — жизнь, разумеется, знали лучше всех. Их далекие предшественники были убеждены в том же самом. Ничто так не раздражает, как мысль, пытающаяся осветить темную груду слежавшихся фактов. Кресало роялиста Кюстина, высекающее искры свободы о гранитный валун самодержавия,— это, конечно, большая и неожиданная неприятность.

Герцен чувствовал: из любви к фразе, не к фразерству, а именно к фразе как к совершенной и яркой форме мысли Кюстин готов положиться не столько на знания, сколько на интуицию, на блеск и провидчество осеняющей догадки. Возможно, это было слабостью Кюстина и в то же время его силой, не погасшей до сего дня. Бальзак знал за Кюстином эту особенность: «Я лишен счастливой способности с первого раза формулировать свою мысль — способности, которой обладаете вы, Готье, Гюго, Санд...» Имя Кюстина для Бальзака размещалось в блестящем литературном ряду. Переводы на русский язык не могут не передать поразительное обаяние этого стиля, теплоту, искренность и добросовестность всех описаний и размышлений, хранящих мгновения сильнейших потрясений чувства и разума. То не было умничанье аристократа, заглянувшего на досуге в страну плебеев. То было свободное описание несвободной страны, выполненное свободным человеком. Дорожное зеркало Кюстина говорило о несовместимости деспотии с человеческой свободой и достоинством, с действительным, а не показным аристократизмом.

В «Кратком отчете о путешествии» Кюстин свел и развил идеи, рожденные впечатлениями от России. Но, не забудем, сами впечатления — в основном тексте книги; «Отчет» ее завершает, но заместить не может. Отчет — согласно жанру — склонен к обобщающим формулировкам, отчет писателя — к метафорам, гиперболам и другим поэтическим средствам повышенной вместимости.

Разумеется, когда Кюстин пишет, что народ российской империи «если и не смирен, то нем», то вовсе не обязательно связывать это утверждение с тем, что Кюстин не понимал русской речи. Понятно, что народ нем, потому что бесправен, и никого не интересует, что он хочет и может сказать. Но вот что любопытно: Кюстина поразила молчаливость русской народной толпы. «Тишина царствует на всех праздниках русских крестьян. Очи много пьют, говорят мало, кричат еще меньше и либо молчат, либо поют хором...» На нижегородских ярмарочных празднествах от мест увеселения доносился «только заглушенный гул голосов». Контраст «между яркостью иллюминации и молчаливостью людей» показался Кюстину «положительно сверхъестественным». Он даже написал, что его окружает народ, «завороженный волшебной палочкой чародея».

Путешествуя по России двадцать лет спустя, Теофиль Готье будет также удивлен молчаливостью русской толпы, которая покажется ему «самой спокойной» толпой в мире.

Можно счесть, что теперь все не так, и мы — другие, дерзкие, шумные, речистые. Но я не уверен, что качества, противоположные молчанию и спокойствию, непре-

менно лучше и прогрессивнее. На самом деле они как следует нам не известны, и мы, сегодняшние, мне кажется, пока еще все-таки не другие, и крик немногих не может заглушить усталого и привычного — а может быть, и мудрого — молчания большинства. Что же касается немоты, то она, пусть болезненно, но проходит, хотя неизвестно, сколько еще нужно взять уроков у истории, чтобы немота навсегда была излечена гласностью.

Кюстина со всем тем верным, сомнительным и ошибочным, что он понаписал, понять нетрудно: он приехал в другую, чужую страну и попытался увидеть, какой народ и по каким законам и правилам там живет. Писать же о своем народе, его качествах — другое дело. Задача кажется малоудобной и непосильной. Это почти то же самое, что писать о себе самом, только еще тяжелее из-за другого уровня ответственности. Взгляд со стороны свободнее и беспристрастнее. Ты же себя не видишь и оценить себя со стороны объективно не можешь. Даже глядя на себя в зеркало, не видишь, в сущности, ничего. Потому-то есть всегда известная произвольность, неловкость и натуга, когда берутся определять отличительные черты своего народа, его индивидуальности. Прекрасно иногда определяют-описывают и нашу всечеловеческую отзывчивость, и необыкновенную совестливость, и несравненное терпение, и ратное мужество, и многое-многое другое, после чего должна охватывать нас национальная гордость великороссов, но охватывает ненадолго, как-то заученно, потому что уже по мере перечисления понимаешь, что такие же или подобные черты присущи и разным другим народам, или, лучше сказать, те же самые, но исторически и этнически индивидуализированные, и даже знаменитая всечеловеческая отзывчивость не является и никогда не являлась нашим монопольным нравственным преимуществом.

Философские и художественные формы национального самосознания далеко отстоят от расхожего квазипатриотического, пропагандистского самовосхваления с его ходячими формулами: «только русская мать (русский солдат, русский писатель)...», «кроме русского человека, никто...», и т. д.

Интуитивистский метод Н. О. Лосского (1870—1965), основанный на абсолютном доверии к непосредственному созерцанию «нашим я» различных сторон мира, может вызывать сколько угодно сомнений своей «ненаучностью». Но его исследование характера русского народа и, как он сам уточнил, характера России «как государства» стремится, как это ни трудно, к объективности и чуждо безрассудной апологии. К наиболее глубоким чертам русского народа он относил религиозность (чуткое различение добра и зла, искание абсолютного добра и т. д.), могучую силу воли и страстность с их последствиями (экстремизм, фанатическая нетерпимость и т. д.), любовь к свободе и силу духа, доброту, даровитость, мессианизм, нигилизм, присовокупляя даже хулиганство.

Текст Лосского конкретизирует и как бы оплавляет эти жестко поименованные черты, опять же общие, скорее всего, для многих народов, образуя нечто цельное и живое, что можно действительно принять за изображение характера русского народа. При этом он уже учитывает опыт российской «невиданной ситуации» и ссылается на новейших западных историков. Кюстин, который нас занимает, для него не существует, он — слишком далекое прошлое, хотя и не столь чуждое, как может показаться. «Догадки» Кюстина — тот же интуитивизм с опорой на европейское и католическое мироощущение. Это взгляд с западной и консервативной стороны, но состояние объекта интереса таково, что для описания его требуется язык свободы. У Кюстина — художественный набросок с натуры и сопутствующая рефлексия; у Лосского — череда надысторических понятий, пытающаяся удержать в своих сетях, может быть, самую неуловимую субстанцию на свете — живой характер живого народа. Я не собираюсь выяснять, кто ближе к истине; у Лосского, разумеется, преимущества: национальности, времени, и т. п., мне же хотелось показать, как относительны, ненадежны, субъективны бытующие определения национального характера, как трудны и запутанны пути самопознания. В связи с этим вспоминается статья Николая Бердяева «О «вечно-бабьем» в русской душе», где, споря с Розановым и вслед за ним, он обсуждал «безбурность» и «славность» русского человека и его истории, трепещущее «бабье» начало в его характере. Ужасно, писал Бердяев, что люди, «призванные быть выразителями нашего национального сознания, тянут нас назад и вниз, отдаются соблазну пассивности, покорности, рабству национальной стихии, женственной религиозности». Он писал давно, но среди этого и похожего мы живем. Должно быть, ничего удивительного; характер народа, его судьба в истории, судьба России — вечные темы; сменяются поколения, обновляются обстоятельства; каждый волен предполагать и воображать что угодно. Можно, к примеру, обсудить, «бабье» или «мужичье» начало сильнее и в чем их глубинное сходство?

Кюстин, конечно, ошибался. Как вы помните, он утверждал, что русского народа «еще и нет — есть только императоры, имеющие рабов, и вельможи, имеющие крепостных; народа все они еще не составляют».

Петр Чаадаев говорил вещи пострашнее, побезысходнее, но все равно неприятно. У них, во Франции, выходит, народ был, а у нас что? Пустое место? Но не наше ли пустое место в 1814 году гарцевало по улицам побежденного Парижа?

Очень соблазнительна такая логика, но Кюстин следует своей, и я, наталкиваясь даже на очевидные преувеличения и заблуждения, на явную несправедливость и опрометчивые пророчества, думаю, что логика маркиза поучительна сама по себе.

Он исходит из потрясшей его несвободы, бесправия, отсутствия народа. Из педантического, назойливого всеприсутствия и всеведения государства. Из нежелания правящего сословия считаться с духом и нуждами страны, которой правят и за счет которой роскошествуют. Из откровенного превращения государственного порядка в

постоянный предлог для угнетения. Из насаждения служебного образца — армейского полка с его мелочной дисциплиной. Наконец, из зависимости церкви и духовенства от властей, из несвободы пастыря.

Кюстин так часто говорит о том, что поездка в Россию переменила его взгляды, что ему можно поверить. «Русский деспотизм — это лжепорядок», а «наш республиканизм — лжесвобода». Позади — деспотия свободы, впереди, перед ним — полная, безграничная свобода деспотии. Страна абсолютной монархии разочаровала его своим абсолютным единовластием, помпезным, лживым и негуманным.

Он исходит из своего разочарования. Из возмущения и горечи. «Все говорит мне о природных способностях угнетенного русского народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободным, приводит меня в бешенство». Он едет по стране нераскрывшихся, задавленных, неиспользованных возможностей и сознает это.

Он ворчит на плоские, однообразные ландшафты, на убогие избы, отвратительные дороги, на короткое лето и длинную зиму, на быструю езду, обдающую лицо неприятным ветром, он страшится морозов и рассказывает о них какую-то смешную опасливую ерунду, он приходит в ужас от гостиничных клопов и тараканов, драматически жалуется на сплин и «скуку, которую ничто не искупает».

Не посреди ли этой аристократической ворчни Михаил Петрович Погодин вспомнил о Робеспьере?

Но не думаю, что тень великого якобинца качнулась в воображении Погодина за спиной Кюстина, когда тот назвал русских «народом подражателей» и отказал им в идейной самостоятельности.

Мысль француза была не нова; она без конца проговаривалась в русском кругу и, может быть, чуть новее воспринимается нами сегодня, когда обсуждается судьба социалистических идей в России. Но Кюстин, повторяю, исходит из условий несвободы, исказивших лицо страны и народа и бросивших плотную тень на их будущность. Он всматривается в это лицо, сострадая, но ничего успокоительного сказать не может.

«Отчет» мрачнее дневника путешествия, где много пестрой и даже веселой жизни, давно уже привыкшей к руслу, по которому ей велено течь. Кюстин догадался о силе этого «велено», но недооценил сопротивления потока, неподвластность его полному и вечному подчинению. Может быть, поэтому опасности, подстерегающие русских, превратились под его пером в опасности обрекающие, почти фатальные. И от этого странное чувство: и не прав маркиз, и преувеличил, и упростил, но какие-то наши не лучшие качества, склонности, слабости, исторически выработанные, заметил верно, и знать их за собой предпочтительнее и мужественнее, чем не знать.

Кюстин ошибся,— прекрасно! — наш национальный характер не изгладился «под толщей заимствований», но простим ли «обезьянство», «дар подделки», гений «подражательства» и особенно — предстоящую судьбу не оригинальных писателей, но переводчиков, перекладчиков европейских шедевров для азиатов? Простим ли неведение, незнание, чувство превосходства и апломб?

Смешно было бы не прощать и, главное, не понимать через столько-то лет. Хотя бы одно будем иметь в виду: вплоть до последнего времени, когда пали стены и занавесы, иностранцы имели дело не с народом. За него представительствовали императорский двор, российская знать, первые номера в табели о рангах. Это и был тот самый русский народ, на котором лежала печать подражательства, заимствования и подобострастия. Даже свой язык они держали как бы в запасе — для домашнего круга и прислуги; вероятно, как нас иногда уверяют, чтобы меньше изнашивался и сохранял свежесть.

Кюстин ошибся, говоря об отсутствии «невидимой глазу работы», которая образует «великие нации». Он на самом деле не мог ее видеть — вот в чем дело! Там, куда его заманивали и завлекали, на роскошных балах, где салонный паркет сверкал под луной, посреди английского газона, там не было и следов той работы. Он вообще напрасно думал, что нация обречена воспроизводить некогда образовавшиеся в ней дурные свойства. Он, кажется, недооценивал природные основы ее жизни, ее вечно обновляющиеся силы.

Ошибся Кюстин и тогда, когда отказал русским как «народу подражателей» в самостоятельном и тем более блестящем будущем. Он предсказывал, что народ без своих идей, но с «мощными корыстными притязаниями» будет, в конце концов, иметь только то, что позволят ему соединенные силы европейской цивилизации.

Когда об этом пишешь, тревожное ощущение какого-то смутного узнавания неких уже промелькнувших или возможных коллизий делает современные возражения какими-то необязательными. Конечно, во времена Кюстина Россия и окружающий ее мир были иными, и смысл, вкладываемый маркизом в слова, был не совсем тот, каким он воспринимается нами. Книги такого рода и такой давности нуждаются не в полемическом, раздраженном, а спокойном прочтении: очевидная неправда глубоко не заденет, очевидную неправду к себе не относят, а все остальное — и вся правда, и полправды, и четверть правды, и малый золотник ее — все честному и открытому уму дорого. Все надо знать — иначе из самообмана, иллюзий и лжи не выбраться.

По «нетерпеливости правителей своих», считал Кюстин, Россия так и не узнала, как «выбраживают творческие силы в душе нации, как благодетельно ее постепенное и ненасильственное развитие». О «нетерпении» русских революционеров речи не было, потому что не было революционеров. К декабрьским мятежникам 1825 года маркиз отнесся с интересом и сочувственно. Не они источали дух насилия в этой стране. Насилие шло от власти, и это не совсем привычно для современного слуха, считающего насильственное развитие синонимом развития революционного. Насилие власти, жестокая энергия деспотического режима воспринимаются Кюстином как нестерпимое зло. Бывают времена, когда эволюция оплачивается тоже дорого. Когда

плата оказывается нестерпимой, люди отвечают на насилие насилием. Кюстин кое-что знал о революциях не хуже нашего. Он слышал также о крестьянских бунтах на Волге и жестоких усмирениях. Он пишет о «свирепости», проявляемой обеими сторонами. Но у него нет сомнений, с какого конца отсчитывать вину. Он отсчитывает вину с того конца, где вся власть и вся государственная сила: «у народов, управляемых такими методами, страсти долго бурлят, прежде чем вспыхнуть». В стране, управляемой такими методами, «кризис запаздывает, зло кажется бесконечным». «Наши внуки, быть может, еще не увидят взрыва. Однако же сегодня можно предсказать его неизбежность, не пытаясь угадать, когда именно он разразится». Россия — как «котел с кипящей водой, котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее».

Это писалось полтора века назад. Я напоминаю об этом в который раз. Меня удивляют не пророчества, меня удивляет, как узнаваема та давняя жизнь и как медленно меняются наши нравы.

Человек приезжает в страну, поражается «чрезмерностью власти» и не видит ей никакого «противовеса».

А разве нужен противовес? — готов удивиться русский собеседник.

Какой еще противовес? — раздраженно отмахивается власть.

Человек едет по Невскому, трясется на ухабах поволжских дорог, замечая, что жизнь у русских «все же безотраднее, чем у любого другого народа Европы».

Без всякого «все же», без всякого «все же»! — поспешат вмешаться бесстрашные обличители российской бедности.

И, как тогда, так и сегодня, кто-то тихо ответит или просто подумает: это *наша* жизнь, *наша* отрада.

А горечь старого, преследующего нас сравнения остается.

Человека ждет экипаж, пора в путь, но его останавливают, вручают письмо, прочтите! пусть узнает о нем мир!

«Несчастная страна, где каждый иностранец представляется спасителем толпе угнетенных, потому что он олицетворяет правду, гласность и свободу для народа, лишенного этих благ!»

Какое, однако, унижение, господа! Какая удача, что спаситель не отталкивает вашу просящую руку! Какое счастье, что наконец-то мы полны решимости спасать себя сами, и, может быть,— вот так чудеса! — никому впредь не придется тайком с письмом на волю поджидать у гостиницы «мерседес» маркиза.

Человеку показывают провинциальный город, планы его застройки грандиозны, но — «комическое впечатление»! — ничтожные изменения в проектах, даже каких-нибудь деталей в фасадах, должны быть, по уверению губернатора, представлены «на благовоззрение государя».

Что за трусливый губернатор! — воскликнет непосвященный.

«Что за страна!» — сказал бы я,— пишет Кюстин,— если бы осмелился».

«Ничего комического!» — хмуро добавили бы современники тысяч постановлений, исходящих из самого центрального центра нашей отечественной вселенной или, лучше сказать, из самой высшей точки нашей высочайшей иерархической башни и регламентирующих все многообразие низовой жизни, начиная от внедрения в систему общепита столов с гигиеническим покрытием (кажется, хрущевские времена) и кончая химизацией всей страны, а также решительной поддержкой передовых методов искусственного осеменения животных (брежневская величественная эпоха).

Кюстину рассказывают, что в России, стране исключительно спокойной и благонравной, иногда случаются крестьянские волнения, но повинны в том «польские агитаторы». Он, конечно, не верит, посмеивается, да и мы, со школы усвоив, что у крестьян были причины обижаться на помещиков, сомневаемся. Однако какой силы этот классический патриотическо-полицейский мотив: полячишки виноваты! Ну да, полячишки и еще всякие прочие инородцы-иноверцы, которые только то и знают, что подначивать, подбрасывать, раскачивать, расшатывать, подрывать основы, и вот когда люди десятилетиями слушают эту охотничью музыку, по временам звучащую особенно призывно, то жизнь их становится много яснее и проще. Как что не так в нашем царстве, всегда известно, в какой стороне искать виноватых. Есть более наши, менее наши, совсем не наши, и удивительное дело: не наших бывает столько, сколько нужно, чтобы наши были чисты. Всегда сколько и где нужно, и это было хорошо понятно даже маркизу.

Наверное, узнаваемости жизни не следует слишком удивляться. Из чего состояла жизнь человека, из того же и состоит. Что-то, должно быть, изменилось в характере народа под воздействием исторических обстоятельств, потрясений, огромных потерь и лишений в годы войн и революций. Благодаря научно-техническим достижениям разительно переменились среда и условия существования. Это все очевидно, и потому не хочется оспаривать Кюстина в том, что русские малочувствительны, холопски проницательны, завистливы и т. д. Кюстин рассказывал о том, что видел. Может быть, теперь мы много чувствительнее — хорошо бы! — и ничего холопского в нас не осталось. Но Кюстину досталось наблюдать, как за малейшую провинность следовала кулачная расправа, и это было в порядке вещей. Он был потрясен, узнав, что император может объявить законных детей, рожденных в законном браке, «не имеющими ни отца, ни фамилии». Он считал, что будь император на самом деле «таким великим монархом, каким хочет казаться», он был бы милосерднее и умел прощать. Крепостное состояние миллионов людей не могло бы удерживаться без их покорности и страха, и государь, видимо, знал, как закреплять и длить сии замечательные качества подданных. Забудем ли, как другой самодержец развивал и технически совершенствовал это государственное знание, реставрируя империю, и пусть ненадолго, но предстал перед миром в ореоле «вождя извечной Руси» (слова Шарля де Голля).

Образ Кюстина — покорный русский на-

род перед распахнутым в Европу окном, как зритель в театре, смотрит и слушает — имеет отношение не только к внешней, но и к внутренней российской ситуации. Европейский спектакль не совсем понятен и чужд зрителям; плоды цивилизации усвоены ими насильственно, ненатурально (Петровские реформы); избавить Россию от бед, по Кюстину, может только восстановление ее связей с древней историей. Реально ли такое возрождение старых начал, сполна обсуждено славянофильской мыслью, а насильственность петровских преобразований в свете послереволюционного опыта выглядит много тягостнее, чем прежде, скажем, в годы расцвета советского «царистского» исторического романа, славящего великих и мудрых монархов, твердо следовавших своей непреклонной и беспощадной генеральной линии...

К сожалению, образ народа-зрителя прочитывается и по-другому, и печальнее. Народ вроде бы и участвует во всем, что с ним происходит, но внутренне и одновременно ощущает себя посторонним зрителем, так как его роль или роли жестко заданы постановщиком, и ничего в происходящем от исполнителей, в сущности, не зависит. Отчуждение от роли бывает столь сильным, что можно действительно посматривать на себя и действие со стороны, и гадать, и ждать, когда же закончится игра по якобы принятым добровольно, но на самом деле навязанным правилам, и мало того — запуганно ждать под бессонным присмотром прищуренных глаз и отточенного слуха суфлеров...

Во всяком случае, как бы ни менялся жанр спектакля, большинство было зрителями, даже если поощрялись ролями героев. От большинства ничего не зависело, и преувеличение Кюстина — «при подобном общественном устройстве человек с первого дня своей жизни может знать (и действительно знает), что он будет делать до последнего своего дня»,— не кажется таким уж чрезмерным.

В дорожном зеркале маркиза бессмертно отразился театр российской деспотии. «Железный театр», по-своему описанный Отаром Чиладзе. Именно та железная или стальная громоздкая коробка, в которой размещены сцена, зал, кулисы и все прочее, необходимое для спектаклей, празднеств, показательных судебных процессов и торжественных заседаний.

В свой час, казалось, с ней ухитрились справиться, постаравшись разрушить, как было обещано, до основания. Или основание уцелело? Иначе почему такое горькое чтение и узнавание — маркиз де Кюстин? Ну да, это из нашей российской родословной, больно было бы все равно, но еще больнее оттого, будто видел или слышал похожее сам!

Трудно забыть одну из первых страниц путешествия Кюстина. К пароходу «Николай I», четыре часа томящемуся на рейде перед Кронштадтом, подплывают лодки таможенной службы, доставляющие на его борт полицейских и прочих чинов. За веслами матросы, «жалкие, истощенные, в грязных отрепьях», их «зеленовато-желтые лица» лишены «почти всякого выражения», казалось, что это люди «какой-то особой, чуждой нам расы». Зрелище этой «невероятной нищеты» и человеческой приниженности заставило Кюстина отвести глаза. То были первые русские люди неголубой крови, которых он увидел.

Нищета матросов в понимании, как теперь говорят, «принимающей стороны» была, видимо, той малостью, которой можно пренебречь. То, что последует далее, должно было своим великолепием, величием и возвышенными чувствами заслонить эту дурную, преходящую материальность.

Кюстин почувствовал: во имя высших целей здесь умеют пренебрегать второстепенностями жизни. Множество последовавших впечатлений подтвердили потом его правоту.

Великий честолюбивый народ, огромная великая империя, честолюбивые вожди,— «они могут достичь огромной власти» в мире, и они ее достигнут, не зная пределов ни в чем — «ни в муках, ни в наградах, ни в жертвах, ни в упованиях», но — какой ценой?

Кюстин отвечает: «ценой счастья».

У А. В. Чаянова в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) наша страна такая, какой ей никогда уже не быть. На то и утопия. Это крестьянская демократическая Россия, изжившая внутреннюю нетерпимость, ненависть и злобу, и государство ведет в ней себя так, чтобы всюду его было поменьше и никто его не замечал, будто его нет вовсе.

Кюстин, побывав в России, писал о том же: «Лучше всех та власть, какую мы ощущаем на себе менее других...» Он знал, что деспотизм настолько хитер и жизнестоек, что способен поставить себе на службу любые мнимости, в том числе демократические. Отчего бы в самом деле не расстелить на металлическом полу нашей сцены с его грубыми швами и острыми зазубринами прекрасный, мягкий и ласковый ковер? И тогда мы попробуем забыть, что под ним...

Завершая отчет о путешествии, Кюстин говорит о России как о заповеднике несвободы. Именно здесь придет в чувство всякий европеец, легкомысленно разочаровавшийся в своей собственной стране.

Сохраним ли мы экзотическую привлекательность такого заповедника, зависит, в частности, от того, покинем ли места зрителей у окна... Поймем ли, что «абсолютную власть следовало бы вручать одним лишь ангелам»?

«Когда солнце гласности взойдет наконец над Россией, оно осветит столько несправедливостей,— предсказывал Кюстин,— столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется».

Насчет «мира» он ошибся: мир давно знал больше нашего, да и мы знали о себе немало, да ведь даже для того, чтобы содрогнуться, тоже нужна какая-то первоначальная свобода.

Кюстин предсказал и другое, и трудно удержаться от соблазна привести вот эти слова: «Нет поэтов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в условиях широчайшей гласности, ибо, когда всякий может говорить о чем угодно, поэту остается только молчать. Видения, аллегории,

иносказания — вот средства выражения поэтической истины. Режим гласности убивает эту истину грубой реальностью, не оставляющей места полету фантазии».

Но что делать? Не возвращаться же к старому, к жизни-иносказанию и жизни-аллегории? Может быть, полет фантазии уклонится наконец от направления политического в сторону истинно человеческого?.. Если, конечно, ничто не помешает.

Хорошо бы вообразить себя на какой-нибудь почтовой станции на некой границе времени и сказать, оглядываясь, почти словами Кюстина: прощай, «страна фасадов», «страна каталогов», страна немоты и беспредельного всесилия деспотического государства! И сразу, вдруг освободиться, переступить... Но вот беда — даже в воображении плохо выходит. И что же — дальше налегке? Так и идти себе, ничего не помня, новым и свободным человеком?

Нет, не получается. Не распрощаться и не расквитаться, и все, что было с нашей страной и всеми населявшими ее жизнями, все остается с нами и продолжает в нас быть как дорогой опыт, как тяжесть, боль и предостережение самим себе.

Это, наверное, естественно.

ВЕРА И МОРАЛЬ

КАРОЛЬ ВОЙТЫЛА
ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Фрагменты книги

Перевод с польского В. БУРЯКОВА.

Несколько общих слов о католичестве

Прежде чем рассказывать или рассуждать о католичестве, предупрежу, что для очень, очень многих это — просто христианство. Когда спорят люди разных конфессий, скажем — православный с католиком или католик с кем угодно, иногда получается как-то странно. Хорошо, предположим, что только **эта**, **моя** конфессия — правильная и полная, но что же делать тем, кто родился не там, где надо бы? Сознательно менять конфессию? Это случается, но редко; многие о других конфессиях и не знают. Неужели погибать? Так, как я сейчас пишу, выходит уж слишком глупо, но попробуйте довести до логического конца рассуждения спорящих, и окажется, что вы довели их до абсурда. Примем же, хотя бы условно, что христианином можно стать в любой конфессии, можно стать и святым, даже если твоя конфессия святых не признает,— папа Павел VI считал, что хорошо бы канонизировать Мартина Лютера Кинга, а сделать этого не мог, протестанты иначе понимают святость. В любой конфессии можно жить так, как просил Христос. Если вы думаете, что нельзя, дальше читать незачем. Если католичество — не христианство, о нем не стоит говорить.

Каждую конфессию можно увидеть на самом высоком и на самом низком уровне. Везде есть святые, есть и фарисеи. Легче всего видеть своих святых, чужих фарисеев; нетрудно их и описать. Но какие примеры ни приведи, все будет нелепо, а главное — неточно. Видимо, правильней сравнивать лучших с лучшими (как идет к совершенству человек этой конфессии) и средних со средними (чем помогает она обычным, еще не идущим к совершенству людям).

Однако раньше хотелось бы поговорить не о католичестве вообще, а о католичестве здесь, у нас. Уже лет двадцать, если не больше, снова появляются русские католики. Как-то я спросила одного из них, почему он сознательно выбрал именно эту конфессию — не вселенское христианство и не «просто христианство», а то, что иногда называют римско-католической церковью. Оказалось, что причина серьезна, но вряд ли достаточна — католики меньше связаны с кесарем, с земной властью. Все-таки это смотря какой кесарь. Конечно, целибатному священнику не за кого бояться, кроме себя; но я сама слышала, как старенький ксендз, служивший тогда в Москве, говорил, что за границей христиане несвободны, а тут — свободны, и было это лет пятнадцать назад. Никакого осуждения в этой фразе нет, ксендза очень жалко. И еще: немного позже один католик (не в России) узнал, что у другого человека был обыск. Что же он сделал — пошел к нему, поддержал, просто пожалел? Нет. Он сразу сказал: «Передайте ему, чтобы он поскорее вырвал из книжки мой телефон». Увещевания не помогли, он ссылался на «святую осторожность». Словом, человек — это человек, и незачем переоценивать его (то есть — нашу) силу.

Кроме того, все мы знаем, какой ценой покупалась иногда свобода от кесаря. Пусть это было давно, но было — церковь (с маленькой буквы) просто оспаривала земную власть, приобретая тем самым совершенно нехристианские свойства. Бессмысленно прикидывать, что́ хуже: становиться властью или поддаваться ей. Видимо, опасно и то и это, чем сильнее — тем опасней.

Итак, лет двадцать назад снова стали появляться русские католики. Их было немного, их и сейчас мало, а тогда каждый выбирал по своей причине; и все же как-то обобщить можно.

---

[1] Материалы этой рубрики см. «ИЛ» за 1990 г., № 5, № 9; за 1991 г. № 1.

Про кесаря мы уже говорили. Другая причина, обычно — дополнительная к этой, была в том, что к концу 60-х годов люди догадались о таких ценностях, как самоограничение, порядок, уклад и так далее. Сейчас, читая это, многие просто не поверят, а я помню, как единственной ценностью считалась свобода. Ну, еще «доброта» (слов «милость», «кротость», «милосердие» почти не вспоминали). Когда бывает такая аберрация, сколь угодно оправданная, довольно скоро ничем не уравновешенные ценности, против всякого ожидания, искажаются.

Тогда, удивившись или испугавшись, поборники их, нередко до неузнаваемости, откатываются к ценностям противоположным. Сколько раз за нашу жизнь мы это видели! Видели и к концу 60-х годов — вдруг возник совсем другой расклад: «гибельная свобода» — «добрый, строгий порядок». Естественно, порядка стали искать не там, где его искали прежде,— очень уж мало лет прошло; и вернулись не только к Леонтьеву, но и, скажем, к де Местру, даже к Торквемаде. После II Ватиканского собора католики вспоминали Евангелие, каялись и менялись — но там, не здесь. А здесь, сама помню, новообращенные возмущались кротостью папы Иоанна XXIII. В истории каждого исповедания можно найти всякое — и находили не св. Франциска, а, скажем, испанскую инквизицию. Честертона и то так читали — ведь апологию четкости, порядка, едва ли не силы у него найти можно,— не видя его юродства, высокой свободы, евангельской незащищенности.

Другие заметили удивительную уравновешенность католического богословия, и вот это было очень полезно. Это учило нас тому, о чем и самим можно догадаться: «центробежные» ценности не противостоят «центростремительным», они немыслимы друг без друга и друг друга держат. Тогда мы увидели, что это есть в Евангелии. Никуда не уходя от христианства, которое мы узнали по опыту православия, мы как бы ввели в наши рыхлые или мечущиеся души какую-то сетку, каркас. Какой он, видно хотя бы по нынешней публикации. В этих отрывках из книги будущего папы Иоанна Павла II речь идет, казалось бы, о прописных, азбучных истинах — но ведь это **истины.** Нравственное богословие католичества поразило нас, оно отвечало на непозволительно простые вопросы, прочищало и отлаживало какой-то средний слой души. Видимо, это было нужно, этого очень не хватало.

Речь шла, конечно, не о том, чтобы бегать по конфессиям, и даже не о том, чтобы предпочесть католический опыт любому другому. Умные западные священники так глубоко почитают опыт других конфессий, что стыдно становится. Помню, в 1972 году литовский францисканец говорил о том, как прекрасно «сокровище Иоанново» —мистическое сокровище православия, сравнивал его с францисканской мистикой, ставил выше ее, а я думала: «Господи, хоть бы слышал кто-нибудь в России!» Еще пример: уже доминиканец слушал, как одна женщина старается терпеть постоянное поношение, и печально сказал, что тут нужна православная кротость. Конечно, нетерпимые люди есть везде, но обычно это — люди глупые. Стоит ли мерить по ним? Так не устоит ни одна конфессия.

Речь шла (и, надеюсь, идет) не о том, чтобы заменить сокровище Иоанна наследием Петра, а о том, чтобы увидеть (если не принять) и то и другое. Поэтому вопрос и проблема — не «лучше — хуже», а «чем полезно» (душеполезно) и «чем соблазнительно». Предположим, кто-то захотел «дышать двумя легкими». Чем поразит его опыт католиков, чем привлечет, чем оттолкнет?

Вынесем за скобки все, что есть в любой христианской конфессии. Вынесем и то, что может в ней быть; как мы уже говорили, для очень многих католичество — это просто христианство, и в нем бывает все, что только в христианстве есть. Тогда остаток будет «чисто-католическим»; чем же он удивит нас?

Прежде всего четкостью и здравомыслием. Четкость эта может напомнить нам ту сухую деловитость, от которой мы часто бежим. Не буду сейчас говорить о том, что, измученные деловитостью пустой, мы бежим от всякой даже «хорошей» — как-никак, «хорошая» она в миру, в Церкви ей вроде бы не место. И в горькую минуту мы думаем, что именно так совершается квадратура круга — становится обыденным то, что по сути своей обыденным быть не может. Мы видим чистеньких и правильных людей, у которых все размерено и расчислено, и все больше кажется, что в них какая-то фальшь, а там и черствость.

По-видимому, ключ — именно здесь. Никогда не удастся разрешить спор между надсадной «апологией мещанства» и пока что более традиционным его обличением, если исходить из дихотомии «особенный» — «обыденный». Может быть, суть в другом — в том, чему полторы тысячи лет назад учил Августин? Может быть, главное — куда ты смотришь, что для тебя в центре мира? Если Бог, а тем самым — образ Божий, ближний, никакая правильность не станет обывательской в самом плохом смысле этого слова. А вот если в центре ты сам, все исказится, и твое «безумие» станет намного хуже любого «мещанства». Когда-то Федотов напоминал, что признаки антихриста — злоба и ложь. Вот именно. Страшное искажение набожности, которое есть везде, в любой конфессии, прежде всего отвращает тем, что верующий этого рода важен, самодоволен, фальшив. Почему же, собственно, фальшив? Потому что видеть себя правым и правильным — величайшая ложь на свете; тогда все поведение пропитывается особой фальшью, человек кажется лицемерным, хотя ничуть не лжет, он искренен. И второе — такой верующий черств. Может быть, он еще и жесток, груб, зол, но это уже следствия — главное, ему нет никакого дела до других людей, а значит, до Бога. Ничего не поделаешь, в Новом Завете сказано: «Кто говорит: «я люблю Бога», а бра-

та своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (Перв. посл. Иоанна, 4, 20).

Искажение это бывает всюду, где только есть вера. Мало того, именно поэтому, как сказал Льюис, «самый плохой человек на свете — плохой религиозный человек». Такими были фарисеи, а что они сделали, мы знаем. Такими становятся неофиты, если корень фурункула — обращенность к себе — не вышел, а сверху все это прикрыто «набожностью». Трудно переоценить вред, который это приносит. Церковь видят такой — самодовольной и черствой! Куда же тогда идти?

Что же до порядка и здравомыслия, представим себе, каковы они, если нет ни фарисейской лжи, ни фарисейской черствости. Тогда получится что-то вроде земного рая, ну пусть — хорошей детской книжки. Мир благодарности и надежды, мир Промысла, исполненных молитв, осмысленного страдания, где освящены семья и дом, а милосердие ставит предел и своевольной свободе, и жесткому, внешнему ладу. Многие и не надеются увидеть это здесь, на земле. Здоровье противопоставлено не святой незащищенности юродства, а тьме; четкость — не бездне света, а хаосу.

Тот же францисканец сетовал как-то, что среди католиков очень много «христиан слабого посола»,— но ведь не только сетовал. Поистине поражает способность католичества удерживать от гниения огромное количество людей. Они живут «как все» — и не совсем как все. У них есть святыни, есть ограда закона, точнее — сетка, ниже которой нельзя падать. Есть настоящая mystery religion [1]; есть запреты. Казалось бы, это чистое язычество — вещь хорошая и, видимо, соприродная человеку, но все же побежденная христианством. Но если такой католик не самодоволен и не черств — если он хоть на границе Божьего града, он знает, что это никак не все. Он знает, что он, собственно, еще и не христианин. Названия у этого разные. Чаще всего граница проходит не между монахами и мирянами, а между «путем совершенства» («советы совершенства» — это Нагорная проповедь) и как бы обычным путем (здесь — Закон, Ветхозаветный Декалог и т. н. заповеди Церкви). Можно было бы осуждать это или хотя бы судить, если бы мы знали конфессию — не зародыш ее, не маленький кружок, а целое исповедание,— где такого нет и не бывало. Посмотрим снова из настоящего, из окружающего нас, а не из книг и предрассудков. Каким бывает чаще всего человек, заблудившийся на путях мира? «Правильным»? Конечно, со своей точки зрения; на самом же деле эгоцентризм доводит его до истинного безумия. Католик Толкин, англиканин Льюис особенно много писали о том, как важно разжать руку, не вцепляться в «свое». Когда книг их будет больше у нас (они есть, но их мало), вы прочитаете, что вот такие, «вцепившиеся», не обыденно здравы, а именно безумны. Безумие эгоцентризма, любостяжания, своеволия противопоставлено разумности, ясности, обращенности к Богу и к ближнему. Конечно, с «разумностью века сего» это никак не связано; тут будет другое, более привычное противопоставление:

мирская безумная разумность и целительное безумие Креста.

Словом, наверное, не в конфессиях дело, а в «градах», о которых писал Августин. Христианство католиков дарит нам доброе здоровье души, дарит разумность — где нужна разумность, и для безумия остается только верх, выше «разума», не ниже. Один из исследователей Честертона назвал это все «красотой и равновесием правоверия». Да, именно красота, которую определяют словами «claritas et consonantia» [2]. Если этого мало, рядом непременно окажутся истина и добро: нет черствости — значит, открыт путь к милости и милосердию, а уж они бесконечны, неисчерпаемы; нет фальши — открыт путь к истине. Привычная триада сменится в нашей памяти словами из Псалма: «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются», и мы узнаем их в жизни и пути тех западных христиан, которых называют католиками. А когда узнаем, сможем ли вернуться в мир перегородок, которые, как кто-то сказал, не доходят до Бога, или вспомним первое, лучшее значение слова «кафолический» и подумаем об единой Церкви Христа?

Н. ТРАУБЕРГ

Из вступления к первому изданию

Существует точка зрения, по которой о супружеской любви могут высказываться лишь те, кто состоит или состоял в браке. То есть такой подход к проблеме требует обязательного наличия непосредственного, личного жизненного опыта: о любви между мужчиной и женщиной имеют право судить только испытывающие или пережившие когда-либо это чувство сами. Таким образом, живущие в целибате священнослужители вроде бы и не должны рассуждать о любви и супружеской жизни. Тем не менее они нередко говорят и пишут на эту тему. От-

[1] Религия, содержащая в культе некие «тайны», «таинства» *(англ.)*.
[2] Ясность и согласие *(лат.)*.

сутствие собственного опыта не является в данном случае препятствием, потому что служители церкви обладают иным опытом — богатейшим опытом посредничества между Богом и людьми, вытекающим из их пастырской практики, духовной опеки над людьми обоих полов. Они встречаются с таким множеством жизненных ситуаций, что в конце концов сами приобретают определенный опыт, пусть «чужой», но одновременно гораздо более широкий, чем у какой-нибудь конкретной супружеской пары. Именно знание множества фактов из этой области человеческих отношений позволяет священнослужителю иметь более универсальный взгляд на проблему и пытаться искать синтез.

Данная работа не является изложением некоей доктрины, скорее наоборот: это — плод сопоставления церковной доктрины с жизнью (в этом вообще заключена вся суть работы пастыря). Доктрина — церковная наука — по всем «вопросам пола» и связанной с ними морали опирается на Евангелие, где высказывания на этот счет весьма лапидарны, однако их вполне достаточно, чтобы обозначить важнейшие, узловые пункты проблемы. Поразительно, что из столь незначительного количества текста может быть создана столь совершенная и полная система норм морали. Прежде всего следовало бы назвать такие места из Евангелия, как от Матфея, 5, 27, 28; от Матфея, 19, 1—13; от Марка, 10, 1—12; от Луки, 20, 27—35; от Иоанна, 8, 1—11; Первое посл. к Коринф., 7 (полностью), не говоря уж о чрезвычайно важных фрагментах Ветхого Завета, особенно из Книги Бытия.

Первоочередная задача священнослужителя, имеющего дело прежде всего с практической стороной проблемы, то есть с тем, как функционируют эти нормы при столкновении с жизнью,— не только что-либо разрешать или запрещать своей пастве, но, может быть, прежде всего — объяснять, растолковывать, убеждать.

Высшей ценностью на земле, венцом творения является человек, человеческая личность — именно ему предназначено благо любви, поэтому понятие «любовь» — главное в этой книге. В христианской этике издавна существует проблема, которую можно бы было определить как «привнесение в любовь любви», где в первом случае слово «любовь» означает то, что на основе сексуального влечения формируется между мужчиной и женщиной; во втором же — содержание главной заповеди христианской веры. Целью можно было бы обозначить сведение первого понятия слова «любовь» ко второму, то есть тому, о котором говорится в Евангелии. Как правило, в работах по этике и теологии эти два понятия любви существуют как бы отдельно друг от друга: об одной говорится как о главной теологической добродетели, о второй же — прежде всего в рамках разговора о пользе и необходимости воздержания, ибо нередко именно с ней связывается сексуальная чистота. Вследствие этого в человеческом сознании может возникнуть мысль о несовместимости этих двух понятий, во всяком случае — о непреодолимости трудностей на пути их совмещения в реальной жизни. Но в то же время очевидно, что поиски и познание этих путей совершенно необходимы. Евангелие читается как верующими, так и людьми неверующими; и те и другие хотят и способны открыть в нем для себя утверждение великих истин любви и добра.

Затрагиваемые в настоящей книге проблемы секса и их интерпретация в католической этике являются предметом анализа (чаще всего — с феноменологических позиций), а не описания. Автор, будучи убежденным персоналистом, предпринимает попытку подойти к проблематике пола, секса, семьи, сопоставляя, а чаще противопоставляя положения католической этики тезам, принятым в биологии или медицине (сексологии, например), но эти моменты занимают в книге гораздо меньше места, чем, скажем, связанные с психологией. Ведь человеческая личность характеризуется и выражается прежде всего через свое «psyche», что справедливо и для области интимных отношений.

Имеет ли книга практическое значение? «Жизненна» ли она? По замыслу автора — несомненно, хотя читатель не найдет в ней никаких готовых рецептов, ответов или подробных предписаний, как нужно поступать в тех или иных случаях и ситуациях. Автор стремился дать целостность проблематики скорее в философском аспекте (является же этика частью философии), чем иллюстрировать какие-то положения конкретными примерами — их разрешение и так становится ясным, если исходить из более общих, концептуальных положений, которыми автор и руководствовался.

Из главы «Семья и тайна церкви»

Неустанно творя человека по своему образу и подобию, то есть поддерживая существование рода человеческого, Господь привносит в любовные взаимоотношения между мужчиной и женщиной высшие призвание и смысл. Достигается это дарованной людям способностью любить и сознанием своей ответственности за это чувство перед Богом.

Человек как дух во плоти или же как душа, выраженная через тело, призван к любви во всей этой объединяющей целостности. Любовь не только пронизывает человеческую душу, но охватывает и тело человека, а тело неразрывно связано с любовью духовной. Любовь является возможностью высказывания самой глубокой, самой сокровенной правды о человеке, поэтому взаимное половое влечение мужчины и женщины, супружеский акт — не есть явление чисто биологическое, ибо затрагивает самую суть человеческого существования.

Институт супружества предохраняет человеческую личность от субъективизма и релятивизма мировосприятия, является как бы обрядом причастия, свершаемым между Богом и людьми. Может быть, главные слова Откровения вот эти: «Бог любит свой народ». Узы любви между мужчиной и женщиной и служат конкретным выражением и подтверждением этих слов. Человек есть бренный, земной образ Бога-любви,

поскольку Бог — это любовь и в нем самом содержится тайна великой, неослабевающей, непрерывающейся любви: Он создал человека по своему образу и подобию, вызвал его к жизни любовью, одновременно определив и его призвание как любовь, которая является также единственной возможностью дальнейшего существования человека. По замыслу Божьему, сам институт супружества и супружеская любовь устремлены к рождению и воспитанию потомства, в котором человек и находит свое увенчание и доказательство необходимости своего существования.

В своей глубинной сути любовь есть дар Божий, супружеская же любовь, ведущая мужчину и женщину к взаимопознанию и творящая из них «единое тело», не ограничивается ими двумя, поскольку смысл их любви значительно шире — настолько, что делает супругов не просто исполнителями воли Господней, но и Его сотворцами, дарующими жизнь новому человеку, в которого Бог вдохнет душу. Становясь родителями, супруги принимают на себя огромную ответственность — ребенка, восприниматься которого следует как знак той же любви и милости Божьей. При этом следует сознавать и помнить, что в случае, когда рождение ребенка по каким-то причинам невозможно, брак между мужчиной и женщиной как их миссия на земле не утрачивает своего смысла. Физическое бесплодие может направить супругов по стезе иной добродетели: адопция (усыновление или удочерение неродного ребенка), какие-либо другие формы воспитания, помощь больным детям и др.

(...) Призвание христианской семьи, своего рода церкви в миниатюре (Ecclesia domestica),— быть подобной Матери-Церкви, рождающей, воспитывающей, создающей христианскую семью. (Из Евангелия (от Иоанна, 2, 11) мы знаем, что Иисус был приглашен принять участие в свадебном торжестве, которое происходило в Кане Галилейской. Было это в самом начале деятельности Христа, а запомнилось это событие собравшимся там потому, что тогда Христос впервые проявил на людях свою чудодейственную силу, с тех пор постоянно сопутствовавшую Его земной миссии. Читаем: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его». Как видим, из текста следует, что с ним были уже и Его ученики (будущие апостолы), во всяком случае, те из них, кто первыми приняли Его учение, а также Мать Иисуса. Остановимся на этом событии чуть подробнее. Иисус не случайно впервые был приглашен людьми именно на семейное торжество. Он принимает приглашение, пребывает среди них, разговаривает с ними, участвует в их радости (свадьба — радостное событие) и заботах: для продолжения застолья не хватило вина, Иисус «дал знак» — и свершилось первое чудо в Кане Галилейской.

Еще много раз Иисуса Христа будут приглашать к себе разные люди и общины и Христос будет принимать их приглашения. В своей земной жизни он был привязан ко времени и месту происходящего. После же Воскресения и Вознесения, после того, как на земле возникла Церковь Христова,— Иисус иным, тайным, неявным образом может быть одновременно гостем всех, кто захочет Его пригласить и впустить к себе. Каждая христианская парафия на земле — это Кана Галилейская, это семья, куда приглашен Христос. И Он каждый раз принимает это приглашение и пребывает среди людей неустанно и непрестанно. Он — с каждым из вас ежечасно. Достойно ли вы встречаете Его?

Несмотря на то, что с началом проповеднической, пастырской деятельности Иисуса из Назарета связывают разные события, мы, пойдя вслед за текстом евангелиста, еще раз особо подчеркнем, что́ случилось на свадьбе в гостеприимной галилейской семье. Обоснование этой особенности, ставшей для пророков традицией, мы находим в Ветхом Завете, в книге пророка Исайи. Но даже вне зависимости от упомянутой традиции факт этот заставляет нас задуматься над тем, что первый же мессианский шаг Христа связан с прикосновением к жизни человека в ее исходном пункте. Свадьба, торжество по поводу вступления мужчины и женщины в брак каждый раз, всегда есть начало неких новых начал — той, старой, как мир, общности людей, имя которой — семья. И каждый раз вступление в брак является началом новой общности жизни и любви, от которой только и зависит будущее человека на земле. Об этой истине свидетельствует Иисус в Кане Галилейской, когда первостепенное значение для общества и Церкви придает браку и семье.

Из главы «Теология тела»

(...) Достойно сердца человеческого то, что «эротично», если об этом же можно сказать, что оно — «этично». Это последнее определение иногда воспринимается весьма негативно, так как этика заключает в себе свод норм, правил и запретов. В Нагорной проповеди Христа содержатся новые этические заповеди (М. Шелер усматривает в Нагорной проповеди величайший перелом, когда-либо свершавшийся в этике). При сопоставлении того, что «эротично», с тем, что «этично», вспомним заповедь «не прелюбодействуй».

В моральных заповедях Христа содержится новый аксиологический ряд: «эротическое» в человеке волею человеческого разума само начинает ощущать потребность восхождения к смыслу, к тому, чтобы быть достойным даром человеку, а ведь это уже задача человеческого духа, задание этического порядка. Связанные с Эросом чувства и страсти в этом случае не уводят человека в сторону безнравственной духовной бездны, а направляют к достижению добра и красоты. Моральная заповедь становится синтезом духовного и эротического начал в человеке, именно таким образом принося ему подлинное благо.

У противников такого подхода можно встретить утверждение, что этика лишает эротику того, что так естественно для жизни и поступков человека — спонтанности. Отсюда постулируется отрыв от этических

норм во благо естества — эротического начала. Преградой этому «благу» могут стать слова Нагорной проповеди. Заповедь Христа содержит императив: Он требует от человека, чтобы тот совершал свои поступки по отношению к лицу другого пола сознательно, а не безотчетно, руководствуясь не только эмоциями, так называемым «велением сердца», но и нормами морали, умел бы осознанно подчинять внутренние порывы своего «сердца» требованиям их пристойного внешнего проявления, чтобы не неконтролируемые чувства овладевали человеком и двигали бы его поступками, а он управлял ими.

В Декалоге наряду с заповедью «не прелюбодействуй» есть также и заповедь: «Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего...» (Исход, 20, 13—17). Казуистика книг Ветхого Завета заключена в том, что, осуждая на словах прелюбодеяние как тяжкий грех, Ветхий Завет в то же время как бы приоткрывает для прелюбодеяния множество легальных лазеек. За столь многоликим компромиссом можно усмотреть желание осудить грех чисто внешне. Христос в Нагорной проповеди переносит «центр тяжести» в иное измерение. Его заповеди и моральные наставления тоже имеют непосредственно нормативный характер,— так, подтверждается принцип человеческой морали, заключенный в заповеди «не прелюбодействуй». Однако Христос добавляет: «Каждый, кто вожделенно смотрит на женщину, уже допускает прелюбодеяние с ней в сердце своем». Слова Христа обращены к внутреннему миру человека, что чрезвычайно важно, ибо именно такой образ ви́дения человека характерен для всей христианской этики. Заветы Христа суть не правила поведения, а начала, определяющие безгрешное внутреннее поведение человека, поэтому справедливым будет утверждение, что сущностная христианская мораль в гораздо меньшей степени касается действий и поступков, чем определяет строй духовной жизни человека. Слова Христа, обращенные к внутреннему миру человека, имеют явно антропологическое наполнение, поскольку касаются «вечных» значений, устремлены к тому, чтобы человек предстал в своем как можно более полном образе. Человек, который есть «тело» и «плоть», услышит в этих словах Христа проникновение в свою душу, в свое сердце, что позволит ему в полной мере осознать себя и дарованное ему богатство. Под «сердцем» мы в данном случае подразумеваем не мускул, поддерживающий кровообращение, а то измерение человечности, в котором соединены чувство осмысленного существования человеческого тела и душевный лад, вызванный этим чувством.

Упоминавшиеся уже слова Господа нашего Иисуса Христа из Нагорной проповеди (от Матфея, 5, 27—28) не могут быть правильно поняты и интерпретированы при помощи манихейского «ключа». В них никоим образом не содержится неприятие человеческого тела и плоти. Они могут служить лишь призывом к преодолению инстинкта телесного вожделения или — если взять еще шире — тройного вожделения, которое проистекает из того, что человек забывает об аффирмации личного достоинства, своего тела и плоти. Уточнение этой формулы, ее расшифровка, то есть выведение подлинного этического смысла слов из Нагорной проповеди, в которых Христос взывает к сердцу человеческому, представляется важным не только из-за необходимости преодоления стереотипов прежнего, привычного мышления, являющихся порождением манихейства, но и с учетом некоторых взглядов на человека и мораль в более позднее время, уже в новейшей истории.

Когда Рикёр назвал Маркса, Ницше и Фрейда «воспитателями подозрительности» (maitres du soupçon), то он имел в виду всю совокупность взглядов каждого из них по отношению к человеку, человеческой личности. Сходство философских систем и построений у вышеупомянутых мыслителей может быть сведено чуть ли не в первую очередь к тому, что по сути они отрицают человеческую личность, «сердце» человека, индивидуальность как высшую ценность. Более того, эти, до сих пор пользующиеся немалым влиянием философы осуждают, обвиняют человека в том, что, говоря языком Библии, можно назвать тройным вожделением. Если произвести своеобразное «распределение ролей», то можно отметить, что ницшеанское «человековедение» направлено на все то, что у Иоанна названо «гордостью житейской», марксовское — на то, что названо «похотью очей», фрейдистское — «похотью плоти». Всеми этими мыслителями человеческая личность постоянно подозреваема. Этого нет в Библии, в Новом Завете. Слова Христа о прелюбодеянии сказаны таким образом, что, указывая на всю реальную опасность вожделения и блуда, не позволяют сделать ее единственным критерием этики и антропологии. Об этом просто и убедительно свидетельствует текст «теологии вожделения» — Первого Послания св. Иоанна, 2, 15—16. (...)

Любовь с этической точки зрения

В современной этике существует весьма знаменательная тенденция, которую принято называть ситуационизмом, имеющим тесные связи и самое непосредственное отношение к экзистенциализму в философии. Здесь автор не претендует на всесторонний охват такого достаточно сложного явления, как ситуационизм, однако ставит перед собой задачу предостеречь от определенной узости и однозначности в интерпретации феномена любви (ее субъективизации).

По этой концепции, человеческое существование складывается из множества ситуаций, которые сами по себе и составляют некую норму поведения. Эти данные, конкретные ситуации необходимо пережить, прочувствовать, «пропустить через себя» во всей их совокупности, не выходя при этом за их рамки. То, что содержится «вне ситуации», не вмещается в нее, никоим образом не следует к данной ситуации приспосабливать. Человеческая жизнь не воспринимает и не приемлет никаких общих, абстрактных норм, находящихся «вне ситуации»,— они выглядят слишком застыв-

шими, чересчур концентрированными, в то время как реальная жизнь насквозь конкретна, предметна, вещественна. Если вышеупомянутое положение спроецировать на интересующую нас проблему, то тогда любовь между мужчиной и женщиной как некий фрагмент их экзистенции (даже, скорее, их совместного существования, сосуществования) складывалась бы (или наоборот — распадалась) на множество ситуаций, ценность которых была бы заключена уже как бы в них самих. Эти возникшие психологические ситуации — если касаться сексуальной стороны любовных отношений — являлись бы чем-то окончательным в структуре и содержании взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Каждая ситуация становилась бы нормой, за границами которой в любви невозможно найти ничего более глубокого и важного. В этом содержится опасность ошибочного понимания свободы, провозглашается примат чувственности над добродетелью.

Тут следует сделать несколько, может быть, банальных, но необходимых замечаний. Человеческая личность, в отличие от животных, имеет внутреннюю, духовную жизнь, что в итоге приводит к признанию необходимости Бога (теодицея) и вере в Него, чего не может быть у животных. Однако многие внутренние биофизиологические процессы у людей и животных протекают более или менее сходно, так как имеют одну основу: опять-таки более или менее (в зависимости от индивидуума) богатую чувственность, функции которой выходят далеко за пределы элементарной растительной вегетации. Желание, стремление, познание, страсть — все эти функции свойственны как представителям животного мира, так и человеку. Разница в том, что познание и желание у человека приобретают характер духовный и служат причиной того, что мы называем формированием внутреннего мира личности. У животных этого не происходит. Здесь мы вплотную подходим к

Религиозной интерпретации сексуального влечения

Проблема полового влечения является одной из основных в католической этике, имея при этом значение глубоко религиозное. Весь уклад человеческого существования, как и бытия вообще, предопределен Творцом, тем, кто это создал,— Создателем. Но важно понимать, что и мир и человек не являются чем-то, созданным один раз и навсегда в некоем необозримом прошлом,— создание, воссоздание, воспроизведение есть процесс постоянный. Осознанию этого помогают свидетельства, содержащиеся в Евангелии и Книге Бытия. Так, родители принимают участие в генезисе человеческой личности. Личность — это не только и не столько биологический организм. Человеческое тело является также и телом человеческой личности, потому что составляет субстанциональное единство с человеческим духом, который рождается отнюдь не в результате телесного сближения мужчины и женщины. Дух, душа вообще, не может возникнуть из тела, не может родиться как биологический организм. Сексуальная близость между мужчиной и женщиной является лишь актом телесным, который должен быть следствием духовной близости — любви. Но природе не известно о такой близости душ, в результате которой родилась бы новая душа. Ее не рождает сама по себе и любовь между мужчиной и женщиной, сколь бы максимально сильной и глубокой она ни была. Когда же зачинается новый человек, зачинается и новая человеческая душа, субстанционально единая с телом, эмбрион которого начинает свое существование в лоне матери. Без осознания этого невозможно понять, каким образом потом из эмбриона получается человеческая личность, наделенная душой. Поэтому объяснение такого чувства, как любовь, не следует искать только лишь в области психологии, но, может быть, прежде всего — в этике. Не приемлющая персоналистических норм концепция ситуационизма в конечном итоге сводит понятие любви к обычному психологизму, тем самым чрезвычайно это понятие сужая. Совершенство и этическая ценность любви во всей своей полноте выявляются лишь тогда, когда любовь как чувство подчинено любви как высшему благу и добродетели. Так что признание некоего Филона: «Люблю тебя, Лаура, безумно, так же, как и всех, таких же, как ты!» не может быть нами расценено как проявление той любви, о которой говорим мы.

Одна из работ современного эстетика и философа М. Шелера называется «Реабилитация добродетели» (Rehabilitierung der Tugend). Название может показаться несколько провокационным: когда мы говорим о реабилитации, то имеем в виду кого-то (или что-то), в чем-то несправедливо обвиненного, утратившего свое доброе имя и признание людей. Реабилитация устраняет несправедливость и возвращает доброе имя. Утратила ли доброе имя и свою привлекательность добродетель? Возможно, само слово звучит сегодня несколько старомодно, но дело не в терминологии, и голословное признание слов «добродетель» и «чистота» еще ни о чем не говорит. Шелер считает необходимым реабилитировать добродетель потому, что замечает у современного человека резкое изменение духовных установок, отсутствие тяги к добру, добродетели. Происходит это из-за переориентации в шкале ценностей, ошибочного понимания того, что ценно, а что нет. Среди причин можно назвать отсутствие объективизма в оценках, недостаточную силу воли. Дело в том, что высшие ценности требуют от человека значительных волевых усилий, при условии, что он действительно хочет эти ценности обрести. Чтобы субъективно избавиться от неизбежного и постоянного напряжения и усилий, но как-то оправдаться перед самим собой, современный человек начинает видеть зло в том, что объективно есть добро. Во всем этом явственно проступают черты такого широко известного недостатка, как лень. Св. Фома (Фома Аквинский) определял лень как «грусть и горечь, проистекающие оттого, что добро достигается трудно».

(...) Приводится аргумент: «Чрезмерная, преувеличенная сексуальная «чистоплотность» вредна для здоровья: чтобы чувствовать себя здоровым и бодрым, молодой

человек должен быть сексуально удовлетворен». Тот, кто так утверждает, видит в чистоте и чистоплотности по отношению к сексу прежде всего угрозу любовным отношениям между мужчиной и женщиной. Чистота для сторонников подобных взглядов имеет право на существование как бы лишь за границами любовных отношений, в любви же за ней никаких прав не признается. Христианская этика считает подобные взгляды одним из следствий первородного греха.

Проявления чувственности по отношению к особе другого пола, чувственности, рождающейся и пробуждающейся раньше, чем добродетель и осознание этической сути любви,— еще не есть любовь. Часть вместо целого — ошибка очень распространенная: нельзя называть любовью то, что является лишь одним из ее составных элементов. Неверная же оценка этих «элементов» может привести в результате не к любви, а к чему-то совершенно противоположному.

Понимание того, что́ такое сексуальное влечение, его правильная интерпретация имеют не менее важное для христианской этики значение, чем постижение принципов закона, управляющего межчеловеческими отношениями. Закон природы, закон естества, о котором говорил еще св. Фома, основывается на участии разумного существа в «вечном вселенском порядке», то есть в порядке, данном Богом, откуда и черпает свою силу. Позитивный закон, то есть закон, установленный людьми, выводится из закона естества и поэтому имеет свой первоисточник в Боге. Только помня об этом, постоянно держа это в уме, можно правильно трактовать частности. Исключим из разговора крайние, односторонние и поэтому глубоко неверные интерпретации сексуального влечения — как ригористическую, пуританскую, так и фрейдовскую, с ее концепцией «либидо». Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной являются прежде всего этической проблемой, где этический момент сводится в частности к тому, чтобы не произошло редукции человеческой личности до «одушевленного предмета», необходимого в сексуальном партнерстве. Такая опасность заключена в концепции «либидо» З. Фрейда, считающегося представителем пансексуализма, поскольку этот ученый был склонен объяснять практически все проявления человеческой жизни — даже в возрасте грудных младенцев — проявлениями сексуального влечения. Следует, однако, заметить, что у Фрейда все сводится скорее даже не собственно к сексу, а именно к «либидо», т. е. к удовольствию, наслаждению, которое всегда связано с сексуальной стороной жизни. Отсюда Фрейд говорит прежде всего о стремлении к наслаждению (libidotrieb), а не о сексуальном влечении. Человек устремлен на поиск наслаждений, этому — по Фрейду — подчинена вся его жизнь, все, что он делает. При таком подходе жизненное призвание, объективная цель и смысл жизни, да и собственно сексуальное влечение отходят на второй, дальний план, становятся как бы несущественными. Человек через призму психоанализа выступает именно как некий «предмет», обладающий эротической притягательностью. Здесь необходимо сделать одно пояснение. По Платону, «эрос» означал ту внутреннюю силу, которая движет человеком в сторону добра, правды и красоты. Мы же используем это слово в том значении, в котором оно употребляется в современном языке, например в художественной литературе. (...)

(...) Сексуальное влечение вырастает скорее не из «либидо», а из экзистенции: человек не может искать в нем только лишь «либидо» — это противоречит даже его природе, не говоря уж о высшем призвании, предназначении. Как человек использует данное ему изначально сексуальное влечение и несет ли он за это ответственность, говорит о том, насколько полно он осознает себя личностью. В этом заключен корень конфликта: Фрейд и его последователи усматривают в сексуальном влечении прежде всего его субъективную целенаправленность, связанную с наслаждением, полностью игнорируя объективный смысл этой важнейшей человеческой характеристики. Приверженцы утилитарной ментальности склонны рассматривать эту проблему так, как если бы она носила чисто технический характер, в то время как католическая этика видит в ней основу насквозь этического свойства. Первые утверждают: речь идет о возможном максимуме удовольствия, которое вся сфера психики, связанная с сексом, может человеку доставить в форме «либидо». Католическая этика протестует во имя своих персоналистических основ: нельзя принимать в расчет только лишь «удовольствие, наслаждение» там, где речь идет об отношении к человеческой личности, которая никоим образом не может быть воспринята в качестве «предмета употребления».

(...) Исходя из рассмотренных нами примеров, можно утверждать, что ситуационизм по сути не опирается ни на какие моральные нормы и рассматривает важнейшее для христианской этики понятие — любовь — лишь в сфере психологии. В этом наблюдается некая «несостыкованность» тех двух ликов любви, о которых мы говорили выше: профиль объективный не вполне покрывается ликом субъективным. Вся христианская этика направлена на «овнутрение»: «Царство Божие есть внутри нас» (От Луки, 17, 21). Всё материальное, внешнее, чувственное само по себе ценности не имеет, так как отдельно взятое не оправдывается перед лицом Божьим. Отсюда нравственная оценка человека дается не по материальным последствиям его деятельности, действий, поступков, но по свету души, из него проистекающего. Поэтому под «поступками» мы понимаем не только внешние действия (actus externi), которые можно увидеть и описать, но и действия внутренние (actus interni) — так называемые движения души, ведомые только лишь тому, в чьей душе они свершаются. На четкую разницу между этими двумя группами поступков явственно указано в Декалоге: VI заповедь («не прелюбодействуй») и IX — («не возжелай жены ближнего твоего»). Речь идет о человеческой личности другого пола, где главное — не пол, а личность. В собственно плоти заключена моральная опасность, связанная с телесным вожделением. Человеческая личность же

потому и есть личность, что являет собой лик любви, которая является духом христианства. «Бог есть любовь» (Перв. посл. Иоанна, 4, 8). Христос указал в любви безусловный первоисточник всякого свершения, деяния, творчества. Любовь есть первопричина, первооснова величайшей человеческой способности — принимать, утверждать и творить. В любви любящий сливается с предметом любви, отдает себя ему и принимает его в себя. В результате возникает нечто новое: так происходит в браке, в рождении детей. Христианство подарило миру идею личной, бессмертной души, индивидуальной по своему дару и ответственности, неповторимой в любви, то есть идею метафизического своеобразия человека.

'Passenger from the Land of Light–Nuristan"
(Pakistan, 1978)
–photograph by Bohumil Krcil

THE HOUSE ON VIA GOMBITO:
Writing by North American Women Abroad
edited by Madelon Sprengnether and C. W. Truesdale

"The nearly 50 short pieces of travel writing that comprise this volume display such a wealth of perspectives and explore such a variety of locales that the book is a splendid adventure in its own right." –*Publishers Weekly*
520 pages, $14.95 (paperback)

THE BOUNDARIES OF TWILIGHT:
Czecho-Slovak Writing from the New World
edited by C. J. Hribal

Writing by 54 Czech immigrants and recent emigrés in North America. Also includes work of four emigré photographers. A stunning collection.
370 pages, $14.95 (paperback)

NEW RIVERS PRESS
420 North 5th Street/Suite 910
Minneapolis, Minnesota, 55401

ДРУГАЯ УЧАСТЬ

Мысли о русской диаспоре

Была бы родина добрей,
Исчез бы сразу brain drain...[1]

(Из юношеского стихотворения моего друга, одного из стойко остающихся.)

Что за странные слова: tsarevich, sharashka? В каких экзотических землях люди носят имена Vassily, Savva, Pyotr? Неужели это все наше, российское? Непривычно выглядят «царевичи» (не говоря уж о «шарашках») в одеждах латинского алфавита. Чудно им, неуютно. Вот и букв недостает: «ц», «ч». Но зато в чужеземной среде, на страницах иноязычной книги, самые простые русские слова вдруг обретают особое трогательное достоинство. Они как бы говорят: вот, смотрите, как трудно сохраниться в неродной стихии, как мало от нас осталось, но все-таки мы сохранились...

Я думал об этом, читая книгу «Другая Россия», недавно изданную в Англии[2]. Это сборник воспоминаний русских эмигрантов. Составители, Норман Стоун и Майкл Гленни, поместили в нем в переводе на английский язык записанные в разные годы устные мемуары более чем пятидесяти пяти бывших поданных Российской империи и граждан Советского Союза, ныне живущих в странах Запада. О своей жизни на родине и чужбине вспоминают люди с самым разным прошлым: от придворной дамы до местечкового марксиста, уехавшие взрослыми и родившиеся за границей, преуспевающие и живущие скромно (нищих, похоже, нет). Представлены все три волны эмиграции: первая — послереволюционная, вторая — послевоенная и третья — последних десятилетий.

На протяжении целой эпохи в советской печати об эмиграции полагалось высказываться либо с безусловным осуждением, либо — в лучшем случае — со снисходительным и чуть брезгливым сочувствием. Мой отец Виктор Маевский, объездивший полсвета журналист-международник, в шестидесятые годы писал: «Как-то мы проезжали американский Стратфорд. Неподалеку от шоссе увидели церковь из красного кирпича под пятью позолоченными куполами. Кто-то из американцев сказал:

— Здесь живет авиаконструктор Сикорский. Это он построил.

Что ж, наверное, замаливал грехи перед Богом и матушкой-Россией».

Не мне судить о грехах Сикорского, но характерно, что в ту пору у нас никому бы просто в голову не пришло задаться вопросом (по крайней мере публично): а может, и матушка-Россия перед ним не без вины?

Времена меняются. Русское зарубежье постепенно вырисовывается перед нами, жителями СССР, в своем истинном значении. С опозданием, зато всей страной мы прочитали и Набокова, и Бердяева, и Авторханова. Но, похоже, мы пока что далеко не в полной мере осознали, что эмиграция — это прежде всего национальная трагедия.

Есть эмигранты заметные, охотно высказывающиеся, очень помогающие советами, как обустроить, да и просто незашоренной русской мыслью и словом. К ним у нас живейший интерес. И есть тихие, живущие частной жизнью. О них мы ничего не знаем. Вот таких в основном и расспрашивали Стоун и Гленни — расспрашивали с англосаксонской, непривычной для советского идеологизированного читателя внимательностью и уважением к этой самой частной жизни. Составившие книгу голоса звучат подчеркнуто скромно. Никаких попыток представить себя мучениками или героями, никаких претензий на роль борцов за какое бы то ни было святое дело (хотя борцы среди них есть). Люди просто рассказывают о том, как жили. «Как узнать, правду они говорят или нет? — спрашивают в

---

[1] Утечка мозгов *(англ.)*.

[2] Norman Stone and Michael Glenny. The Other Russia. London — Boston, Faber and Faber, 1990.

послесловии составители, а правильнее было бы сказать — создатели сборника.— Мы и не пытались это выяснить; мы относились к их рассказам как к источникам, открытым для критики. Мы [лишь] отобрали и тщательно отредактировали те источники, которые производили на нас впечатление достоверных».

Из незначительных, казалось бы, житейских эпизодов, из обрывков семейных хроник, из событий, если и общественных, то скорее маргинальных, перед читателем возникает своего рода пунктирная история Зарубежья, вызывающая горестное недоумение: что же это за страна, если она с таким упорством все обращает и обращает в бегство своих граждан — поколение за поколением, волну за волной?

Леонид Пущин, правнук декабриста, депутат Государственной думы: бежал сразу после Февральской (еще до Октябрьской!) от гнева революционного народа (разбушевавшейся толпы?). Ефим Лазебников, нефтепромышленник: бежал в начале гражданской от еврейских погромов. Иван Юхоцкий, инженер: бежал вскоре после гражданской от голода. Василий Соколов, казацкий сын, переживший коллективизацию и голодный мор на Украине: ушел с немцами в конце Отечественной. Арвидс Юревицс, латыш, свидетель массовых депортаций латышей в Сибирь в сороковом и сорок первом: ушел так же и тогда же. Виталий Комар, художник, участник «бульдозерных» выставок: уехал в семьдесят седьмом, потому что не выставляли. Виктория Муллова, скрипачка, лауреат конкурса Чайковского: «осталась» в восемьдесят третьем, потому что была влюблена и хотела покорить мир.

Если бы не бежали, то самосуд, расстрел, ГУЛАГ, жизнь впроголодь, невозможность делать то, что умеешь и любишь. Кто не бежал (таких гораздо больше — вся страна), с теми, в общем-то, все это и произошло.

Специфически советская проблема: *как* бежать. Это ведь не отъезд европейцев в Америку или японцев в Бразилию. Это такая эмиграция, когда эмигрировать абсолютно невозможно, и тем не менее... Какие только способы продраться сквозь железный занавес не описаны в этой книге! Самый сенсационный изложен в начале и сделан как бы эпиграфом к сборнику: в 1975 году океанолог Слава Курилов, безнадежно невыездной, исхитрился купить путевку на советский теплоход, совершавший прогулочный круиз по тропическим морям без захода в иностранные порты, и в виду одного из островков Филиппинского архипелага незамеченным спрыгнул с палубы в море. Плыл трое суток без отдыха (да, да!): сносило течением. Теплоход, с которого он спрыгнул, назывался «Советский Союз».

Жизнь в чужой стране, эмигрантская неприкаянность. Графиня Екатерина Нирот, урожденная Клейнмихель: «Мой муж зарабатывал 600 франков в месяц — гораздо меньше, чем наши друзья, работавшие таксистами. <...> Когда он в первый раз во Франции купил себе пару ботинок — а это произошло через несколько лет после того, как мы сюда приехали,— мы на них только смотрели, прошли недели, прежде чем он начал их носить». Леди Мария Вильямс, урожденная Пущина: «Вся жизнь [лондонских русских] сосредоточивалась вокруг церкви; это была наша единственная отрада, ведь у нас не было книг, не было игрушек, ничего не было. Никто ничего не имел. Мы одевались в чужие обноски. А церковь была прекрасна, там была изумительная музыка, свечи, иконы, ризы священников, удивительная атмосфера». Правда, это первая волна... Третья, похоже, видит эмиграцию иначе. «Когда я уезжал,— вспоминает бывший советский инженер, диссидент Валерий Фефёлов, эмигрировавший в 1982 году,— мои родители беспокоились, что на Западе моя семья и я умрем с голоду — это объяснялось непрерывной пропагандой в советских средствах массовой информации об ужасах жизни при капитализме. <...> Они даже присылали посылки с продуктами, чтобы нас поддержать, и перестали это делать только после того, как я послал *им* те западные товары, которые мог купить на свое австрийское пособие для беженцев,— фруктовый сок, растворимый кофе, консервы, шоколад и прочее; многие из этих продуктов они увидели впервые в жизни». Ранние эмигранты в большинстве своем окунались из достатка в нищету, теряли родовые гнезда, а нынешним и терять нечего, кроме квартирок в блочных домах... Впрочем, и квартирка бывает гнездом, разорять которое — страшно. Знаю по отъезжающим друзьям.

Читая «Другую Россию», убеждаешься, что эмигранты, как правило, продолжают чувствовать себя русскими и не сразу растворяются в среде. «Иногда вместо «Нью-Йорк» я говорю «Москва»,— признается Виталий Комар.— Это выходит машинально: например, разговариваешь по телефону с человеком, уехавшим в Вашингтон, и спрашиваешь: «Ну, так когда ты вернешься в Москву? — в смысле в Нью-Йорк!»

Трудно устоять перед соблазном увидеть в эмигрантском зарубежье некий рассредоточенный «остров Крым», запасную Россию (или Украину, или Армению — кому что захочется), своего рода параллельный мир, в котором реализуется — пусть в несколько призрачной форме — другой, более спокойный, счастливый, правильный вариант исторической участи нации. Воспоминания свидетельствуют, что многие эмигранты первого, часто и второго поколений ощущали себя именно создателями и хранителями такого параллельного мира, усматривая в этом свою высокую миссию. «Быть беженцем было в данной ситуации делом чести и гордости,— утверждает бывший помещик и царский чиновник Петр Шиловский.— Несмотря ни на что, мы были представителями той эпохи русской истории, которая дала миру многих гениев науки, философии, литературы и искусства». «Людям кажется смешным этот упрямый русский патриотизм,— говорит сын сахарозаводчика Иона Гальперин,— тем более что мы даже не русские, а евреи. Но вы не должны забывать, что во время войны, несмотря на Сталина, коммунизм и все прочее, мой отец считал себя прежде всего и в первую очередь русским...» «Я всегда мечтал о России,— вторит ему митрополит Московской

патриаршей православной церкви в Великобритании Антоний Блум.— Так было воспитано все мое поколение. Мы жили Россией, видели Россию в мечтах и снах». Прислушиваешься к этим голосам людей, бывших некогда твоими соотечественниками, и никак не можешь отделаться от ощущения, что, даже найдя себе прочное место в новом окружении, они оставались горсткой обездоленных людей, державшихся как могли. Ведь дети и внуки ассимилируются. Раньше в Лондоне, сокрушается о. Антоний, «были русские организации, молодежь, идеология, любовь к России, страстная церковная жизнь. Ничего этого больше нет». Конечно, прибывают новые русские, Родина исправно продолжает отторгать своих сыновей. Но, говорит о. Антоний, «новая эмиграция — эмиграция эгоистическая. <...> Эти эмигранты [просто] не хотят больше жить в советских условиях. <...> Это не идеологическая и не религиозная эмиграция». Не знаю, правда, к какому времени относятся эти слова — возможно, они сказаны еще до того, как нахлынула третья волна, очень сильно политизированная и в значительной своей части преданная русской идее. Но многим, очень многим и впрямь — лишь бы уехать.

К сожалению, это только у Набокова в романе «Ада» Россию удалось перетащить со всеми ее мужиками, избами и языком на пустующие земли Северной Америки. Наивно думать, что такая Россия могла бы надолго остаться Россией (сам Набоков, как известно, ушел в англоязычные писатели), и, по-моему, было бы просто непорядочно возлагать какие-либо упования на такой вариант национального спасения.

Между тем в каком-то смысле фантазия Набокова уже осуществляется. Судя по всему, мы присутствуем при старте четвертой волны эмиграции, которая, подозреваю, будет самой массовой, эгоистичной и бесцеремонной из всех. Развитые страны уже бросились запирать от нас свои двери, но что-то мне не верится, что *их* заслоны устоят перед теми, кто способен пробиваться сквозь *наши*.

«По сей день я встречаю в Англии людей, совершенно убежденных, что русские <...> — все как один чеховские персонажи: слабые, <...> бесхребетные создания, погрязшие в житейских тяготах и неспособные им противостоять,— говорит Галина фон Мекк, отец которой в свое время был одним из крупных российских предпринимателей — председателем совета директоров Московско-Казанской железной дороги.— Но ведь в России было множество совсем других людей — понимаете, таких, которые работают, добиваются, творят, которые попадают в Москву, если хотят, в отличие от этих несчастных «трех сестер». Я никогда не могла понять, почему бы им просто-напросто не взять билет на поезд и не *поехать* в Москву!» Вот теперь они и едут — «в Москву, в смысле в Нью-Йорк» (в Тель-Авив, во Франкфурт — куда удастся). Мое поколение в детстве зазубривало: «Жизнь дается человеку один раз...» Нынешнее знает с пеленок: «...и прожить ее надо *там*».

Я рад за тех, кто уедет и приживется. Искренне желаю им счастья. Но проблемы страны с их отъездом все равно не решаются. Скорее усугубляются. Не создав другой России, процесс Исхода может оказаться одним из факторов дальнейшей деградации России первой и единственной. Ведь едут, что скрывать, те, у кого способности и предприимчивость выше среднего уровня. Чем меньше таких останется, тем хуже будет жить. Чем хуже будет жить, тем меньше таких останется. Вот такая тут действует обратная связь. Опасная связь: она имеет обыкновение приводить к лавинообразному нарастанию событий. Напомню, что в набоковской фантазии на месте бывшей России осталась Тартария — зона одичания и гибели.

При этом одичание, безусловно, не ограничится пределами собственно Тартарии. Аксеновский «Остров Крым» завершается кровавым вторжением на счастливый остров с континента. Полезно взглянуть на карту мира: на ней ясно видно, что вся Западная Европа — не более чем маленький, окруженный соблазнительно теплыми морями полуостров на западном краю огромной Евразии. Позволю себе привести еще одно свидетельство из книги Стоуна и Гленни. Приводить его мне страшно и стыдно, я даже готов признать его преувеличенным, но не могу счесть ложным. «Берлин во время войны был ужасен,— вспоминает дочь казацкого офицера Вера Калиновская.— Но еще хуже было, когда пришли русские. Это был кошмар... сплошное убийство, грабеж и насилие. Мне пришлось коротко подстричься, переодеться в мужское и выдавать себя за мальчика-подростка. Не осталось ни одной женщины — не важно, немки или нет,— которую бы не изнасиловали или не убили, часто и то, и другое. Даже советские офицеры, у которых я работала, предупреждали меня, что если я не буду ходить в мужской одежде, то мне не поздоровится». Спасибо Вере Федоровне за упоминание о наших офицерах, не потерявших чести и совести; останутся ли такие в Тартарии, если уедет весь ум?

Есть только один способ избежать такого поворота дела: придать эмиграции цивилизованный характер, начав с полной отмены ограничений на выезд, а также, разумеется, на въезд. Сдерживать разбегание граждан нет никакого смысла. Этот вариант историей уже опробован, и можно заранее с уверенностью сказать, что никакая власть от этого не только ничего не выиграет, но даже не сумеет подобные меры эффективно осуществить. Появятся (причем в изобилии) новые Славы Куриловы, и только. О том, насколько такое закручивание гаек обострит внутреннюю напряженность в стране, я уже не говорю. А вот если отъезд перестанет быть отчаянным прыжком в бездну, сожжением мостов, прощанием навеки, если люди будут уезжать на время, в том числе и на долгое, и возвращаться с деньгами и опытом, имея возможность и стимул пустить то и другое в дело *здесь*, если поездки в гости туда и прием гостей оттуда станут частью нашей повседневности, если Родина будет постоянно подкармливать Диаспору своим генетическим богатством, а Диаспора Родину — богатством информационным, в об-

щем — если разовьется и укрепится все, что наметилось...

Тогда я охотно подожду укладывать чемоданы.

ЕВГЕНИЙ МАЕВСКИЙ

Постскриптум редактора

Та сторона дела, о которой интересно рассуждает Е. Маевский, рецензируя сборник «Другая Россия», может быть дополнена вниманием к еще одному обстоятельству. Для некоторых коренных жителей Западной Европы и Америки, в том числе британских островов, Россия остается выделенной областью на карте, притягивающей, вопреки всему, их интерес и симпатии. Благородное племя славистов на Западе — сужу по опыту общения со многими из них — это нечто вроде рыцарского ордена людей, бескорыстно влюбленных в Россию, хоть и лишенных в этой любви слепоты и неразборчивости.

Таким был один из составителей этой книги Майкл Гленни (1927—1990). Красиво изданный толстый том — его последний подарок во время нашей встречи в Англии летом прошлого года.

Мы были знакомы четверть века. Я помню его молодым, с пышной шевелюрой, помню его раскатистый открытый смех, где каждое «ха» звучало раздельно (ха-ха-ха!). Как молодо и заразительно он звучал, опровергая легенду о чопорности англичан, под сводами бывшей монастырской гостиницы в Путинках, где размещалась редакция «Нового мира», и в доме Елены Сергеевны Булгаковой, где мы продолжили наше знакомство за овальным столом, под уютным светом большого абажура.

Свыше полутора десятилетий после этого Майкла Гленни не пускали в Россию (переводчик Солженицына!), а мне был закрыт выезд на Запад. За это время Майкл Гленни получил репутацию выдающегося мастера перевода, литературоведа и историка, немало сделавшего для русской литературы. Он переводил Набокова и Бабеля, Трифонова и Приставкина, Петрушевскую и Г. Горина, составил антологию «Нового мира» 60-х годов. Но главным его трудом был роман «Мастер и Маргарита», благодаря ему ставший известным в бессчетных изданиях читающему по-английски миру.

В прошлом июне он проехал несколько сот миль только для того, чтобы присутствовать на моей лекции о Булгакове в Оксфорде, и этими беглыми заметками я отдаю малый долг нашей четвертьвековой дружбе. Я знал, что он только что перенес инфаркт — следствие крайнего переутомления: днями и ночами переводил мемуары Б. Ельцина, спеша поспеть к назначенному издателем сроку. После болезни Майкл выглядел постаревшим, потускневшим и уже не смеялся открытым смехом (ха-ха-ха!). Но он потащил меня в самый дорогой ресторан и набросился с расспросами, что у нас происходит. Наклонившись через столик, с чуть опущенной нижней губой и добрыми, навыкате, глазами, он восклицал через каждые два-три слова: «Неужели?!» Это любимое его словечко, произносимое с неповторимым мягким «ж» («неужьели?!») выражало одновременно изумление, испуг, восторг, надежду. В ожидании, когда нам подадут черепаховый суп, налив в узкий бокал прохладное шабли, он сказал: «За Россию! Я отдал почти пятьдесят лет общению с вашей страной и не мог бы пережить ее крушения...»

Потом мы долго гуляли по старинным узким улочкам Оксфорда, где каждый сквозной проход, каждая арка были знакомы ему с юности, заходили в Крайст-Чёрч — колледж, где он учился. Майкл рассказывал, что поступил сюда, придя из армии, кажется, он служил военным моряком. Его уговорили взять специальностью русский язык: в те годы считалось, что Россия — вероятный противник в будущей войне, и военное ведомство было заинтересовано в таких специалистах. Но для Гленни Россия — с ее языком, ее прошлым, ее писателями — стала искренней и глубокой страстью...

Наши разговоры продолжились дней десять спустя, когда я навестил Гленни на его семейной ферме под Нориджем. Он встретил меня с машиной на полпути, на вокзале в Питсбо («В Петербурге, по-нашему, не ошибешься»,— наставлял меня заранее Майкл). Не слушая возражений (всего два месяца после инфаркта!), он схватил мои чемоданы, погрузил в багажник, сел за руль и покатил по зеленой, равнинной Восточной Англии, поясняя по дороге, что это подобие нашей Украины. В давние века приглашенные англами голландцы прорыли у морского побережья систему каналов и сделали топкую низину пригодной для земледелия: теперь здесь плодородные земли и лучшие в Англии урожаи пшеницы, ячменя, гороха.

До фермы оставалось всего две-три мили, и мы проезжали по аллее цветущих деревьев, сумасшедше ярких светло-лиловых рододендронов, когда на дорогу перед самой машиной вылетела сорока. «Одна,— с сожалением констатировал Гленни.— Две было бы к удаче». И пояснил, что одна сорока, по местным поверьям, сулит несчастье. Дорожное впечатление прошло легкой тенью и забылось, тем более что ничего недоброго на ферме нас не ждало. Напротив, все складывалось на редкость удачно: я восхищался тем, что видел, Гленни с искренним изумлением восклицал: «Неужьели?»

Ривермонт — маленькое местечко на восточном берегу, от которого давно отступило море. Семья Элизабет, жены Гленни, уже 300 лет ведет в этих местах фермерское хозяйство. Майкл и Элизабет не без гордости показывали мне его: сад, огород, свой только что обновленный коттедж и дом отца — маленький замок XVIII века со старинной мебелью, портретами, часами в деревянном футляре. Сам старик — фермер с больными ногами — каждое утро с трудом забирается в джип и, лихо правя, объезжает поля (каких-нибудь 600 акров, двести с небольшим гектаров по-нашему). Ему помогает Элизабет — быстрая, дельная, в летней кофточке и брюках, с обветренным на полях лицом. Когда я познакомился с ней в Москве, в один из приездов Гленни, она показалась мне застенчивой, смущенной, потерявшейся в шуме большого города. Здесь она была в своей стихии — будто

летала по межам и дорожкам и перекидывалась добродушными насмешливыми замечаниями с молодыми работниками (к слову сказать, их здесь четверо, и к их услугам пять тракторов, комбайн, сеялка и машина для уборки свеклы). В своем широком гостеприимстве Майкл подарил мне и сельскую Англию, и до сих пор подробности этих двух дней переполняют меня.

Вечером мы ужинали у камина, ели жареного фазана, подстреленного отцом Элизабет, и Гленни, желая посоветоваться, дал мне прочитать неведомо как попавшие к нему подлинные документы консисторского дела о Григории Распутине и дневник его дочери. Это казалось неправдоподобным: глубокая английская провинция, летняя ночь за окном фермы, пылающий камин, а я листаю тетрадку 1915 года с волнениями девочки-подростка за судьбу своего знаменитого и преступного отца!

На другой день Гленни проводил меня на вокзал в Норидж и дорогой, впервые так подробно, рассказывал историю своей семьи, предопределившую его пожизненную страсть к России. «Да ты, должно быть, русский с какого-нибудь бока?» — спрашивал я. «Неужьели? Ни одной капли русской крови!» — хохотал Майкл. Но отец Гленни, будущий авиационный генерал, в 1919 году оказался в Архангельске с группой английских оккупационных войск и привез кучу рассказов о России. В 20-е годы его мать, английская балерина, работала в труппе Дягилева, выучила русский язык и свела тесную дружбу с Тамарой Карсавиной (в ее честь одна из дочерей Гленни названа Тамарой).

Для книги «Другая Россия» Майкл вместе с Норманом Стоуном записал на магнитную пленку более трехсот рассказов русских эмигрантов, в основном старшего поколения (они использованы в книге лишь частично). Делая эту работу, он, возможно, досадовал, что запомнил далеко не все из того, что рассказывали отец с матерью.

Мы обнялись на прощанье на вокзале, сговорившись увидеться в Москве через полтора месяца. Но случилось так, что я больше с ним не встретился (одна сорока на дороге!). Меня не оказалось в городе, а он умер на второй или третий день по приезде в Москву от сердечного приступа 1 августа 1990 года.

Сейчас я думаю: почему он так охотно и подробно рассказывал мне напоследок о своей семье, о том, что таинственно соединило его с Россией? Не знаю. Может быть, предчувствовал что-то. А я записал эти подробности, будто угадывая его невысказанную волю.

Осталось заметить еще одно: вряд ли Гленни со своим коллегой ставили перед собой такую задачу, но чтение «Другой России» наталкивает на мысли и о России *той самой* — в какой мы живем сегодня. Горькие мысли. В том числе и о тех, кто готовится нынче к отлету.

В словах «утечка мозгов» слышится что-то технологически-кухонное. По-человечески понятна тяга из страны бедствующей, голодной, с неустоявшейся демократией — в сытые цивилизованные края, где можно попробовать черепаховый суп, пригубить шабли, и где жизнь, в сравнении с нашей, удобна, неунизительна и легка. Хотя, конечно, есть разница между насильственно выплеснутой первой, спасавшейся второй и отринутой третьей волной эмиграции — и теми, кто добровольно уезжает от дискомфорта, неразберихи и бедности наших дней. Наверное, не совсем справедливо называть этот новый исход «колбасно-джинсовой эмиграцией», как обмолвился недавно в нашей печати один из зарубежных русских, но нимба над ней уж наверняка не возникает. В свое время Альберт Швейцер из благополучной Европы уезжал в Черную Африку, в Ламбарене,— и это стало символом, высшим выражением внутреннего долга интеллигенции. А несколько ранее Чехов, которому не сиделось в спокойной, хлебосольной Москве, отправился на долгие месяцы по доброй воле на каторжный Сахалин. Крайне непопулярные сейчас примеры.

Но на фоне этих воспоминаний из головы у меня нейдет реплика на ходу, в районе Аэропортовской улицы, знакомого и вполне симпатичного литератора: «Еще не уезжаешь? А я уже оформил документы на семью... Нет, зачем навсегда? Но два-три года недурно где-нибудь вблизи Атлантики пересидеть всю эту заварушку».

Недурно. И все житейские резоны понятны. «Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше». Но люди русской интеллигенции, люди литературы?..

Впрочем, это уже в сторону от темы Майкла Гленни. Однако отчего в сторону? Горько думать, что он умер в августовский день в Москве, едва прилетев из Лондона, вдали от дома и семьи. Но я испытываю за него и род гордости. Как и книга «Другая Россия» — это уже навсегда факт его биографии, сложившейся из пристрастного, неравнодушного чувства к ставшей близкой ему стране.

В. ЛАКШИН

ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ НА БЕЗУМИЕ?

Геймл Чентшинер говорит Грейдингеру: «Вас считают мистиком, а на самом деле вы — сверхреалист».

В это определение есть смысл вдуматься как в прямую автохарактеристику, хотя оно извлечено мною из художественного текста, из романа «Шоша»[1], где Геймл, персонаж вымышленный, дает это определение персонажу вымышленному же — Аарону Грейдингеру, он же Ареле, он же Цуцик, он же муж Шоши, герой «Шоши», автор, рассказчик, повествователь в «Шоше» и вместе с тем — действующее лицо.

Но, во-первых, роман написан настолько точным и жестким пером, что зафиксиро-

[1] Роман «Шоша» в переводе с английского Нины Брумберг опубликован в журнале «Урал», 1990, № 7, 8.

ванные в нем мысли обладают привкусом документальности, хотя и отнесены к лицам вымышленным, и Геймл, вероятно, на самом деле звался как-то иначе, а может, и вообще не дожил, не добрался до Земли Обетованной и не беседовал с автором в Тель-Авиве, а сгинул где-нибудь в Варшаве, в гетто, или под Белостоком, при попытке перейти границу, или под Джезказганом, в лагере. Когда читаешь «Шошу», ощущаешь, что все, сказанное там,— не только плод позднейших мучительных раздумий автора, но запись именно тогдашнего состояния: тогдашних иллюзий, тогдашнего неведения, тогдашних предчувствий.

Во-вторых, Ареле, повествователь в «Шоше»,— это, в сущности, и есть Зингер, Исаак Башевис Зингер, сын раввина, родившийся в 1914 году в польском местечке, ставший известным варшавским журналистом при Пилсудском, а затем, уже в рузвельтовской Америке,— признанным беллетристом. Ставший знаменитым писателем в англоязычном мире с момента, когда в 1953 году Сол Беллоу впервые перевел его с идиш на английский. Ставший известным всемирно, когда на склоне лет нашла его Нобелевская премия и поставила рядом с другим нобелевским лауреатом, Агноном, и обнаружился глубокий смысл в этом соседстве, потому что Агнон писал на иврите, а Зингер — на идиш, и так два крыла соединились: Израиль и Диаспора, Земля и Изгнание, Почва и Воздух, Тайна и Реальность.

А Тайна — что такое? Не сверхреальность?

Поистине, у нас есть основания вдуматься в то двойное самоопределение, которое Исаак Зингер дает себе устами Геймла: мистик либо сверхреалист. Конечно, у современного русского читателя маловато материала для полного ответа на этот вопрос; тут надо бы учесть десятки повестей и романов, написанных Зингером (плюс огромный массив его журналистики, плюс мемуары, плюс книжки для детей, плюс критические работы). Дюжина рассказов, переведенных Львом Беринским и им же откомментированных [1],— не слишком много даже в дополнение к «Шоше». Но все-таки «Шоша» — мировая классика, и, слава Богу, мы получили ее не через полвека, а всего через двенадцать лет после первой публикации: в США роман вышел в 1978 году.

И мы можем судить по этой книге, какой перед нами реалист.

Сверхреалист — это хорошо сказано. В координатах Крахмальной улицы, доживающей последние недели перед гитлеровским пришествием, обнажается истина, в свете которой несть ни раввина, ни хасида; может быть, именно скрупулезнейший, почти протокольный реализм романа «Шоша» (даны результирующие поступки, но нигде не даны мотивировки: тот, кто вдается в мотивировки, всего лишь ставит очередную декорацию; сам автор тоже не вдается: он мотивов «не знает») — так вот: этот протокольный» ритм делает роман «Шоша» (мистически» одной из самых потрясающих книг о трагедии еврейства, а через нее — о трагедии современного человека, тайна бытия которого темна для него самого, ибо путь спасения, который он ищет, он ищет, в сущности, вслепую.

Гибель сдвоена. Поляки зажаты между двумя сближающимися диктатурами: фашистской и советской, между сталью Гитлера и сталью Сталина. Евреи зажаты среди поляков. Изгои среди изгоев. Круг обреченных внутри круга обреченных. Зеркала отбрасывают все от краев в центр, центр двоится и обманывает зрение. Из-под вопроса «как спасаться?» — встает другой вопрос, еще более страшный — «надо ли спасаться?» Из-под отсутствия ответа зияет бездонье: пустота, безбытие, крах смысла.

Над пустотой сплетен хрупкий узор еврейского быта. Его подробности оптичны, как голограмма; в их непреложности сквозит странный ответ бездне: незамечание ее, при полном осознании, что ты на краю. Со двора доносятся запахи и голоса: «Багелки! Горячие пышки! Сливы, сочные сливы!» Бродячий скрипач тянет свою мелодию, спутница его бьет в бубен, собирая милостыню. Пахнет едой, еврейской кухней, запеканкой из крупы с фасолью. Вы видите, как раскачивается раввин при молитве. Вы видите обтрепанные книги, дыры на старых атласных лапсердаках. Зингер врезает детали в ваше сознание так, словно их надо запомнить, потому что все это — в последний раз. Между деталями связей нет: вакуум.

Портреты, осязаемые до дагерротипности. Сросшиеся брови, толстый нос и сигара Файтельзона... Зачем? Эти детали не будут ни повторяться, ни нагнетаться, ни акцентироваться. Они повиснут в воздухе как посмертные маски. Бархатный черный берет и рыжие короткие волосы Бетти Слоним. Мерцающие глаза курносенькой Доры. Хрупкая фигурка и меховая шапка Геймла. И — поток слов, идей, теорий, мечущийся между фигурами, крутящийся, как водоворот. Зингер дает своим героям выговориться, исчерпывая одну за другой всепожирающие доктрины предгрозовых лет. Доктрины смотрятся друг в друга, как в зеркала: все отражается и выворачивается. Дора, кинувшаяся в Советский Союз, видит, как там коммунисты пытают коммунистов. Люди, рвавшиеся сломать хребет мировой буржуазии, убеждаются, что хребет будут ломать им, и не враги, а соратники, в ряды которых они так рвались. Есть от чего сойти с ума. Дурной сон, спектакль и, увы, жизнь. Бежать! В Америку? «Весь мир хочет подражать Америке», но за американским патентованным оптимизмом прячется такой же ужас, такое же ожидание катастрофы. Чем проницательней человек, тем ясней видит он пустоту декораций: все играют в пьесе по имени жизнь, все ценности в ней — только правила игры. Файтельзон, развивающий эти идеи, — крайняя ступень демонизма, это самосжирание разума, описывающего свою погибель и отказывающегося изменить что-либо в фатальном ходе вещей.

Вот тут и возникает ощущение жизни, которая равна смерти. Первая фраза романа «С детства я знал три мертвых языка: древнееврейский, арамейский и идиш...», вроде бы вводящая нас в раввиническую культуру рассказчика, на самом деле вводит нас в царство мертвых. «Стояла такая тишина, что я слышал эхо собственных шагов».

---

[1] См. «ИЛ», 1989, № 4.

Все — над пропастью: запах субботней еды, древние книги, жизнь евреев, которых иные поляки считают злокачественной опухолью в теле Польши, жизнь самих поляков, которые вот-вот будут раздавлены столкновением двух гигантских военно-политических машин; да и сами эти машины висят над пропастью: еще не добравшись друг до друга, они сжирают сами себя, истребляют своих сторонников.

В этом предгрозовом вакууме нельзя связать разумом ни доводы, ни события. Они и не связаны: события и доводы возникают как тени в тумане, и когда от повествователя требуется объяснить его собственные решения, он отвечает: «Не знаю».

Почему он не бежит из Польши, где вот-вот зажгут печи Освенцима?

— Не знаю.

Почему не спасается по «визе» Бетти Слоним в Америку?

— Не знаю.

Почему женится на «дурочке», «блаженной», на девочке Шоше, место которой «в лечебнице»?

— Не знаю.

Он носит обидное прозвище «Цуцик» и не ощущает обиды. Он как бы не вникает во все это. «Не знает».

Он, может быть, и не знает, литератор Аарон Грейдингер. Но его автор, Башевис Зингер, знает. Знает многое, чего не знает его герой, потому что автор «Шоши» взвесил самое страшное.

Самое страшное в судьбе еврея, оказавшегося в окружении химер: химерой ему начинает казаться и его собственное еврейство. Последнее, что есть у него.

Коммунизм, фашизм, американизм... даже релятивистский демонический файтельзонов скепсис, квинтэссенция европейского самодостаточного просветительства — все химеры, которые вот-вот рассыплются в столкновении. Традиционное еврейское сознание предлагает своим детищам тысячелетний рецепт спасения — верность. Верность ритуалу, верность старым книгам, верность масляному фитильку в ханукальный вечер, верность носовому платочку, которым раввин прикрывает сиденье в пролетке: а вдруг трефное, нечистое? Верность тысячелетней народной привычке, в которой «чистота» миснагитов сливается с «пестротой» хасидов. «Еврейскость» как таковая.

Но рушится и это. Трагедия евреев в том, что они не могут перестать быть евреями даже тогда, когда страстно хотят перестать ими быть. Клеймо диаспоры горит в их душах, хотя и по культуре, и по быту, и по языку они — «совсем американцы», или «совсем поляки», или «совсем советские люди». Но в тот момент, когда герой Зингера осознает, что он, еврей, не может быть никем другим — только евреем, но и жить по заветам своих предков тоже уже не может, в этот момент разум доходит до трагической точки.

Что же спасет душу от темного безумия? Разум? Нет. Только безумие же. Светлое безумие.

И вот как спасение является интеллектуалу, хасиду, скептику, протестанту, отпрыску раввина, адепту просвещения — дурочка.

Шоша.

Тонкие пальчики, светлые волосики, голубые глаза. Ангел? Нет. Воплощение «надмирности», «нездешности»? Нет. Нечто аскетическое, бесплотно-духовное или, как это бывало не в пасхально-европейском, а в нашем, русском, «азиатском» варианте, нечто пророчески-смердящее, с разодранными язвами? Нет, нет, нет!

Потрясающая сила этого образа, достойного войти, как я уверен, в мировой пантеон праведниц,— в том, что еврейская праведница соткана не из отрицаний, а из тысячелетних элементарных бытовых обыкновенностей утверждаемой жизни. Сходить в лавку за товаром. Испугаться, когда страшно. Любить маму. Выйти замуж по любви. Реакции и чувства нормального человека — ненормально в Шоше только одно: она во все это действительно верит. Так, словно нет сжигающей все химерической «антисвязи» фактов. Эта ненормальная нормальность гениально вписана в безблагодатный, химерический мир, и потому именно она — ответ бессмыслице. И потому изощренный писатель Аарон Грейдингер, которого «знают в Америке», отказывается и от спасительной «визы», и от искренней помощи влюбленных в него поклонниц, разумных и практичных, заокеански благополучных,— он женится на блаженной дурочке и остается с ней ждать своей судьбы. И потому роман «Шоша» — совершенное произведение великого писателя, воплотившего невоплотимое: тайну перехода смерти в жизнь в точнейших «декорациях» Польши 1939 года.

Теперь я возвращаюсь к основам его мироощущения. Связь реальности и смысла потеряна. Связь земли и неба утрачена. Все связи попраны, подменены, спутаны. Смешано все. «Водовоз стал раввином, раввин — банщиком, конокрад — писарем, а писарь — балагулой. Черт стал управлять ешиботом...» В рассказах Зингера этот карнавал был выдержан в народном духе и напоминал то о мудрости хасидов, то об очаровании Гоголя, так что и самого Зингера можно было счесть «писателем-мистиком». Но когда светопреставление разыгрывается в точнейшей, протокольной картине польской истории, где «католики» винят во всем «иудеев» и сами будут вот-вот вместе с ними раздавлены двумя армиями, и армии эти столкнутся в мировой войне, а пока уничтожают сами себя,— и это все не бред, не бесовский розыгрыш, а календарная текущая реальность,— то уж тут перед нами не «мистик», а реалист, что не мешает тому, что он еще и сверхреалист.

«Сверх...» — потому что понять последний смысл этого катастрофического безумия можно, только вырвавшись из его пределов в какое-то запредельное сознание. Туда, где нет «исторического времени» (с его формациями, целями, средствами, этапами и этапированием к этапам), ни «исторического пространства» (с его границами и ломкой границ). Туда, где Смерть становится равна Жизни. Где *не надо* спрашивать о Смысле, потому что это выше сил того «полураздавленного насекомого», каким является в истории человек. «У человека столько же свободы, сколько у механизма в моих наручных часах или у мухи, сидящей на краю моего блюдечка. Одни и те же силы вели Гитлера и Сталина, папу римского и Рабби

из Гура — молекулу в центре земли и галактику, которая находится на расстоянии биллиона световых лет от Млечного Пути. Слепые силы? Всевидящие силы? Это уже не важно. Всем нам предстоит сыграть свои маленькие роли и быть раздавленными».

Знатоки современной литературы и специалисты по еврейской ментальности могут поискать этим мыслям аналоги в духовной культуре XX века. Например, сравнить концепцию Башевиса Зингера с концепцией Василия Гроссмана, другого великого еврея, не сумевшего прожить «заветами предков» и ринувшегося в этот «исторический мир»,— в романе «Жизнь и судьба» Гроссман создал ключевой для его мироощущения образ массы, магмы, каши, теста, в котором перемешивается жизнь. Гроссман верил, что мощью Разума можно преградить путь этой магме, этому безумию. Он титанически боролся с Распадом. Он знал, как и зачем воюет с ним.

Башевис Зингер — «не знает». Он не титан, он — «Цуцик». Его ответ — голубые глаза Шоши. «Ареле, сам Бог послал мне тебя...» «Ареле, зачем Бог создал нацистов?..» «Ареле, я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок...»

В какой же бездне всеобщего крушения и предательства должно было родиться — как ответ — это ощущение фатальной верности, верности как зачарованного антибреда!

Ареле не смог оставить Шошу, и потому они не убежали от нацистов. Вернее так: они бежали, но у Шоши было мало сил; она остановилась и умерла.

Святая?

Нет. Нормальная. В мире, который стоит на грани. Когда все небезумное кажется святым.

Л. АННИНСКИЙ

Два мнения

ЖАН РУО — ЛАУРЕАТ ГОНКУРОВСКОЙ ПРЕМИИ 1990 ГОДА

«Читали Руо?» — только и слышно со всех сторон. О нем говорят, его хвалят взыскательные критики, рекламируют солидные журналы... Появление нового писателя — всегда событие, а Руо, безусловно, настоящий писатель, на которого не влияет ни мода, ни конъюнктура, ни коммерция... Он пишет, потому что ему есть что сказать». Таков один из многих восторженных отзывов, которыми встретила парижская пресса книгу Жана Руо «Поля чести»[1]. Иные даже называют ее чуть ли не лучшим романом, написанным во Франции за последние несколько лет. Руо — лауреат Гонкуровской премии 1990 года. Впрочем, как показывает практика, это еще не гарантия того, что книга в самом деле лучшая из лучших. Вероятно, как и у нас в аналогичных случаях, выбор лауреатов не всегда определяется критериями чисто литературными. Однако на этот раз, если судить по откликам критиков (хотя случается слышать и другие мнения), избранник поразил французскую аудиторию необычностью тематики и стиля.

Роман открывается многостраничным описанием дождя. Дождь разбивается о лобовое стекло допотопного автомобиля, стекает струйками по окнам, пропитывает сыростью одежду, поит густую зелень. Одолевший эти два десятка виртуозно и нарочито медлительно написанных страниц — истинный адресат Руо, способный оценить его прозу. Минуя пелену дождя, мы оказываемся на острове прошлого, среди людей, чья молодость пришлась на начало XX века, неторопливую, уютную эпоху, вызывающую ностальгическую тоску. Старомодная изысканность манеры Руо соответствует характерам и жизненному укладу его героев. Это поколение стариков, доживающих свои дни в маленьком городке неподалеку от Нанта. Чудаковатые, но стойкие, верные давним привычкам и представлениям люди. Сюжета как такового в романе нет. Его главы посвящены то одному, то другому члену большого семейства, к которому принадлежит и сам автор. Тональность книги вернее всего было бы определить как элегию. Ирония здесь пронизана горечью, трагизм смягчен улыбкой. На глазах у читателей протекает самый конец жизни героев. Поэтому тень грусти примешивается даже к самым забавным воспоминаниям из их молодости.

Первым на страницах «Полей чести» предстает бравый дедушка Бюрго, тот самый, что едет на стареньком авто сквозь бесконечный нантский дождь. Этот молчун и нелюдим способен и на старости лет удивить домочадцев внезапной выходкой, вроде того случая, когда все семейство, сбиваясь с ног, искало и уже не чаяло найти его живым, между тем как он втихомолку отправился на побережье, известное всей округе бесстыдными нудистскими пляжами. А после смерти деда родственники узнают от его закадычного приятеля, старого монаха, о пристрастии покойного к долгим и глубоким беседам о смысле жизни. Началом летосчисления в семье служила дата свадьбы четы Бюрго, 1912 год. Отважная, неунывающая, деловитая г-жа Бюрго, неразлучная с мужем со дня венчания, в один год с ним и умерла.

Пожалуй, самый колоритный портрет в галерее Руо — образ тетушки Мари, неутомимой учительницы монастырской школы, набожно-суеверной, деятельной и не замечающей, как с годами становится все более комичной в глазах земляков. Тетушка Мари не чужда поэзии, она автор по меньшей мере двух замечательных и, главное, весьма полезных поэтических произведений: двух четверостиший, обращенных одно — к святому Христофору, другое — к святому Антонию. Первое должно обеспечивать экзаменующимся ученицам заступничество святого, второе предназначено для домашнего употребления, когда надо срочно отыскать затерявшуюся вещицу. В ранней молодости,

[1] Jean Rouaud. Le champs d'honneur. Paris. Les éditions de minuit, 1990.

ухаживая за умирающим братом Жозефом, Мари дала обет безбрачия. Смерть любимого племянника, тоже Жозефа, помутила разум старой учительницы.

Мировая война — рубеж веков, начало эпохи, когда все стало возможно и все дозволено. «Оливковый туман над полем Ипра», недоумение солдат, на чьи головы опускается это нежно-зеленое облако, и ад, кромешный ад, удушье... Руо, конечно, не единственный, кто обратился к изображению первой газовой атаки, события, которое со временем приобрело символический смысл. Однако его описание оставляет сильнейшее впечатление, возможно потому, что на фоне безмятежно-спокойного повествования эти несколько страниц оглушают, как взрыв. На «полях чести» первой мировой погибли братья Мари, Эмиль и Жозеф. Есть и еще одна глава, в которую погружаешься, перестав замечать буквы и строчки. В ней говорится о поездке третьего брата, Пьера, зимой 1929 года на поиски праха Эмиля...

Откровенно говоря, то, что французам в диковинку, нам привычно. Вот уже несколько лет мы читаем о прошлом наших отцов и дедов, читаем романы, повести, дневники и документы об их «крутом маршруте», по сравнению с которыми меркнет повествование Руо. Наш взгляд, приученный к воспаленно-красному и мрачно-черному, не воспринимает пастельных тонов. Но, может, наступит наконец время, когда мы перестанем бредить лагерями, ждать новых газовых атак, когда картины благополучной старости не будут навевать нам досадных мыслей об убогих приютах, и тогда мы сможем с удовольствием посвятить пару тихих вечеров чтению романа-элегии Жана Руо. И будем спрашивать друг друга: «Читали Руо? Какая прелесть...»

Н. МАВЛЕВИЧ

НОВЫЙ ЯРКИЙ ТАЛАНТ

«Поля чести» было написано на открытках с изображением святого, продававшихся в годы первой мировой войны: специальная рамочка на такой открытке предназначалась для того, чтобы вписать имя погибшего. В романе Жана Руо первая мировая война занимает немалое место: с нею связаны судьбы нескольких персонажей, один из них погибнет на «полях чести», другой попадет под газовую атаку немцев и будет объявлен погибшим, но его спасет самоотверженно за ним ухаживавшая сестра. Эпизод романа, в котором описано, как брат погибшего перевозит в 1929 году его останки с «полей чести» в семейный склеп,— жестокий эпизод. Может быть, самый жестокий. Покойника не удается опознать наверняка, скелет собирают по частям, но все это не имеет такого уж серьезного значения. Важен сам порыв Пьера, твердо знающего, что семейство Бюрго, к которому он принадлежит,— общность, перед которой бессильны даже такие разрушающие факторы, как мировая война; и на кладбище, с которого в романе все начинается и на котором все заканчивается, эта общность особенно ощутима: не тление, не пропасть небытия, но вечность человеческих связей.

Мне кажется, по крайней мере со времени Патрика Модиано столь яркого нового прозаика во французской литературе не появлялось. Присуждение роману никому не ведомого Жана Руо Гонкуровской премии — только закономерность при всей исключительности такого события (Гонкуровскими лауреатами обычно становятся авторы с прочно установившейся литературной репутацией.) «Поля чести» — роман в полном и неущемленном значении слова, живая и многообъемлющая книга, которая особенно радует после набивших оскомину упражнений в структуралистском и постструктуралистском духе. При этом ее никак не назовешь старомодной. Она ничего общего не имеет с традиционным семейным романом, где несколько поколений сменяют друг друга и неспешно охватывается десятилетие за десятилетием. У Руо время течет совершенно свободно, ассоциативные мостки перебрасываются от первой мировой войны к годам войны в Алжире, представители разных генераций семьи Бюрго появляются и исчезают как бы вполне произвольно, но прекрасно друг друга дополняя в той картине обыденности так называемого «среднего человека», обывателя, которую Руо и стремится воссоздать со всей симпатией к этим многажды осмеянным персонажам. Без всяких претензий на философические обобщения «Поля чести» становятся повествованием о жизни, а не просто о рядовой семье, обитающей в департаменте Нижняя Луара и занятой вполне прозаичными делами — лавка «Дамское счастье», посудный магазин, школа, монашеское служение, фермерство.

Рассказ ведется от первого лица множественного числа — не то внуки, не то правнуки первых Бюрго, когда-то составивших семейный союз вследствие сугубо практических соображений, но сумевших силой собственной человечности преодолеть пошлость подобных браков и стать семьей в лучшем и глубоко гуманном смысле понятия. Несколько десятилетий, показываемых отрывочно — то зима 1929 года, то лето 1940-го, то послевоенные времена,— заполнены тем, чем они и были заполнены для миллионов «средних» людей; не политикой, не войнами, не экономическими спадами, но будничными радостями и драмами, болезнями, ранними смертями, на чей-то вкус невзыскательными увлечениями вроде пристрастия дедушки к своему никудышному автомобилю и к одиноким прогулкам. Растут дети, племянники, внуки, не складывается личная жизнь у дочерей, в семейном архиве накапливаются фотографии, сделанные в армии, на фронте, и те, кто на этих фотографиях, вернутся уже вовсе не теми молодцами, какие смотрят с этих снимков,— если вообще вернутся. Круг за кругом повторяется один и тот же сюжет — драма обыденности, которой противостоит упорное для всех Бюрго стремление не подчиниться этой обыденности безвольно, совладать с нею исключительно силой гуманных начал, таящихся в

каждом. Истинными «полями чести» становятся вот эти невидимые и нефанфарные битвы, которые идут день за днем и год за годом, не увенчиваясь триумфами, но позволяя в любых обстоятельствах сохранить то лучшее, чем человек наделен от рождения.

Руо, конечно, не моралист, он по преимуществу писатель, наделенный замечательной способностью пластического изображения. Стиль повествования — чаще всего длинные пассажи, фиксирующие работу эмоциональной памяти,— естествен и неутомителен прежде всего благодаря обилию точных и выразительных деталей, расцвечивающих подчеркнуто непритязательное полотно. Порой это даже не проза, скорее, стихи в прозе,— скажем, вторая главка, которая вся посвящена одной теме: дождям, обязательной примете пейзажа Нижней Луары. Думаю, в сегодняшней прозе вообще нелегко указать другой пример такой же, как у Руо, органичности и пластики картин реального. Он может на нескольких страницах рассказывать о машине дедушки — откидной верх, потрескавшиеся бока, лужи на сиденьях, когда идет дождь,— и это ничуть не скучно читать, равно как описания монастыря, где привратником служил единственный настоящий друг дедушки, или вставную новеллу о могильщике, предавшем земле не одного Бюрго. Ни фабульных, ни прочих видимых скреп в этой прозе не требуется, все решает оркестровка, эмоциональная точность и единство тональности. В этих отношениях проза Руо безупречна.

Не хочется спешить с определениями: лирическая проза, социальная. Я бы сказал, что «Поля чести» — главным образом неаффектированный гимн рядовому человеку, изображенному без малейшей патетики, но с любовью, которая неподдельна. Совершенно ясно, что пришел новый яркий талант [1].

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

Интервью

МОРИС ФРИДБЕРГ: «Мы изучали русский язык как древнегреческий»

Профессор Иллинойсского университета (США) Морис Фридберг — один из тех западных славистов, с которыми наша критика в прошлом не церемонилась. «Потомок Мюнхгаузена», «Господин Ноздрев из Иллинойса» — сегодня американский ученый добродушно посмеивается над этими хлесткими прозвищами. А всего несколько лет назад подобные «оценки» означали для него полную невозможность когда-нибудь побывать в нашей стране. Выступая как-то по «Голосу Америки», М. Фридберг сказал, что советское литературоведение может гордиться тем, что изобрело новый литературный жанр: «неблагоприятную рецензию на недоступную книгу». И действительно, благодаря таким рецензиям имена многих и многих зарубежных исследователей русской и советской литературы остались нам неизвестны, а их труды, если таковые и попадали в наши библиотеки, пылились на полках спецхрана. Обкрадывая себя, свою культуру, мы обкрадывали и западных славистов, лишая их возможности работать у нас, в живой литературной и языковой среде, столь необходимой для их профессиональной деятельности. Теперь времена иные. Мы имеем возможность знакомить читателей с нашими зарубежными коллегами и их точкой зрения на нашу литературу.

Предоставляем слово Морису Фридбергу, автору нескольких книг, посвященных русской и советской литературе, множества статей, составителю антологий советской литературы, выходивших в США в течение последних десятилетий.

— Мы изучали русский язык как латынь или древнегреческий,— с улыбкой рассказывает Морис Фридберг,— не надеясь когда-нибудь услышать живую речь. «Может быть, там еще и говорят на этом языке, но кто их знает, не перешли ли они на «новояз», как у Оруэлла...» — шутили мы в университете.

— Однако по-русски вы прекрасно говорите...

— Над этим поработало первое поколение русских эмигрантов: эсеры, меньшевики, кадеты, монархисты. Мы, студенты, встречались с ними в Публичной библиотеке, куда они часто приходили, разговаривали с нами, с радостью помогали в наших «штудиях». Сейчас, задним числом, вижу, что перед моими глазами прошла живая русская история: Александр Федорович Керенский, Ираклий Церетели, Виктор Чернов, Борис Зайцев, Роман Гуль, Иван Елагин... Помню, в университете мы собирали деньги, посылки и отправляли их в Париж, чтобы поддержать бедствовавших тогда русских писателей, в том числе Бунина, Ремизова. А теперь они — классики... Огромный интерес вызвало у нас появление удивительного прозаика по фамилии Сирин, писавшего по-русски и по-английски. И хотя позднее я написал единственную в Америке отрицательную рецензию на его перевод «Евгения Онегина»,— между прочим он мне этого так никогда и не простил,— убежден, что Набоков, безусловно, великий художник. Недаром его и сегодня считают одним из самых крупных американских писателей XX столетия.

— А кто из современных русскоязычных писателей, живущих за рубежом, пользуется широким признанием в США?

— По-моему, в первую очередь, Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Другие только начинают вписываться в контекст западной литературы. Но это, наверное, естественно. Не забудьте, что крупные писатели первого эмигрантского поколения тоже не сразу обрели популярность за рубежом. В частности, Алданов и даже Бунин. Многое зависит от того, где печатаются современные прозаики и поэты. Довлатов был ав-

[1] «ИЛ» предполагает опубликовать роман Жана Руо в 1992 г.

тором очень хорошего журнала «Нью-Йоркер». Кстати, издания такого типа в России не существует, а жаль. Его уникальность в непринужденно-легкой учености. И хотя эрудиция присутствует во всех материалах, самое важное здесь — вкус. Изящество, тонкость и стиль. И никаких серьезных дискуссий, попахивающих академизмом, никаких сносок!

— В последние годы литературная жизнь в нашей стране круто изменилась. Но на смену эйфории, вызванной пибликациями произведений, пролежавших многие годы в столах писателей, наступило время упреков в адрес художников, сменивших перо на микрофон. Как выглядит эта ситуация со стороны?

— На мой взгляд, гласность и перестройка не дали еще серьезных литературных плодов. Опубликовано немало интересных произведений, но, как пишут у нас, они «только подают надежды». Роман «Дети Арбата» поначалу вызвал большой интерес. Но это длилось недолго. В художественном отношении роман слабый. Сейчас растет интерес к Татьяне Толстой. В свое время хвалили Грекову, Баранскую. Но я, например, считаю, что их успех объясняется «женской проблематикой», которая сейчас в большой моде у нас.

К сожалению, крупные ваши писатели, скажем, Валентин Распутин, ушли в политику. Другие, наверное, пишут сейчас книги, которые появятся через некоторое время. Уж если ребенка вынашивают девять месяцев, то на роман уходит не один год. Тем более что сейчас, на мой взгляд, настало время размышлений о назначении человека, его месте во вселенной. А такое быстро не пишется. В последние годы «вечные» темы почти ушли из русской литературы, но я уверен, они скоро вернутся. Ведь у вас такая богатая традиция. И кто знает, не живет ли сейчас где-нибудь современный Достоевский, размышляющий о религиозном кризисе и возрождении веры в вашей стране. Кстати, не сочтите это неделикатным, но одним из потрясений, пережитых мною здесь, оказалась огромная мода на религию. Именно мода. Повсюду я вижу священников. На официальных встречах академики подходят к ручке батюшки,— я это наблюдал в ИМЛИ. На Западе это не принято. Самые религиозные писатели считают веру глубоко личным делом, на людях такое просто не делается... Но, может быть, именно эта, не совсем понятная мне мода будет полезна, и в России возродится серьезный религиозный роман...

— Вы говорите о возрождении религиозной и философской прозы, а нас захлестывает «бум» на второсортное чтиво...

— Да, я заметил, что в метро люди подчас читают всякую дешевку. За этими книгами очереди стоят. Это плохо, но объяснимо. Ведь в русской литературе не принято было говорить, к примеру, о сексе. До последнего времени даже Фрейд был под запретом. Просто не признавали, что секс — естественное проявление человеческой природы. В литературе не было того, над чем мужики могли позубоскалить во время перерыва. И вдруг «это» появилось. Но поветрие пройдет. Будет как у нас: порнографию издают, но никто на нее не набрасывается. Однако дело не только в этом. В русской литературе традиционно отсутствуют легкие, развлекательные жанры. Почему в России гораздо больше, чем у нас, читают Джека Лондона? Потому что русского Джека Лондона просто нет, нет захватывающего приключенческого романа. Мальчикам в одиннадцать лет читать нечего. Да и хороших детективов у вас маловато. А в литературе, на мой взгляд, как в хорошей кухне, должно быть не только полезное, но и приятное. Добротное «чтиво» необходимо людям, и его надо взрастить.

Между прочим увлечение религией, сексуальными проблемами, мистической философией, предсказаниями, которое я увидел здесь, в чем-то напомнило мне атмосферу «серебряного века». По-моему, и тогда и сейчас — это естественная реакция на засилье политизированных романов. Отличие только в том, что сегодня все происходит на более низком, а порой и вульгарном уровне. Бедь тому «серебряному веку» предшествовали Толстой, Чехов и Достоевский. А нынешнему — лауреаты Сталинских премий... Сказывается и снижение общего уровня гуманитарного образования в России.

— У вас большой педагогический опыт, господин Фридберг.— Чем отличается американская система подготовки филологов от нашей?

— Прежде всего у нас педагогическая деятельность не отделена от научно-исследовательской работы. В США нет особых литературных институтов. Я, например, пишу статьи, книги, много печатаюсь, но одновременно преподаю. Мы считаем такое сочетание необходимым и полезным. Чтобы научить студента самостоятельно и независимо мыслить, преподаватель должен не просто следовать учебнику, а делиться своим собственным творческим опытом. У вас студенты слишком много времени уделяют учебникам. Конечно, это дело хорошее, но только для детей 10—12 лет. А вот двадцатилетним я бы их не давал, разве что по точным и естественным наукам. Мы издаем много учебной литературы, но на этих книгах не написано, что они допускаются министерством высшего образования в качестве учебных пособий в вузах. Преподаватель сам решает, по каким книгам учить студентов.

— Кстати, какими исследованиями вы заняты сейчас?

— Я заканчиваю работу над трилогией о «несоветской литературе в советском обществе» — так условно я ее называю. По моей классификации первым типом несоветской литературы в послереволюционный период была русская классика — ведь она создавалась не по указке Союза писателей. Моя книга так и называется: «Русская классика в советских обложках». Она вышла в 1962 году. Следующий том — «Десятилетие эйфории: западная литература в послесталинской России» (1977) — посвящен переводной литературе, выходившей в вашей стране во времена «оттепели». Как ее издавали, что выбирали, чего не печатали, что предпочитали и т. д. Сейчас я работаю

над третьим томом, который задуман как история художественного перевода в России. Я прочел все, что мог, по-английски, по-французски и по-немецки на эту тему и решил приехать в СССР, посмотреть своими глазами, как работают у вас переводчики. Меня между прочим интересовало, у кого поднималась рука делать купюры, скажем, в текстах Хемингуэя. Тут нет одной страницы, там две страницы пропущены. Мне объясняли, что я человек наивный и что это было необходимо для того, чтобы пробить книгу. А я действительно человек наивный и до сих пор не понимаю, какое они имели право решать за писателя. Вразумительного ответа я так и не получил. Тогда Хемингуэй был жив и можно было послать телеграмму с запросом: что вы предпочитаете — книгу с купюрами сейчас или без купюр когда-то в будущем, может быть, даже после вашей смерти.

Что я могу сказать о нынешнем состоянии переводческого дела в СССР? К сожалению, я обнаружил, что эти знающие, добросовестные люди испытывают большие трудности в своей работе. До сих пор почти не бывают в тех странах, которыми занимаются, редко встречаются с писателями, книги которых переводят. Да и со словарями у них, прямо скажем, туговато. Но, думаю, их положение будет меняться к лучшему, как вообще литературная ситуация в вашей стране. Во всяком случае, никаких препятствий для развития литературы я теперь не вижу. Уверен, если будет написан роман о вере и безверии или, скажем, эротическое произведение, вряд ли его не напечатают. И вовсе не страшно, что многие люди пока зачитываются гороскопами. Это временно.

Интервью подготовила В. ЖУКОВА

Выходит в свет

Памяти протоиерея Александра Меня
М., «Рудомино», 1992.

В этой книге, которую подготовило к печати издательство при Всесоюзной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино, собраны выступления видных деятелей церкви, русской и зарубежной, представителей науки, культуры, опубликованные в СССР или присланные из-за рубежа после трагической кончины отца Александра Меня.

Книгу открывает послание патриарха Московского и Всея Руси Алексия, а также слово, сказанное после отпевания митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Об отце Александре говорят его духовные дети, прихожане, друзья, последователи, люди, спасенные им от отчаяния безверия и бездуховности. Большой раздел составили статьи, очерки и воспоминания зарубежных авторов.

Кардинал Люстиже из Парижа, в частности, пишет: «Это варварское убийство — трагедия для всей страны, которая более чем когда-либо за всю свою историю нуждается в Благой вести и Евангелии. Убийство человека, отдавшего жизнь Богу,— это бунт против Бога и рана, нанесенная собственному народу».

Горечь и надежда звучат в статье священнослужителя из Польши, в свое время пережившей трагедию гибели священника Ежи Попелюшко, Генриха Прапоцки: «Поскольку к нам не доходили слова правды, слова Евангелия, поскольку мы не слышали голос Бога, Бог заговорил с нами через смерть своего священника. Оставил нас сиротами, но духовное сиротство всегда кратковременно, потому что новые служители Правды пойдут по стопам отца Александра...»

В каждой строке, напечатанной в этой книге, есть то, что хотелось бы назвать духовными всходами, светом надежды. В словах его паствы, наивных и трогательных сочинениях учеников воскресной школы, открытой священником в городе Пушкино, есть этот свет.

Книга иллюстрирована фотографиями, запечатлевшими отца Александра в разные периоды жизни.

Бельгия

СУДЬБА АЛЕКСИСА

Бельгийский режиссер Андре-Альбер Лёрё поставил моноспектакль «Алексис, или Трактат о тщетном противоборстве» по одноименному роману известной писательницы Маргерит Юрсенар. Почему возникла идея осуществить сценический вариант этого самого первого ее произведения, опубликованного в 1929 году? Вот как на этот вопрос отвечает исполнитель главной и единственной роли, молодой актер Жан-Шарль Моде: «Маргерит Юрсенар однажды сказала: «Настоящая жизнь — это горящие угольев, а в книгах остается лишь пепел от них». Нужно было дать прекрасному сочинению живое пламя, живую плоть».

Герой спектакля — юноша по имени Алексис — страстно влюблен в музыку, но, как оказывается, не только в нее... Решив избавиться от «греховного» влечения к мужчинам, он отрекается от него и даже от музыки — и обзаводится семьей. Но от себя не уйти — в конце концов Алексис бросает жену и ребенка и обретает душевный покой, приняв свою судьбу.

«Жан-Шарль Моде избрал для своего монолога страстный, но сдержанный тон»,— пишет «Магазин литтерер». Рецензент журнала отмечает интересное оформление сцены, предложенное Андре-Альбером Лёрё: большая красивая лестница, по которой и вокруг которой перемещается актер; заканчивается она у самой рампы ощетинившимися водосточными трубами. Порой повернувшись спиной к залу, с напряженными, связанными руками, юный Алексис открыт и беззащитен в этой своей открытости, благодаря чему постановка приобретает живые, не театральные черты и сохраняет присущую оригиналу драматичность.

Жан-Шарль Моде в моноспектакле «Алексис, или Трактат о тщетном противоборстве»
(Журнал «Магазин литтерер»)

Великобритания

ДВЕ ЭПОХИ В ОДНОЙ КНИГЕ

Каждый год книжный мир обсуждает очередной бестселлер. На этот раз им стал роман Антонии Байатт «Обладание», который американский журнал «Ньюсуик» называет «произведением о влиянии викторианской эпохи на чувства современного человека».

Сюжет романа прост: два молодых англичанина из числа «ученых сухарей» обнаруживают тайник с посланиями, которыми обменивались известный поэт викторианской эпохи Рандолф Генри Эш и поэтесса-затворница Кристабель Ламотт. Из писем явствует, что между их авторами был скрываемый от всех и, вероятно, не только эпистолярный роман. Этой переписке А. Байатт отвела большую часть книги, перемежая тексты посланий отрывками из произведений влюбленных. Поэтические строки Эша отличает витиеватость стиля, как, впрочем, и подобает изъясняться викторианцу; стихи Кристабель написаны в «дамской манере». Внутренний мир героини особенно ярко отражен в ее поэме о Мерлине, плененном колдуньей Вивианой. Кстати, сцена искушения Мерлина с картины художника-прерафаэлита Э. Бёрн-Джонса украсила обложку книги, что, по мнению рецензента, составляет одно из ее достоинств. Под стать увлекательному сюжету из прошлого и захватывающий финал истории современных героев: они совершают... ночное ограбление.

По отзыву одного из книготорговцев, «это произведение высокохудожественно, и понять его под силу лишь знатокам викторианской эпохи». Успех романа поразителен: престижная британская премия «Букер», ирландская литературная премия, крупный тираж в США. Но своим самым большим достижением пятидесятичетырехлетняя писательница считает долгожданное освобождение от «тени» именитой младшей сестры, Маргарет Дрэббл: «Все почему-то думают, что мы должны писать одинаково, а мы пишем по-разному».

«Вообще эта книга удалась потому, что я работала споро и сосредоточенно,— полагает писательница.— Предыдущие четыре романа получились бестолковыми — ведь тогда я разрывалась между литературным трудом, преподавательской работой и семьей». Теперь у А. Байатт есть и время, и средства, а значит — идеальные условия, чтобы начать следующую книгу, считает «Ньюсуик».

Германия

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — АВТОР ТЕЛЕДЕТЕКТИВА

Известный писатель Мартин Вальзер выступил в новой для себя роли. В соавторстве с Астой Шайб он написал сценарий для одного из фильмов популярной детективной телевизионной серии «Место преступления». Фильм называется «Бедный Нанош». В сюжете его, по мнению рецензента газеты «Франкфуртер альгемайне» Йохена Хибера, откровенно использованы мотивы «Кармен».

Герой фильма, сотрудник торговой фирмы Фровайн, влюбился в цыганку, «роковую женщину». Чтобы завязать с ней отношения, он выдает себя за телевизионного оператора, и его милостиво допускают в число многочисленных поклонников. Среди соперников оказывается и отец Фровайна — глава торговой фирмы, и цыган по имени Нанош, который стыдится своего происхождения и пытается его скрыть.

Значительная часть действия происходит в цыганском таборе. Здесь много любовных сцен, рокеры гоняют на мотоциклах, сюжет все более запутывается — все как положено в детективных фильмах. В конце концов героиня оказывается жертвой соперничества. Кто убийца?

Распутать дело, как всегда, берется главный герой сериала комиссар полиции Штевер (его роль исполняет артист Манфред Круг). В своей обычной, иронично-спокойной манере он исследует улики, допрашивает подозреваемых. Больше всего подозрений поначалу вызывает Нанош, но, как положено в детективах, именно он оказывается невиновным. Убийца — Фровайн.

Итак, обычкый детектив. Но неожиданно он вызвал резкую реакцию: Центральный совет цыган в Германии выступил с протестом, заявив, что Вальзер в нем эксплуатирует «известные расистские клише и предрассудки», изображая цыган как «потенциальных преступников по природе».

Йохен Зибер считает такие упреки абсолютно неправомерными. Фильм, конечно, не свободен от клише, но это клише, свойственные детективному жанру, и они отнюдь не расистского толка. Напротив, Вальзер выступает против скрытых расистских предрассудков, присущих, по его мнению, немцам, прямо напоминает об уроках истории, когда цыгане, как известно, жестоко преследовались нацистами. Именно эта воспитательная задача выделяет его работу среди других фильмов телесериала.

Испания

ПИСАТЬ ПРОСТО — КАК СЕРВАНТЕС

«С интервалом всего лишь в несколько месяцев Мигель Делибес опубликовал две книги, которые поначалу могут показаться незначительными среди прочих его произведений. Но на самом деле они вдвойне интересны, ибо наглядно демонстрируют мастерство Делибеса-рассказчика и раскрывают его личность, его образ мыслей и эстетические взгляды». Так мадридский журнал «Инсула» оценивает вышедшие в издательстве «Дестино» автобиографические заметки «Моя жизнь на открытом воздухе» с подзаголовком «Спортивные мемуары домоседа» и публицистический сборник «Развяжем языки!».

В основе первой книги — воспоминания автора о своем увлечении охотой, а эпиграфом служат слова Руссо: «Я могу размышлять, только когда хожу; стоит мне остановиться, как мысль замирает. Она движется в такт моим шагам». То же самое можно сказать и о манере письма Делибеса, поскольку его повествование сродни дорожным беседам — до того естественно его течение.

Тема охоты звучит и в книге «Развяжем языки!»: в главе «Охотничьи проделки Гойи» М. Делибес открывает читателю эту малоизвестную сторону жизни великого арагонского художника. Примечательно, по мнению журнала, само название книги, ибо оно позволяет судить о лингвистических вкусах писателя, который так объясняет свой выбор в предисловии: «Выражение «развязать языки» означает в переводе на бесцветный стиль «начать разговор». Понятно, комментирует далее «Инсула», что более выразительной М. Делибес считает народную речь — ей и отдает предпочтение.

Как полагают исследователи творчества писателя, азы ремесла будущий обладатель Национальной премии имени Сервантеса усвоил из «Учебника коммерческого права» Хоакина Гарригеса. Об этом говорит сам Делибес в главе «Гарригес — мой учитель», в которой признается, что именно этот человек пробудил в нем интерес к печатному слову и восхитил умелым с ним обращением. С литературоведческой точки зрения интересна глава «Развлекательный роман и серьезный роман», где автор, перефразируя Стендаля, дает такое любопытное определение: «Роман — не только зеркало, но и магнитофон на обочине». Рассуждая о секретах мастерства английского классика (глава «Загадка Диккенса»), писатель указывает на три его ценнейших качества: способность проникнуть в глубины человеческой души, умение четко выразиться и обладание индивидуальным стилем.

«Последнее из перечисленных достоинств — увы, редкое среди современных испанских писателей — присуще самому Мигелю Делибесу»,— замечает «Инсула». И секрет его собственного успеха, вероятно, кроется в том, что Делибес всегда оригинален и неизменно верен девизу Сервантеса «писать просто».

Италия

ТРЕТЬЯ УЛЫБКА ФОРТУНЫ

«Для Массимо Троизи число «три», вероятно, счастливое. Оно — своеобразный талисман, подкова, которая висит у него над дверью». Так начинается статья в журнале «Панорама» о новой работе популярного актера-комика. Фильм «Капитан Фракасс» снят по одноименному роману французского писателя прошлого века Теофиля Готье; сценарий известный режиссер Этторе Скола создал в соавторстве с Фурио Скарпелли.

В самом деле, продолжает журнал, «Капитан Фракасс» — третья за три года совместная работа М. Троизи и Э. Скола, которую они успешно завершили всего за три месяца. В прекрасном трио актеров, занятых в главных ролях (В. Перес — Капитан Фракасс и О. Мути — Серафина), Троизи-Пульчинелла очутился по счастливому творческому замыслу сценаристов, заменивших слугу Капитана классической неаполитанской маской «комедии дель арте». В основе своей киносюжет следует фабуле романа, в котором неопытный юный барон (впоследствии Капитан Фракасс), странствуя с труппой бродячих артистов, познает жизнь и становится зрелым мужчиной.

В интервью журналу «Панорама» М. Троизи так говорит о своем герое: «Пульчинелла — не столько маска, сколько живой человек, наделенный, однако, традиционными чертами этой маски. Он хитер, ловок, чревоугодлив и своекорыстен — но душе его знакомы боль и страдания. Мне кажется, по сути он — герой положительный, ибо искренен и честен перед самим собой, на что способны далеко не многие. Из современников таким был, пожалуй, лишь Пьер Паоло Пазолини — личность яркая, необыкновенная...»

Тепло и восторженно рассказывает о своей героине и Орнелла Мути: «Из всех ролей — а их у меня уже около пятидесяти — эта совершенно не похожа на предыдущие. Я впервые играла не коварную красавицу и обольстительницу: Серафина — чистая, благородная натура. Надеюсь, мне удалось передать лучшие свойства ее души: жизнерадостность и любовь к людям».

По мнению журнала, следует особо отметить заме-

Кадр из фильма Этторе Скола «Капитан Фракасс».

(Журнал «Панорама»)

чательную сценографию киноленты, великолепные костюмы персонажей, мастерски выполненные декорации. «Этот фильм,— считает «Панорама»,— будучи экранизацией французского романа, получился все же типично итальянским и по манере исполнения, и по атмосфере, созданной итальянскими актерами».

Португалия

ИНТЕРВЬЮ ДЛИНОЮ В КНИГУ

Необычно обширное интервью взял писатель Артур Портела у своего именитого коллеги Жозе Кардозо Пиреша. Материалы беседы легли в основу книги «Жозе Кардозо Пиреш о самом себе», куда также включены его биография и краткий автопортрет в прозе. О публикации новинки в издательстве «Дон Кихот» (серия «Образы») сообщает еженедельник «Жорнал де летраш», поместивший отрывки из книги и мини-интервью со старейшим португальским писателем.

«Литературный труд представляется мне как работа памяти и руки, сосредоточенная в ограниченном четырьмя полями пространстве — на листе бумаги; при этом автор мысленно обращается к воображаемому идеальному читателю,— считает Пиреш.— По мнению одного французского критика, между моим творчеством и, как он выразился, явлением «португальства» существует сложная и очень тонкая связь. Вероятно, он имел в виду мое журналистское восприятие Португалии, драматичные с ней отношения. Но я бы хотел, чтобы «португальство» чувствовалось и в моих художественных произведениях, ибо в каждом из них я стремлюсь к отождествлению с родиной и самим собой».

Жозе Кардозо Пиреш.

(Еженедельник «Жорнал де летраш»)

В книгах Пиреша преобладают героини, и это не случайно: «Нынешнее положение женщины в Португалии гораздо ярче отражает противоречия современности, чем положение мужчины — по крайней мере, с точки зрения социального неравенства,— объясняет писатель.— Кроме того, женщина от природы обладает более сильным чувством реальности, и поэтому я отдаю ей предпочтение в своих книгах».

Размышляя над проблемой профессионализма, Жозе Кардозо Пиреш (а он — один из немногих португальских писателей, зарабатывающих на жизнь исключительно литературным трудом) приходит к выводу, что беглость пера менее опасна, чем медлительность в работе. «Вымученность созданного не всегда служит гарантией мастерского исполнения. Стендаль, к примеру, писал бегло и был при этом гениален. Другое дело — располагать временем: оно поистине бесценно для автора».

Включение в книгу раздела «Автопортрет» можно считать вполне логичным, ибо, как пояснил Пиреш на страницах еженедельника: «Любой литературный автопортрет — это по сути разговор с самим собой. И здесь я не был оригинален, но надеюсь, что избежал типичного в таких случаях принародного «зализывания ран» и тем паче не дошел до скромности на грани юродствования. По-моему, такая скромность — фальшивая монета...»

США

ВОЗВРАЩЕНИЕ АРКАДИЯ РЕНКО

Десять лет назад молодой американский прозаик Мартин Круз Смит, которому не принесли славы написанные им наспех два десятка романов, решил нарушить каноны жанра и развернул традиционный гангстерский сюжет с таинственными убийствами и похищениями не в Чикаго и Нью-Йорке, а в Москве. Тема «империи зла» в начале 60-х годов только-только входила в политическую моду, и боевик «Парк Горького» (1981) произвел в Америке настоящую сенсацию. Успех романа, быстро ставшего «всемирным бестселлером», объяснялся, однако, не столько описанием интриг КГБ, сколько изображением повседневной жизни москвичей, среди которых основное внимание читателей привлек обаятельный главный герой — старший следователь Аркадий Ренко.

Спустя восемь лет писатель решил вновь вернуться к своему персонажу. Но времена изменились: в центре нового романа Смита «Полярная звезда», выпущенного нью-йоркским изда-

тельством «Рэндом хаус», не тайные аферы разведок двух сверхдержав, а... совместное советско-американское предприятие. Действие романа происходит на борту советского плавучего рыбозавода «Полярная звезда», который, курсируя в Беринговом проливе, перерабатывает улов американского траулера.

«Парк Горького» завершался тем, как в погоне за злоумышленниками Аркадий Ренко попадает в Соединенные Штаты. «Полярная звезда» повествует о его возвращении на родину и долгих мытарствах — судебном процессе, помещении в психиатрическую больницу, побеге из нее и скитаниях по сибирским городам, которые и привели его на борт «Полярной звезды». Здесь-то матрос Ренко волею случая и оказывается вовлеченным в новую круговерть тайн...

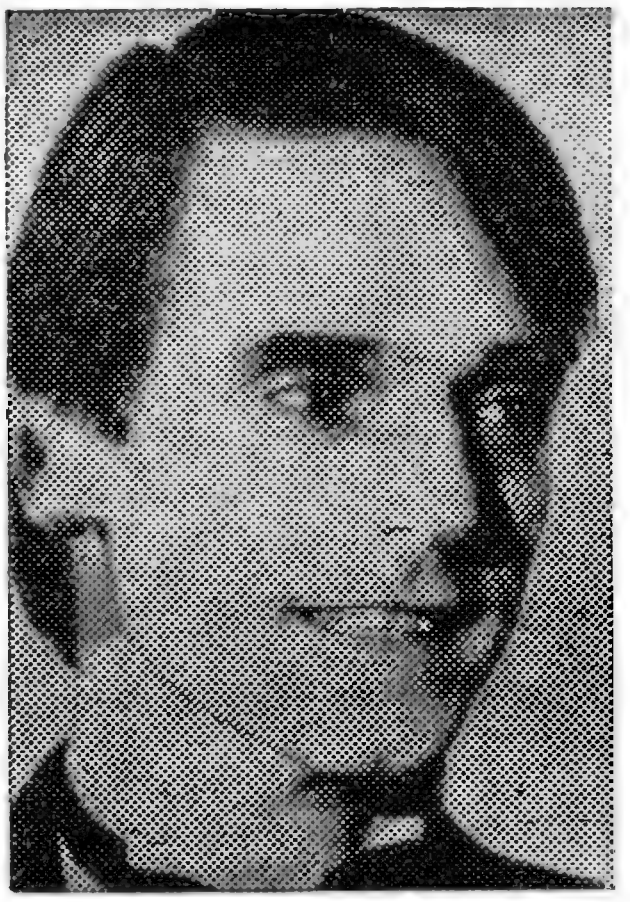
Однажды рыбаки «Полярной звезды» обнаруживают в выбранной из воды сети труп молодой женщины. Кто она — контрабандистка, шпионка или случайная жертва стихии? Если это убийство, то на каком берегу, американском или советском, совершено преступление? Эти загадки пытается разрешить советская следственная группа, но Аркадий видит, что и моряки, и следователи стараются побыстрее «закрыть» дело. И тогда он предпринимает собственное расследование, в котором ему помогает Наташа — работница консервного конвейера...

Обозреватель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» высоко оценивает новую книгу М. К. Смита. «Когда вышел «Парк Горького»,— вспоминает рецензент,— его сравнивали с романами Джона Ле Карре... Но теперь сравнения не требуется. Написанный с юмором, увлекательно, этот роман в то же время — серьезное произведение, принадлежащее перу одного из лучших наших прозаиков».

НОВАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦА КАФКИ

По сообщению корреспондента агентства «Рейтер» Стива Кеттла, поклонников творчества Франца Кафки ждет сюрприз. Двадцатисемилетний американский режиссер Стивен Содерберг, чья лента «Секс, ложь и видео» завоевала первое место на Каннском фестивале в 1989 году, приступает к созданию фильма «Кафка». «Это будет увлекательное зрелище, а не скучная биографическая картина»,— поясняет свой замысел режиссер. Кафку сыграет Джереми Айронз — обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в 1991 году. Он говорит, что хочет отойти от общепринятого взгляда на Кафку как на человека импульсивного, неуравновешенного, обуреваемого сомнениями.

Действие происходит в 1924 году, незадолго до



Джереми Айронз, исполнитель главной роли в фильме Стивена Содерберга «Кафка»

(Еженедельник «Джапан таймс уикли»

смерти Кафки, в Праге. Содерберг спешит начать съемки, опасаясь, как бы ревнители преобразований не нарушили покоя старого города, сохранившего прежний облик,— например, в районе, расположенном между Старым еврейским кладбищем и Пражским Градом, где любил бывать писатель. По мнению создателей картины, черно-белое изображение лучше всего соответствует духу экзистенциалистских поисков Франца Кафки.

«Кафка» — несомненно, самая дорогостоящая и значительная из всех картин, снимавшихся в Праге после «Амадеуса» Милоша Формана»,— пишет Стив Кеттл. Она обойдется в десять-двадцать миллионов долларов. Режиссер планирует закончить работу к маю 1992 года, чтобы представить ее на фестивале в Канне.

ЗАВЕЩАНИЕ МАСТЕРА

В 1988 году в возрасте пятидесяти лет умер от рака мозга Реймонд Карвер — замечательный поэт и прозаик, стремительным метеором пронесшийся на горизонте современной американской литературы. Творческим завещанием Карвера оказался вышедший посмертно сборник стихотворений «Новая тропинка к водопаду». Стихи, составившие эту книгу, выстраиваются в своеобразную автобиографическую «хронику души» писателя, размышляющего о превратностях своей судьбы, житейских драмах, болезнях и неудачах, о посетившем его лишь в конце недолгой жизни счастье и покое.

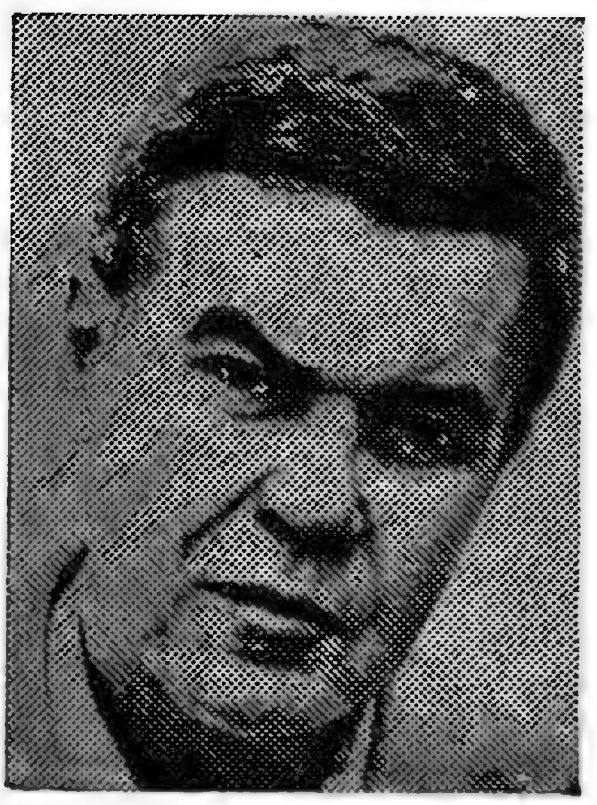
Обозреватель английского журнала «Лиснер», откликнувшегося на лондонское издание книги, отмечает, что в одном из стихотворений сборника есть такие строки: «Используй окружающее тебя: и сигарету меж пальцев, и ноги, вытянутые на диване, и женщину, что спьяну мечется по кухне, натыкаясь на мебель... используй все». Он и в самом деле «использовал все» — неприметельные мелочи будничности, ситуации и предметы повседневного быта, в которых как в зеркале отражаются коллизии ума и сердца. В последние годы жизни Карвер не раз говорил о своем внутреннем сродстве с Чеховым. Критики также сравнивали его с великим русским классиком. Главное, что, по мнению рецензента «Лиснера», роднит Чехова и Карвера,— это «любовь к недоговоренности, с помощью которой писатель старается выразить вульгарность и хаос своего времени» — написать ландшафт, хрупкая конструкция которого «вырастает из невыразимого и бездонного».

Знакомство Карвера с литературой состоялось довольно поздно. Восемнадцатилетним юношей, работая рассыльным у фармацевта, он впервые окунулся в книжное море. Книги пробудили интерес к магии художественного слова, и у него сразу родилась мечта «создавать мир из слов». Реймонд начал писать стихи, потом короткие рассказы. Прошло почти двадцать лет, прежде чем его первое стихотворение было опубликовано в 1984 году. Правда, в 1977-м вышел первый сборник рассказов Карвера, который быстро принес ему заслуженную славу одного из тончайших мастеров прозы. Успех спас писателя от неминуемой смерти — к этому времени, тяжело переживая распад своей семьи и полный разрыв с сыном, он буквально погибал от алкоголизма. В последние, самые счастливые годы своей жизни Карвер соединил судьбу с Тесс Галлахер, поэтессой и прозаиком, которой и посвящен его посмертный сборник.

В «Новой тропинке к водопаду», как и в прозе, пишет рецензент, Карвер «заставляет нас почувствовать тайну причудливого соединения по-

Реймонд Карвер.

(Журнал «Лиснер»)



луосознаваемых ощущений и непредсказуемых ситуаций, из которых и складывается жизнь». При этом, заключает критик, художник «стоически постигает самую важную тайну — неизбежность своего ухода из жизни, которая даровала ему и радость и страдание».

Франция

«ЖЕНА ДАВИДА» АНРИ ТРУАЙЯ

По итогам опроса читателей, проведенного недавно газетой «Монд», «самым выдающимся из французских писателей XX века» назван Анри Труайя. Оставляя в стороне небезынтересный вопрос о том, почему имена других классиков нашего столетия стали меньше значить для современной читающей публики во Франции, стоит задуматься над причинами феноменального успеха семидесятидевятилетнего литератора, выходца из России (его настоящее имя — Лев Тарасов), автора многих романов и исторических хроник.

Очередная, уже сорок пятая по счету, книга Труайя «Жена Давида» сразу попала в список бестселлеров. Она посвящена судьбе знаменитого французского живописца Жака Луи Давида (1748—1825), судьбе бурной и противоречивой, как и сама его эпоха. Человек, который заявил, что искусство должно быть «героическим, патриотическим и мужественным», Давид стал своего рода певцом Великой французской революции («Клятва в зале для игры в мяч», «Смерть Марата» и др.). Будучи депутатом Конвента, он голосовал за гильотину для Людовика XVI, но и сам однажды, несмотря на дружеское расположение Робеспьера, чуть было не попал на эшафот. После Термидорианского переворота Давид очутился в тюрьме, но вскоре был освобожден и, более того, оказался затем в милости у Наполеона, сделавшего его своим придворным художником («Коронация Наполеона», «Бонапарт на перевале Сен-Бернар» и др.).

Рассказ об этих и других событиях богатой превратностями жизни Давида ведется от лица его жены — Шарлотты Пекуль. (Кстати, это уже не первая попытка писателя изобразить крупные исторические события глазами обычной женщины. Так, например, в романе «Французская гувернантка» (1989) русская революция октября 1917 года увидена такой, какой ее восприняла молодая француженка, оказавшаяся в это время в России.) Шарлотта, дочь состоятельных родителей, католичка, монархистка по убеждению, далеко не всегда понимает и одобряет своего мужа, хотя ценит его талант. От нее не ускользает, что революционный энтузиазм Давида не вполне бескорыстен, ей претит цинизм художника, рисующего портрет Марии-Антуанетты перед казнью, быстрое обращение Давида «в новую веру» после падения якобинцев. Обозреватель газеты «Монд» считает, что основное достоинство романа заключается в том, что Труайя заставляет трезво и критически взглянуть на людей, прикрывающихся идеологией для совершения порой неблаговидных поступков.

Однако роман Труайя — это не только размышление на тему: «Художник и политика». Рецензенты высоко оценивают стремление автора «Жены Давида» раскрыть перед читателем творческую мастерскую прославленного живописца — после прочтения романа хрестоматийно известные полотна воспринимаются по-новому.

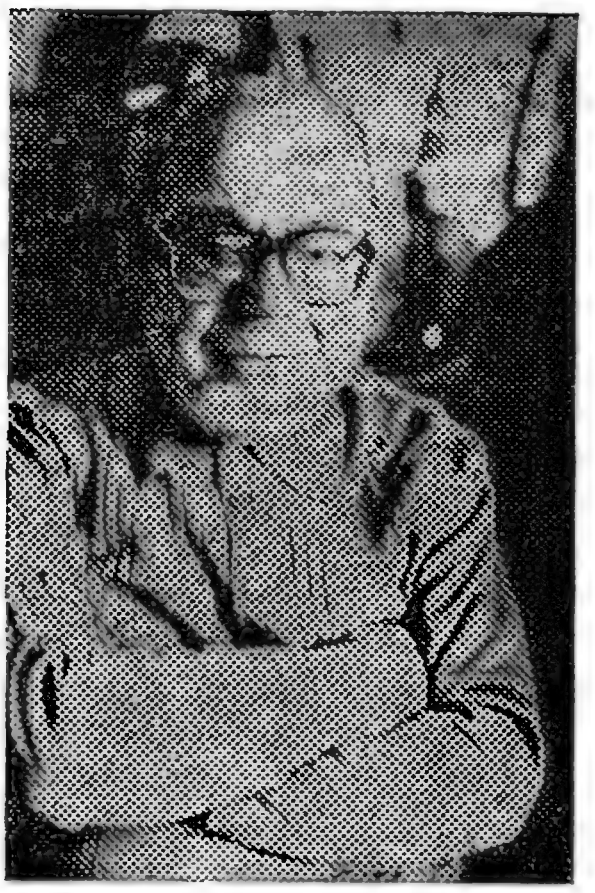
«Конечно, Труайя никогда не был особо тонким стилистом, он пишет суховато, но вместе с тем чертовски захватывающе,— замечает журнал «Пуэн».— Труайя доказывает, что продолжает оставаться первоклассным рассказчиком».

ОН ВОСПЕВАЕТ МОЛОДОСТЬ И ГРЯДУЩЕЕ

«Эжен Гийевик — самый читаемый и популярный во Франции современный поэт,— утверждает рецензент журнала «Кензен литтерер» Жерар Нуаре.— Его полная «легкой красоты» поэзия, раскрывающая суть простых, обыденных слов, обогатила школьные программы и завоевала буквально всех — от подростков до взыскательных знатоков». Широко известна роль Э. Гийевика в культурной жизни страны, а также его политическая принципиальность и активная гражданская позиция.

К его сочинениям — а это около двадцати томов, среди которых блистают шедевры «Из земли и воды», «Подлежит исполнению»,— добавился сборник «Искусство поэзии», опубликованный издательством «Галлимар». 170 стихотворений сборника, над которым автор работал три года, составляют цикл, «воспевающий молодость и грядущее».

В новой книге Э. Гийевик верен себе, отмечает рецензент. «Он избегает гипербол, множит силу глаголов и существительных, избрав своим средством простоту и достигая тем самым максимального ощущения языка и столь характерной для его произведений тонкости и чистоты»,— пишет Ж. Нуаре. Совокупность текста лишена темы, продолжает критик, есть лишь некий центр, «дающий сияние и равновесие»,— и вспоминается японская поэзия. В творчестве Гийевика «восстанавливаются внутренние связи между существом и веществом», отчего, по мнению рецензента, поэт оказывается ближе к японской лирике, нежели ев-



Эжен Гийевик.
(Журнал «Кензен литтерер»)

ропейские подражатели хайку.

В сборнике заметна эволюция мироощущения автора — на смену тоске и тревоге пришло успокоение:

Поэма
Не убивает пустоту
Она удаляет ее.

Гийевик не спешит, он старается слегка замедлить читательское восприятие, чтобы открыть иные сферы звучания слова. «Он находит источники там, где они, казалось, давно уже истощились»,— подытоживает «Кензен литтерер».

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ СОРОК ПЕРВЫЙ ОТВЕТ

Необычный как по содержанию, так и по масштабам опрос провели Марсель Бизьё и Катрин Жажоле. Журналисты обратились к современным литераторам с просьбой поделиться мыслями о смерти, а затем составили из полученных ответов сборник «Сорок писателей говорят о смерти».

Вопросы были подобраны так, чтобы писатели смогли взглянуть на смерть с философской, чисто человеческой и, разумеется, «литературной» точки зрения. Так, им предлагалось высказаться на тему «легкомысленного обращения автора со смертью», когда тот «выводит из игры» своего героя, дабы сразу закончить роман или же приблизить его завершение. Обсуждалась и другая немаловажная проблема — художественное изображение последних минут жизни: ведь ни у одного из писателей нет и не может быть личного опыта в столь особой сфере. «Если перефразировать Флобера, то он был мадам Бовари лишь до того момента, как она приняла яд»,— резонно ззамечает рецензент «Магазин литтерер».

Писатели не только охотно откликнулись на просьбу журналистов, но и оказались предельно искренни, признаваясь в том, чего, возможно,

еще никогда и никому не поверяли, хотя в их произведениях эти мысли и чувства угадываются. Высказывания носят самые разные оттенки: Юлия Кристева придерживается стоицизма; Жак Шессекс вдумчив и серьезен; Морис Рош резок и порывист; Жан Тардьё перескакивает с одной мысли на другую; Анри Томас тихо ропщет. Помимо французов в книге «исповедуются» писатели других стран: Амаду, Битов, Хеймонас, Вальзер, Адонис... «Магазин литтерер» сетует, что среди опрошенных нет Робера Антельма, Клода Руа или Маргерит Дюрас — «знатока болезней с летальным исходом».

«Пожалуй, самое трудное — рассказывать о том, каким видится собственный уход в мир иной,— считает журнал «Кензен литтерер».— В частности, писателей спрашивали, как бы они хотели расстаться с жизнью — мгновенно или постепенно. На этот вопрос один из составителей, Марсель Бизьё, ответил и сам, но, увы, печальным образом: он скончался за восемь дней до публикации сборника». Есть ли в этом некое мрачное знамение или простое совпадение — кто знает?.. Но, как бы то ни было, на книге «Сорок писателей говорят о смерти» лежит теперь траурная печать.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

ПАТРИК ЗЮСКИНД «Парфюмер»

Роман, которым зачитывается весь мир,— он остается лидером в списке немецких бестселлеров вот уже семь лет, переведен более чем на двадцать языков.
Действие разворачивается в канун Великой французской революции. Автор исследует доходящие до патологии странности характера и поведения главного героя.

ЭРВЕ ГИБЕР «Другу, который не спас мне жизнь»

Книга создана на автобиографическом материале — это беспощадно откровенный рассказ умирающего от СПИДа молодого француза.
Советский читатель впервые знакомится с талантливым писателем.

НЭНСИ РЕЙГАН при участии Уильяма Новака «Мой черед»

Бывшая первая леди Америки описывает жизнь Белого дома, президента и его семьи. Автобиографическая книга-бестселлер повествует о том, как воплощается в жизнь «великая американская мечта».

Стихи и афоризмы АЛЕНА БОСКЕ, современного французского поэта, лауреата многих литературных премий.

ГЕНРИ МИЛЛЕР «Размышления о писательстве»

Автор скандально знаменитого романа «Тропик Рака» делится своими мыслями о призвании писателя и роли литературы в обществе.

Уважаемые читатели

«ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»!

В 1992 году на страницах журнала вас ждет встреча с прозой Уильяма Стайрона, Итало Кальвино, лауреата Гонкуровской премии 1990 года Жана Руо. В портфеле редакции произведения Олдоса Хаксли, Питера Устинова, Чеслава Милоша, Пьера Паоло Пазолини, Милана Кундеры, Стивена Кинга, Роберта Музиля. Вы сможете также прочесть роман о Христофоре Колумбе аргентинца Абеля Поссе «Райские псы», уже переведенный на двенадцать языков, знаменитую книгу Анджея Щиперского «Начало», известную на Западе под названием «Прекрасная госпожа Зайденман», и один из романов классика английской юмористической литературы П. Вудхауса.

Как и прежде, журнал будет печатать в новых переводах примечательные книги классического наследия — недавних и давних времен: маркиза де Сада, Луи Селина, Генри Миллера.

Документальная проза будет представлена последней книгой Кнута Гамсуна «На заросших тропинках» и исследованием британского журналиста Эдварда Бера, посвященным возвышению и краху клана Чаушеску.

В поэтическом разделе «ИЛ» наряду с открытием новых для читателя имен редакция продолжит публикацию произведений нобелевских лауреатов — Редьярда Киплинга, Нелли Закс, Германа Гессе. Мы предполагаем также широко печатать переводы, выполненные поэтами русского зарубежья.

В 1992 году наряду с традиционно составленными номерами редакция готовит **ряд экспериментальных выпусков**, объединяющих художественные, документальные произведения и литературную критику в единое целое.

Итак, читайте в 1992 году следующие спецномера:

«Американская литература вчера и сегодня»,
«Английская литература наших дней»,
«Оккультизм, призраки и магия в литературе — иронически и всерьез»,
«Современная классика детективного и криминального жанра».

Не забудьте вовремя оформить подписку — в следующем году журнал будет поступать в розницу ограниченным тиражом. Гарантию получения всех номеров дает только годовая подписка.

Авторы этого номера

МОМО КАПОР (MOMO KAPOR; род в 1937 г.) — сербский писатель и художник. Автор романов «Трепачи» («Foliranti», 1974), «Провинциал» («Provincijalac», 1976), «Ада» («Ada», 1977) «Зое» («Zoe», 1978), «С семи до трех» («Od sedam do tri», 1980); сборников рассказов «Записки некой Анны» («Beleške jedne Ane», 1972), «И другие рассказы» («I druge price», 1973), «Прошлогодние снега» («Lanjski snegovi», 1977), «Восток — Запад» («Istok — Zapad», 1988) и др. Роман «Книга жалоб» печатается по изданию «Knjiga žalbi». Zagreb, «Znanje», 1984.

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР (MARGUERITE YOURCENAR; 1903—1987) — бельгийская писательница, член Бельгийской королевской академии (1971); первая женщина, избранная во Французскую академию (1980). Автор многих романов: «Алексис, или Трактат о тщетном противоборстве» («Alexis ou Le Traité du Vain Combat», 1929), «Последний выстрел («Le Coup de Grâce», 1939), «Монета мечты» («Denier du Reve», 1934/1959). Исторический роман «Воспоминания Адриана» («Mémoires d' Hadrien», 1951) принес ей мировую известность, роман «Философский камень» («L'oeuvre au Noir») был удостоен в 1968 году премии «Фемина». Перу Юрсенар принадлежат также рассказы, стихи, эссе, автобиографическая трилогия, драмы, переводы.

На русский язык переведены романы М. Юрсенар «Воспоминания Адриана», «Философский камень» (М., 1984) и несколько рассказов. Новелла «Последняя любовь принца Гэндзи» взята из сборника «Восточные новеллы», вышедшего во Франции в 1963 году («Nouvelles Orientales», Paris, Gallimard, 1963).

КАРОЛЬ ВОЙТЫЛА (род. в 1920 г.) — с октября 1978 г.— ПАПА РИМСКИЙ ИОАНН ПАВЕЛ II. С 1964 г. был архиепископом Краковским, до этого преподавал теологию в Люблинском католическом университете. Известен не только как теолог, но и автор художественных произведений — пьес, стихотворений, статей о театре и др., публиковавшихся в крупнейшем польском католическом еженедельнике «Тыгодник повшехны» (Краков). Наибольшей известностью пользуются такие драматические произведения Кароля Войтылы, как «Брат нашего Бога» (1949), «Перед ювелирным магазином» (1960), «Иеремия» (1940) и др., а также работы по католической этике «Размышления о смерти» (1975) и цикл лекций для студентов Люблинского католического университета «Любовь и ответственность» (1960).

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН (ASTOLPHE DE CUSTINE; 1790—1857) — французский писатель, друг Бальзака, Стендаля, Гюго. Автор романов «Алоис» («Aloys», 1829), «Свет, каков он есть» («Le Monde comme il va», 1835), «Этель» («Ethel», 1839), драмы «Беатриче Ченчи» («Béatrice Cenci», 1833). Известность принесли ему книги путешествий: «Испания при Фердинанде VII» («L'Espagne sous Ferdinand VII», 1838) и «Россия в 1839 году» («La Russie en 1839», 1843). Последняя книга, вызвавшая в свое время острую реакцию в России, до сих пор не переведена полностью на русский язык; впервые печатается по-русски и предлагаемый ее заключительный фрагмент, перевод которого выполнен по второму изданию 1844 г.

ДЕДКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1934 г.) — советский литературный критик. Автор книг «Возвращение к себе» (1978), «Василь Быков» (1980), «Сергей Залыгин» (1985), «Живое лицо времени» (1986), «Обновленное зрение» (1988) и многих статей в периодике.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ЮФЕРЕВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1959 г.) — советский переводчик с сербскохорватского языка. В его переводах публиковались романы Б. Чопича «Богатыри в Бихаче», М. Лалича «Клок тьмы», короткие пьесы Б. Нушича, а также рассказы Дж. Лабовича, М. Реновчевича-Невена, М. Гончина.

ЗЕНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — литературовед, критик, переводчик. Автор работ по французской литературе XIX—XX вв. В «ИЛ» в его переводе напечатаны «Суждения» философа и писателя Алена (1988, № 11).

Цена 2 руб. 95 коп.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1991, № 7 1—256